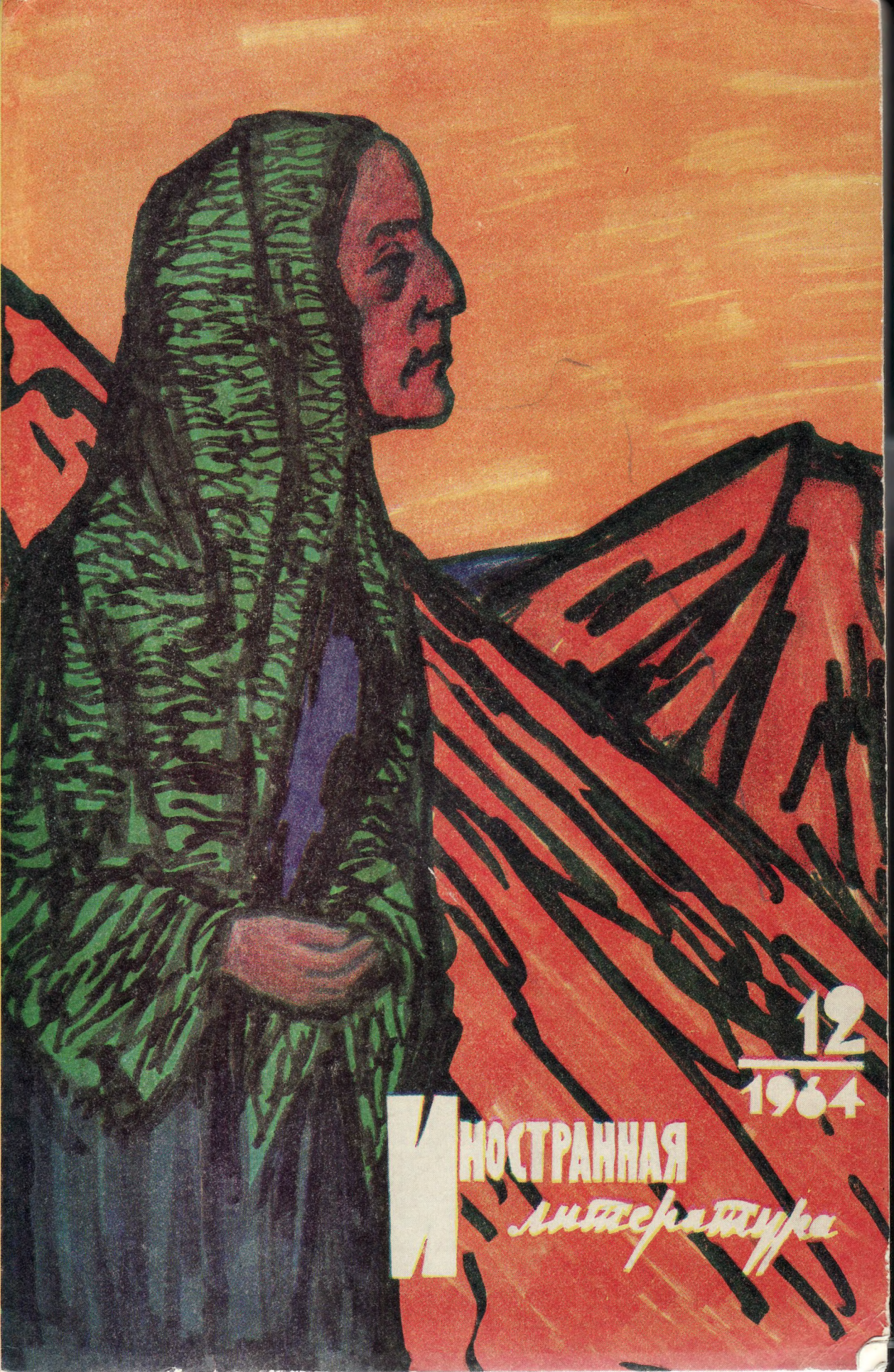


12
1964

Иностранная литература

Пусть же бесчестные, дряхлые, сгнившие стены
Рухнут на землю и трусов навек похоронят...
Будьте сильны и свободны, спокойны и смелы.
Стройте Испанию мира...

АНХЕЛА ФИГЕРА АЙМЕРИЧ

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

12

ДЕКАБРЬ

1964

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

АЛЬФОНСО ГРОССО — Страстная пятница . . . 4
СЕМБЕН УСМАН — Горячий ветер (Окончание) 149

РАССКАЗЫ

ХУАН ГОЙТИСОЛО — Ронда 135
РИКАРДО ДОМЕНЕЧ — Счастье привалило . . . 139
■ ■ ■ — Свобода совести 123

ПЬЕСЫ

АЛЬФОНСО САСТРЕ — Красная земля (Драма в пяти картинах, с эпилогом) . . . 83

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

Москва

СТИХИ ИСПАНСКИХ ПОЭТОВ

БЛАС ДЕ ОТЕРО 3

РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ, ХЕСУС ЛОПЕС ПАЧЕКО, МАНУЭЛЬ МОНТЕРО, ХОСЕ ЙЕРРО, ГЛОРИЯ ФУЭРТЕС, МАРИЯ БЕНЕЙТО, АНХЕЛЬ ГОНСАЛЕС 77

ЛЕОН ФЕЛИПЕ 116

ВИДАЛЬ ДЕ НИКОЛАС 122

АНХЕЛА ФИГЕРА АЙМЕРИЧ 131

ГАБРИЭЛЬ СЕЛАЙЯ 146

КРИТИКА

АРМАНДО ЛОПЕС САЛИНАС — Грамота на испанское гражданство 210

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ — О некоторых испанских писателях 217

ДОКУМЕНТЫ

ХУЛИАН ГРИМАУ ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ (Предисловие Сантьяго Каррильо) . . 223

ПУБЛИЦИСТИКА

АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ — Мадрид . . 235

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

МАРИЯ ТЕРЕСА ЛЕОН — Милый лик родины 242

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Э. К.— ВЫЗОВ, БРОШЕННЫЙ ИЗ-ЗА РЕШЕТКИ (Рисунки Агустина Ибарролы) . . 250

НА КИНОЭКРАНАХ

ЖОРЖ САДУЛЬ — Перед объективом — Испания 254

СРЕДИ КНИГ

Евг. Долматовский — С Испанией в сердце. ◇ Л. Камынин — Среди героев Гойтисоло. ◇ Н. Трауберг — Новые книги Камило Хосе Селы ◇ Г. Померанц — Спустя три века. ◇ Ф. Кельин — Изучение литературных связей 260

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 270

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 282

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» за 1964 ГОД 283

На обложке рисунок художника Ю. ВАСИЛЬЕВА.

БЛАС ДЕ ОТЕРО

Непобежденная молодость

Ты была многоцветною птицей,
тополем, вставшим над стенкой окопа;
на страшных военных грузовиках,
ощетинившихся оружьем,
ты родину пересекала...
Альканьис и Морелья... Нулес и Гвадалахара...
Так это было, покамест однажды
мир не пришел, прозвучав, словно колокол похоронный,
и воды ослепли, и воздух стал редким.
А потом была ты серою птицей,
раненною под крыло.
Но, пробившись в пропасти шахт,
среди ночи глухой
подняла ты борьбу
за родину радости, стали и красоты.

Перевод О. САВИЧА

АЛЬФОНСО ГРОССО

Страстная пятница

РОМАН

Перевод Н. ЛЕСКОВОЙ

МАРИСМА*

Все огни погасли разом. И в том, что погасли они одновременно, было что-то неожиданное и чудесное. Толпа, окутанная мраком, примолкла, как будто после долгих часов ожидания, когда каждый старался занять более выгодную позицию, вдруг воцарился желанный покой и ропот нетерпения стих. Измученные, изнервничавшиеся люди чуть ли не полдня простояли на ногах, глядя в затылок полицейским, которые, образовав цепочку, загородили все входы и старались по мере сил сдержать натиск зевак, стекавшихся со всех концов города и энергично работавших локтями в надежде пробиться в первые ряды.

Чистое ночное небо казалось каким-то бездонно-синим. Даже сюда, на площадь, долетал аромат цветущих апельсиновых деревьев. Часы на башне возвещали близкий приход зари. Толпа снова нетерпеливо зашевелилась. На перекрестках кипел людской прибой. Мерные удары колокола отбивали минуты ожидания, бесконечные минуты ожидания, а промежутки между ударами заполнял гул толпы, словно каждое новое мгновение уносило с собой частицу надежды, а ведь ради нее люди забывали усталость, сон и долго шли, лишь бы посмотреть на вынос креста из церковных врат, на кающихся, на свечи, хоругви и стяги.

Тяжелые церковные врата пронзительно заскрипели на петлях. Под неистовые рукоплескания толпы появился первый кающийся в глухом капюшоне и двинулся вперед, размахивая старинным крестом филигранной работы. Толпа затаила дыхание, как будто массивные церковные врата, обитые гвоздями, были воротами в загон, откуда вот-вот вырвется бык. Человек в белом одеянии кающегося, держа в руке крест, высоко поднимал его над головой, ступая босыми ногами по уличной пыли. Целых восемь часов пеньковая веревка перепоясывала его чресла, впивалась в бока, в живот, умерщвляла эту плоть, это тело, привыкшее к удобному седлу, к отполированным до блеска шикарным

* Название заболоченной части морского побережья.

машинам, к прикосновению юной и нежной кожи, к ленивому созерцанию хлебов, зреющих под утренними лучами солнца, к погоне за быками-трехлетками, разбегавшимися по пепельно-серому пастбищу, обсаженному оливковыми деревьями и зелеными дубами.

Крест медленно продвигался вперед. На охраняемом полицейскими свободном пространстве двигались в два ряда кающиеся, и по мере их приближения рукоплескания стихали.

Снова наступила тишина. Желтое пламя свечей освещало площадь и прилегающие к ней улочки. В аромате цветущих апельсиновых деревьев, смешанном с запахами пота и воска, было что-то колдовское. Процессия шла положенным ей маршрутом. Эскадрон кавалеристов вскинул трубы, готовясь звуками «Королевского марша» отметить торжественную минуту, когда из церковных врат появится спаситель на ковре из душистых гвоздик. Шеренга кающихся с хоругвями вышла из храма и расположилась на отведенном ей месте, а тем временем служки со свечами собирались группами, чтобы сопровождать служек, которым выпала честь идти с кадильницами.

Когда первые облачка ладана поползли к небу, толпа снова разразилась рукоплесканиями. В проеме церковных врат возник, точно видение, Иисус Христос. Кавалеристы-трубачи грянули национальный гимн, а с балкона донеслось первое торжественное песнопение — саэта. Деревянный Христос с полузакрытыми глазами и склоненной к левому плечу головой спокойно рассекал беснующуюся толпу. Полицейские, стоявшие цепочкой, еще крепче взялись за руки, силясь сдержать напор зрителей. «Королевский марш» умолк, и в воцарившейся тишине снова торжествующе зазвучала саэта, затейливая, пронзительная. К ней присоединилась вторая, потом третья, четвертая, и все вместе они рассыпались каскадом звуков, а тем временем фигура Христа медленно плыла вперед на плечах носильщиков, повиновавшихся команде надсмотрщика.

Скрытые под дощатым настилом люди, осторожно опустив на мостовую пасо *— помост с зажженными свечами, отходили чуть в сторонку— помочиться, выпить стакан вина, стереть с лица пот тяжкого труда. Два жандарма, маршировавшие по обе стороны Иисуса, тоже остановились, скорбная процессия на миг застыла. Стоя навытяжку, они ждали, когда надсмотрщик подаст знак двигаться вперед и ударит молотком по настилу, убедившись, что носильщики готовы и слышат его.

Шестьдесят пар рук, шестьдесят затылков, шестьдесят торсов напряглись в едином усилии, дабы могло возобновиться торжественное шествие.

Один из носильщиков вдруг почувствовал во рту сладковатый вкус. Неловким движением он сунул влажную дрожащую руку в карман, вынул носовой платок и поднес ко рту, в уголках которого запеклась слюна, кисло-сладкая, как апельсиновый сок. Голова его была до странности пуста, и в памяти вихрем проносились далекие, уже потускневшие от времени картины — то оливковая роща, то маисовое поле, то нежные ростки ржи и крепкие кустики риса, зреющего в бороздах, напоенных водой Ислы. Он кашлянул раз, другой и вместе со своими товарищами изо всех сил подпер помост, чтобы в общем усилии поднять распятого Христа и понести его к кафедральному собору...

I

Ветерок принес с устья реки дыхание моря, Атлантики. Посаженные по краю осушительных канав невысокие каштаны с мохнатыми свечками цветов клонились к колючей изгороди. Жнецы, согнувшись чуть не

* Изображение фигуры Христа или богоматери или сцен «страстей господних».

вдвое над бороздами, срезали серпом колоски риса. Дойдя до предпоследней делянки, артели ускорили шаг, стремясь закончить рабочий день еще до заката солнца, которое уходило за горизонт на том берегу реки, между лесными угодьями Исла-Менор, Эль-Каньо-дель-Амбре, Эль-Ринкон-де-Мерлина и желтыми, как охра, холмами Лебрихи.

Над Маризмой тянулись дикие утки, держа путь к засоленным лусиос *. Насекомые, привлеченные несрезанными колосками риса, неуклюже копошились на потрескавшейся земле. Жнецы, захватив рукой пучок рисовых стебельков, толкали друг друга, спешили убрать лишний сантиметр, выиграть хоть минуту. Небо на востоке слегка потемнело, и предвечерние сентябрьские сумерки уже лизали широкий песчаный рукав дельты.

■

Артель Хенаро Инфантеса первой прошла из конца в конец сжатое поле.

Жнецов уже ждал тягач с прицепом. Шофер приглушил мотор, поставил машину в кювет у рисового поля, а сам уселся верхом на крыло. Увидев батраков, он спрыгнул на землю и направился к ним.

— Сегодня сделаю только одну ездку,— сказал он.— Тем, кому не хватит места, придется топать пешком. Чем скорее вы рассядетесь, тем скорее мы отчалим. А если будете ждать остальных, придется вам разыгрывать места в орел и решку на манер тех из Сан-Онофре и Рохаса.

— Ты обязан каждый день делать три ездки и не задирай людей, которые от зари до зари гнули спины.

— Я верно говорю. Сегодня сделаю только одну ездку, так и знайте. Я бы всех вас отвез с дорогой душой, но я-то что могу сделать? Дали мне приказ — значит, выполняй.

Закинув серп за плечо, подтянув потуже пояс, к тягачу подошел самый старый жнец.

— Лучше будет, если ты все-таки попробуешь доставить нас в Эль-Пунталь. А на хозяина не ссылайся, разве он человек!

Старик хихикнул, потом яростно сплюнул и чертыхнулся.

Дюжина жнецов окружила прицеп. Шофер нервно вытер ладони о свои синие рабочие брюки. Он чувствовал себя неспокойно и не знал, на что решиться. С минуту он молчал под пристальными взглядами батраков, которые стояли в двух шагах от огромных каучуковых баллонов.

Артель образовалась всего неделю назад почти случайно. Хенаро Инфантес набрал батраков у дверей постоялого двора Венансио. За пятнадцать сезонов работы на рисовых полях он научился разбираться в людях. Просто тыкал пальцем в сторону какого-нибудь человека, приказывал выйти из рядов, спросив сначала его имя и место рождения. Все эти сведения он заносил карандашом на листок линованой бумаги и потом представлял список на утверждение надсмотрщику в Лисса-Канельи.

Жнецы утирали потные лбы и с насмешливой улыбкой топтались вокруг тягача, желая выиграть время, но на прицеп никто не садился.

— Я для вашей же пользы говорю,— рискнул заметить шофер.— Ну просто не знаешь, как к вам подступиться. Бросьте валять дурака, лезьте в машину, вам же лучше будет.

Он ловко вскочил в кабину, погладил баранку. Казалось, он мучительно размышляет, чем бы еще пронять этих неподвижно стоявших в молчании людей. Наконец решился и, указывая на еще не сжатые уча-

* Заболоченное пространство.

стки поля, на медленно приближавшихся к последним делянкам жнецов, сказал:

— Вот увидите, что будет, когда они кончат работу. Небось ломаться не станут, уж поверьте, со всех ног сюда примчатся и займут ваши места! Вы вот тут играете в благородство, а вам же придется пешком топать. Хозяин велел мне сделать только одну ездку, что ж я, по-вашему, должен возражать ему, что ли? Точка, и все. Зря я тут с вами объясняюсь, не обязан я перед вами отчитываться. А теперь послушайте, что я вам скажу!

Шофер встал на сиденье, поднял обе руки, яростно сжал кулаки.

— Просто вы до смерти мне завидуете! — заорал он, глядя на Хенаро Инфантеса.— Завидуете потому, что мне повезло, потому что у меня настоящее ремесло в руках, потому что я специальность имею. Завидуете потому,— он стукнул себя в грудь кулаком,— что со мной гуляют все красотки из Марисмы. Самые бойкие, самые шикарные и языкатые. Просто лопаетесь от зависти! Потому мне завидуете, что сами вы последние люди, подыхаете с голоду, вам в ваших деревнях жрать нечего, вот вы и приходите сюда попрошайничать, согласны за гроши работать.

Трое жнецов, держа наготове серпы, грозно двинулись к тягачу. Хенаро Инфантес поглядел на них и протянул руку, как бы желая их удержать, потом подошел ближе и сказал что-то вполголоса.

Перетрусивший шофер теперь примирительно улыбался с высоты своего сиденья и всем своим видом показывал, будто принял за шутку вспышку жнецов.

— Если бы и впрямь вы от этого пострадали, тогда другое дело, тогда все ясно,— проговорил он извиняющимся тоном,— но вы сами знаете, что это не так, вы пришли первыми — значит, прицеп в полном вашем распоряжении. До деревни вас доставлю, а там с богом по домам!

Тут заговорил Хенаро Инфантес. Говорил он спокойно, без лишних жестов:

— Мы не поедем, Мануэль, ни мы, ни другие. Не о том речь. Неужто ты думаешь, что раз мы кончили работать первыми, мы этим воспользуемся? Ведь наша артель вполне могла оказаться последней. Просто нам сегодня повезло, участок попался хороший, выровненный, земля легкая. Другие имеют такое же право, как и мы, ехать, а не пешком идти.

День медленно угасал, и закатные лучи окрасили в рыжие тона кучку людей, стоявших против солнца. Кто-то вытащил пачку табаку и пустил ее по кругу вместе с книжечкой курительной бумаги и латунной зажигалкой, снабженной длинным оранжевым фитилем. Жадно затягиваясь, они разминали сигареты в пальцах и сплевывали сквозь зубы желтую от табака слюну.

— Я ни с кем не ищу ссоры,— сказал шофер.— Ну как, решили вы ехать или нет? Не вы, так другие поедут. Хотите знать мое мнение? Так вот, подобные вещи случаются только в Лисса-Канельи, потому что надсмотрщик не сумел вас к рукам прибрать. Просто он пьяница, щеголь безмозглый, а как вы работаете — ему наплевать.

— Оба вы сукины дети, что ты, что он! — крикнул Хосе Салас.— Что один, что другой! Но у тебя даже духу не хватает его защитить. Все вы одного поля ягоды.

— Я приехал сюда не для того, чтобы с вами ругаться, а чтобы сделать, что мне велели, и слушать вашу брань я больше не намерен.

Шофер Мануэль Морилья соскочил на землю, помахивая гаечным ключом. Театральным жестом он стал вращать ключ над головой.

— Я вас, как облупленных, знаю, и не сказал я вам всего, что на ваш счет думаю, только потому, что не желаю неприятные вещи говорить, а коли захочу, так возьму и скажу.

Хенаро Инфантес снова принял властный вид. Широко раскинув руки, он, казалось, одним лишь своим присутствием сдерживал гнев жнецов. Потом вдруг шагнул к шоферу и встал против него. С почти сказочной быстротой гаечный ключ очутился в руках Хенаро. Мануэль Морилья потер себе левое запястье и скривил губы, что могло равно означать и боль, и угрозу.

Никто уже не смеялся. Жнецы стояли неподвижно — молчаливые, сосредоточенные. Слышалось только приглушенное ворчание мотора, который работал на малых оборотах и ритмично постукивал, как живое человеческое сердце.

Низко, над самой дорогой, пролетел аистенок, трепеща еще не окрепшими крыльями, и скрылся над золотившимися рисовыми полями. Сирена на рыбачьем баркасе подала сигнал — чистый, звучный, подхлестывающий.

Хенаро все еще стоял перед шофером, держа гаечный ключ. Потом отвел руку назад, широким движением раскрутил ключ, и тот звучно шлепнулся в грязную воду осушительной канавы. Жнецы дружно вытащили из-за пояса серпы и сжали в кулаке деревянные рукоятки. Но Хенаро нахмурил брови, повел плечами и кивнул Хуану Родригесу Лопесу, самому молодому в артели. Батраки расступились, чтобы дать Хуану дорогу, и тот, пройдя несколько шагов по тропинке, перескочил через колючую изгородь и направился к жнецам, уже заканчивавшим работу.

Жнецы, оповещенные Хуаном, подходили маленькими группками со всех концов поля. Мануэль Морилья одним прыжком очутился на сиденье. Он все же попытался улыбнуться и сохранить спокойствие, решив не настаивать на своей правоте и даже вступить в переговоры. Он кричал и клялся, впрочем без особого пыла, что это просто шутка, вернее сказать, недоразумение. Чтобы придать бóльшую убедительность своим клятвам и словам, он поднес пальцы к губам и даже плюнул на горячий мотор.

Когда Мануэль Морилья уже нажал на акселератор, а жнецы, вопреки уверениям и клятвам шофера, что он сделает, как обычно, три ездки, все еще стояли в нерешительности, не зная, садиться им или нет,— вдруг раздалось пыхтение грузовика. Водитель, парень лет девятнадцати, заметив толпу, радостно замахал носовым платком. Ехал он издалека, с пустынных засоленных земель Принсипе Альберто и Реина Виктория и от души обрадовался, что наконец-то нашел себе попутчиков.

Машина, выкрашенная в желтый цвет, при ближайшем рассмотрении оказалась семитонным самосвалом.

— Если хотите, садитесь,— сказал водитель, остановив самосвал.— До Эль-Ринкон-де-лос-Лириос подброшу бесплатно. Ну, садитесь, пользуйтесь моей добротой, пока я не раздумал.

Жнецы всех четырех артелей вскарабкались в кузов.

Хенаро Инфантес дружески хлопнул водителя по спине.

— Спасибо, друг. Ты поспел в самое время.

— Почему же не оказать услугу, если можно? Сегодня — я тебе, завтра — ты мне.— И, переключив скорость, водитель проговорил: — А благодарить меня нечего, я тут ехал один, как собака! С пассажирами вроде повеселее. Я тридцать километров по грязи отмахал, даже птицы ни одной не видел,— добавил он, медленно выправляя руль.— Угостишь сигареткой, вот мы и в расчете.

Сидя вплотную друг к другу в кузове грузовика, рабочие время от времени выкрикивали что-то по адресу Мануэля, и хриплые, сердитые возгласы странно звучали в мирной вечерней тишине. Мануэль Морилья отвечал им что-то, грозил сжатым кулаком, но уехать не решался. Так он и сидел за рулем, пока самосвал не исчез за поворотом узкой дороги.

■

Самосвал неторопливо катил мимо рисовых полей. Во все стороны, куда ни глянь, был виден рис, один только рис: рис уже сжатый, сложенный в снопики медного цвета, рис на корню, еще зеленый, пожелтевший только местами. Предвечерний сумрак из розового стал лиловатым, было почти так же светло, как два часа назад, словно в небе стояло северное сияние или застыла пылающая зарница. Солнце, все еще такое же круглое, такое же победоносное, как днем, казалось, упорно не желало клониться к горизонту на том берегу реки и скрыться за холмами Эль-Каньо-дель-Амбре и нераспаханными землями, лежащими на западе.

Люди, сидевшие бок о бок, уже снова стали просто-напросто членами различных артелей, они уже забыли короткую дружбу, неизбежно возникающую при совместной работе, то чувство товарищества, когда двенадцать часов подряд локоть к локтю режешь и режешь колоски риса зазубренными серпами. Они сделались просто случайными попутчиками, как бы солдатами военного обоза: они говорили о своих чаяниях и надеждах, о своих детях, о невестах, о беременных женах и о своей деревне, такой близкой и такой далекой; горцы рассказывали, как после жатвы у них подбирают колоски; жители долины толковали о хлебах; те, что жили на склонах холмов, думали о маслинах, которые поспеют как раз после уборки риса; кое-кто говорил об оросительных канавах. А горожане вспоминали о своих бесконечных блужданиях по улицам с ящиком для чистки обуви, о карточной игре, о зря потерянных часах, когда в унылом предместье стоишь на самом припеке и ждешь хоть какой-нибудь работы. Многие, кого уже сморила усталость и убаюкали ритмичные выхлопы газа, дремали, опустив голову на плечо соседа. Кое-кто даже похрапывал, и все события минувшего дня были для них уже далеким, полузабытым воспоминанием.

Вдруг Хенаро поманил Хуана Родригеса, сидевшего в противоположном углу прицепа и рассеянно поглядывавшего вокруг. Хуану пришлось совершить чудеса ловкости, чтобы добраться до Хенаро.

— Еще вчера я хотел тебя спросить, получил ты письмо или нет? Есть какие новости от твоей подружки?

Хуан неопределенно пожал плечами и, согнув ногу, стал подвязывать холщовую туфлю на веревочной подошве. Но, убедившись, что обувь его в самом плачевном состоянии и простым обрывком пеньки ее не починишь, сбросил с ног обе туфли и швырнул их за борт.

— Ничего я не получил.

— Это еще не резон, чтоб так расстраиваться. Надо смотреть на вещи спокойнее. Сам не хуже других знаешь: грызи себя хоть с утра до ночи, все равно делу не поможешь. Да не огорчайся ты, дурные вести быстро доходят. И от того, что новостей нет, горевать не стоит. Вообще мне хотелось бы поговорить с тобой по-мужски, скажем, нынче вечером или завтра утром. И вовсе не потому, что я лучше тебя разбираюсь в женщинах,— добавил он, понизив голос и медленно выговаривая слова,— но я стреляный воробей и могу дать тебе совет. Первым делом не беспокойся ты так. Да не стыдись, мне-то ты можешь всю правду открыть. Если бы она думала, что у нее будет ребенок, она бы сразу тебе

сообщила. Ну ладно, любовь вы с ней крутили, но не обязательно же ей забеременеть: девушка, если хочет, всегда устроится, чтобы не родить. А если она даже и ждет ребенка, что тут плохого? Женишься на ней, и дело с концом. Когда мужчина спал с женщиной, тут уж поздно идти на попятный. Ты, я знаю, о чем думаешь: что у нее в этом месяце задержка была. Но ведь, может, она просто занемогла, и зря ты приуныл! Во всяком случае, чему быть, того не миновать и нытьем делу не поможешь. Вот и все, что я хотел тебе сказать. Я за тобой уже несколько дней наблюдаю, не порть ты себе кровь.

Хуан слушал и упорно молчал. Как будто вся эта тирада была адресована не ему, а кому-то другому. Он молча соскребал ногтями с лодыжек засохшую грязь.

— И не годится тебе горевать только потому, что новостей нет! — повторил Инфантес.

Впереди мелькнула колокольня церкви Вилья-Франко-дель-Гвадалквивир. Дорога стала получше, и водитель прибавил ходу. Хенаро молча курил. Колокольня с каждой минутой росла на глазах; они ехали теперь по предместью, мимо корпусов целлюлозной фабрики. Шофер еще сбавил газ и посигналил на мосту через канал.

Рассевшись вокруг столиков на террасах кафе, надсмотрщики готовились начать очередную партию в домино. По главной улице прогуливались девушки, совершая свой обычный путь от моря до жандармских казарм. Когда самосвал остановился возле постоялого двора Венансио, первая артель сошла. Хенаро внимательно оглядел своих людей, как бы определяя меру их усталости. Жнецы с серпами за поясом направились на постоялый двор, где, прежде чем улечься в ночлежке на соломенной циновке, они еще выпьют по стаканчику вина и сами приготовят себе на ужин суп. На дверях своего заведения Венансио вывел мелом: «Койки от 5 песет и выше».

II

Налетевший с моря ветерок освежил потный лоб жандарма Антонио Гомеса дель Реаль, стоявшего на часах у входа в казарму; прямо напротив лежала наполовину сжатая нива, освещенная мягкими предзакатными лучами сентябрьского солнца, не желавшего угасать.

У ворот казармы остановилась старенькая машина, оттуда вышли двое. Часовой вызвал дежурного бригадира. Где-то в соседней комнате в темноте захныкал ребенок, и Антонио Гомес прислушался. Ясно, кто-нибудь из его сорванцов. Ребенок успокоился, и он слабо улыбнулся. В ноябре, подумалось ему, родится пятый по счету, вся округа к тому времени опустеет: рис уже свезут в закрома.

Каждый раз, когда Гомес по наряду стоял на часах у ворот казармы, без конца глядя на долину, он впадал в какую-то сонную одурь. Ему нравилось смотреть, как над Марисмой садится солнце, опускается прямо в волнующееся море колосьев: можно было хоть о чем-нибудь подумать. Он представлял себе, как жена, взяв его грубую холщовую задубевшую от пота рубаху, будет стирать и штопать ее до боли в суставах. Он заранее радовался, ибо знал, что, когда его сменят на часах, жена выйдет навстречу с кувшином в руке и непременно потребует, чтобы он сначала стер с лица пот, и только тогда разрешит напиться ледяной воды. Он любил солнце за то, что оно не позволяло ему до одурения думать о том, что уже давно думано и передумано: о своей должности, о хлебе насущном, о ребятишках, которые никогда ничего не попросят, но которых одевать и обувать все равно надо, о старшей дочке, которая уже почти женщина — весной ей минуло четырнадцать,— и о четырнадцати годах, проведенных на службе в жандармерии.

Он переступил с ноги на ногу, переложил винтовку в левую руку и поскреб подбородок. Через открытое окно доносились голоса — это двое приезжих заявляли свою жалобу. Гомес ясно представил себе всю сцену. Начальник участка, должно быть, уже вытащил из клеенчатого бювара листок бумаги и старается как можно аккуратнее всунуть его под валик старенькой пишущей машинки марки «Испано-Оливетти». Должно быть, прежде, чем ударить по клавишам, он пригладит свои жиденькие волосы, а уж потом начнет выстукивать жалобу, зажав в зубах сигарету и прикидывая, кому из жандармов, а то и двоим, поручить это дело. Значит, скоро приведут еще одного в стальных наручниках, да разве только его одного. Сколько их еще будет за осень! Все четырнадцать лет то же самое повторялось ежедневно, а то и трижды в сутки. Те, кого доставляли сюда в наручниках, говорили то на кастильском, то на андалузском диалекте, то с левантским, то с галисийским акцентом, но у всех был одинаковый взгляд, одинаковая щетина на подбородке и тот же тоскливый страх в сердце.

Гомес перестал потеть, его китель высох, но дышать стало еще труднее. Он разглядывал машину, стоявшую у тротуара, и вяло прикидывал, сколько потребовалось смекалки, труда и времени, чтобы ее соорудить. Это казалось ему каким-то чудом. И тут же он подумал о своей деревне, затерянной среди кастильской равнины, о тамошних людях и даже увидел повозку, которую медленно тянут по пыльной дороге невозмутимо спокойные волы. Картина его детства! И как все там не похоже на здешнее! Здесь в Исле все новое, молодое, а их кастильские земли уже истощены, смертельно ранены железом. Однако и там и тут люди мучаются теми же вопросами, теми же страхами, так же печалятся. Он попытался представить себе деревенских жандармов, какими видел их еще ребенком, когда ему и в голову не приходило, что он тоже будет щеголять в клеенчатой треуголке: «Лучше взять в руки винтовку, чем подыхать с голоду». В те времена жандармы разъезжали на могучих вороных конях, и он, маленький босоногий мальчишка, когда отец брал его с собой ночью воровать горох, быстро прятался, заметив их приближение.

До смены караула оставалось всего несколько минут. Он глядел на огненную точку в дальнем краю небосвода, там, где исчезло солнце, не испытывая ни нетерпения, ни грусти. Ему не хотелось, чтобы время шло быстрее, будто он предчувствовал: вот кончится дежурство, и его снова ждет наряд.

Машина походила теперь на огромного кузнечика, который, грозно ощетинив усики, готовится к прыжку; возможно, думал Гомес, его отправят на поимку того человека, о котором докладывают те двое, и ему, как всегда, придется ехать вместе с другим жандармом всю бесконечно долгую сентябрьскую ночь; возможно, они доберутся до Альфонсо XIII, до Кейпо, до Лиссы или до Эль-Ринкон-де-лос-Лириос, возможно, придется шагать по полям еще километров пятнадцать, чтобы привести в наручниках человека, который пренебрег правилами игры правосудия, взбунтовался против них или действовал без соизволения властей или же не считал нужным уважать священные права собственности на землю, хотя они — залог целостности крупных имений, равновесия и мира в деревнях...

По спине Гомеса прошла холодная дрожь, когда те двое вышли из казармы. Они кивнули ему, сели в машину и укатили. Скоро автомобиль превратился в желтую точку, маячившую где-то в дальнем конце поселка, и Гомес с грустью подумал о своем детстве, о медно-красных землях плоскогорья, засеянного хлебами, о виноградниках, лепящихся друг к другу, о серебристых тополях, окаймляющих дорогу, что ведет к ручью, где его мать стирала и колотила белье вместо валька камнем. В печальных ее глазах стыла тоска, она боялась, как бы мужа, который отпра-

вился в лес за вязанкой дров, не схватили жандармы, как бы дон Матиас не донес, что в его винограднике он накануне срубил сухую лозу, как бы домовладельцу Сегундо Эстебану не пришло в голову подать мировому судье жалобу на семью Гомесов, задолжавших уже за несколько месяцев; как бы кого-нибудь из ее ребятишек, пасущих коз на общинном лугу, не выгнали из пастухов, и они тогда перестанут приносить от их мэра, дона Пруденсио, кусок хлеба и четвертинку оливкового масла — плату за десять часов работы.

Гомес печально улыбнулся. Вот уже целых пятнадцать лет он и думать забыл обо всем этом.

■

В участке разило потом и табаком. На койках, где ночевали дежурные, лежали свернутые солдатские одеяла ночной смены караула. В дежурке красовался портрет генерала Франко, а прямо напротив висела подробная карта дельты Гвадалквивира. Воткнутые в каждый населенный пункт красные с желтым флажки указывали местонахождение жандармских участков.

Гомес пересек комнату и вытянулся перед начальником. Анисето Хименес, махнув рукой, разрешил ему стать вольно, потом протянул сложенный вдвое листок бумаги и только что собственноручно отстуканный на машинке протокол:

«Я, Анисето Хименес Ортильо, младший бригадир отделения жандармов, приписанный к 138-й бригаде и выполняющий в данное время обязанности начальника участка в Вилья-Франко-дель-Гвадалквивир, составил настоящий протокол в нижеследующем:

Сегодня, 15 сентября сего года, около двадцати часов в участок явился человек, назвавший себя (и подтвердивший это документом) Рафаэлем Пересом Эрмосином, возраст — 30 лет, женат, сын Рафаэля и Хуаны, родился в Борносе (Кадис), место постоянного жительства Пуэбла-дель-Рио, временно проживает в Вилья-Франко-дель-Гвадалквивир. Он заявил, что его супруге, Кармен Гарсиа Росалес, возраст — 26 лет, дочь Хоакина и Кармен, родом из Бадалатосы (Севилья), профессии не имеет, принадлежала золотая цепочка и образок из того же металла, которые исчезли вчера на постоялом дворе Венансио, находящемся во владении Венансио Маттони Ортеги. На образке — лик божьей матери, покровительницы данной местности. Потерпевший заявил, что подозревает Хуана Родригеса Лопеса, родом из Эсихи, сельскохозяйственного рабочего, нанявшегося убирать рис на полях Лисса-Канельи, потому что Альберто Меса Ибаньес, надсмотрщик над жнецами, находясь вблизи вышеупомянутого постоялого двора Венансио, заявил, будто он видел вышеозначенную цепочку и образок в руках Хуана Родригеса; потому он и сообщает все эти факты в участок, чтобы делу был дан законный ход. Потерпевший заявил, что добавить больше ничего не желает, что он говорит правду, и подписал свое заявление в присутствии младшего бригадира, который и заверил его подпись».

Вслед за тем Антонио Гомес прочел следующий приказ:

«Младший бригадир, исполняющий обязанности начальника участка, приказывает жандармам Антонио Гомесу дель Реаль и Федерико Ниэблясу дель Пино, приписанным к вышеупомянутому участку, произвести расследование с целью установить указанные факты, задержать предполагаемого преступника и доставить его в участок, где он и будет подвергнут допросу по всей форме.

Настоящий приказ составлен в день подачи жалобы пострадавшим, подписан вышеназванными лицами и утвержден бригадиром».

Гомес обмакнул перо в чернильницу, стряхнул чернила на промокашку и вывел свое имя и фамилию рядом с подписью Ниэбласа.

■

Человек стоял, прислонившись к дверной притолоке. Он был бос, а штаны засучил до половины икр. Жандармы, взяв винтовки в руки, вошли на постоялый двор.

Прямо из прихожей они попали в полутемный зал. Человек потушил сигарету, сунул окурок в карман и осведомился у жандармов, не за ним ли они пожаловали. Ниэблас отрицательно мотнул головой. Искоса взглянув на непрошеных гостей, человек прошел через зал, раздвинул занавеску из деревянных шариков, укрепленных на проволоке, и проскользнул в ночлежку.

Наконец появился сам Венансио, его, видимо, с трудом добудились, потому что он покачивался на ходу, глядя на посетителей заплывшими от сна глазами.

— По правде сказать, я не поручусь ни за того, ни за другого,— сказал он, подымаясь впереди Гомеса по лестнице.— Оба мои постояльцы, а у меня одно правило — слушай да молчи. Думаете, так легко содержать постоялый двор, который открыт круглые сутки? И все-таки Рафаэль и его жена — люди надежные, их тут знают. Они у меня снимают комнату уже третий год и платят аккуратно.

Словно только что заметив беспорядок в своем туалете, Венансио подтянул штаны и заправил за пояс рубаху.

— Правда, я также ничего не могу сказать дурного и о Хуане Родригесе. По-моему, хотя вы вправе не считаться с моим мнением, он парень молчаливый, не пьет, ничего худого не делает и ни в одной истории не замешан, платит аккуратно, как и все прочие. Конечно, он пташка перелетная, и таким особенно доверять не приходится. Поверьте на слово, хоть я человек и привычный, но все равно неприятно и не очень-то весело видеть, когда в твоем доме посягнули на частную собственность, пускай мой дом всего лишь постоялый двор. Говорю вам все это как частному лицу и очень просил бы вас по возможности не вмешивать меня в это дело. Такая история может повредить моей коммерческой репутации, но вы сами знаете, что я всегда готов помочь правосудию, это уж мой прямой долг.

■

Энергичным движением руки Альберто Меса поправил браслет со светящимся циферблатом часов. Ниэблас увел его прямо с террасы кафе, не дав даже докончить партию в домино. Кафе находилось неподалеку от постоялого двора. По дороге он твердил, что дал показания еще в участке, и не понимает, почему ему не позволили доиграть партию в домино, почему он должен идти снова давать показания.

Кармен с мужем уже спускались по лестнице, позади шагал Венансио, он представил супругов жандармам и указал место, где они могут побеседовать без помех.

— Сначала заслушаем показания вашей жены,— сказал Гомес, обращаясь к Рафаэлю Пересу.— А вас вызовем попозже.

Двое мужчин сидели рядышком на деревянной скамейке, шедшей вдоль стен всего зала, а напротив уселся Венансио — он проводил Кармен с жандармами в свой закуток и теперь молча курил. Зимой на воскресных балах, в перерыве между двумя танцами, на этой самой скамье отдыхали парочки.

Едкий густой дух шел из ночлежки, оттуда доносилось прерывистое дыхание спящих батраков, а порой и тревожное бормотание человека, которого мучит кошмар.

Венансио с любопытством поглядывал на сидевших перед ним. Казалось, он только сейчас обнаружил нечто новое в этих двух мужчинах, одетых в одинаковые брюки и сорочки одного цвета; казалось, видит лишь впервые, как они до смешного похожим жестом подносят ко рту руку с горящей сигаретой. Потом они оба одновременно подошли к выходной двери и встали, прислонившись к косяку. Две непомерно огромные тени упали на тротуар, и слабенький луч луны, освещавший улицу, сразу померк.

■

Кармен Гарсиа прошла через зал, на ходу подолом юбки старалась стереть чернильное пятно с большого пальца правой руки. Перед дверью в ночлежку она улыбнулась и кивнула Альберто Меса, чтобы он шел давать показания. Глаза ее блестели, она зевнула и бросила мужу:

— Пойдем, тебе ведь рано вставать.

Рафаэль Перес Эрмосин покорно последовал за женой. С минуту слышались их шаги, потом в дверной скважине дважды проскрежетал ключ.

■

Когда Альберто Меса вернулся, Венансио, который, посвистывая, стоял у дверей, подошел к нему. Жандармы спрятали бумаги в портфели и положили их перед статуей божьей матери.

— Ну и болван же ты, Альбертино! Месяца не можешь прожить, чтобы не впутаться в какую-нибудь историю!

— Кто, я?

— Ясно ты, не я же.

— Не понимаю, на что ты намекаешь. Есть вещи, от которых мы не вправе отказываться.

— Конечно, много есть кое-чего, что мы с тобой знаем, только незачем болтать об этом направо и налево. Я уже, слава богу, старик, я уже многое повидал на своем веку, так вот, слушай, что я тебе скажу: ты пошел по плохой дороге, я, признаюсь, был о тебе лучшего мнения. Не думал я, что женщина может тебя так окрутить, как эта вот, которая пошла спать.

— О чем ты?

— Да замолчи! Вот уж действительно хватает у человека нахальства, я ведь тебя ни о чем не спрашиваю, а ты со своими объяснениями лезешь. Неужели у тебя разума не хватает, нельзя давать себя обманывать, как мальчишку.

— Я просто хотел оказать услугу, и все тут.

— А тебе как раз бы и не следовало мешаться в такие истории.

— Почему?

— Потому что эта бабенка подолом вертит.

— Но сейчас-то у нее только нас двое — я да муж.

— Вот дурак! Она же просто бешеная! Воображает, что все мужчины от нее без ума, потому-то она и затеяла всю эту историю. Уж поверь мне, я этой проделки ей вовек не прощу. Если я молчу, то потому, что я человек осторожный. Эта история к добру не приведет. Всем она во вред будет, а этой дурехе лестно. У тебя, дружок, уже прорезываются рожки, не воображай, что она только одного мужа в рогачи произвела, а тот несчастный парень еще хлебнет горя в участке. Не хотел бы я быть в его шкуре нынче ночью!

Заметив в конце коридора жандармов, Венансио повысил голос,

нахмурил брови, как бы желая сказать своему собеседнику: «Попридержи язык-то!» — и круто переменил тему разговора:

— Так, значит, до завтра, Альбертин. Не забудь принести мне пустые мешки, если они тебе не нужны. Посмотрим, сдержишь ли ты слово хоть раз в жизни, а мешки мне вот как пригодятся, починим тюфяки, а то они, голубчики, совсем расползлись.

Альберто Меса взглянул на жандармов. Потом мотнул головой и, пожелав всей компании доброй ночи, удалился.

— Спи спокойно, дружище, а главное — не забудь, о чем мы тут с тобой толковали,— сказал Венансио, идя навстречу жандармам. На лице его опять заиграла широкая улыбка, он даже руки раскинул, как бы желая заключить гостей в объятия.

■

Хозяин тихонько отодвинул занавеску, отделявшую вход в ночлежку от зала. Жандармы ждали, облокотясь о стойку.

— Все в порядке,— сказал им Венансио.— Не стоит поднимать шум и будить людей. Я знаю, где его кровать. А то они завтра на мне отыграются, все тюфяки вспорят. Я войду один и скажу, что вы его зовете. Вот и все.

Людское дыхание походило на немолчное бормотание, на размеренно срывающуюся с губ жалобу. Венансио медленно брел по ночлежке. Луч его фонаря золотил ржавые решетки в изножье кроватей, выхватывал из темноты дыни и связки лука, подвешенные к потолочным балкам.

— Надеюсь, нам не придется затевать драку,— сказал Ниэблас.

— Здесь народ мирный. Бедняки ведь! — в глазах Гомеса снова промелькнула жалость.— Как знать, что бы мы с тобой делали, если б жили, как они.

— А запашок тут, доложу я тебе. Помнишь, когда мы были в зарослях, там в палатках точно такой же дух стоял.

— Здесь дух еще погуще, чем был у нас, в жандармских частях.

■

Свет фонаря проник сквозь красную занавеску, и в зал вошел Венансио. За ним шагал Хуан Родригес, застегивая на ходу штаны. Очутившись в зале, он провел ладонью по глазам, будто желая прогнать сон. Но не успел он опомниться, как почувствовал на запястьях холодок наручников и услышал голос Гомеса, объявлявшего, что он, Хуан Родригес, арестован по обвинению в краже, в краже, совершенной на постоялом дворе, где он ночует после работы, как будто между этим постоялым двором, кражей и работой на уборке урожая существовала сама собой разумеющаяся связь.

Хуан с двумя жандармами по бокам медленно пересек зал. Его босые ноги шлепали по паркету в такт с жандармскими сапогами.

— Постой, я сейчас вынесу твои пожитки,— сказал Венансио.

— Подождем до завтра. Сейчас мы его просто задержали, возможно, завтра он будет на свободе.

При этих словах Гомес почувствовал, как учащенно забился пульс Хуана, и от прикосновения к этой волосатой руке он вдруг, как свой собственный, ощутил тоскливый страх этого человека.

Венансио потушил свет. Желтый прямоугольник двери — единственное светлое пятно — внезапно превратился в черный провал. На улице не было ни души. Венансио немного постоял на пороге. А когда вернулся в зал, трое мужчин, перейдя главную улицу, уже шли по дороге к участку.

Почти на всех террасах кафе потушили свет: второй сеанс в кино еще не кончился. На экране с поднятыми вверх руками мчался индеец, окруженный солдатами в синих мундирах. Вдруг пленник ударил голыми пятками под брюхо коня и ускакал. В ярком неестественном свете он свернул на пыльную тропинку. А в следующем кадре он уже валялся мертвым рядом с трупом своего скакуна, глаза его были широко раскрыты, а на спине расплывалось кровавое пятно.

Гомес и Ниэблас оторвались от экрана и разом повернулись к своему пленнику. Опустив голову, не подымая глаз от земли, он шагал медленно, по-крестьянски. Жандармы обменялись понимающим взглядом, и слабая улыбка тронула кончики их губ. Вдали уже светились огоньки поселков и окрестных ферм. На противоположном берегу реки, на пограничной меже среди рисовых полей жгли солому, и дым медленно поднимался к небу, полз среди кустов и тростника. Мрак, царивший на дороге, уступил место зеленовато-грязным огням площади; казарма находилась справа, всего в десятке шагов.

III

Койка была прикреплена к стене двумя железными наугольниками. Глиняный кувшин и цинковая лохань, едко пахнувшая щелочью, составляли всю утварь камеры. Хуан сел, обхватил голову руками, потом потер подбородок, запустил руку в волосы и вдруг заплакал. Мало-помалу глаза его привыкли к темноте. Он впал в какое-то оцепенение, усталость целого дня работы лежала на плечах, как непомерная тяжесть. На крыше заухала сова. Ее придушенное уханье проникло в камеру. Ему почудилось, будто свистит человек, он выпрямился, влез на койку и попытался что-нибудь разглядеть сквозь зарешеченное окно, забранное сверх того еще металлическими ставнями.

Потом он снова сел и полузакрыл глаза — веки упорно слипались. Он потерял представление о времени. Когда сова снова заухала, теперь уже на дереве, возле канала, прямо против окна, глаза его были плотно закрыты и уши ничего не слышали.

Бригадир вошел в сопровождении Ниэбласа. Дверь камеры легонько скрипнула. В коридоре еще горела электрическая лампочка.

Скрежет ключа в скважине разбудил его. Сколько времени он продремал, сидя вот так на койке, подумал Хуан. И еще он подумал о мертвом индейце, неподвижно лежавшем в пыли, припомнил, что видел его во сне, что ему снилось, будто индеец — это он сам, будто он сам мчался на вороном скакуне навстречу свободе и смерти, мчался к далеким, отливавшим охрою горам, над которыми сияло ослепительно-синее небо...

— Выходи,— приказал Ниэблас.

Хуан подчинился и покинул камеру, робко ступая на носках; в сопровождении жандармов он прошел через коридор, пересек патио и попал наконец в канцелярию. Там Ниэблас опять надел на него наручники. Он не противился и стоял, понурившись, не поднимая глаз от грязного, выложенного плитками пола. Ниэблас встал позади арестованного, а бригадир обратился к Хуану:

— Садись, устраивайся поудобнее, а главное — успокойся. Ей-богу, я люблю смелых парней. Таких, что совершают проступок потому, что им так хочется, но потом, если надо, не ломаются, во всем сознаются. Словом, таких, кто умеет применяться к обстоятельствам.

Хименес протянул Хуану бумагу и кисет с табаком, потом ухмыльнулся, заметив, что тот не может скрутить сигарету. И знаком приказал Ниэбласу освободить руки арестованного.

— Ты батрак,— продолжал он,— а батраки, как говорят в наших краях, здоровы курить.

Хуан судорожно свернул сигарету. Его колени дрожали. Он вытянул ноги, чтобы хоть немного расслабить мускулы.

— На рисовых полях не курят. Батрак курит только раз — после конца работы.

— Зачем ты украл цепочку? К нам сюда в Ислу приходят работать, а не воровать драгоценности у женщин и доставлять беспокойство властям. Сидел бы лучше дома, в Эсихе. Ведь сидит же барсук у себя в норе!

— Я ничего не крал.

— Ну ясно, ясно,— произнес за его спиной Ниэблас, внимательно следивший за каждым движением бригадира.— Ясно, ты никогда в жизни не воровал. Мы таких молодчиков знаем, как облупленных. Сейчас начнешь рассказывать, что нет работы, что ее не найти и все в том же роде... А я-то думал, ты не станешь запираться, поймешь, что мы вовсе не такие коварные, как о нас рассказывают. Я-то считал, что ты славный, простой парень, потому так с тобой и обращался. Но, ей-богу, ты меня еще не знаешь! Ты, видать, не слыхал, что за человек Анисето Хименес. Ты не мужчина, у тебя не хватает духу признать, что игра проиграна!

— Я мужчина, и духу у меня хватает. Но только я не крал. У меня была золотая цепочка, она мне досталась от матери, и я ее продал, потому что нуждался в деньгах. А зачем мне деньги были нужны, я, с вашего разрешения, не скажу.

— Они были нужны тебе для грязных делишек. Чтобы играть в карты или забавляться с милашкой. Но ты, мой милый, все понимаешь и знаешь, что раньше или позже придется сказать правду. Это я тебе говорю. А слово у меня крепкое... Ты, голубчик, видать, тертый калач, ты уже не мальчишка, служил в армии, и зря ты тешишь себя пустыми надеждами, зря рассчитываешь втереть нам очки.

Хуан сунул сигарету в рот, губы его дрожали, и сигарета вздрагивала, как цветок каштана на ветру. Анисето Хименес поднес было зажигалку к лицу арестованного, но потом неожиданно ткнул ею Хуану в подбородок.

— Грязный андалузец!

■

Он лежал на полу, прижавшись лицом к плиткам, словно шедший от них холодок приносил ему облегчение. Белесая пена пузырилась в уголках рта, натекла на замызганный пол. Ниэблас нагнулся и снял с него наручники. Силком заставил его подняться и подтолкнул к столу, за которым Анисето Хименес печатал протокол допроса и заключение о передаче дела мировому судье. Хуан стоял перед столом и пошатывался: казалось, будто жандарм воткнул в землю кол, винтовку или штык, чтобы закрепить палатку, которую раскачивал ветер. Казалось, будто Хуан уже не человек, а всего лишь кол, винтовка или штык, воткнутый в землю, или просто геодезическая рейка либо хрупкий стебель, гнущийся на ветру. Казалось, будто он уже не человек, который два часа кряду стойко держался под перекрестным огнем допроса, когда с ним обращались не как с живым существом, а как с ничтожным винтиком гигантского механизма, по чьей воле вся равнина выходила на сбор

урожая, вся равнина от Принсипе Альберто до апельсиновых садов Кории...

Стоя за спиной бригадира, Ниэблас читал протокол допроса:

«...Сего числа в присутствии бригадира, начальника участка, был снят допрос с вышеупомянутого человека, который ответил на предусмотренные процедурой вопросы и показал, что его зовут, как указано выше, что он родом из Эсихи, что ему 26 лет, что он сын Хуана и Луисы, холост, батрак, занятый на уборке урожая, и временно проживает на постоялом дворе у Венансио.

Вопрос: Действительно ли он украл у жены потерпевшего золотую цепочку и образок с изображением божьей матери?

Ответ: Это неправда; он даже не знал, что у этой женщины был образок на цепочке; у него же самого была цепочка и образок с ликом божьей матери, но только другой,— семейная реликвия, которую пришлось продать с убытком, так как ему спешно понадобились деньги; он продал эти предметы человеку, занимающемуся скупкой и продажей такого рода вещиц, но ни имени, ни адреса его не знает.

Поскольку в показаниях обвиняемого обнаружились некоторые противоречия, было решено задать ему дополнительные вопросы, и в результате умело проведенного допроса задержанный был вынужден признать, что два дня назад, воспользовавшись кратковременным отсутствием супруги потерпевшего, он проник в ее незапертую комнату, все там перерыл в поисках ценных вещей, которые можно было бы похитить, и, найдя цепочку, завладел ею, полагая, что она должна стоить довольно дорого. И в самом деле, он выручил за нее 325 песет, которые тут же истратил. Нельзя считать установленным, что у обвиняемого имелись цепочка и образок, доставшиеся ему от родных.

Вопрос: Хочет ли он что-нибудь прибавить?

Ответ: Нет. Он говорил правду и в подтверждение подписывает свои показания в присутствии жандармов и начальника участка, который все это и заверяет...

...На основе показаний Хуана Родригеса Лопеса устанавливается, что он арестован за кражу и будет передан в руки судебных властей, которым надлежит рассматривать подобные дела».

■

Мурашки пробежали по его заледенелым рукам и ногам, нывшим от сильной боли.

Вернувшись в камеру, он был не в силах даже опуститься на соломенный тюфяк и лишь прислонился к стене, уронив одеяло, которое Ниэблас набросил ему на плечи после конца допроса таким же равнодушным жестом, каким покрывают попоной лошадь, выводя ее из манежа. Для них он не человек, а просто некое существо, которое приводят к полному подчинению после долгой и трудной борьбы, сопровождавшейся ударами шпор, коленей и кулаков.

Он вспоминает каждый вопрос бригадира, каждую его гримасу и жест, каждый шорох, раздававшийся в комнате, стук пишущей машинки, и все же ни одно из его слов не было занесено на бумагу, за исключением тех, которые он вынужден был произнести — вполголоса, из последних сил, тех слов, где содержалось признание, соскользнувшее с его губ, когда в голове уже начало мутиться.

И теперь он горько жалеет, что уступил, что ответил «да», особенно жалеет, потому что слово «нет» такое же короткое, как слово «да». Теперь он хорошо знает — это вошло в его кровь и плоть, стало как бы шестым его чувством,— знает, что останавливаться на полпути нельзя;

ради тех, кто собирает колоски, ради идущих рядом жнецов, ради деревенских стариков, ради крестьян, гнущих спины на помещичьих полях, ради браконьеров, прячущихся в густых зарослях,— ради всех них нельзя уступать, надо стойко держаться до конца, до самой смерти. Если даже ты исходишь кровью, как ягненок под ножом мясника.

Он горько жалеет. А между тем мысли его путаются. Они убегают, сознание его дремлет, как у новорожденного или у человека, потерявшего разум. Лишь бы не думать об испытанном унижении и страхе, который охватил его, когда он подписывал протокол допроса, нацарапав каракулями свое имя внизу листа. Такой же страх он испытывал, когда учился грамоте, сидя за каменным столом в казарменной столовой, где пахло прокисшей похлебкой. Ему кажется, будто он видит ученическую тетрадь, пропитанную жиром, столь же въедливым, как казарменный дух; теперь он видит и саму эту казарму, прилепившуюся у подножия заснеженных вершин на пиренейской границе, и зеленую долину, и речку, куда он ходил купаться, дрожа в холодной даже летом воде и глядя на белые зубцы горной цепи, по другую сторону которой лежал, как говорили, совсем иной мир, во всяком случае не такой, как тут.

Его начинает мучить жажда. Он вспоминает о глиняном кувшине, стоявшем возле койки. И медленно движется, держась за стены, ползет по полу, и наконец пальцы его нащупывают пористую поверхность. Но зря он так старался — вместо освежающей влаги он ощущает губами только сухую и пыльную глину. Все же он запрокидывает кувшин, но тут от него ускользает последняя нить мысли, белая пелена застилает взор, и страшная тяжесть наваливается на затылок. Он лишается чувств и, к великой своей радости, избавляется от гнета времени, ибо он не способен его измерить, осознать, раз четверть часа могут показаться вечностью. Он уже не здесь, он уже скачет, свободный и счастливый, скачет по бескрайней зеленой долине, которую знает еще с той далекой поры, когда ему доверяли пасти табун и он чувствовал себя всемогущим.

...Ансельмо и Хосе Мануэль сидят за столом на постоялом дворе в ожидании обеда. А потом они снова тронутся в путь. И вот он проходит мимо и, как обычно, здоровается с ними, потому что они все трое — друзья детства. Его приглашают присесть и заказать что-нибудь, все, что ему по душе,— кружку пива, бутылку красного вина или, если он уже пообедал, стакан водки. Он отрицательно мотает головой и проходит дальше. Как и большинство батраков, он на ходу втягивает голову в плечи и сам знает за собой эту привычку. Ансельмо и Хосе Мануэль, которые уже не работают в поле, а перевозят грузы на машинах, ходят совсем иначе. Но как бы то ни было, а они все трое росли вместе, вместе разоряли птичьи гнезда, вместе купались в ручье.

— Ты совсем закоченела,— говорит он, подходя к ней.

— Зачем ты пришел? Уж лучше бы оставался на постоялом дворе. Я ведь видела, как ты болтал с Хосе Мануэлем и Ансельмо.

Пучки света, которые отбрасывают фары грузовиков, проникают в оливковую рощу, озаряют лицо девушки.

— Отчего ты не остался с ними?

— Ты сама знаешь, мне не хотелось.

Дорога вьется среди узловатых олив, теряется среди хлебов. Пронзительный звук автомобильного гудка время от времени доносится до них, и в свете фар проплывают клубы дыма.

— Нет, сегодня я не хочу. Это опасно. Мы и так зашли слишком далеко.

На поле, вспаханном под пар, вспыхивают фосфоресцирующие, какие-то сказочные огоньки. Как в дни молотьбы, трещит тростник.

В темноте зрачки девушки расширяются, он берет ее за руку, частый пульс становится еще чаще, а когда он медленно проводит по ее стану рукой, под ситцевым платьем вздрагивают острые молодые груди.

— Что ты сказала?

— Я сказала, что мы и так слишком далеко зашли. Да, да. Я еще ничего твердо не знаю. Я еще не уверена. Но, во всяком случае, такого со мной никогда не бывало. Ведь у меня все происходит, как по часам.

Говоря это, она густо краснеет, и ему чудится, будто к ее опаленным солнцем щекам приливает жар тех знойных изнуряющих дней, когда она пропалывает поля маиса в Ластрас или в Кортихада-де-Аларкон: простая поденщица, она работает в сплетенной из пальмового волокна шляпе и в длинных брюках, поверх которых надета юбка.

Когда они поднимаются с земли и выходят из зарослей тростника, над холмами, что тянутся там, в глубине равнины, зажигаются первые звезды.

— Возможно, нынче ночью это и случилось,— говорит она.

— Но ведь никогда ничего не случалось.

— А если случится, ты даже не узнаешь. Ты будешь работать на рисовых полях или собирать виноград. Лучше бы тебе остаться со своими друзьями Ансельмо и Хосе Мануэлем.

— Они мне не друзья.

— Все вы, мужчины, отпираетесь, после того как погубили девушку.

В полузабытье он вновь ощущает, как бьется ее сердце под голубым ситцевым платьем. Отеческие советы Хенаро перемежаются с шорохами ночи в тростниках Эсихи. Потом, как в тумане, перед ним возникают глаза Кармен: она дерзко смотрит на него и, плотно сжав губы, указывает пальцем на коридор и лестницу на постоялом дворе Венансио — она приглашает его подняться следом за нею в спальню, а он отказывается. Спору нет, она может пробудить желание, эта Кармен, жена Рафаэля Переса, у нее гладкая розовая кожа, но ведь Хуан не привык пользоваться тем, что ему не принадлежит. К тому же все знают, какова эта Кармен, она готова отдаться любому, кого волнует ее томный голос, блеск глаз, гибкость движений. Но, как справедливо говорит Хенаро, да и сам Хуан это отлично знает, надо быть порядочным человеком. Впрочем, он научился обладать женщиной лишь в воображении, жить воспоминаниями о близости с нею и даже усмирять желание, которое временами мучит его, хотя он от зари до зари гнет спину в поле. Он знает также — и Хенаро не раз ему об этом напоминал в те дни, когда они работали вместе,— что внезапно может приключиться любая беда, и поэтому ум твой должен быть всегда ясен. Вот почему человек не должен предаваться утехам и порокам, которые терзают его и расслабляют волю. Напротив, надо постоянно быть начеку и не допускать, чтобы голова у тебя кружилась от страсти или вина.

Теперь, в полузабытье, он радуется, что сумел себя обуздать, и даже раны его вроде не так болят. Туман медленно рассеивается, после него остается только оцепенение. И наконец приходит успокоительный сон. Воспоминания улетучиваются, он больше не слышит приглушенных голосов в зарослях тростника и больше не видет Кармен, которая завлекала его, стоя у лестницы. Он забывает даже, что эта женщина не простила ему отказа, не простила обиды, ибо она привыкла к тому, что мужчины сразу идут на ее зов: вот почему она так жестоко наказала его за неповиновение, обвинив в краже образка, который висел в ложбинке между ее грудей... Этот образок с ликом божьей матери внезапно напоминает ему минуты, когда во время богомолья мужчины, женщины и даже подростки яростно расталкивают толпу, стремясь кончиками пальцев прикоснуться к священному одеянию богоматери, а потом все предаются бурному веселью, и оно на один лишь вечер наполняет шумом и

гамом обычно пустынную обитель, затерянную на просторах Марисмы-де-Уэльва, по ту сторону оливковых рощ Альхарафе и розовых виноградников Кондадо... Сейчас ушли даже воспоминания. Благодатный сон медленно приближается, и боль постепенно исчезает. Остаются глубокая усталость и ясность — так, должно быть, чувствует себя человек, когда вскрывает вены и кровь, вытекая из жил, избавляет его от всех горестей жизни.

IV

Рыжеватый утренний свет заливал камеру. Он проснулся и увидел, что лежит прямо на полу, завернувшись в одеяло. Сквозь расположенное под самым потолком окно в одиночку проникали звуки голосов и выхлопы автомобилей. По дороге катили небольшие грузовики, держа путь на рисовые поля. На минуту ему показалось, будто он, как обычно, едет в прицепе тягача, направляясь в Лисса-Канельи. В горле и во рту у него пересохло, нёбо было шершавое, вспухшее, и все же пить ему не хотелось; он вздрогнул, как некогда вздрагивал в казарме, заслышав зорю. От одеяла шел едкий и складковато-затхлый запах карболки. Запах этот тоже напоминал казарму, и одеяло было точно такое, как там: такого же цвета и такое же тяжелое, как то, которое он накидывал на плечи, когда ежедневно после обеда проводил по несколько часов перед манежем, расчищая снег, чтобы можно было выпустить лошадей попастись и порезвиться на траве. Нередко он спал возле них, так как предпочитал запах соломы, конского навоза и пота запаху, стоявшему в казарме, где спала их рота, он предпочитал теплую конюшню холодным баракам, где дрожал даже под одеялом, потерянно глядя перед собой, блуждая мыслью далеко-далеко.

Точно во сне, он услышал, как люди по слогам выкликают его имя, но он не в силах был открыть глаза. Плечи его больше не ныли, теперь боль притаилась где-то внутри. Казалось, она гложет ключицы, позвонки, поясницу и отдается даже в паху. Стоя на тротуаре, по ту сторону стены, люди продолжали звать его, сейчас он уже различал голоса товарищей: хриплый бас Саласа, монотонное бормотание Хусто Фернандеса, крестьянский говорок Сириако Гусмана и Игнасио Пеньи, и все, как обычно, покрывал степенный, ровный голос Хенаро. Затем голоса стали постепенно удаляться, теперь они звучали лишь в его воображении. Наконец он открыл глаза. День медленно занимался, и он уже начинал различать очертания камеры, кувшин, покрытый густым слоем пыли, и ржавые ножки тюремной койки.

— Родригес, если у тебя есть деньги и ты хочешь, чтобы тебе купили какой-нибудь еды на завтрак, говори сразу: я поведу тебя сейчас умываться.

Затвор заскрежетал, и жандарм почти дружеским жестом предложил ему выйти из камеры.

Хуан выпрямился, протиснулся свозь дверцу в решетке и пошел по коридору следом за жандармом; когда они очутились в патио, тот указал ему на колонку. При виде воды он снова вздрогнул, но все же подставил голову под ледяную струю и потер щеки кончиками пальцев, от холода у него застучали зубы. Он боялся притронуться к разбитой губе.

— Если желаешь побриться, парикмахер в камеру придет, это будет стоить не больше трех песет, а он заодно и волосы тебе подровняет.

Хуан вытер лицо какой-то тряпицей и знаком спросил у жандарма, можно ли вымыть ноги.

— Давай, только быстрее.

Вода грязной лужицей растекалась по узорчатому орнаменту пли-

ток, и присохшая к ногам корка земли поддалась. Когда он отошел от колонки, с его штанов стекала вода, хоть он и подвернул их; он остановился посреди патио, пытаясь отжать брючину, и жандарм снова спросил, не надо ли привести парикмахера и послать за едой. Он только помотал головой, вытер ноги и возвратился в камеру.

Голод уже начал терзать его. Ему были знакомы эти колики, он испытывал их не раз, но в это утро чувство голода было особенно острым, его не обмануть горбушкой хлеба, селедкой и стаканом вина. Все, что он съел накануне, сидя, как обычно, в тени еще не сжатых колосьев на краю рисового поля, теперь клубком поднялось к горлу: он ощутил даже кислый привкус похлебки и сладковатый вкус плодов кактуса. После еды товарищи выпили по стаканчику вина, а он удовольствовался чашкой козьего молока. И теперь он страдал от голода, как не страдал уже много лет; его подташнивало, а тут еще мучительно ныла рана, и боль распространялась от плеча к позвонкам.

Он расстелил одеяло на койке и так старательно сложил его, словно оно давно уже ему принадлежало. Затем сел поверх одеяла и — несмотря на боль, тревогу и страх — стал думать только о голоде, ему припоминалось то чувство голода, которое он испытывал, когда еще ребенком вместе с братишками цеплялся за материнский передник, выпрашивая кусочек хлеба: они вечно недоедали, ибо «дела наши так плохи,— устало объяснял отец,— что в доме даже горбушки нет, даже сухой корки, которую можно бы пожевать»...

Шум на дороге медленно затих. Солнце поднялось уже высоко, и его первый луч проскользнул в камеру.

Раздался третий удар колокола, призывавшего к утренней мессе. Чайки чертили круги вокруг флюгера и с криком исчезали где-то на левом берегу реки. Крестьяне из Колинаса уже расставляли деревянные загородки и наперебой расхваливали свои дыни. По светло-голубому небу плыли летние почти прозрачные облачка с разодранными пушистыми краями. По желтой от солнца площади босоногие ребятишки гоняли тряпичный мяч, женщины выстроились вереницей возле колонки в ожидании воды. Завидя конвой, они начали шептаться, подталкивая локтем зазевавшихся.

На тротуаре перед постоялым двором Венансио стояли, ожидая, пока его проведут, крестьяне, с которыми он вместе работал на уборке риса. Хенаро Инфантес первый отделился от группы мужчин и пересек улицу.

— С вашего разрешения, я скажу несколько слов своему товарищу.

— Тебе уже утром объясняли, Инфантес, что это не положено. Если судья прикажет освободить его из-под стражи, он к вечеру вернется домой,— ответил Гомес.

— Не запретишь же ты сказать несколько слов человеку, которого ведут в тюрьму! — И, повысив голос, Инфантес добавил: — Помни, мы с тобой, Хуан! Мы нарочно не вышли на работу, чтобы с тобой попрощаться.

— К тебе тут относятся с уважением, Инфантес, все знают, что ты человек честный. Но не забывай: даже за меньшее людей не раз обвиняли в сообщничестве с преступником. Отойди подобру, Инфантес.

Все четверо продолжали стоять посреди мостовой, в белесой пыли, словно никто не желал уходить первым. Жандармы, видимо, заколебались, когда к ним подошел еще один крестьянин, потом другой, третий и, наконец, четвертый — он держал в руке холщовые туфли на веревочной подошве; Хенаро взял эти туфли кончиками пальцев и, ничего не говоря, показал их жандармам, как будто туфли сами по себе могли послужить основанием для этой непредвиденной остановки, как будто крестьяне и не просили разрешения поговорить с Хуаном, а лишь наме-

ревались передать ему пару новых белых туфель, от которых остро пахло землей и свежей пенькою.

— Не думаю, что это преступление,— начал Хенаро, размахивая левой рукой. И, притронувшись правой рукой ко лбу, прибавил:— Никак у меня не укладывается в голове, что я совершу проступок, если передам пару холщовых туфель человеку, идущему босиком. Нет, правда, не укладывается.

— Возьми туфли, Родригес,— сказал Гомес.— Не думай, будто жандармы заинтересованы в том, чтобы люди в тюрьму шли босыми.

Сириако Гусман взял туфли, опустился на колени и стал неторопливо обувать Хуана. Вся артель окружила их кольцом. Жандармы молчали. Подошли несколько женщин, никто не раскрывал рта, даже ребятишки. Сириако закончил свое дело, и все медленно отошли прочь.

Когда конвойные тронулись в путь, крестьяне, стоявшие перед входом на постоялый двор, приветственно замахали головными уборами: кто приподнял кепку, кто — шляпу из пальмового волокна, кто — берет.

— Мы с тобой, Хуан! Мы с тобой! Помни это! — снова крикнул Хенаро Инфантес.

Хосе Салас откашлялся, вытер губы тыльной стороной ладони, расстегнул ворот рубахи, оперся на плечо Рафаэля Мендеса и затянул:

Они ведут меня в тюрьму,
В Утреру, что ли? Не пойму.
Там буду я томиться...
Привал устроив, не спешат,
Охотно всех водой поят,
Мне ж не дают напиться.

Хенаро выстроил своих людей на краю тротуара. Конвой скрылся вдали, там, где дорога поворачивала на север. На площади ребятишки вернулись к своим играм, а женщины — к своим делам, наполнив кувшины из колонки, они разошлись по домам.

— Человек никогда не знает, что готовит ему завтрашний день,— сказал Хенаро.— Этого никто из нас не знает. Человек похож на оливковую ветвь. Садовник, подрезающий деревья, срубает ветку и при этом не задумывается, высоко она растет или низко, будет от нее дереву вред или польза, взаправду ли она годится только на корм овцам или же, напротив, лучше ее не трогать, чтоб весной она принесла маслины. Но садовник, подрезающий деревья, не виноват. Он делает лишь то, что ему приказали. Так вот и они,— добавил Инфантес, показывая на жандармов, которые казались теперь далекой точкой на дороге.— Они не лучше и не хуже садовника, подрезающего дерево. И у него, и у них есть хозяин, он отдает им приказы, он их кормит и каждый день спрашивает у них отчет.

Крестьяне мало-помалу успокоились. Слова Хенаро, видимо, даже не достигали их слуха или, во всяком случае, представлялись им бессвязным сочетанием звуков. Каждый уже погрузился в свои заботы: утро для работы потеряно, деньги пропали, предстоит объяснение с надсмотрщиком... С чувством собственного бессилия они думали о возвращении к родному очагу, к жене и детям, об осени, которая уже приближается, о долгих зимних днях, о том, что новый год не принесет уверенности в завтрашнем дне, что будущей весной и летом им вновь придется странствовать по стране в поисках работы.

— Не лучше и не хуже садовника,— повторил Инфантес.

Раз уж утро было потеряно, разумнее всего было использовать его для отдыха. Крестьяне небольшими группками потянулись к трактиру. Хенаро и Хосе Салас остались вдвоем и молча поглядели друг на друга.

— Вот так оно всегда в жизни бывает,— пробормотал Инфантес.—

Мы, как водится, пропели песню узника, и только. И песенка эта унесла нашу боль и наш гнев.

— Так уж в жизни устроено. Хотим мы того или нет.

— Хуан мужчина, тюрьма его не сломит, если даже они упрячут его туда. Но только ему важнее, чем нам, вернуться домой. Ведь наши дети уже выросли, и женам — не привыкать к беде, а он только начинает жить.

Солнце заливало теперь весь тротуар. На высоком крутом берегу канала, возле шлюза, плясали тени камыша. В низкой траве прихотливо извивался водяной уж.

— Вот так оно всегда в жизни бывает,— повторил Инфантес.— Всегда.

На перекрестке раздался крик уличного торговца, и тогда оба крестьянина, взявшись за руки, почти обнявшись, стали подниматься по косогору, на котором стоял трактир.

V

До ближайшего селения было три километра, они прошли этот путь размеренным шагом. Всюду, насколько хватал глаз, крестьяне убирали урожай. Тележка обогнула осушительную канаву, выехала на дорогу. Аккуратно уложенные чуть наискось колосья были крепко привязаны к скрипящим доскам. Высоко в небе показалась стайка уток, они летели, высматривая тенистые и прохладные заросли камыша; Хуан и его конвойные уже оставили позади селение Альфонсо XIII и направлялись теперь к Эль-Ринкон-де-лос-Лириос.

Последние следы утренней дымки рассеялись, и небо стало по-летнему ясным. По треуголкам жандармов пробегали розоватые солнечные блики. На блестевших под лучами сушильнях лежали кучи золотистого неочищенного зерна — его скоро обдерут жернова мельницы. Хуан больше не думал о товарищах, о сцене прощания и о Саласе, который так взволнованно пропел песню о тюрьме. Свежий ветерок приносил успокоение. Он чувствовал, как возле ключицы, там, где рубаха прикасалась к ране, сильно пульсирует кровь.

— Хочу пить,— сказал он, когда они вошли в Ринкон.

Слева от дороги виднелась водоразборная колонка, над нею висела табличка с указанием времени, когда люди имеют право брать воду. Оставалось ждать еще почти два часа.

— Напьешься на постоялом дворе, небось не помрешь,— проворчал Висенте Ордоньес.— Но так и быть. Не хочу, чтобы говорили, будто мы отказали тебе в кружке воды.

Висенте вместе с Гомесом отрядили конвоировать арестованного.

Лачуги выстроились вдоль канала, перпендикулярно к дороге. Триста метров соломенных крыш и грязи — вот и все селение.

— Попросим у кого-нибудь кувшин, а вода в этих лачугах, верно, найдется,— сказал Гомес.

Справа на берегу реки какая-то женщина стирала белье. Они направились к ней. Среди сорной травы на откосе в корзине из ивовых прутьев спал младенец. Женщина еще издали заметила их, выпрямилась, вытерла руки о передник. Висенте Ордоньес выступил вперед. Женщина, погладив малыша по головенке, ушла в дом. Почти тотчас же она показалась на пороге с красным глиняным кувшином. Хуан попытался было взять кувшин ладонями, но женщина не позволила ему, она сама поднесла кувшин к его губам и, упершись локтями в грудь, поддерживала кувшин, пока он пил.

— Только таких бедняков, как мы с тобой, судят,— сказала она, опуская кувшин.

Хуан поблагодарил.

Она взяла младенца на руки, и он склонился над ним. Жандармы уже двинулись дальше, приклады их винтовок волочились в пыли.

— Теперь тебе придется признать, что с тобой обращались, как с коронованной особой,— заявил Ордоньес, выходя на дорогу.— Жаловаться тебе не на что.

Дорога уходила вперед совершенно прямо, без единого поворота, ни оросительные канавы, ни таблички с надписью не нарушали монотонного пейзажа рисовых полей. В небе щебетали птицы и стайками опускались на колючие изгороди. На фоне пепельно-серой равнины выделялись пурпурные пятна. Вдали, у подножия холмов, батраки убирали рис.

Теперь они шли медленно. Справа, у излучины широкого рукава реки, завопила пароходная сирена. Внезапный шум самолета заставил их поднять головы. Черный, почти неподвижно висевший в воздухе старенький «юнкерс» медленно пролетал невысоко над землей. Все три мотора яростно ревели. Можно было различить многочисленные окошечки на ветхой, герметически закрытой кабине, масляные потеки под моторами. Он пошел на снижение и скрылся из глаз в конце равнины.

— Смотри-ка, эта старая колымага скрипит со времен войны. А ведь самолет еще хоть куда,— заметил Ордоньес.— Точно такие машины бомбардировали фронт у Эльбы. Ему уже больше двадцати лет, а вот поди ты, летает.

— У, дрянь какая! Нагляделся я на них: они сбрасывали бомбы прямо на села и деревни.

После поворота дорога стала шире. Здесь жатва уже закончилась. Ослепительно-белые фермы жались друг к другу справа от дороги. Несколько лошадей и быков для корриды отбились от табунов и стад и паслись на стерне, неподалеку от постоялого двора. Дюжина верблюдов и низкорослых осликов разрывала в поисках пищи кучи спаленной летним зноем соломы, сваленной позади постоялого двора.

— Славные животные, и уж такие неприхотливые! — воскликнул Ордоньес, указывая на верблюдов.— Когда я впервые приехал сюда и увидел их в Веге возле пальм, я решил, что ничего не изменилось, что я по-прежнему на Канарских островах. Мне почудилось, что все это сон и что после трехдневного путешествия на пароходе я вернулся туда, откуда уехал.

При этих словах он от души рассмеялся. Хуан и Гомес вторили ему. Теперь они смеялись хором, и могло показаться, будто все трое забыли, кто они такие, что их сюда привело, и на минуту превратились в трех свободных людей, которые идут себе вперед без всякой цели, радуясь ясному летнему утру.

Из-за ограды выглядывали верхушки деревьев, ветер клонил их книзу, и от листвы веяло прохладой. Два мула, запряженные в тележку, ожидали хозяина у кювета. На пороге трактира показался человек, на нем был широкий пояс из черного шелка, он подошел к мулам и подобрал свисавшие до земли вожжи. Поравнявшись с ним, Гомес спросил о здоровье его сына.

— Он здесь,— ответил возница.— Видишь, вон сидит на приступке, неподвижный, как ангелочек. Он останется тут до тех пор, пока пресвятая дева его не исцелит. Или не возьмет к себе на небо, и это, пожалуй, будет к лучшему, потому что он только мучается.

Одним прыжком он вскочил на передок старой тележки и, чертыхаясь, взмахнул кнутом, погоняя мулов. Трактирщик вышел навстречу конвою. Приветственно помахав рукой, он быстро поставил три железных стула возле беленой стены, под крытым навесом. Вьющийся виноград карабкался к балкону второго этажа.

— Заказывайте, что хотите, наша фирма за все платит. По чашечке кофе или, может, чего-нибудь прохладительного? А ты, приятель, что-то уж очень бледен,— сказал он, взглянув на Хуана,— тебе не помешало бы выпить рюмочку коньяку, да покрепче.

— Мы не привыкли пить на службе. А тем более сегодня, ведь мы в конвое. Спасибо за предложение. Разве что из уважения к вам выпьем по чашечке кофе. Ну, а ему немного коньяку не повредит.

Трактирщик одернул передник и вошел в дом. Арестант и конвоиры молча сидели в беседке, увитой виноградом. Гомес вытащил ключ от наручников; почувствовав, что руки его свободны, Хуан уронил их чуть не до земли. Ордоньес достал пачку сигарет и пустил ее по кругу. После первой же затяжки перед глазами Хуана поплыл туман, расцвеченный блестками. Снова появился трактирщик с пластмассовым подносом в руках. Он поставил кофе и коньяк на столик и подкатил его к гостям.

— Сейчас тут проедет Дамиан. Если хотите, он подбросит вас до Пуэблы, я сам его попрошу. Это сократит вам путь на несколько километров.

Жандармы размешивали кофе алюминиевыми ложечками, а Хуан осторожно отхлебывал коньяк. Трактирщик исчез и тут же вернулся с тремя стаканами воды.

— Время не ждет, поторапливайтесь. Не успеете докурить сигарету, как уже подкатит Дамиан.

...Постоялый двор и роща высоких эвкалиптов остались слева, старенькая машина, тарахтя, взбиралась на пепельно-серые холмы, где темнели пятна стерни. Жандармы и арестованный устроились позади, привалившись спиной к канистре с бензином. Рисовые поля уступили место пастбищам. Стадо быков растянулось вдоль пыльной дороги, которая терялась вдали, где-то на берегах большого рукава реки. Солнце уже стояло высоко, оно было совершенно круглое, золотое, нестерпимо яркое.

Когда машина свернула на боковую дорогу, Хуан окончательно открыл глаза. Прямо перед ним возникли, тесно сгрудившись, беленные известью дома селения. Он не узнавал местности, хотя дней двадцать назад проходил тут с узлом за спиной и стареньким солдатским сундучком в руке. Сидевшие с ним рядом жандармы молчали. От их военной выправки уже ничего не осталось, винтовки они вяло держали на коленях.

Слева показался небольшой лесок — последнее темное пятно. Одолев половину подъема, машина замедлила ход. В этом месте смыкались две рощи, и Хуану вдруг пришло в голову, что он мог бы спрыгнуть на ходу. Он успеет добежать до деревьев, а потом побредет километр за километром среди сосен, эвкалиптов и тополей; забирая все влево и влево, он достигнет Пиласа и Афналькасара, а потом дойдет до Вильямаврике и до моря. Пока он раздумывал, роща осталась позади. Если б он спрыгнул, у него был бы шанс стать свободным. Возможно, он потерпел бы неудачу, но шанс у него все же был. Быть может, пули сразили бы его насмерть, но он мог бы и уцелеть, убежать и укрыться среди камышей этого безбрежного болота. Словно угадав мысли арестованного, Ордоньес поднял глаза. Затем вытянул ноги так, что сапоги его громко стукнули о деревянное дно кузова, и стряхнул пыль со своих тиковых штанов, потом снова поднял на Хуана испытующий взгляд — так смотрит погонщик на скотину. Гомес тоже сбросил с себя дремоту и одернул мундир. Теперь они проезжали мимо первых домов Пуэблы. Дамиан повернул голову.

— Довезу вас, пожалуй, до дверей суда, чтоб вам не тащиться через весь городок.

Какая-то девочка посыпала мокрыми опилками асфальт тротуара. Посреди улицы ребятишки в лохмотьях гонялись друг за другом; завидя Дамиана, они испуганно разбежались. Чуть подальше женщины мыли крылечки, они распрямились, вытерли руки о края передников, поправили шпильки в волосах и застыли в молчании, провожая глазами машину. Какая-то старуха, приспособив решетку окна, плела длинную веревку, стоявшая рядом девочка передавала ей зеленоватые пучки конопли. Завидя конвойных, старуха прекратила работу и что-то прошептала девочке на ухо.

Наконец машина остановилась перед помещением суда — одноэтажным домом, беленным известкой; зеленые ставни и железные решетки его облупились, цоколь был покрыт красноватой охрой.

Дверь была заперта. Дамиан спрыгнул на землю и взялся за дверной молоток, жандармы тем временем помогали арестованному сойти: опираясь на скованные руки, он медленно скользил по дну машины.

— Селестино на складе,— пояснила какая-то женщина с порога соседнего дома.— Обождите, я пошлю за ним сына. У нашего судьи дел хватает, хорош бы он был, коли сидел бы сложа руки за письменным столом!

Войдя в здание суда, Селестино Модехар, мировой судья, снял коленкоровый фартук и повесил его на гвоздь в приемной. Потом, потирая руки, уселся за стол. Секретарь, вошедший чуть погодя с дешевой сигаретой в зубах, быстро отстукал на машинке какую-то бумагу. Он передал ее судье, и тот начал читать с равнодушным видом — Модехара гораздо больше занимали глаза Родригеса, чем слова, излагавшие факты. У судьи был при этом такой вид, будто он не столько искал доказательств преступления, сколько старался понять, сговорчив ли стоявший перед ним мужчина, разгадать по биению его сердца, по его тяжелому дыханию, как отнесется он к той страшной жизни, что ждет его за тюремной решеткой.

Судья встал и провел кончиками пальцев по вспотевшим вискам, к которым прилипли опилки. В его ведении находилась артель плотников на лесопилке, где конопатили лодки для ловли креветок, изготовляли ярма для воловьих упряжек и делали деревянные колеса к повозкам для всей округи.

— Желаю тебе, парень, чтобы подозрения не подтвердились и чтобы ты благополучно выпутался из этой неприятной истории.

— Если мы вам больше не нужны, то, с вашего разрешения, двинемся.

Гомес поклонился судье и отошел в сторонку, чтобы пропустить Модехара и секретаря, которые направлялись в приемную. Жандармы и Хуан двинулись за ними следом.

— Если твое дело уладится,— сказал судья, выходя вместе с секретарем на залитую солнцем улицу,— и ты не захочешь возвращаться на рисовые поля, я устрою тебя на лесопильный завод. Платить тебе будут по тарифу. Если не будешь лениться, сможешь неплохо зарабатывать. Я это говорю всерьез.

— Пошли,— сказал Гомес.— Если успеем сесть в первый трамвай, то через час будем уже на месте. Ты не больно-то надейся, парень, что бы тебе ни говорили. Но, по-моему, ты сумеешь держаться как мужчина, если даже все повернется в плохую сторону.

Влажный ветер врывался в окна трамвая, принося с собой запахи фруктовых садов и морского прибоя. С севера наползали студенистые облака.

На Хуана никто не обращал внимания, потому что они сели на передние деревянные скамьи возле вагоновожатого. Жандармы неторопливо и негромко переговаривались на своем казарменном жаргоне:

скажут два слова по-человечески, а потом снова начнут сыпать штампованными фразами. Трамвай проехал мимо храма Сердца господня, который как бы парил над городскими холмами. У подножия храма тщательно подстриженные мирты, розовые кусты и розмарин образовывали слова: «Во славу божию».

Ордоньес жестом указал на Хуана Родригеса: арестованный сидел между конвойными, молча глядя на фигуру Христа — раскинув руки на кресте, распятый будто стремился обнять всю округу. Хуан глядел на руки Христа, на ступени каменной лестницы, глядел как одержимый, словно надеялся отыскать здесь следы труда своего отца: тот участвовал в сооружении храма, как каменотес, именно здесь ему и свалился на спину камень. Камень пробил отцу правое легкое, смертельно ранив его; больной медленно таял и угас одиннадцать месяцев спустя. Фирма заявила, что несчастный случай произошел по вине самого рабочего, что причиной всего, как объяснил хозяйский врач,— болезнь, гнездившаяся в теле каменотеса еще до того, как он нанялся работать на постройку.

Хуан старался обнаружить следы труда своего отца в каждом камне, в каждом углу храма, он твердил себе, что печать этой большой крестьянской руки сохранится на камнях до тех пор, пока они будут выситься тут и пока мирты и розмарин будут цвести на склонах холма, и даже когда кустарник перестанет расти, все равно и тогда на холме сохранятся следы отцовского труда, пота и крови. Холм сохранит их, даже если на равнине останется всего лишь одно апельсиновое дерево, на фасаде городских домов — лишь одна капля извести, а на цоколе домов — лишь один мазок синей краски.

Шум самолета, развернувшегося в небе, перед тем как пойти на посадку, вывел его из задумчивости. Трамвай углубился теперь в предместье, и по сторонам замелькали бесчисленные хибарки, наполовину скрытые кактусами и агавами. Тут пахло грязью, мокрым бельем и человеческими испражнениями.

Трамвай остановился на конечной остановке — на площади Альтосано. На мосту Изабеллы II солнце золотило купол башенки, и река, казалось, замедляла течение возле угрюмых садов Гидрографического общества.

VI

Муха надсадно жужжала в комнате; письмоводитель суда возвратился из кабинета следователя.

— Его милость постановила подвергнуть тебя тюремному заключению,— объявил он.— Правила судебной процедуры предусматривают содержание под стражей на срок не более семидесяти двух часов для проведения дознания. После чего против тебя будет возбуждено судебное дело либо тебя отпустят на все четыре стороны. Это будет зависеть от показаний свидетелей.

Наручники щелкнули мягко, почти неслышно.

...Хуан испытывал какое-то удивительное спокойствие, словно голубка прикрыла ему глаза своими крыльями и распустила веером белый хвост, чтобы защитить его. Теперь, перестав грезить и осознав все происходящее, он вновь ощутил раздражение, как от укуса пчелы.

Рубаха на его груди была распахнута, ему казалось, будто из всех пор его тела выступает пот. Он глубоко, почти до боли, вдохнул терпкий, едкий воздух, смешанный с парами йода и формалина.

Врач курил, упершись локтями в подоконник широкого окна.

— Такой случай правилами судебной процедуры не предусмотрен.

Гомес и Ордоньес пожали плечами.

— Что я могу вам сказать? Напрасно вы меня уговариваете. По-моему, самое лучшее — позвонить следователю и объяснить ему все.

— Поверьте, доктор, я бы все уладил, если бы вы на четверть часика оставили меня наедине с обвиняемым.

Ордоньес осекся, заметив, что Гомес недовольно нахмурил брови и медленно провел платком под треуголкой. Гомесу было явно не по себе. Ему не понравились слова Ордоньеса, а главное — он не видел выхода из этого малоприятного для них положения.

— Дело в том, что он не в состоянии идти. Просто не знаю, как быть.

Врач подошел к Гомесу, медленно стряхнул пепел с сигареты.

— Что бы ни говорил ваш коллега,— продолжал он,— у меня есть свои профессиональные соображения, и я действую согласно им. Раз я так говорю, значит, так и есть.

— Прошу прощения,— снова заговорил Ордоньес, для пущей убедительности широко разводя руками и переступая с ноги на ногу,— но только у вас нет опыта. Вы еще не привыкли к этому сброду. Такому человеку ничего не стоит прикинуться, будто он в обмороке, чуть что грохнется на землю и катается по ней, как собака. Обморок кончился? Вот и отлично. Будь я на вашем месте, доктор, не стал бы я морочить себе голову из-за такого субъекта.

Врач потушил сигарету о подоконник и подошел к койке.

(Огни на постоялом дворе погасли, подфарники грузовиков, стоявших на обочине кювета, мерцали в ночи.

— Лучше бы ты оставался со своими друзьями, с Хосе Мануэлем и Ансельмо,— повторяет она.

Перед тем как уйти, он долго целует ее: это прощальный поцелуй, горячий и спокойный.)

Теперь он вновь чувствует на губах вкус этого жаркого поцелуя...

Врач наклонился над ним и пощупал пульс. Хуан ощущал биение крови в запястье, она поднималась вверх по руке, достигала шеи и внезапно разлеталась множеством искр, они сверкали и гасли у него перед глазами.

— Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо. Все прошло.

— Мне очень жаль, но тебе придется идти с ними.

■

На башенках наружной стены сверкали железные прутья бойниц. У входа высилась фигура божьей матери, окутанная желтоватой солнечной дымкой. Арестант в полосатой одежде подстригал во дворе розовые кусты и поливал куртины герани. Входя, жандармы отдали честь часовому. К ним подошел бригадир и указал дорогу. Когда они прошли первые ворота, надзиратель взял из рук Гомеса конверт.

— Обождите,— обратился он к жандармам.— Я должен вручить вам расписку о принятии арестованного.

С этими словами он исчез в полутемном коридоре.

Хуан обернулся. За решеткой в солнечном пятне лежала его неестественно длинная тень. Он робко протянул руку, и Гомес пожал ее.

— Желаю удачи. Три дня пройдет быстро, ты даже и не заметишь.

Хуан посмотрел на Ордоньеса: тот стоял в какой-то неловкой позе, покачиваясь на кривых ногах.

— Может, я еще когда-нибудь вернусь в Ислу,— проговорил он.

Первые ворота захлопнулись. Жандармы остались по ту сторону, в освещенном солнцем круге. Шум шагов затих на каменных плитах.

В коридоре воняло похлебкой, человеческим потом и мочой. Хуана начинало мутить, его вновь охватила тревога, язык стал вязким, как будто он жевал маисовую лепешку или кусок недопеченного хлеба. Тут ему бросились в глаза синие буквы на стене. Они складывались в знакомую фразу, он уже слыхал ее от людей: выйдя на свободу, они не забыли ни единой черточки, ни единой буквы, словно буквы эти имели особый смысл, хотя на самом деле они лишь составляли фразу, которая теряла всякий смысл здесь, в этой тюрьме, за этими зубчатыми стенами из красного кирпича. И все же Хуан сразу почувствовал, что буквы эти начертаны для него: они сулили ему надежду, давали право пожалеть самого себя и вроде как бы избавляли от тоски. Он снова перечитал фразу: «НЕНАВИДЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НО ЖАЛЕЙ ПРЕСТУПНИКА».

■

— Имя?
— Хуан.
— Фамилия?
— Родригес Лопес.
— Возраст?
— Двадцать шесть лет.
— Женат?
— Холост.
— Как зовут родителей?
— Хуан и Луиса.
— Место рождения?
— Эсиха.

Круглая чернильница была покрыта пылью и грязью, точно чернильница школьника. Обломок кирпича со следами пепла лежал на бумагах; края его были закруглены, стерты нетерпеливыми пальцами, а сверху еще дымился окурок. Позади стола — три больших зарешеченных окна. Пять или шесть арестантов прижали к железным прутьям носы, губы и подбородки, словно стараясь вдохнуть воздух, идущий с улицы, ощутить теплое дуновение ветерка, полное далеких запахов: запахов женщины, запахов, доносящихся оттуда, из-за стен и башен, с пыльной эспланады, из соседних домов, из лежавшего серым пятном предместья, словом — запахов воли. Они жались к решеткам с кривой усмешкой на губах и молчали, чтобы надзиратель не заметил их и не нарушил очарования, потому что они как зачарованные глядели на этого человека, пришедшего оттуда, с воли, на человека, чья одежда еще сохранила особый запах, чей пот пахнет совсем иначе, чем их собственный. Должно быть, еще совсем недавно он был близок с женщиной, и тело его еще хранит ее аромат, а лоб хранит ласку солнечных лучей или их ожоги, ибо на воле солнце совсем иное, чем то, что освещает тюремный двор: проникая сюда, оно как будто проходит через фильтр, оно какое-то процеженное, не такое горячее и яркое, как то, что светит по ту сторону тюремных стен и сторожевых вышек...

— Пользуешься отсрочкой от призыва или уже отбывал воинскую повинность?
— Уже отбывал.
— Рецидивист? В тюрьме сидел?
— Нет, сеньор, никогда.
— Завтра пойдешь в канцелярию для проверки. А сейчас — на медицинский осмотр. Если врач найдет нужным, он направит тебя на санитарный пункт. Ты нездоров?
— Здоров.
— Завтракал?

— Нет.
— Вечером получишь порцию похлебки. Деньги есть?
— Нет, сеньор.
— Хочешь что-нибудь прибавить? Оружие?
— Что?
— Нож есть?
— Нет, сеньор, ничего нет.
— Ты ведь доставлен сюда из жандармерии? Тогда понятно, что у тебя ничего нет. Но если ты умудрился что-либо пронести, лучше заяви сразу. Потом будет поздно: обнаружат — пойдешь в карцер.

Он отрицательно мотнул головой и провел рукой по вискам. В плече снова болезненно кольнуло. Кто-то взял его за руку, и он вздрогнул от неожиданности: рядом стоял человек в просторной серой блузе, он раньше его не заметил.

— Следуй за мной.

Человек пропустил его вперед, а сам отошел в сторону; надзиратель отпирал вторую решетку.

Снова темный коридор, потом — двор позади кухни, где голые до пояса люди протирали песком и обрывками тряпок котелки, затем полоскали их под краном. Когда Хуан проходил мимо, они даже не подняли головы. Кисловатый запах похлебки ударил в нос. И внезапно он почувствовал, что очень устал и голоден. Сопровождающий молча шел рядом, а когда они выходили из дворика, спросил:

— Сигарета есть? — И судорожно ощупал карманы его штанов, словно боясь услышать отказ.— Когда человек приходит с воли, у него непременно есть табак.

Хуан растерянно взглянул на него.

— Очень жаль, но табака у меня нет.

— Если будешь вести себя смирно, если не будешь строить из себя гордеца и если ты не педераст, они оставят тебя в покое.— Сопровождающий указал на дверь кабинета антропометрии, ввел его туда и шутливо отдал честь сидевшему там человеку.— Если я вам не нужен, начальник, то, пока вы будете записывать его приметы, я выйду.

■

Кукушка на стенных часах с инкрустацией пять раз подряд высунула голову. Надзиратель встряхнул рожок с игральными костями, а затем передвинул фишку на картонной доске.

В глубине камеры, там, где лежали арестанты, слышался шорох, какая-то странная возня. Коридор был освещен желтовато-зеленым светом электрической лампочки. И свет этот бил ему в глаза и не давал отвлечься от отвратительного бормотанья, свет этот горел всю ночь до тех пор, пока заря не возвестила о приближении дня и не началась каждодневная суматоха, всегда сопутствующая подъему в казарме и в тюрьме. Мысли его и ночью и сейчас то и дело возвращались к словам Гомеса, который сказал то же, что и письмоводитель: заключение будет длиться всего семьдесят два часа, то есть неполных три дня и три ночи.

Он больше не испытывал ни тошноты, ни голода. Его желудок походил теперь на дряблый, сморщенный мешок, опавший, точно бурдюк, он не давал о себе знать, как будто пустота и неподвижность были его нормальным физиологическим состоянием, как будто стенки его никогда не выделяли ни капли желудочного сока.

Он было отрицательно покачал головой, но потом все-таки занял свое место в длинном хвосте арестантов, выстроившихся в очередь за миской похлебки и куском серого хлеба.

В кабинете антропометрии его большие, поросшие волосами, твердые мозолистые руки с размаху придавили к валику, пропитанному темными густыми чернилами, а затем каждый из пальцев по отдельности прикладывали к расчерченному на неровные клеточки листу плотной бумаги, лежавшему на краю стола. Находившаяся рядом картонная доска для игры в «гусёк» случайно раскрылась, и пока отпечатки его пальцев навсегда запечатлевались на глянцевитом картоне, он разглядывал похожий на лабиринт рисунок: мосты, рвы, сады с фонтанами, озера, где плавали лебеди. Его заставили также подойти босиком к рейке для измерения роста, словно ему вновь предстояло идти на военную службу, затем подробно переписали его приметы: цвет волос и глаз, линия профиля, форма подбородка; на карточке над отпечатками пальцев наряду с другими сведениями, относившимися к нему, перечислили все шрамы на теле, кроме совсем свежих. Перед самыми сумерками, в тот предвечерний час, когда день начинает меркнуть и на башнях из красного кирпича перестают сверкать ружья, его отвели под душ, оставили сохнуть в лучах заходящего солнца, а потом обрили наголо.

Когда на тюремном дворе, точно в казарме, сыграли вечернюю зорю, он отказался от пищи, отказался не потому, что брезговал кислым варевом из муки и гороха — он не был привередлив,— а потому, что чувствовал: достаточно ему проглотить хоть ложку, и его тут же стошнит, на глазах у всех этих людей, которые, сидя на циновках, расстеленных на земле, медленно смаковали похлебку.

Потом, в камере, он с трудом повернулся на бок, чтобы плечи не ныли от жесткого узкого тюфяка. И лежал неподвижно, ни о чем не думая, повернувшись лицом к выбеленной известью стене, на которой отражался свет лампочки — она медленно раскачивалась на толстой балке посреди коридора.

— Слушай!

Его ушей достиг крик — далекий, приглушенный, как во сне; он подумал, что крик этот, быть может, и в самом деле пригрезился ему, но вдруг услышал другой отдаленный крик:

— Пост номер два, слушай!

Он не пошевелился, только напряг слух. Какой-то человек направился к отхожему месту, но по дороге передумал и повернул обратно.

Крик шел от одной сторожевой будки к другой, и Хуан снова услышал его уже гораздо яснее, теперь он доносился откуда-то слева:

— Пост номер семь, слушай!

И почти тотчас же восьмой, последний, пост на сторожевой вышке ответил:

— Здесь!

■

Ему удалось забыться, только когда первые проблески зари уже заалели на горизонте.

ТЮРЬМА

VII

Дни тянулись тоскливо и монотонно, своим унылым однообразием повторяя друг друга. Лишь по тому, как падали теперь солнечные лучи на побеленную стену тюрьмы, где были выведены красной краской номера арестантских бригад, люди понимали, что длинные летние дни становятся все короче. Солнце уже не заливало высокую стену, полоса света достигала только уровня сторожевых будок, где часовые целый день несли охрану тюрьмы.

В послеобеденные часы буйствовал ветер, теплый южный ветер, приносивший белесую пыль из оливковых рощ. И тогда вновь казалось, будто лето опять вернулось, арестанты подставляли лицо этому ласковому ветру, который доносил сюда и ароматы полей, и терпкий стойкий запах предместья, и далекие звуки радио, и тревожный гул населенных беднотою кварталов.

Во внутреннем дворе тюрьмы приближение осени сильнее всего ощущалось в те часы, когда надзиратели производили перекличку, отдавали рапорт и объявляли пароль, прежде чем запереть решетки.

Особенно это чувствовалось по утрам: каждое утро имело теперь свой особый привкус, свой свет, открывало глазам арестантов свой, уже осенний, пейзаж; теперь зорю играли еще в темноте, арестанты поднимались, закоченев от холода, руки и ноги не сразу приобретали обычную подвижность. В «зале ожидания» — так в тюрьме именовали флигель, куда помещали новичков,— температура была ровнее, потому что помещение смотрело окнами на север; при хорошей погоде люди нередко мерзли, зато зимой тут было тепло. Приходя сюда с воли, человек попадал как бы в искусственный климат, находившийся в противоречии с временем года, и могло показаться, будто начальство стремилось таким способом сделать для него еще более тягостными и те двадцать дней изоляции, что служили своеобразной прелюдией к тюремному заключению.

Хуан уже месяц назад покинул «залу ожидания». Постепенно он и сам перестал понимать, давно это произошло или нет. Привычное представление о времени, когда он ежедневно вставал в один и тот же час, а потом работал в поле, уступило место какому-то странному ощущению: отныне время определялось часами сна и бодрствования, звуками горна и прогулкой, унынием и тоской. В сущности, еще больше, чем по свободе, он тосковал по свежему воздуху. Для сидевших в тюрьме горожан привычный воздух был тут, совсем рядом. Им достаточно было вздохнуть всей грудью, чтобы ощутить знакомые запахи, которые ему, Хуану, были чужды. Для него город оставался только географическим понятием, далеким и непостижимым, где люди живут совсем иной жизнью, чем он, хотя его родная деревня отстояла всего лишь на сто километров от города!

Он вздохнул. Желтые солнечные лучи проникали сквозь бойницы сторожевых будок. Он сплюнул и присоединился к группе арестантов из своей бригады.

Горнист, расталкивая людей, вышел на середину двора и сигналом трубы возвестил о конце прогулки. Вечерние тени ложились на башни, и те казались плоскими, как бы лишенными третьего измерения. Красноватое небо начинало тускнеть. Стрижи описали последний круг почти над самым двором, а потом взмыли над стенами, оглашая осенний воздух пронзительным криком.

Как и всегда по вечерам, арестанты выстроились в три шеренги на плацу, против галерей. Офицеры приказали капралам произвести перекличку, проверить списки и доложить о происшествиях, случившихся за день.

Люди толкались на лестницах, негромко переговаривались, те, кто спал в нижнем этаже, не торопясь, подымались последними. В коридорах зажгли свет: эти висящие на большом расстоянии друг от друга электрические лампочки будут гореть до утра, они, как соглядатаи, помогают надзирателям нести ночную охрану.

Входя в помещение, арестанты занимали обычные места в шеренге — предстояла последняя перекличка, после чего решетки запирались. Затем каждый раскладывал свою камышовую циновку — так поступали все, за исключением тех, кто особо заплатил за кровать: эти спали по трое на широких железных койках. Во время вечерней проверки объяв-

ляли распорядок дня на завтра и оглашали имена тех, кто получил наряд на уборку камеры. Офицер в последний раз обходил помещение и, покидая его, запирал решетку двойным поворотом ключа. Скрежещущий звук болезненно отдавался в ушах, и все арестанты, точно по сговору, умолкали, прислушиваясь к этому скрежету.

До отбоя оставалось часа два. Люди сбивались в кучки, чтобы как-нибудь скоротать время. Те, кому утром удавалось выпросить на санитарном пункте снотворное, чувствовали себя счастливцами. В дни, когда все изнывали от высокого атмосферного давления и жары, от тоски и тревоги, от воспоминаний, одиночества, желания,— в такие дни за таблетку снотворного охотно отдавали пачку сигарет.

Хуан подошел к группе, где играли в «пуговицы». Разделив клочок бумаги на клеточки, два человека вооружались каждый тремя пуговицами: выигравшим считался тот, кто первым расположит их в ряд, по прямой. В тюрьме разрешена была только эта игра, и те, кто не работал, резались в «пуговицы» с утра до вечера. Разноцветные пуговицы причудливо располагались по клочку бумаги. Игра требовала умения и сноровки. Многие арестанты до того навострились в этом искусстве, что могли с трех раз расположить пуговицы в одну линию.

Следя за игрой, он вспомнил год, когда ходил в школу, единственный год в его жизни, когда ему довелось учиться. Он играл тогда в «пуговицы» с одноклассниками, тайком от учителя, едва только тот принимался читать газету.

Пуговицы по-прежнему пестрели на бумаге. За окном с двойной решеткой спустилась ночь, и кое-кто уже спал, свернувшись под одеялом. Стараясь не ступать по циновкам, он направился по проходу между тюфяками в отхожее место. Здесь пахло испражнениями, карболкой и вода, вытекавшая из дырявой канализационной трубы, стояла лужей на цементном полу.

Когда он вернулся в камеру, игроки улеглись, и исчерченный клочок бумаги остался валяться на полу. Многие уже забылись тяжелым тревожным сном. Звук горна нарушил тишину тюрьмы, призывая к тишине, хотя она и без того уже тут воцарилась. Хуан растянулся на циновке и пристально смотрел на пыльную лампочку, которая тихонько покачивалась в коридоре. С башни донесся далекий крик часового и резкий стук приклада о землю.

Ровно неделю назад его посетил адвокат, назначенный властями. Это был мужчина лет тридцати; расспрашивая Хуана, он курил не переставая, потом просунул сквозь двойную решетку помещения, где происходили свидания, кисет и угостил его табаком. Адвокат все время сверлил Хуана взглядом, словно хотел проникнуть в его мысли.

— Ты верующий?.. Ты должен уповать на бесконечное милосердие господне.

Теперь Хуан опять жаждал свободы, мечтал о солнце, дожде и ветре. Ему снова хотелось увидеть улицу, где среди беленных известкой домов стоял и их домик, увидеть братьев, мать и девушку, которую любил. Он думал об этой любви, о ее свершении, о ее последствиях и о ребенке, которого, быть может, зачала его подружка, о маленьком комочке живой плоти, что зреет в материнском чреве.

■

Херминаль сидел рядом с Хуаном, как сидел всякий день. Блаженная улыбка растягивала его губы. Он играл со щеглом, гладил его и кормил хлебными крошками со своей большой желтоватой ладони. В первый день Хуан был удивлен, увидя щегла в руках Херминаля, его поразила привязанность арестанта к птице: ведь Херминаль был осужден на

смерть — он и сам все время об этом твердил,— осужден еще до суда, потому что его обвиняли в шести тяжких преступлениях — в нападениях на беззащитных людей, простых крестьян и крестьянок из области Гвадалквивир.

Теперь же Хуану все казалось естественным, даже дружба, царившая между арестантом и птицей. Щегол каждый день доверчиво опускался на руки Херминаля, а ведь они не были руками франциканца или хотя бы просто невинного человека, напротив, они были запятнаны кровью, алой кровью тружеников, привыкших к мотыге и серпу, к нагретому солнцем маису, к нежному прикосновению коробочек хлопчатника и шершавым колосьям пшеницы.

Он находил также совершенно естественной и улыбку Роке, который был приговорен к шести годам заключения — и уже отсидел три года,— за то что раскроил голову своей жене и парню, когда застал их вместе на заброшенной мельнице.

Хуан даже не взглянул на Херминаля, когда тот уселся рядом с ним под аркой галереи на каменную скамеечку, похожую на те скамеечки, на которых устраиваются чистильщики сапог со своим ящиком, уселся с таким видом, будто это была пышная городская аркада, а не аркада внутреннего тюремного двора, огражденного от внешнего мира высокими стенами. Вокруг них заключенные, отбывшие положенный срок в «зале ожидания», грелись на солнышке, вытягивая худые ноги.

Херминаль по-прежнему забавлялся со щеглом в залитом солнцем круге. Теперь Хуану все казалось естественным, даже эти как бы процеженные солнечные лучи: можно было подумать, что он провел в тюрьме не два месяца, а целых пять лет и даже всю жизнь, что он никогда вообще не был крестьянином, батраком, что в детстве он не жил на свободе, а так и родился в этих стенах, отделенных от всего остального мира башнями из красного кирпича. Можно было подумать, что он никогда не жал колосья зазубренным серпом, никогда не работал бок о бок с Хенаро Инфантесом, Хосе Саласом, Рафаэлем Мендесом, Сириако Гусманом, Бенито, никогда не разговаривал с ними о женщинах, о своем солдатском житье-бытье, о тяжелых днях гражданской войны (более пожилые еще помнили о ней), об окопах, где мертвые валялись прямо в грязи; о том, какова жизнь бедняка, который гнет спину над бороздой; о том, что нужно единство, если хочешь добиться справедливости, хлеба и работы, очага и крова над головой, ибо на них имеет право всякий, кто каждый день трудится, трудится до седьмого пота, отдавая труду собственную кровь, кровь жены и детей.

Щегол взмыл ввысь и скрылся по другую сторону стены. Херминаль улыбнулся. Звук горна призывал людей в мастерские. И в эту самую минуту откуда-то из внутренних помещений тюрьмы послышались крики. Хуан поднялся. Со всех сторон бежали люди. Те, кто вышел из мастерских во двор, спрашивали, что происходит, но никто ничего не знал.

Дежурный офицер приказал построить арестантов. Люди, толкавшиеся в галерее, повернули назад. Во двор на помощь надзирателям спешили солдаты наружной охраны. Они выстроились вдоль стены с винтовками в руках. Даже парикмахеры присоединились к остальным арестантам, которые покорно выстраивались на плацу. Офицер потребовал тишины. Откуда-то появились другие офицеры. Возбужденные и встревоженные арестанты наконец замолчали. Показался начальник тюрьмы в сопровождении своего помощника. Люди ждали, напряженные, покорные, они никак не могли понять, что же все-таки произошло. Наконец солдаты наружной охраны вскинули винтовки на плечо, построились и удалились.

Херминаль очутился в первом ряду, в лохмотьях, в обтрепанных штанах, он стоял босиком с блуждающим взором — все происходившее

его, видимо, совершенно не интересовало. Казалось, он ждет лишь наступления завтрашнего дня, когда снова прилетит щегол.

Хуан стоял рядом с Херминалем. Офицер приказал разойтись и построиться по бригадам. Потом велел тем, кто занят на различных работах, вернуться на свои места, а тем, кто трудится в мастерских, построиться, как обычно, в стороне и ждать сигнала горниста. Остальным он разрешил разойтись. Что случилось? Этот безмолвный вопрос как бы передавался от человека к человеку. Но постепенно все вошло в свою колею, опять воцарилась унылая тишина, будто вообще ничего не произошло. Послышался звук горна. В суматохе арестанты не успели даже сходить за алюминиевыми мисками. Офицер предоставил распоряжаться капралам, как будто и впрямь ничего не случилось; люди расходились, но в их глазах все еще жило беспокойство, застыл невысказанный вопрос.

■

Хуан заметил его отсутствие, когда их построили в час раздачи пищи. Впрочем, Бен Руиба редко бывал в такое время с ними. Как и все арестанты, занятые на работах, он получал похлебку либо до, либо после назначенного часа. И все же внутренний голос твердил Хуану, что недавняя суматоха, поначалу походившая на бунт, имела какое-то отношение к Бен Руибе.

Сжав губы, он молчал. Арестанты, получив порцию супа и ломоть хлеба, отходили и усаживались в сторонке. Дежурные быстро плескали два положенных черпачка в алюминиевые миски. Подошла и его очередь. Офицер дождался, пока ему нальют похлебки, а затем знаком приказал следовать за собою.

— Поешь потом. Поставь куда-нибудь свою миску.

Стоявший рядом Херминаль смотрел на Хуана широко раскрытыми испуганными глазами.

— Подержи миску,— сказал Хуан.

И пошел за офицером во внутреннее помещение тюрьмы.

— Начальник тюрьмы хочет задать тебе несколько вопросов. Если следователь уже прибыл, он также пожелает допросить тебя. Быть может, с твоей помощью они быстрее разберутся в этом деле. Ты все время был вместе с Бен Руибой. Возможно, он тебе что-нибудь рассказывал, делился с тобой...

■

Следователь не торопясь задавал вопросы.

— Был ли ты в дружеских отношениях с человеком, который утром покончил с собой?

— Мы были друзьями.

— Ты знал о его намерениях?

— Нет, сеньор.

— Впредь, когда будешь отвечать, говори «ваша милость»,— прервал его письмоводитель.

Следователь взмахом руки остановил письмоводителя.

— Так знал ты о его намерениях или нет? — настойчиво повторил он.

— Нет, ваша милость.

— Мне известно, что вчера после обеда вы вместе были во дворе. Что он тебе говорил?

— Ничего особенного, ваша милость. Мы разговаривали, как обычно. Все о том же.
— О свободе?
— Да.
— Ну, он-то ее добился.
— Да, ваша милость.
— Он тебе ничего не дарил?
— Нет, ваша милость.
— И денег не давал?
— Нет, ваша милость, не давал.
— Это можно проверить,— вмешался письмоводитель.
Следователь снова оборвал его:
— Нет нужды.— И тотчас же прибавил, обращаясь к Хуану: — Если он что-нибудь тебе давал, скажи. Никто не вправе запретить тебе принять подарок.
— Он мне ничего не давал.
— Не мог ли ты догадаться по словам Бен Руибы о его намерениях? Я хочу сказать, не подозревал ли ты, что он собирается наложить на себя руки?
— Нет, ваша милость.
— Ты знал, что он иностранец?
— Да.
— Тебя огорчила его смерть?
— Да, ваша милость. Как смерть любого человека.

■

Херминаль поджидал его, держа миску в руках. Соседи по камере окружили Хуана. Известие о смерти Бен Руибы уже распространилось по тюрьме. Его засыпали вопросами, на которые он не знал, что ответить. Он жаждал одиночества и тишины и подошел к стене, надеясь еще погреться в последнем луче солнца, но тот уже миновал расплывчатую линию красных номеров и тянулся к бойницам и башенкам.

После своей смерти Бен Руиба стал легендой, и отныне Хуан, как друг Руибы, неотторжим от этой легенды, которая вместе с легендами о других людях, о других происшествиях, о других превратностях судьбы и других трагедиях составляла историю острога.

К вечеру спина у Хуана разболелась сильнее, чем обычно. Впервые за два месяца пребывания в тюрьме он пошел на санитарный пункт и попросил снотворного, тем не менее заснуть ему так и не удалось.

...Его дружба с Бен Руибой началась не в камере, а в кабинете антропометрии. Это Руиба прижал его пальцы к ролику, смазанному чернилами, а потом поодиночке прикладывал их к картонной карточке.

Из тех, кто работал в этом кабинете, один только Руиба сразу же привлек к себе внимание Хуана. Штаны плотно облегали ноги и бедра алжирца; он носил добротные ботинки из телячьей кожи, а его собственная кожа была оливкового оттенка — и не потому, что ее обожгло солнце, а потому, что таков был ее цвет от природы, таким его родила на свет мать. Талию его перехватывал пояс из мелких серебряных монеток в оправе, походивший на огромное женское ожерелье.

С тех пор они ежедневно разговаривали во дворе. Иногда Хуан даже отваживался заглядывать в кабинет антропометрии и вызывал Бен Руибу. Как-то вечером, вскоре после того как Хуан покинул «залу ожидания», Руиба подошел к нему.
— Ну, как оно подвигается?
— Что?
— Да твое дело.

— Помаленьку.
— У тебя уже есть адвокат?
— Нет. Впрочем, да. Так они, по крайней мере, сказали.
— Следствие все еще продолжается, или дело уже передано в суд?
— Не знаю.
— Следователь вызывал тебя на допрос? Тебя возили в суд?
— Я давал показания судье, и только.
— Действуют без проволочек?
— Ты о чем?
— Ну, ладно. Деньги у тебя есть?
— Нет.
— Где ты работал?
— Убирал рис на Исле.
— Что ты натворил?
— Все равно не поверишь! Ничего.

Затем они стали рассказывать друг другу о своих близких. Бен Руиба говорил о жизни в Алжире. Они подолгу сидели рядышком во дворе, привалясь спиной к беленой стене. Руиба вспоминал о синем море, о пальмах, о том, как он плавал по Индийскому океану, говорил о Касбе, о европейских женщинах, которых он в безлунные ночи ласкал на пустынных пляжах арабского города, о волнах, что разбиваются о золотистый песок.

— А ведь она ничего не знает,— сказал однажды Хуан,— не знает даже, что я в тюрьме.
— Кто не знает?
— Да моя девушка, моя подружка.
— А где она живет?
— В Эсихе. Сейчас, должно быть, работает на уборке урожая; впрочем, там и без нее хватает рук для сбора маслин. А после она собиралась ехать в город поступать на место.

И Хуан заговорил о своей монотонной крестьянской жизни, ее однообразное течение было прервано только однажды, когда он отбывал воинскую повинность; Бен Руибу, казалось, заинтересовала эта беспросветная жизнь в маленьком глинобитном доме, заинтересовала родная деревня Хуана и кабачок, где крестьяне время от времени выпивали по стаканчику вина, толкуя о кучке людей, которым принадлежит все на землях Юга, и обо всех остальных, у которых нет ничего.

VIII

Хуан вложил листки линованой бумаги в конверт. Собрался уже провести языком по полоске клея, но спохватился и только тщательно разгладил конверт. Ему вспомнились слова Рокеле: «Когда будешь писать письма, не заклеивай, не то они тебе их вернут. Оставляй их незапечатанными. Сами заклеют. Это дело начальства».

— Спасибо,— сказал он, возвращая карандаш сидевшему рядом человеку. Потом выпрямился.
— Родным пишешь?
— Отвечаю на письмо. Вчера вечером получил.

Он сказал это почти с гордостью. И сунул руку в карман, где лежал помятый конверт, а в нем письмо матери, написанное фиолетовыми чернилами; это длинное письмо прочесть было нелегко — мать не знала грамоты, и под ее диктовку писала младшая сестра, писала неровными каракулями.

Незнакомый арестант печально улыбнулся. На его лице появилась кривая улыбка, не то покорная, не то лукавая.

Он слегка нахмурил черные, необыкновенно густые брови.

— Когда я сидел в тюрьме в Валенсии, жена навещала меня ежедневно. После того как меня перевели сюда, она первое время писала через день. Прошел год, и ее письма стали приходить раз в две недели. А теперь я вот уже три с половиной месяца ничего не получал. Поначалу жена пишет часто, но проходят годы, она забывает, каков ты в постели, твое место занимает другой, и она даже не вспомнит, что у нее был муж...

— Прости, я не хотел тебя обидеть.

— Да ты и не обидел.

— Я не знал...

— Ты и не обязан был знать. Придет день, и тебе покажется, что так оно и должно быть, ты все поймешь и простишь, как я. Сперва я по ночам кусал себе губы и втихомолку плакал. С головой укрывался одеялом, чтобы сдержать рыдания, и впивался ногтями в ладони, представляя, как в эту самую минуту она лежит в нашей постели, а рядом с ней — другой. Я вспоминал ее глаза — она их всегда закрывала, когда я ее ласкал,— и черные распущенные волосы, разметавшиеся по подушке. И не мог уснуть. Так было каждую ночь. Но однажды — сам не знаю, как это получилось,— только я задремал. И с тех пор ни о чем таком не думаю, понял, что она не виновата: вино-то можно налить в бутылку и заткнуть пробкой, чтобы оно не выливалось, а вот человеческую натуру не переделаешь — женщина нутром стремится к тому, что ей предназначено природой, губы ее тянутся к губам мужчины.

— Лучше не думать об этом. К чему себя мучить?

— Да я и не мучусь. Просто объясняю тебе, как оно есть. Я спокоен.

— А я получил письмо от матери,— сказал Хуан, отряхивая пыль со штанов, прежде чем подойти к тюремному почтовому ящику.— А для матерей ни годы, ни расстояния ничего не значат.

С каждым днем солнечные лучи все раньше исчезали со стены, а заря нарождалась все позднее, утром долго не рассеивался туман, а по вечерам было так сыро, что людей начинал бить озноб. Наступил ноябрь, приближалась зима. Уже миновал праздник всех святых. Цветы в садах увядали. Двор нередко поливали унылые дожди. Арестанты — растерянные, вялые, хмурые — слонялись по коридорам.

Опустив письмо в ящик, Хуан вышел во двор. Говорить ни с кем не хотелось. И вдруг из рупора послышалось его имя, и он испуганно вздрогнул. Ему сообщили, что у него будет посетитель, но не сказали, кто именно. Одно Хуан знал твердо — это не адвокат. Тот всегда являлся к вечеру. Костюм у адвоката был изрядно поношен, но зато он носил галстук бабочкой; он вяло усаживался и непрерывно вертел в руках длинный мундштук, сперва он беседовал с Хуаном о вещах, относящихся к его делу, а все остальное время пристально смотрел на него, как будто хотел проникнуть в тайну его преступления и обнаружить следы раскаяния; казалось, что разделявшая их решетка была не двойной тюремной решеткой, а, скорее, решеткой зоологического сада и что адвокат проводит там воскресный досуг в окружении детей и солдат, с меланхолическим видом созерцая железные прутья, отделяющие его от мира зверей; разница, пожалуй, была лишь в том, что на дорожках зоологического сада смеются ребятишки и клюют носом солдаты, да на скамьях, стоящих вдоль изгороди, целуются влюбленные.

Хуан уселся на приступку перед входом в галерею и медленно затянулся окурком: он бережно хранил его в кармане именно для такой вот трудной минуты, минуты ярости или тревоги, тоски или нетерпения. Он считал мгновения, отделявшие его от часа пополудни. Потом пошел

в отхожее место и вымыл руки под краном над цементной раковиной. Привел в порядок волосы, пригладил их на висках.

Без четверти час он занял место в очереди, выстроившейся у входа в помещение для свиданий, которое было еще заперто. Он там ни разу не бывал. И представил себе длинный ряд лиц за двойной решеткой. Однако, когда дверь открылась и арестантов впустили, ему удалось разглядеть по другую сторону длинного зарешеченного прохода, достигавшего в ширину полутора метров, лишь какие-то неясные тени; тщетно он искал среди них знакомую фигуру, лицо, облик мужчины или женщины, которые захотели увидеть его в этом львином рву, где невозможно не только разговаривать, но хотя бы отчетливо слышать друг друга. Арестанты жались к решеткам, чтобы хоть на несколько сантиметров быть ближе к посетителям, а те в свою очередь приникали к железным прутьям, но чувствовалось, что у них нет сноровки. Все говорили одновременно, и людские голоса сливались в сплошной гул, долгий крик, непрерывную жалобу. Матери поднимали над головами детей, и малыши, как котята, цеплялись за решетки и плакали вовсе не от волнения, не от того, что видели отца или брата, просто их пугал этот пронзительный нечеловеческий вопль, ибо ребенок не подготовлен к таким сценам и не способен воспринять их.

Хуан приник к решетке. Ему хотелось протиснуться между прутьями, чтобы разглядеть, отыскать наконец знакомое лицо. Но он стоял неподвижно, прижавшись лбом к холодному железу, и ждал. Тюремные старожилы пригибались, опускались на корточки, становились на колени, чуть ли не ложились на пол и говорили вполголоса, а посетители, находившиеся по другую сторону двойной решетки, принимали такие же позы, чтобы расслышать их слова. Но те, кто подражал опытным арестантам, надеясь, что их услышат близкие, быстро убеждались в тщете своих усилий. Хуан простоял не шевелясь у решетки минуту, вторую; время шло, и, по мере того как срок, отпущенный для свиданий, истекал, голоса становились все пронзительнее. Его слуха достигали даже не обрывки фраз, а отдельные слова; они не имели и, казалось, не могли иметь смысла, их невозможно было соединить в связную речь, со всех сторон слышалось: апельсин, марки, врач, цветы, родила, кладбище, хлеб, табак, грудь, сын, брат, отец, жена...

Наконец он решился. Он знал, что свидание скоро кончится, потому что не раз видел, как люди входили в это помещение и уже через четверть часа выходили обратно, и, поняв, что остается всего три или четыре минуты, он дважды крикнул:

— Кто хотел видеть Хуана Родригеса? Кто хотел видеть Хуана Родригеса?

Какой-то мужчина ответил ему. Хуан был уверен, что то был мужчина, а не ребенок, не женщина и не собака, хотя этого посетителя нетрудно было принять за собаку — до того он был мал ростом и с такой яростью вцепился в решетку. Посетитель не сказал ни слова, только утвердительно кивнул головой. Дождавшись мига тишины, он крикнул:

— Мне нужен Хуан Родригес.

— Я Хуан Родригес.

— Хуан Родригес? А дальше как?

— Лопес.

Им снова пришлось дожидаться тишины, которая длилась всего лишь малую долю секунды,— только так и можно было разговаривать. Посетитель, седой старик, в сером крестьянском платье и в холщовых туфлях на веревочной подошве, весь съежился, словно хотел стать еще незаметнее, еще меньше, и крепко держался руками за решетку.

— Это не ты. Мне нужен мой сын, Хуан Родригес Лопес родом из Каррионде-лос-Сеспедес.

В тот же день вечером начался дождь. Он заливал двор, стекал вдоль стен и сторожевых будок, стучал по деревянной кровле внутренних навесов и по огромной стеклянной крыше; сочившийся сквозь нее свет озарял божью матерь — она стояла, сложив руки на груди, в окружении ангелов.

Это был упорный, частый дождь, и он лил не переставая. Арестанты старались реже ходить в уборную, лишь бы не пересекать двор: пользоваться стоками в галереях им запрещалось. Оправляться можно было лишь в отхожем месте во внутреннем помещении тюрьмы. Поэтому тюремная администрация в конце концов разрешила им проходить туда через внутренние коридоры, для этого пришлось отпереть решетки, отделявшие внутренние дворики от большого двора. Теперь люди собирались главным образом в галереях, вскоре это вошло в привычку, ибо дождь лил не переставая семь дней и семь ночей.

Раньше заключенные вскакивали со своих тюфяков лишь после утренней побудки, теперь же многим от волнения вообще не лежалось: ведь надеяться на утреннюю прогулку во дворе под ласковыми лучами солнца или хотя бы на холодном ветру больше не приходилось. Непрекращавшийся дождь образовал как бы плотную завесу, как бы дополнительную решетку, помимо тех, что отделяли их от воли.

Теперь особенно трудно было оставаться одному, уединяться. Арестанты жались к побеленным известкой стенам галереи, стараясь укрыться от дождя, грязные струи которого обрушивались на уже и без того мокрую одежду, засаленную, пропитанную потом. Духота все усиливалась, и люди ловили широко раскрытыми ртами хоть глоток воздуха, не дававшего прохлады; дождь лил без перерыва, и метеорологические сводки сулили еще целую дождливую неделю. Тайком проносившиеся в тюрьму газеты сообщали о помощи, которую оказывало пострадавшим от наводнения правительство, благотворительные организации и частные лица, движимые христианским милосердием.

Тюремный двор превратился в гигантскую лужу, в огромное зеркало воды, в бассейн; дождь звонко барабанил по этому стоячему болоту, и уровень воды поднимался с каждым днем. Арестанты давали волю своей фантазии. Даже ливень годился на то, чтобы перебросить мостик к надежде. Привалившись спиной к беленой стене галереи, Хуан прислушивался к разговорам соседей и думал, что они, быть может, мечтают не зря. Кристалито, арестант из шестой тюремной бригады, приговоренный к шестнадцати годам заключения и к шестидесятилетнему возрасту уже отсидевший тринадцать, заявил:

— Им придется нас эвакуировать.

— Куда? — спросил Роке.

— Куда угодно! Но так или иначе, а им придется нас эвакуировать.

— Ты спятил! Пусть даже конец света наступит, а мы с тобой из тюрьмы не выйдем.

Все это было словесной игрой, диалогом без начала и конца, затеянным для того, чтобы убить время. И все-таки слова эти прозвучали как откровение, как вопль надежды. Их впервые произнесли утром, а к вечеру арестанты уже прониклись уверенностью и спорили лишь о том, как именно будет произведена эвакуация тюрьмы. Толковали, что прибудут армейские части, что людей переведут в сельские тюрьмы, что вызовут специальный поезд и под охраной жандармской дивизии всех заключенных перебросят в тюрьму Карабанчель.

Вода заливала склоны холма Агила, красно-бурые земли Алькала-де-Гуадаира и желтые почвы Крус-дель-Кампо и Торребланка. Небольшой приток Гвадалквивира Тамаргильо раздулся после трехдневного

ливня, как вол, вышел из узких берегов и яростно обрушился на дома соседних селений.

Все началось с шутки Кристалито. Но теперь об этом уже никто не помнил. К вечеру Хуан, стоявший в галерее, услышал новые разговоры, новые версии: утверждали, будто эвакуация и в самом деле произойдет и что ему придется вместе с другими погрузиться в поезд, который повезет их на ту сторону Деспеньяперрос,— таким образом он вторично проделает путь, который уже однажды проделал в воинском эшелоне, когда с другими парнями своего возраста отправлялся нести службу на пиренейской границе.

Дождь безостановочно лил еще десять дней и ночей. Пришлось эвакуировать жителей из предместья Серро-эль-Агила, из селений, расположенных по берегам Гвадалквивира, и деревушек, находящихся вблизи Корсы и Сан-Бернардо. Каждый вечер радио сообщало о числе пострадавших от наводнения и одновременно приводило сведения о пожертвованиях, сделанных дамами из «Католического действия», различными конгрегациями, футбольными клубами, Ассоциацией боя быков, Литературным клубом, Клубом земледельцев и скотопромышленников...

Все заключенные, в том числе и те, кто искупал свое преступление тяжелой работой, еще дней десять надеялись, что их тоже эвакуируют: происходило это всякий раз, когда они слышали гудение вертолетов, принадлежавших морским вооруженным силам, вертолеты эти направлялись в Кармону и пролетали над сторожевыми будками и зубчатой кирпичной стеной.

В начале декабря дождь прекратился, и победоносное солнце вновь показалось над двором. Объявили о раздаче теплой одежды. Приближался день зимнего солнцестояния. Часовые в цементных будках кутались в серые шинели.

Когда объявили распорядок дня, Хуан услышал, что будут раздавать теплую одежду, и подошел к офицеру узнать, не дадут ли и ему чего-нибудь: рубаха его совсем разорвалась, а ветхие штаны все в дырах. Прислонившись к одной из колонн галереи, офицер плел циновку из соломы. Сначала он отрицательно помотал головой. Потом соблаговолил ответить:

— До тех пор, пока суд не вынес тебе приговора, ты еще не арестант. Ты пока, можно сказать, только подследственный. Вот почему никакой теплой одежды тебе не положено. Ступай, и пусть господь бог охранит тебя от зимних холодов.

IX

Прошел уже месяц с того дня, как обнаружили бездыханное тело Бен Руибы. Он повесился на притолоке двери кабинета антропометрии и висел, покачиваясь, точно зловещее чучело. В последовавшие за этой смертью дни внимание всех обитателей камеры было приковано к Хуану. Постепенно его перестали донимать расспросами, теперь на их дружбу с Бен Руибой уже не смотрели как на распространенную в тюрьме форму отношений между мужчинами, и никто не сомневался в характере этой дружбы. С некоторых пор все догадывались, что между двумя этими людьми, видимо, существовала какая-то более глубокая привязанность, и потому многие предполагали, что Хуан кое-что унаследовал от Бен Руибы, хотя на мертвеце обнаружили его знаменитый серебряный пояс и заграничные сапоги.

В тюрьме Хуан всегда спал одетый, уже с конца сентября он укладывался прямо в штанах и рубахе. Но не из-за этого арестанты подо-

зревали, что он прячет кое-какие ценности, зашив их в одежду,— в камере так поступали все заключенные, они прятали в складках одежды боны, выдававшиеся взамен отобранных денег, пачки сигарет и другие предметы личного обихода, приобретавшие особую ценность за решеткой.

Уже две недели в камере никто не говорил о Бен Руибе, и не потому, что арестанты забыли о нем и о его смерти — смерть была в некотором роде освобождением и даже могла внушить кое-кому соблазн освободиться таким же способом,— а потому, что другие события, в частности, ливень и боязнь какой-либо иной, еще горшей, напасти, вытеснили воспоминание о злосчастной судьбе Руибы.

Да и сам Хуан почти полностью забыл о случившемся. Смерть в его глазах была делом самым обычным, неизбежной развязкой и поэтому никогда не страшила его. Подобно всем крестьянам, он боялся жизни больше, чем смерти. И все же в глубине души он хранил теплую память о Бен Руибе: они одинаково смотрели на многие вещи, которые Хуан перечувствовал, угадал или усвоил, орудуя изо дня в день серпом и киркою либо прислушиваясь к разговорам, которые велись вполголоса в деревенском кабачке, где собирались крестьяне, возвратившиеся с поля... В тяжелом полусне он повернулся на тюфяке, потом открыл глаза, ясно ощутив, что происходит нечто необычное. Он привык спать чутко — так спят в ночном, так спят, охраняя зерно. Ему показалось, будто кто-то осторожно коснулся его пояса, ощупал его, и Хуан повернулся, чтобы убедиться в этом. Он спокойно выжидал, словно выслеживал зайца или кролика среди зарослей кактусов. Прикрыл веки, потом слегка приоткрыл их. Из коридора падал грязновато-желтый, тусклый свет, и он жадно вбирал его расширенными зрачками, вбирал до рези в глазах.

Он запасся терпением, ибо знал, что ждать придется несколько минут, а то и целый час. Но либо у того, кто его обшаривал, не хватало ловкости, либо он спешил, а может быть, был напуган и не уверен в себе, но только Хуан почти тотчас же почувствовал новое прикосновение. Быстрым движением он сжал запястье невидимого в темноте человека.

Дневальный дремал на скамье возле двери. Все происходящее его не касалось, как не касалось и стражников. Это касалось лишь одного Хуана, он сам должен был свести счеты с неизвестным врагом. И хотя Хуан чувствовал, что хватка его слабеет, он упорно продолжал сжимать чужое запястье.

— Чего тебе нужно?

Человек даже не охнул, только едва слышно прошептал:

— Ничего.

— Если еще раз попробуешь обшаривать меня, я тебе башку проломлю.

— Повтори-ка мне это завтра во дворе.

— Говорю тебе это сейчас, повторю и завтра.

Утренняя зоря, как обычно, ворвалась в тишину камеры, дребезжащий звук горна был пронзительно отрывистым. Арестанты с трудом поднимались, медленно сворачивали тюфяки, а сверху укладывали одеяла. Хуан встал одним из первых. Еще не совсем рассвело, и он вздрогнул от предутреннего холода и сырости. Вскоре небо на востоке зарумянилось от робких лучей. Хуан не испытывал ни тревоги, ни страха. Да и Мануэль Ромеро был вполне спокоен — усевшись на край циновки, он хладнокровно зашнуровывал башмаки.

Теперь, приглядываясь к пальцам Ромеро, шнуровавшего свои остроносые башмаки, Хуан поразился, как это ему удалось взять

в тиски эту широкую, твердую, но одновременно гибкую и ловкую руку и как он отважился угрожать ее владельцу. Не глядя на Хуана, Мануэль Ромеро знаком подозвал к себе Красавчика. Тот уселся рядом, и они стали перешептываться. После чего Пруденсио Морено Ибаньес, по прозвищу Красавчик, направился к Хуану.

— Небось совсем загордился?

— Это почему?

— Видать, ты здорово в себе уверен, если поступаешь, как сегодня ночью.

— Ну, это как сказать.

— Не слишком ли ты хорохоришься? Смотри, как бы не просчитаться.

— Я никому не позволю шарить у себя по карманам.

— С тобой просто пошутили. Запомни — пошутили.

— Обойдусь без твоих советов.

— А не пожалеешь?

— Все может быть.

— Уж не надеешься ли ты испугать Мануэля?

— Пусть он не думает, что напал на простачка. Я никому не позволю лазать по карманам.

Вся камера была уже на ногах. Арестанты вытянулись возле своих тюфяков. Небо светлело, и первые лучи робко заглядывали в тюремное окошко. Звуки горна покрыли многоголосый гомон.

— Надо делиться с другими.

— Ты о чем это?

— Тебе удалось провести следователя и начальника тюрьмы, но Артиста, Мануэля Ромеро, ты не проведешь.

— Чего ему от меня нужно?

— Он хочет участвовать в барышах. У алжирца, царствие ему небесное, всегда водились деньжата. А их-то как раз и не нашли, когда ему вздумалось обручиться с веревкой. Любопытное дело...

— Ну и дальше что?

— Артист одно время дружил с алжирцем. И по справедливости имеет право на часть наследства.

— Не пойму, к чему ты гнешь?

— Ты же сам слышал. Я сказал то, что Артист велел тебе передать. Поделись с нами, а не то пеняй на себя. Артист не позволит, чтобы какой-то плюгавый мужичонка прикарманил все деньги.

— Если Артист собирается на меня донести, пусть доносит.

— Мы ни на кого не доносим. Не отдашь добром деньги, заставят отдать. Артист вот-вот выйдет на свободу, ему нужны монеты. И все мы, его друзья, не хотим, чтобы вы затеяли во дворе драку. Ему осталось отсидеть всего две недели. Тебе, может, все это лестно, но мы не желаем, чтобы он схлопотал себе еще три месяца отсидки.

— Пусть Артист идет своей дорогой, а я — своей. Мне тоже неохота сидеть больше, чем положено.

— Значит, согласен отдать?

— Да что отдать-то?

— То, о чем речь шла.

— Чего нет, того не отдашь.

— Ох, гляди, пожалеешь.

— Что поделаешь.

— С Мануэлем Ромеро шутки плохи. Мы тебя предупредили. Тебе ведь добра желают. Если передумаешь, приходи в отхожее место, он там будет тебя ждать. Отдашь, что положено, и дело с концом. А если на воле тебе понадобится работа, тебе ее найдут.

Наспех проглотив утреннюю похлебку, Хуан неторопливо пересек двор. Мануэль Ромеро дождался, пока он войдет в отхожее место, и последовал за ним. По пятам за Мануэлем шли Красавчик, Старик Рекена и Сантьяго.

— Ну так как? — спросил Ромеро.— Мне передали ваш разговор, и, думаю, ты решил со мной не ссориться. Ты затем и пришел, чтобы столковаться?

— Я пришел, так как ночью сказал, что приду.

— Ладно, забудем про ночь, забудем даже, что ты мне разодрал ногтями руку. Я одного хочу — покончить дело миром. Знаю, парень ты не дурак, потому тебе и придется раскошелиться: так всегда поступают, когда друзья в нужде.

— Это вы-то мои друзья?

— Конечно, старик, мы. А ты как думал? Неужели мы тебе зла желаем?

— Добра вы мне тоже не желаете.

— Что ты решил?

— О чем это?

— Вроде бы ты не из тех, кому надо вдалбливать, что к чему.

— Нынче ночью ты мне все хорошо объяснил, Артист.

— Сейчас увидишь, что будет дальше.

— Как угодно.

— Все останется между нами. Скажи спасибо, что я не донес на тебя.

Красавчик и Сантьяго вошли в отхожее место. Старик Рекена остался снаружи на стреме: небрежно привалившись к стене, он грелся на солнышке.

— Скидавай с себя одежонку!

Хуан прижался к стене, руки его соскользнули на кучу извести, резкий запах испражнений и мочи ударил в ноздри. Сквозь щель крыши проникал тоненький лучик солнца.

— А ну, скидавай! Быстрее!

Он еще теснее прижался к стене, чтобы выиграть время. Здесь была выгодная позиция. Раскинув руки, вцепившись пальцами в неровную стенку, он ждал. Солнечный луч рассекал его лицо надвое.

— Скидавай, говорю, падло! Голодранец! Мужик!

Хуан даже не успел отразить удар — в тот же миг он очутился на земле, три пары рук держали его в тисках. Теперь он уже не сопротивлялся.

Мануэль Ромеро тщательно обыскивал его. Расправлял складки одежды, выворачивал карманы, проверял один за другим все швы на истрепанных грязных штанах, от которых несло потом и мочой. Особенно придирчиво он исследовал карман с внутренней стороны пояса, затем так же внимательно, как и штаны, ощупал рубаху. Словно в этой изорванной, выцветшей рубахе, измазанной, как пеленка новорожденного, липкой и влажной, можно было что-нибудь спрятать.

— Куда ты их упрятал?

— Да что упрятал-то?

— Говори, куда?

Мануэль Ромеро с размаху ударил его по лицу — раз, другой, потом его увесистый кулак расплющил губы Хуана, превратив их в мясистые луковицы.

Старик Рекена свистнул — по двору шел офицер. И запел сегедилью, прищелкивая пальцами.

— Не воображай, что наши счеты покончены,— сказал Мануэль Ромеро, идя к дверям.— Немало еще воды утечет, прежде чем я поверю, что у тебя и впрямь ничего нет.

■

После обеда его вызвал адвокат. Он принес прошение об освобождении Хуана до суда.

— Если судья удовлетворит эту просьбу, я с помощью друзей помогу тебе устроиться.

— Спасибо.

— Только придется отстать от твоих прежних дурных привычек.

— Каких привычек?

— И потом, надеюсь, что, выйдя на свободу, ты отблагодаришь меня за все, что я для тебя сделал.— Адвокат нервно вертел мундштук в неловких худых пальцах, пожелтевших от никотина.— Если будешь меня слушаться, я сделаю из тебя человека.

— О каких привычках вы говорите? — настаивал Хуан.

— Я уже не раз разочаровывался в людях.

Хуан ничего не понял. Распухшие губы болели, и говорить ему было трудно.

— Я вас не понимаю,— с усилием произнес он.

— Если захочешь, мы станем добрыми друзьями. Многого я тебе предложить не могу, но сыт будешь.

Хуан сплюнул и осторожно вытер рукой вздувшиеся губы. Появившаяся на его лице слабая улыбка выражала скорее жалость, чем гнев.

— Я всегда мечтал встретить такого молодого парня, как ты: серьезного, осторожного и неболтливого.

На губах Хуана снова показалась горестная улыбка.

— О чем ты думаешь?

— Ни о чем.

— Что у тебя с губами?

— Да так, царапина.

— Подпиши.

Адвокат просунул сквозь двойную решетку лист бумаги, потом — самопишущую ручку, покатившуюся к ногам арестанта.

Хуан нацарапал свое имя и фамилию, поставил подпись и тем же путем вернул адвокату ручку и бумагу.

— Спасибо.

— Надеюсь, мы станем друзьями.

— Да.

— Можешь называть меня на «ты».

— Нет, сеньор.

— Ну, тебе виднее.

Хуан промолчал.

— Я приду в субботу, думаю, ответ на прошение уже будет.

— Ладно.

Он вышел из комнаты, где происходили свидания, и пересек внутренний двор.

X

И вот наконец они вчетвером возникли за решеткой, как сон, как видение: Инфантес, Салас, Фернандес и Мендес.

— Мы пришли проститься с тобой,— сказал Хенаро.

Их разделял зарешеченный проход, и товарищи казались Хуану скорее тенями, чем живыми людьми. Ему почудилось, что он сейчас

умрет. Он медленно поднял на них глаза, не решаясь заговорить. Была пятница, близился полдень, и помещение, отведенное для свиданий, было полупустым.

— Как вы поживаете?

— А ты?

— Хорошо.

— Должно быть, удивлялся, что мы так долго не приходили.

Хусто Фернандес и Рафаэль Мендес улыбались ему, старались просунуть пальцы между прутьями решетки. Крестьяне оставили свои пожитки в коридоре, возле окна, выходившего во двор, они сложили в кучу котомки, сундучки, свернутые одеяла, узлы и вырезанные из тополя палки, на которые опирались, бредя по дороге.

— Ну как ты?

— Правда хорошо. А ты? А твоя жена?

— Мы работали на сборе маслин. В этом году далеко уходили, к самому Бадахосу.

— Мы тут сложились и принесли тебе немного деньжат. Двести пятьдесят песет. Хотелось бы, конечно, оставить тебе побольше,— сказал Салас.

— Мне деньги ни к чему. Вам они нужнее.

— Мы внесли их в контору на твое имя.

— Спасибо. Но только, ей-богу, напрасно вы это.

— Бригадир Анисето сказал нам в конце жатвы на Исле, что в твоем деле много неясного и тебя, должно быть, до суда выпустят на свободу — свидетели между собой никак не столкуются.

Хуан улыбнулся, как будто все это было от него теперь совсем далеко и уже не имело никакого значения. Потом он стал расспрашивать об остальных членах артели.

— Фернандо возвратился к себе в деревню. А куда двинулись Сириако и Игнасио, мы не знаем.

— А как твоя жена?

— Скрипит помаленьку, как всегда.— Хенаро собрался было скрутить сигарету, опустил уже руку в карман, чтобы вытащить пачку табаку, но передумал, словно решил, что курить возле этой решетки грешно.— Вот поглядим, что будет на тот год. Толкуют, будто в Кастилии жнецам стали платить по-божески.

— Что?

— Знаешь, на плоскогорье земля хорошая. Хлеба там вон какие высокие.

Окошко в коридоре осветилось, лучи полуденного солнца упали на подоконник.

— Получаешь известия от подружки?

— Я ничего о ней не знаю. Надеюсь, что она здорова.

— Коли пообещал девушке жениться, держи слово.

Какая-то женщина посылала из-за решетки воздушные поцелуи мужу. На руках она держала ребенка. Чуть дальше цыгане наперебой рассказывали о жизни табора своему соплеменнику, угодившему в тюрьму за драку. В углу комнаты какой-то старик разговаривал с сыном и то и дело вытирал губы рваным носовым платком. Снаружи, в галерее, уже сгрудились новые посетители.

— Чего тебе хочется? В чем нуждаешься?

— Ни в чем.

Когда надзиратель хлопнул в ладоши в знак того, что свидание окончено, четверо крестьян дружески замахали Хуану. Хенаро выше всех подымал руку и яростно жестикулировал, как будто стоял не в длинном тюремном коридоре, а на узкой меже, как будто дышал он не тюремным воздухом, а южным ветром, соленым и терпким, как будто

под ногами у него были не каменные тюремные плиты, а красная, сухая земля холмов, поросших оливами.

— Прощайте, ребята.

Он глядел, как они уходили, нагруженные сундучками, узлами, котомками, одеялами, и горло у него перехватило от волнения.

— Прощайте,— чуть слышно повторил он.

В тот вечер его по наряду назначили на подсобные работы. Ожидали прибытия санитарной инспекции, и тюремное начальство готовилось к приему гостей. По воле судьбы Хуан попал на кухню. Работавшие там арестанты потешались над ним, заметив, что он боится больших черных тараканов, блестящих и скользких тараканов, которые вылезали из-под плиты. А он предпочел бы схватиться с разъяренным быком или волком, лишь бы не давить на каменных плитах пола этих отвратительных насекомых.

Теперь ему казалось, что время течет медленнее, как будто приход товарищей вновь пробудил в нем жажду жизни, и ему стало особенно тягостно в тюрьме. Оказывается, целых три месяца промелькнули с быстротой молнии! Потом он с головой ушел в работу.

— Сразу видать, что ты крестьянин и не боишься работы,— сказал шеф-повар.— Когда управишься, как раз поспеет суп, и мы угостим тебя на славу. Грязи тут хватает, и ты порядком намаешься. Ну а когда человек работает на совесть, не грех его как следует и покормить.

■

Вечером повара и вправду сварили овощной суп. Присев на корточки у очага, Хуан ел без всякой охоты. Внезапно его охватило нелепое желание: хорошо, если бы его уже приговорили к тюремному заключению, тогда он попросился бы работать на кухне. Здесь легче было вообразить, будто ты на свободе, будто дышишь вольным воздухом, греешься на солнышке или подставляешь лицо холодному ветру: языки пламени, лизавшие колпак над очагом, были какие-то домашние, а не тюремные. В кухне пахло дровами, смолой, мокрой землею, полем, лавандой.

В тот вечер Хуан заснул спокойный, примиренный, почти счастливый.

■

В воскресенье перед многоцветным витражом с изображением божьей матери установили аналой. После мессы Хуан вышел во двор. Было ясное декабрьское утро, но с севера порывами налетал резкий ветер. Футбольные команды, составленные из арестантов, готовились к новогодней встрече. На вершине башенок поблескивали дула автоматов. В прозрачном воздухе пахло так, как обычно пахнет в провинции по воскресеньям. На тюремный двор доносился шум из ближайшего предместья. Хуан устроился на галерее, чтобы посмотреть футбольный матч. Когда одна из команд забила гол в воображаемые ворота, он вдруг ощутил на губах терпкий и сладковатый привкус крови. Он яростно сплюнул, посмотрел на маленький красноватый сгусток, снова плюнул. Теперь слюна была чистой, но ему показалось, что земля стремительно закружилась перед глазами. Он поднялся и побрел в камеру, по лестнице он взбирался неуверенно, чуть пошатываясь.

Роке сидел на циновке и плел корзину. Хуан подошел к нему. Роке кивком показал на корзину, переплетая прутья заскорузлыми, неловкими пальцами:

— Когда будешь выходить на волю, я подарю тебе ее на память, придешь к себе в деревню и отдашь матери или невесте.

— Спасибо. Я и так буду о тебе помнить.

— Надо обкурить ее серой, тогда она уже станет совсем другого цвета, добрая получится корзина.— Роке с удивлением оглядел Хуана с ног до головы.— Разве тебе выдали одежду? — спросил он.

И принялся разглядывать стоптанные сапоги, измятые штаны, перехваченные вместо ремня пеньковой веревкой, широкую рубаху, всю в заплатах, сильно поношенную вельветовую куртку.

— Сестры из дома призрения принесли нынче утром немного одежды,— пояснил Хуан. Он негромко, с опаской кашлянул. Ему показалось, что грудь его вот-вот разорвется.— Я хочу попросить тебя об услуге, Роке.

— Если я могу оказать услугу...

— Завтра я хочу пойти на прием к фельдшеру. Попрошу, чтобы мне дали какое-нибудь лекарство, а то грудь болит.

— Ты ведь знаешь, все, что от меня зависит...

— Спасибо.

— Она тебе взаправду нравится? — Он поднял корзину и протянул ее Хуану.

— Нравится, Роке, славная корзина.

— Ну и бери ее себе на здоровье.

Они вышли из камеры, взявшись за руки, как будто хотели этим показать, что дружба их стала еще крепче, теснее. Во дворе арестант, судивший футбольную встречу, громко засвистел: матч кончился.

Хуан снова закашлялся, сплюнул красную вязкую кровь с лиловыми прожилками. Потом вытер губы рукавом и встал в затылок за Роке — уже раздавали похлебку.

XI

Его продержали в тюрьме ровно три месяца и два дня. Время тянулось мучительно, а жизнь походила на дурной сон. Но беда была даже не в этом.

Беда была в том, что после тюрьмы остался кашель, и он надсадно кашлял, стоя на эспланаде, на желтой, освещенной луной площадке; дома, которые из-за решетки казались лишь светящимися точками, теперь были совсем близко, он различал даже потеки извести, видел балконы, окна и балюстрады, ниши, ставни, двери.

Да, после тюрьмы остался кашель и холод, от которого не спасала жалкая одежда, еще хранившая чужой запах,— все это да еще медленная, тяжелая походка, когда каждый шаг напоминает о строго размеренном режиме за железной решеткой. И теперь он удалялся от тюремных стен, почти не сознавая этого. Его вывели за ворота и оставили посреди эспланады, не сказав ни слова, ничего не объяснив, даже не проделав полагающихся формальностей.

Сейчас, когда в голове его прояснилось, он удивился, что уже почти стемнело, а все это произошло в воскресенье, и утром он поднялся на полчаса позднее, чем в будние дни. Нынешнее воскресенье выдалось необычное. Сперва его повели слушать мессу, потом он поболтал с Роке, поел и без сил повалился на тюфяк, а после спустился во двор, чтобы немного побродить. В камеру он возвратился лишь к вечеру. Тут-то его и вызвали. Даже не заставили явиться в канцелярию, потому что канцелярия была закрыта, ему ничего толком не сказали, не объяснили, что собираются выпустить из тюрьмы. Лишь крикнули: «Ступай!» — как будто слово это было самым обычным и не означало конца заточения, которое длилось три месяца и два дня, как будто это было самое простое слово, какое мать говорит сыну, сын — матери, брат — сестре,

как будто снова зазвучала обычная человеческая речь, заменив собою жаргон, на котором говорили вокруг него целых три месяца, и сразу превратила этот жаргон в мертвый груз, зря загромождающий память. Судьба его переменилась, но не потому, что к нему вдруг прониклись сочувствием или жалостью, а потому, что власти сперва забыли о нем, а затем почему-то вспомнили. Постановление о его освобождении до суда, ибо в его действиях не было обнаружено состава преступления, провалялось пять дней на столе у алькальда. Там, между прочим, было сказано: «Состав преступления отсутствует, поскольку жалоба взята обратно, ибо драгоценная вещица, пропажа которой послужила основанием для выдачи ордера на арест Хуана Родригеса Лопеса, была внезапно обнаружена».

Но ему об этом ничего не сказали. Просто тихонько, почти по-отечески вытолкнули за ворота тюрьмы и оставили одного посреди эспланады в тот час, когда уже начинают загораться огоньки, а декабрьский ветер завывает над холмами.

Он направился к городу усталым шагом бродяги, ощущая в горле вкус крови, ничего не понимая и даже не пытаясь понять, он сам не знал, счастлив он или нет, он не испытывал ничего, словно был не человек, а пес или зверь, которого травят в горах.

СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА

XII

Рельсы, проложенные вдоль реки, уходили куда-то далеко в сторону от человеческого жилья. Груженная солью шаланда поднималась против течения, распустив паруса, которые весело раздувал утренний ветер.

Он развязал мешок и стал собирать кусочки угля, валявшиеся по обе стороны железнодорожного полотна. Группка женщин и детей опередила его. Он смотрел, как они мерно нагибаются, распрямляют спину, снова нагибаются.

Весь уголь получше был уже собран. Оставался лишь пористый уголь самого низкого качества, который никуда не годился, да еще чуть поблескивавшие черные многогранники какой-то породы, не сгоревшей даже в паровозной топке. Он медленно продвигался вперед, тщательно разглядывая каждый кусочек угля, прежде чем опустить его в мешок, и отбрасывая отсыревшие.

Как раз напротив, за далекой и расплывчатой линией гор, вставала заря. Через каждые пятьдесят метров он подымал мешок и взвешивал его в руке. Женщины и дети уже возвращались домой с полными до краев корзинками. Какая-то женщина остановилась рядом с ним и посоветовала:

— Если хочешь, чтобы у тебя не пропал день, поворачивайся живее.

Мимо пронесся андалузский экспресс, вагонные окна ослепительно вспыхивали, отражая косой солнечный луч. Он продолжал собирать уголь не спеша, но все так же упорно.

Когда он решил, что уже хватит, солнце стояло над противоположным берегом реки. Он медленно побрел обратно по железнодорожной насыпи. Слева от полотна большим белесым пятном выделялся погост. Он свернул с путей и спустился с насыпи. Так постепенно он добрался до кладбища. Потом пересек эвкалиптовую рощицу и остановился у стойки закусочной. Хозяйка мыла стаканы в большой цинковой лохани.

— Мартинес здесь?

— Если вы насчет угля, то Мартинес вам ни к чему. Я сама вешаю, сама и деньги плачу.

Женщина перегнулась через стойку, показав ложбинку между грудей, и посмотрела на мешок, прикидывая в уме его вес.

— Нынешнюю неделю мы платим по пятьдесят сентимо.

— А Эваристо, это он меня к вам послал, сказал, что вы платили ему шестьдесят пять.

— Значит, неправду сказал.

— Он мне говорил, что если он кого пришлет, так тому платят по шестьдесят пять.

— Мы никогда больше шестидесяти не платили, да и то за самый отборный сухой уголь.

— А вы посмотрите сами, какой товар.

— Все равно больше пятидесяти пяти мы платить не можем. Вон в той закусочной, чуть подальше, тоже покупают уголь.

— Эваристо меня заверил, что Мартинес даст настоящую цену.

— Я же вам говорю — нет и нет. Зря он только вас обнадежил. Согласны по пятьдесят пять, тогда возьму.

Он поднял мешок, вытащил пригоршню угля и высыпал его на прилавок.

— Смотрите, сухой.

— Я же вам объясняла, какой бы он ни был, дороже мы не заплатим. Возможно, в другой закусочной вам дадут на двадцать сентимо больше. А мы не можем.

Он пожал плечами и утвердительно кивнул:

— Ладно, берите.

— Идите-ка сюда,— сказала женщина и, вытерев о фартук мокрые руки, откинула дерюжную занавеску.

На балке возле двери, выходившей во двор, висел большой безмен. Женщина зацепила мешок за металлический крюк и передвинула на коромысле гирьку.

— Точно пятьдесят килограммов и пятьсот граммов.

— А я-то думал, тут не меньше семидесяти.

— Все так думают. Уголь, он обманчивый.

Она высыпала уголь за дверь и, аккуратно свернув мешок, подала его Хуану. Потом сунула руку в карман фартука. Шевеля губами, она старалась подсчитать сумму в уме, но, не досчитав, подошла к стойке и стала выводить цифры кусочком мела. Получилось двадцать восемь песет.

Какой-то человек вышел из рощицы и направился к закусочной.

— Это Мартинес, мой муж,— пояснила женщина, указывая на него пальцем.

Когда Мартинес приблизился к стойке, Хуан уже успел запрятать деньги в задний карман штанов.

— Уголь принес? Тебя Эваристо послал? Раз дело сделано, значит, конец, но вообще-то я решил больше угля не покупать.

— Ты же меня не предупредил,— оправдывалась жена.

— Я тебя и не упрекаю. Мне заказали пятьсот килограммов, придется их взять, когда принесут. Но очень уж это грязная работа, действительно грязная, и конца ей не видно. Не воображай, что я, как посредник, тысячи зарабатываю. Я вообще считаю, что посредник никогда никакой прибыли не получает. Лучше уж взять мастерок да наняться в каменщики.

— А я рассчитывал вам завтра еще угля принести.

— Почем ты ему заплатила? — спросил Мартинес жену.

— По пятьдесят пять сентимо.

— Когда вы начали собирать?

— На заре.

— А сейчас еще и часу нет,— сказала женщина.

Он снова пересек рощицу и вышел на шоссе. Перед кладбищем автобус описывал полукруг. По старой дороге двигался похоронный кортеж, и он сдернул с головы берет. Гроб стоял на помосте, весь убранный цветами, над ним был водружен крест. На кучере красовался порыжелый цилиндр. Двое мужчин в черном шли за дрогами.

Он не спеша брел по направлению к городу, обходя заводские склады и огороды. Во дворах у куч навоза протяжно мычали коровы. На старой дороге снова показался похоронный кортеж. Двое мужчин — черные, четкие силуэты на фоне зелени — несли на носилках маленький беленький гробик. Вдали на пробковой фабрике завыл гудок.

Хуану не удалось сдержать приступ кашля. Ногой он поддел камешек, и тот отскочил в сторону. Тротуар здесь не был асфальтирован. Справа тянулся целый квартал лачуг, лепившихся по берегу реки, которую отсюда было почти не видно, присутствие ее лишь угадывалось. Он был бы не прочь поселиться тут, хотя и не знал никого из здешних людей. Он взял влево, чтобы обогнуть лужу. Облака, перевалившие через горный хребет, двигались по-военному стройными рядами, точно целый легион всклокоченных мотков шерсти.

Проходя мимо морга, он вспомнил Бен Руибу. Тюрьма была уже где-то далеко. Ему даже не верилось, что он просидел там целых три месяца. Когда за ним захлопнулись тюремные ворота, небо было синее, и сейчас оно синеет вновь.

Он прошел мимо больницы. На камнях желтел лишайник. В садах раскрывались белоснежные цветы апельсиновых и лимонных деревьев, радостно приветствуя приход весны. Ему хотелось есть и пить, но, несмотря на голод, его опалило желание. При мысли, что у него есть деньги на завтрак и что, по счастью, нынче четверг, он улыбнулся.

XIII

Зима увела солнце из сада, заполнила его сыростью и упорным туманом. По белесоватым дорожкам уже не пробегают золотые солнечные пятна, на куртинах уныло никнут миртовые кусты, окутанные длинными нитями паутины. Зима приглушила густую зелень кипарисов. Только до их верхушек дотягиваются теперь косые солнечные лучи. В саду полновластно царит полумрак, и солнечный свет не достигает земли. Ветки кипарисов царапают балкон третьего этажа, их аромат, проникая в дом, смешивается с запахами воска и свежевыстиранного белья.

Ей было жаль зимних запахов и зимнего уюта — их унесет с собою весна. В бельевой уже не пахло прачечной, как будто с наступлением тепла пропал и этот запах. Она вывернула обшлаг мужской сорочки и сбрызнула его водой. Потом вздохнула. Ветерок раскачивал нежно-зеленые верхушки кипарисов, врывался в комнату. Зимой дом как бы весь сжимался, становился меньше, и это ей было по душе. Полы застилали циновками, чтобы заглушить шум шагов в коридоре и комнатах. Стоявшие на столах корзины из альфы напоминали, что дом — просто часть имения наравне с мельницей и лугом, они вызывали в памяти Марисму, ибо альфа растет там вдоль дороги на выгон.

Прежде чем ее перевели в бельевую, она помогала слугам свертывать циновки, потом их выносили на чердак и в кладовую, где они медленно гнили, на следующий год их заменят новыми с точно таким же рисунком и такого же размера, но от тех, новых, будет пахнуть тмином и лавандой. Она снова вывернула рукав, расправила обшлаг и осторожно провела по нему утюгом. В эту минуту раздался голос экономки:

— Сколько еще белья осталось?

В ответ она указала на корзину, где лежало только что сбрызнутое белье.

— Брось его! Поди принеси одеяние кающегося.

Она не поняла, чего от нее хотят, и с недоумением пожала плечами. Потом спросила, куда нужно идти. За ее спиной прозвучал надтреснутый и властный голос экономки:

— На чердак. Прихвати также капюшон кающегося. Целых двадцать лет я сама гладила его одежду, потому что сеньор не хотел, чтобы эти вещи трогал кто-нибудь другой. Но силы у меня теперь не те. У нас уже давно не было такой искусной гладильщицы, как ты, вот ты и выгладишь.

Слова экономки польстили ей. Старуха вручила ей ключ от чердака, который подходил также и к комнатам верхнего этажа.

— Лучше будет, если ты сама эти вещи и постираешь. Одежда деликатная, прачкам ее доверять опасно, порвут еще.

Она утвердительно кивнула головой, выключила утюг и аккуратно сложила сорочку. Уже не пахло альфой, и ей почудилось, будто она попала в незнакомый дом, будто и не прожила здесь семь месяцев, а только вчера сошла с автобуса, ступая нерешительно, по-крестьянски, с чемоданом в руке.

■

Она зажгла фонарь и стала подниматься по винтовой лестнице. Пучок лучей дрогнул, когда она переступила последнюю ступеньку. Во второй раз она подымалась на чердак, и, как тогда, по спине у нее пробежал холодок страха. Сегодня, слава богу, здесь не стоял тяжелый смрад, как в прошлый раз, когда она обнаружила посреди чердака полуразложившийся труп ангорской кошки. Сейчас тут пахло только камфарой да старым деревом, изъеденным червями.

На цыпочках она пробиралась между наваленной грудами мебелью, приблизилась к окну и открыла его. Когда на чердак ворвался дневной свет, она потушила фонарь. Потом оперлась на подоконник и посмотрела вниз на улицу, по которой мог прийти он, потому что был четверг и как раз сегодня он может с ней говорить у обитых гвоздями ворот. Здесь ее отпускали только по четвергам, после семи вечера, в эти дни она стояла и ждала его у дверей, а если она задерживалась и он уже был здесь, оба шли к площади Доньи Эльвиры, где могли спокойно посидеть на скамейке; однако уже через час она возвращалась домой помочь горничной подать ужин, но не сразу входила в дом, а дожидалась у ворот, пока за ней выйдет экономка, как будто старуха была ей родной матерью.

На противоположной стороне улицы, за древней стеною, тянулись сады Алькасара. С минуту она любовалась цветниками, пальмами и кедрами, прислушиваясь к отдаленному журчанию фонтанов. Потом принялась искать одеяние. Вся мебель и большие сундуки были покрыты толстым слоем белой пыли. Она попыталась было приподнять крышку, но тщетно. Пожав плечами, она уселась на сундук. Теперь ей уже не было страшно, напротив, в этой тишине она чувствовала себя какой-то удивительно спокойной, почти счастливой. Она огляделась вокруг. В порванных бумажных мешках хранились старые вечерние туалеты, рядом валялся разобранный на составные части манекен, на деревянной болванке красовался белокурый парик, а кругом в беспорядке лежали и стояли мраморные и гипсовые статуи, свернутые трубочкой картины без рам, пресвятые девы под стеклянными колпаками, лакированная, давно вышедшая из моды обувь и старые раскрашенные гравюры.

Наконец она встала и снова попыталась открыть сундук. Это оказалось не так-то просто — хорошо, что посреди чердака она обнаружила

железный прут и воспользовалась им, как рычагом. Балахон кающегося был завернут в шелковистую бумагу, нашла она также маску и широкий пояс, сплетенный из альфы.

Оставалось только подтащить к одной из потолочных балок стремянку и снять с гвоздя картонный капюшон, который надевают, чтобы маска не свалилась, чтобы сидела прямо. Поставив стремянку, она взобралась на верхнюю ступеньку. Снимая с гвоздя капюшон в форме большого рожка, обшитого по краям тончайшим сафьяном и склеенного из самого прочного и самого легкого картона, какой только имелся в продаже, она тихонько рассмеялась. А спустившись на пол, первым делом нацепила его себе на голову и стерла рукавом пыль с зеркала, чтобы полюбоваться собой. Сначала она состроила гримасу, а потом прошлась размеренным шагом, как ходят кающиеся грешники. Когда эта забава ей прискучила, она сняла капюшон и положила его на крышку сундука рядом с маской и балахоном. Потом скинула шлепанцы на резиновой подметке и надела лакированные туфельки на высоком каблуке. Посмотрела на свои стройные беленькие ножки, которые, казалось, стали длиннее в этой обуви, и сделала несколько шагов. Тут она решила, что можно померять и платье, снова влезла на стремянку и сняла бумажный мешок, откуда торчал кусочек лиловатого шелка. Она сняла свой закрытый передник из полосатой холстинки и, оставшись в одной комбинации, снова посмотрела на себя в зеркало. Выпятив грудь, она прикрыла глаза, провела руками по талии, осторожно натянула шелковое лиловое платье, ласково перебирая пальцами оборочки и складочки, и, наконец, схватив манекен, пустилась с ним в пляс, оглядываясь на себя через плечо в зеркало. Кончив танцевать, она с минуту постояла в задумчивости. Потом, сама толком не зная почему, резким движением сорвала с себя платье и, скомкав его, швырнула в угол чердака. Надевая шлепанцы, она внимательно посмотрела на свои красные, распухшие от работы руки.

При солнце на чердаке еще больше, чем всегда, пахло старым источенным деревом и камфарой. Дрожащая трель малиновки нарушила молчание, царившее в садах. По улице прошел лоточник, и сюда, на чердак, точно слабое эхо, донесся его крик. Она схватила балахон, маску, пояс, закрыла окно и вышла, заперев дверь на двойной поворот ключа, потом медленно, на цыпочках спустилась с лестницы.

На площадке ее ждала экономка и послала работать на кухню.

■

Только вечерами, когда еще не зажигали электричество, а за окнами уже меркнул дневной свет, она с тоской вспоминала свою деревню. Тогда в памяти возникала их улица, выходившая в поле, побеленные известкой дома, соломенные крыши, ручеек, она вспоминала, как вечерами люди выносят на улицу стулья, чтобы подышать свежим воздухом, а кругом визжат дети, болтают женщины. А сама она шла побродить с подружками-сверстницами или бежала в оливковую рощу, куда приходил и он, иногда с запозданием, так как по дороге заглядывал на постоялый двор выпить стаканчик вина и выкурить сигарету.

Она работала сейчас машинально, даже не понимая, что делает. За окном дневной свет стал ярко-желтым.

— Да пошевеливайся ты,— ворчала кухарка, приготовляя десерт.

И впрямь, мыслями она была далеко отсюда; натирая сыр, она время от времени клала себе в рот маленькие кусочки.

— Пошевеливайся,— твердила кухарка.

...В оливковой роще темно. Солнце медленно катится за сланцевыми холмами.

— Ты совсем заледенела,— говорит Хуан, приближаясь.

— Сегодня я не решусь,— отвечает она.— Нельзя искушать дьявола.

И отталкивает его.

По вспаханному под пар полю пробегают фосфоресцирующие огоньки. Тростник, как в дни молотьбы, трещит под окованными железом колесами.

— Нет, это невозможно. Мы зашли слишком далеко.

Она лгала. Ей хотелось зайти слишком далеко. Все прошло, как положено, как при каждой смене луны, но он был уже далеко — на рисовых полях на юге дельты; она предпочитала держать его в неизвестности не по злобе, а из боязни, подчиняясь инстинктивному стремлению защитить себя, ибо она отдала ему единственное, чем владела. В конце сентября она уехала в город. Солнце уже не било с такой яростью в саманную ограду вокруг их дома.

Рана зарубцевалась, почти уже не жгла, как вдруг в один прекрасный день появился он, возник под солнцем у обитого гвоздями портала. Он дернул колокольчик и окликнул ее, потому что она как раз пересекала патио, но экономка ее опередила. Он что-то бормотал, нес какую-то нескладицу, а одет был, как нищий. Пришлось объяснить экономке, что она уже много лет не видела «брата», и именно поэтому он осмелился сюда явиться. С тех пор он приходил каждый четверг, но вид у него теперь был совсем другой, чем в первый раз. Лицо, правда, было все такое же изможденное, желтое, а глаза запавшие. Экономка его не замечала, а может быть, просто не признала. Угрюмый и молчаливый, он ждал в темноте, когда она к нему выйдет. Они прогуливались по соседним улочкам, присаживались на скамейку, но здесь была не оливковая роща, и они сидели, почти не касаясь друг друга.

Она натерла полную тарелку сыра. Полуденный свет наполнял буфетную. Теперь, когда ей было из-за чего беспокоиться, она не беспокоилась и даже ничего ему не сказала. Она испытывала какое-то незнакомое чувство, одновременно сладостное и мучительное, сродни легкой грусти.

Каждые две недели ей удавалось проводить с ним весь вечер. У нее не хватало духа отказывать ему. Оба, не сговариваясь, искали уединения в пригороде, в густом кустарнике, на пустошах, и им казалось, что они вновь вернулись в родную деревню, лежат в зарослях тростника, неподалеку от тропки, ведущей к постоялому двору, и перед глазами у них серебристо-серые оливковые деревья. А для разговоров у них оставался четверг. Но ни он, ни она не искали иного уединения, кроме пригорода и пустошей. Конечно, они могли бы встречаться в тесной комнатенке, которую он снимал против кладбища, но обоим хотелось думать, будто они в своей деревне, среди олив, где состоялось их первое свидание, будто неподалеку мигают огоньки постоялого двора, по шоссе идут грузовики, а сам Хуан вместе с Ансельмо и Хосе Мануэлем только что выпили у стойки по стакану вина.

— Нарежь лук,— скомандовала кухарка.

Она взяла нож и стала резать луковицу на тонкие кружочки. Она не поручилась бы, что именно сейчас что-то впервые шевельнулось у нее под сердцем. Но ее охватила радость: то, что должно неизбежно прийти, уже пришло. «Чем скорее все это произойдет, тем лучше», — подумалось ей. Она ждала, когда же кончится обед и ей удастся пойти посидеть рядом с Хуаном на скамейке, помечтать под апельсиновыми деревьями, прислушиваясь, как журчат фонтаны. Теперь им уже не хотелось все время говорить о тюрьме, как в первые месяцы после его освобождения. Но ее беспокоил его усталый вид, кашель, изменившийся голос. Да и работа его также ее тревожила: одна неделя на окрестных огородах, вторая — на строительстве, чернорабочим, третья — на пристани, грузчиком. А главное — эти пустые, ничем не занятые дни, когда часами

ждешь на площади, не удастся ли разгрузить машину с мукой или наняться поденщиком на бойню сортировать и взвешивать туши забитого скота.

Кружочки лука уже высились бело-лиловой кучкой. Она подала тарелку кухарке, затем, услышав голос зовущей ее экономки, пошла в бельевую.

— Ты его хорошенько растяни, тогда он высохнет к вечеру,— сказала экономка, показывая на балахон, длинные полы которого спадали до самой земли, и на маску с пустыми глазницами.

От балахона шел пронзительный запах жавеля, крахмала, камфары и воска. Когда она сняла балахон с проволоки, он был до того твердо накрахмален, что казалось, сам мог стоять на полу, как колокол. Расстелив его на гладильной доске, она сражалась с ним, как с врагом. Тщательно выискивала плохо выглаженное местечко и снова бралась за дело, стараясь, чтобы получилось как можно наряднее. Каждая складка казалась скульптурно выпуклой, но ей этого было мало, ей хотелось, чтобы материя блестела, сверкала, чтобы каждая ниточка легла под тяжестью утюга на положенное ей место. Когда она повернула выключатель, тени заиграли по-иному. Она медленно продолжала водить утюгом. Сначала — сам балахон, потом — рукава и под конец шлейф, который во время процессии подтыкают под пояс, сплетенный из альфы. Утюг тихонько скользил взад и вперед. Она снова почувствовала под сердцем биение новой жизни. Она устала, но продолжала гладить, и ей казалось, что она водит утюгом по отцовской рубахе или рабочей куртке одного из своих братьев, как будто с того времени не прошло десяти долгих лет.

И утюг там был не электрический. Тогда она грела его на печурке, которую топили углем, и братья, толпясь тут же, в тесной кухоньке, требовали у матери завтрак — кусок хлеба, обмакнутый в оливковое масло. Отец возвращался поздно, он пас на ферме скотину и являлся домой только к ночи, принося с собой запахи тростника, луговых трав и вспаханной земли. Утюг тот был связан в ее памяти с тем днем, когда она стала взрослой. Она плакала и уже лежала в постели, когда вернулся отец. Мать, собирая ему ужин, сказала вполголоса:

— Твоя дочь нынче стала взрослой.

— Ну и что?

— Ничего. Только я хочу тебе сказать, что теперь ты можешь сделаться дедом.

Слова эти звучали у нее в ушах несколько месяцев. Потом она понемногу привыкла. Корсаж ситцевого платьица приподымали заостренные молодые груди. Сначала они были как два розовых бутона, потом стали похожи на два спелых лимона.

Хотя семья бедствовала, детство ей выпало счастливое. Радость жила в ней самой, родилась с ней вместе и вместе с ней умрет. Такой жизнерадостной была и ее мать при жизни отца, несмотря на жалкие его заработки: отцу, как пастуху, кроме грошового жалованья, полагалось в день два литра молока и козленок к Новому году.

В бельевую вошла экономка. От ее темного платья на белые складки балахона упали черные тени.

Оставалось выгладить только шлейф, она на славу потрудилась над ним и аккуратно перекинула через спинку стула, чтобы не помять.

■

Она помогла экономке спрятать балахон в бумажный мешок и повесить его в шкаф. Сам дворецкий открыл им огромный гардероб красного дерева и велел положить тщательно завернутый капюшон на самую верхнюю полку возле картонок, где хранились широкополые шляпы.

Потом она пошла вслед за экономкой по коридору на кухню. Уже горел красный глазок электрической плиты, приятно пахло едой. Она поднялась к себе в комнату и переоделась. Спустилась по черной лестнице в патио, открыла калитку и стала ждать, машинально проводя ладонью по золоченым гвоздикам портала. Вдалеке слышались звуки труб и барабанов. Из садов Алькасара доносилось благоухание цветущих апельсиновых деревьев, ночной мрак сгущался, но свет луны уже окружал верхушки кипарисов мерцающим ореолом.

■

Поначалу из предместий докатывается лишь отдаленное эхо, а вернее, рокот, нечеткий и все-таки пронзительный металлический гул. Все еще дует северный ветер. Над рекой сбиваются в кучу мартовские волокнистые облака. Грозы перекочевали к низинам, к склонам холмов на северо-западе, к участкам, засеянным пшеницей, или оливковым рощам вокруг Эсихи.

Придется ждать еще почти целый месяц. Все эти шумы лишь предвестник. Постепенно в течение трех недель шумы эти будут подходить все ближе и ближе к городу, пока наконец не наполнят его до краев металлическим грохотом. К тому времени высокие облака будут проноситься над рекой быстрее и вольнее, и небо с каждым днем будет все лучезарнее. Поденщики, чернорабочие, грузчики станут глядеть вслед уходящим облакам и ждать, когда подступит поближе этот все крепнущий гул и можно будет снова положить на затылок свернутый вчетверо мешок. Добрая половина города целый год мечтает об этой неделе, которая приближается медленно, приходит без предупреждения, неотделимая от весны и ее роскошного, почти тропического цветения: игра света в квартале Санта-Крус, хрустальное бормотание фонтанов, блеск юных глаз, ласка вечернего ветерка, благоухание апельсиновых деревьев в цвету, свежевыбеленные фасады домов, убранные геранью балконы и окна, заново окрашенные в зеленую краску жалюзи и песни, рвущиеся на улицу из дверей кафе.

Каждая страстная неделя связана со следующей как бы тончайшими нитями сложной игры интересов и симпатий, и весь город день за днем, круглый год, ткет эти нити, чтобы можно было щегольнуть новыми хоругвями или новым покрывалом для скорбящей божьей матери, которая явится народу, когда до него дойдет весть о смерти Христа-искупителя.

Грузчики с различных пристаней и те, что стоят, скрестив руки, на пороге окрестных кабачков, вспоминают прошлогоднюю процессию и говорят о нынешней, где сольются воедино их пот и усталость. Вот уже много поколений — от отца к сыну — бродячие поденщики приходят из Галисии, из Астурии, из Леона, чтобы нести золоченый помост и снова пройти весь положенный путь из кафедрального собора, минуя Монетный двор, по залитым солнцем набережным, где сверкает Золотая башня.

Они тоже ждут эту неделю, ждут, ибо она знаменует приход весны, а вслед за весной наступит лето и с ним приволье полей и работа. Тогда огородникам потребуются рабочие руки, понадобятся они и для посева маиса, и для косовицы хлебов, и для прополки рисовых полей. Щедрые дары лета облегчат жизнь многочисленным семьям: появятся огурцы, помидоры с алой мякотью, мясистый и нежный перец, едкий чеснок и уксус, виноград. Снова на кухне запахнет оливковым маслом.

Военные марши словно приглушают краски заката, звучат подчас, как похоронные. Точно пародия на римских центурионов, выглядят марширующие солдаты — с преувеличенно воинственным видом, выпя-

тив грудь под алюминиевыми или латунными доспехами, они по-прусски печатают шаг. Под плюмажами сверкают каски, подбородки грозно выпячены, чтобы удержать на положенном месте алый ремешок. Еще задолго до прилета аистов и ласточек эхо предместий возвещает предстоящий выход на сцену кающихся и носильщиков.

На улице уже зажглись газовые фонари. Красноватый свет смягчал белизну фасадов, яркую желтизну и лазурь цоколей и жалюзи. Какой-то слепец продавал лотерейные билеты. Сунув руку в карман фартука, она подошла к нему. Пока он неловкими движениями отрезал билеты, она заметила Хуана и быстро положила на ладонь слепому монетки, которые тот проверил на ощупь.

Убедившись, что фартук сидит прямо, она поправила туго накрахмаленные бретельки и вздохнула. Хуан дошел уже до середины улицы. Она прислонилась к двери, сделала вид, что не узнает его, и даже прикрыла глаза. Он молча встал перед нею с вымученной улыбкой. Как и каждый четверг, они заговорили не сразу. Они робко, чуть ли не испуганно стояли рядышком. Он кашлянул и провел ладонью по губам. Она молчала, ожидая, как всегда, чтобы он заговорил первым. Все начиналось у них с молчания. Еще в деревне, когда она, болтая, прогуливалась с подружками в воскресном платье и туфельках на высоких каблуках, в которых она с трудом передвигалась, он робко приближался к ней и иной раз произносил всего одно только слово. А иногда даже ничего не говорил, а только вздыхал, и вздох его доносился до нее, как слабое эхо.

Она стиснула губы, как бы заранее раскаиваясь в своем порыве, и все-таки она первая нарушила молчание:

— Хуан!

Он взял ее за руку. Им обоим было необходимо это нежное прикосновение, когда слова становились ненужными.

— Я вот все думаю, не лучше ли вернуться в деревню и остаться там навсегда,— сказал он.

И это говорил он, он, который мечтал о бегстве, мечтал уехать в новые края, под другие широты, к другим людям, чтобы не видеть больше этих необъятных поместий. Десятки раз он твердил ей, что к концу весны, в мае или в июне, когда начнется жатва, они уедут насовсем. А сегодня толкует о возвращении в деревню, на эту неласковую землю, которая видела их с первого дня рождения, говорит так, словно потерял вкус к жизни. Возвратиться в деревню — это значит ждать у дверей кабачка, когда тебе поднесут в долг стаканчик вина, медленно курить сигарету, чтобы растянуть удовольствие, работать всего полдня, да и то, если случайно подвернется работа; но это значит также обрести покой и приволье среди оливковых рощ и полей под паром.

Он снова раскашлялся. Надо бы поскорее рассеять его грустные мысли. Кашель оказался кстати. Теперь они заговорили оба. И двинулись вперед по улице.

■

Они присели на изразцовую скамейку, вблизи негромко пела струя фонтана.

— Позже, когда будем уходить,— сказала она, отодвигаясь.

Его радовало уже то, что он сидит с нею рядом, чувствуя тепло ее бедра. Казалось, он не особенно страдал от того, что их вечно что-то разлучало. Он уже привык. Он знал — он представлял себе,— что после их вечерних встреч, когда под его ласками трепетало ее тело, она до утра не смыкала глаз. Она же ощущала лишь удовлетворение от выполненного долга, совершаемого ритуала, во всяком случае она так пони-

мала мужскую страсть — так было всегда, так будет и впредь. Она думала о том, что ее мать, старшие сестры, подружки поступали точно так же, и это было вполне естественно, раз из двух участников любовной игры лишь один испытывал подлинное наслаждение. Мужчине всегда нужно облегчение, которое ему приносит неловкая ласка женской руки.

И нынче вечером ритуал повторится. Услышав ее обещание, он успокоился. Каждый чувствовал тепло другого, а посреди площади с мирным журчанием бил фонтан.

Ей вспомнилось, что еще девочкой она узнала эту игру. И развлекалась ею в простоте душевной. Ей не было и десяти лет, когда она играла с приятелями брата в темных закоулках дома. Дети делали вид, будто играют в прятки, и она впрямь считала, что это игра. Все девочки ее возраста поступали так же. Но сейчас дело обстояло совсем иначе. Став взрослой девушкой, она перестала играть в такие игры. Ей даже не приходилось отказывать в этом своим сверстникам, потому что они как были, так и остались мальчишками. Подобно всем своим подружкам, она помогала по дому, работала в оливковой роще, срезая побеги, или собирала на поле коробочки хлопка. Мужчины смотрели на молоденьких девушек как на взрослых женщин и относились к ним так же уважительно либо обучали их иным, более волнующим играм.

Когда он попросил, она отдала ему единственное, чем владела. Игра повторилась, и она понимала, что эти повторения неизбежны. Она слышала об этом от людей и знала, что нужно удовлетворять страсть мужчины, когда он возвращается вечером с поля, с пересохшими от желания губами, а жена, уставшая не меньше его от каждодневной возни с ребятишками, от домашней работы и безденежья, ждет его прихода, чтобы потом сразу пойти лечь и спокойно уснуть.

Она прикрыла глаза. Оба еще теснее прижались друг к другу. Казалось, он не слышит даже сонного бормотания воды, но она-то вслушивалась в этот шепот.

— Любишь?

— Ты же сам знаешь, что люблю.

Она устала и чувствовала себя сейчас скорее матерью, чем женой. Сжав губы, она вздохнула.

— Уже поздно.

Часы на колокольне пробили девять раз. Они медленно побрели обратно. Металлические ворота старинного гетто были уже на запоре. Маленькие улочки обезлюдели, и вечернюю тишину нарушал только гул голосов. Они остановились у портала.

— Ступай, Хуан, уже поздно.

— Подожди хоть минутку.

— Значит, уж не так ты меня любишь!

— Ты же знаешь — люблю.

— До свидания, уже поздно. А то меня заругают.

— До свидания!

Она вошла в прихожую, только убедившись, что он пошел по улице, потом по черной лестнице поднялась на кухню. В буфетной готовились подавать ужин. Пронзительный шум голосов, смягченный расстоянием, долетал из столовой. В стершиеся, заранее приготовленные фразы вдруг вклинивалось невпопад сказанное слово, будто так и полагалось по правилам игры; отдельные живые слова терялись среди пошлости этой бессвязной, лишенной всякого смысла застольной беседы, звучавшей однако же на редкость гармонично, как будто важнее всего были не мысли, а чистый, хорошо поставленный голос с красивыми модуляциями.

На кухне красный глазок электрической плиты сверкал как капля крови, упавшая из свежей раны.

В доме потухли все огни. В саду вода переплескивалась через край бассейна. Воздух был чист, как в лесу. Она поднялась в свою комнату, оперлась о подоконник, прикрыла глаза и тихонько погладила себя по плечу. Она уже успела раздеться и теперь обнаженная стояла у окна, касаясь розовыми кончиками грудей металлической решетки. Потом вздохнула: нынче ночью ей ни за что не уснуть. В зеркале, висевшем на противоположной стене, отражалась ее спина — единственное светлое пятно в полумраке комнаты.

Когда она открыла глаза, ей почудилось, будто город непомерно разросся. Зрачки ее расширились в темноте, и она невольно замигала, глядя на огни. Даже вопреки бессоннице и легкому недомоганию, она была счастлива. Пальцы ее скользили вдоль шеи к плечу. «Все равно он ничего тебе дать не может,— сказала ей как-то за обедом кухарка.— Так уж жизнь устроена — никто никому ничего дать не может. Пока ты здесь, у тебя будет еда, теплая постель зимой, выходной день раз в две недели и мужчина, если он тебе нужен и если ты его полюбишь; только смотри не отдавай ему больше того, что у тебя есть. Бедняки не вольны над своим сердцем. Первый год все вроде хорошо получается, зато вся остальная жизнь — одни мучения».

Она вздрогнула и отступила на шаг от окна, почувствовав холод в груди, словно, опираясь на подоконник, она оперлась на руку мужчины, и это прикосновение было изменой. В темноте мерцали электрические огни. Воздух уже стал прохладным и влажным, от этого у нее полегчало на душе. Она грезила с открытыми глазами: вот стремительно мчатся ярко освещенные поезда, вдаль уходят позолоченные солнцем дороги или полузанесенные снегом тропинки. Она обернулась и оглядела свою уютную комнату, расположенную под самой крышей дома. Выкрашенная голубой краской железная кровать под розовым покрывалом, туалетный столик, зеркало, шкаф, на который она поставила свой дешевенький чемоданчик. У нее была своя комнатка, своя постель, ей выдавали одежду — одну для лета, другую для зимы,— она ела так, как никогда в жизни не ела, даже не представляла себе, что можно так есть, до того сентябрьского дня, когда явилась сюда со своим чемоданчиком, в ситцевом платье и в туфлях на стоптанных каблуках. Тогда ее кожа носила еще на себе следы деревенского солнца, воздуха и труда.

Она закрыла створку окна и бросилась в постель, как была, обнаженная. Потом, приподняв голову, внимательно оглядела свои ноги, бедра, живот и холмики грудей. За последнее время она пополнела. Тело ее округлилось, очертания его стали нежнее. Девичья худоба исчезла. Все это было весьма знаменательно.

Она закрыла глаза, и ей сразу же вспомнилось, как не стесняясь говорит обо всем кухарка,— вот что значит житейский опыт и уверенность в себе. Но особенно ей запомнились слова кухарки о том, что теперешняя ее жизнь легкая, а главное — у нее есть надежный кров над головой. Ведь и правда, впервые в жизни у нее была своя постель. Год за годом она спала в одной кровати с матерью, или с сестрами, или с детишками сестер и уже привыкла к этому, все они зимой жались друг к другу на широкой двуспальной кровати, чтобы хоть чуточку согреться, но и в летнюю жару тоже приходилось спать вповалку, потому что другого места не было.

Она раскинула руки, погладила кровать, матрас, простыни. И снова вздохнула. В хозяйском доме она действительно ощущала надежность крова, но рядом с этой жизнью шла иная, свободная жизнь, открытая солнцу, заливающему дороги, правда, открытая и горечи, одиноче-

ству, вечному страху перед голодом; была там и любовь, кончавшаяся брачными узами, и праздность, которую дает продажная любовь.

Она вздрогнула и натянула на голову простыню. Пробило три. Она закрыла было глаза, но потом поднялась и пошла выключить свет. Сразу же во мраке комнаты вырисовался серый прямоугольник окна. Она снова закрыла глаза, легла на бок, чувствуя себя приятно взволнованной, и положила обе руки на колени. Мало-помалу веки ее отяжелели. Теперь она уже ни о чем не думала. Просто ощущала удары собственного сердца, медленный ток крови и биение пульса. Наконец она задремала, свернувшись калачиком, как наплакавшийся с вечера ребенок, и, хотя ею владели противоречивые порывы, она спала спокойно, как маленький зверек. В забытье этом было что-то инстинктивное, утробное — так спит кошка или собака, свернувшись возле очага; покорность и жалкое существование обеспечивали тепло и пищу, как им, так и ей, но для этого надо было покорно предаться чужой воле.

Лунный луч, перемещаясь, коснулся ее век. Свет чуть было не разбудил ее, но она повернулась на другой бок, так и не проснувшись.

XIV

Слабость была сильнее воли, он с трудом стряхнул оцепенение. В окно уже заглядывала заря, и его ушей достиг шум предместья, первый утренний шум. Наконец ему удалось сесть, но веки еще хранили цепкую тяжесть сна.

Рядом на койке спал сосед. Прежде чем встать самому, он потряс соседа за плечо. Когда в лачугу вошла женщина, он уже застегивал брюки.

— Ну что, он проснулся? — спросила она.

Мужчина потянулся, зевнул. Видимо, он побаивался этой женщины.

— Сами знаете, что вас нужно расталкивать. Мне-то что, спите себе на здоровье, я для вашего же блага говорю. Вода готова.

Хибарки лепились на пустыре так близко от железнодорожных путей, что отсюда можно было попасть в рельсы из детской рогатки. Сточные воды стекали в ручеек и окрашивали его в черный цвет, и казалось, будто он покрыт лаком. По реке шла баржа с песком, вырисовываясь в лучах встающего солнца.

Они ополоснули лицо, руки и грудь и вернулись в лачугу. Женщина уже разжигала печурку и размахивала перед ней плетенным из дрока веером, чтобы не потух огонь.

■

Они удалялись от дома, а женщина, стоя на пороге, махала им рукой. Солнце поднялось уже высоко; они пересекли эспланаду, миновали кладбище, не обменявшись ни словом.

— Придется и тебе со мной пойти, узнаем, есть ли еще место,— сказал Хуану второй ночлежник.

— Ладно.

— Не думаю, чтобы тебя отказались взять, раз я тебя привел и за тебя ручаюсь.

— Как бы ты себе этим не напортил.

— Тринидад, да будет тебе известно, не любит, когда ему морочат голову, но друзей он помнит.

— Ты говорил, что профессиональным грузчикам отдают предпочтение.

— Тринидад не любит портового народа.

— Ну, как знаешь.

— Придется подождать до девяти. Тринидад рано вставать не любит.

Он указал на кафе, помещавшееся рядом с монастырем капуцинов. Когда они уселись в дальнем углу зала, где было еще совсем темно, хозяин взглянул на них из-за стойки, но ничего не сказал.

— У Тринидада, конечно, есть свои недостатки, как у всех нас грешных, но зато он настоящий друг. Я тебе об этом уже говорил.

— Значит, думаешь, я ему подойду?

— А чем ты хуже других?

— Да не в том дело. Но ведь надо привычку иметь. Когда я впервые взвалил себе на спину мешок, а в нем было сто килограммов, так думал, что мне хребет переломит. После-то я привык. Должно быть, и к помосту можно привыкнуть.

— Тринидаду не только одна сила требуется, ему нужны люди мужественные, одной сноровкой тут не возьмешь. Ведь когда очутишься под помостом, ему не скажешь, как хозяину, что у тебя, мол, не получается, а главное — надо следить, чтобы мешок с затылка не соскользнул. Вся тяжесть приходится тебе на шею и на плечи. И чем ты ниже сгибаешься, тем больше давит.

Официант ополаскивал в лохани стаканы. В кафе было пусто. В воздухе плавали запахи вина, прогорклых маслин и аммиака. Вдоль каменного плинтуса прошмыгнула крыса.

— Когда мне говорят, что́ надо делать, я делаю.

— Если ты Тринидаду подойдешь, то можешь быть уверен — он тебя каждый год будет нанимать. Он в первый же день определит, на что ты годен.

Говоривший встал и вышел во двор.

Хуана одолевала тоска. Он привалился к столу и положил руки на грязный липкий край. Он уже представил себя под помостом — с мешком на затылке, в спину въедается дерево, и главное — надо не прозевать команду надсмотрщика.

Тринидад вошел в кафе, ступая как-то вразвалку, и Пепе еще издали признал его по походке.

— Встань, он любит уважительное обращение.

Тринидад направился прямо к стойке и спросил, как и каждое утро, стакан водки, потом, узнав Пепе, подошел к нему.

— Разреши представить тебе моего приятеля. Он в здешних местах новичок. У него были кое-какие неприятности. Но ведь это со всяким может случиться.

Тринидад ответил, что рад знакомству, и присел к их столику. Утренний свет врезался, словно в раму, в проем двери; мимо проехала тележка, груженная овощами, и скрылась за углом.

— Он славный парень и жизнью не избалован. Я ему прямо сказал: «Тринидад настоящий друг и если сможет оказать нам услугу, то непременно окажет».

— В этом году дела неважные.

— Они всегда неважные.

— Нынче ни на грош больше не заработаешь, чем в прошлом году.

— Не в том дело. Мы же пришли с тобой не о грошах спорить. Вопрос в том, что нам нужна работа. А другого заработка на этой неделе не предвидится.

— Нынешний год страстная неделя не такая, как всегда... Откровенно говоря, я уже набрал людей от воскресенья до пятницы, желающих много, а помостов мало. Я просто не смогу взять всех, кому уже обещал. Сколько лет я этим делом занимаюсь, сколько я сил потратил, составляя процессии, но такого положения, как сейчас, еще никогда не бывало.

— Ну, с нами у тебя неприятностей не будет. Не такие мы люди, чтобы выклянчивать лишнюю песету. Не станем шуметь, как другие, и что дашь нам по совести, то и хорошо.

— Да я же вам объясняю: не о том речь. Чего уж тут, в нынешнем году запрашивать смешно.

— Ты сам знаешь, что ты лучший надсмотрщик,— заявил Пепе.

Тринидад жестом поблагодарил его. Он был явно польщен. Он, видимо, снизошел к доводам Пепе и готов был сдаться.

— Я ведь не зря все это говорю. Даю голову на отсечение, только ты один с первого взгляда можешь определить, годен тебе человек или нет.

— Хоть и болтаешь ты много, зато, должен признаться, носильщик ты хоть куда,— улыбнулся Тринидад.— А что касается твоего приятеля,— он взглянул на Хуана и, казалось, взвешивал про себя, достаточно ли это стойкий и отважный человек,— его я не знаю и ничего сказать не могу.

Тринидад жадно вдохнул воздух раз, другой, как будто его мучила астма.

— Помост — это тебе, брат, не мешок, его так легко не понесешь. Наше дело сноровки требует, и выпить надо, но с толком, чтобы не захмелеть. Там знаешь как потеешь, а всего важнее ноги. И запомните, ребята, что я вам скажу: если заработаете в нынешнем году по семьдесят пять песет на брата, то считайте, что вам еще повезло. Будете стараться, получите свои денежки. Так вот, нанимаю вас обоих только потому, что ты, Пепе, просишь, не желаю я, чтобы говорили, будто Тринидад забывает друзей.— Он снова глубоко вдохнул воздух.— Об одном я вас попрошу: будьте посерьезнее. Храм есть храм, тут требуется тишина и серьезность. Мое дело предупредить, и, надеюсь, мне не придется призывать вас к порядку. Дам вам пока пятьдесят песет задатку — и по рукам. Сам знаешь, это не в моих привычках, но я вижу, что у тебя неприятности, а друзья для того и существуют на свете, чтобы оказывать услуги.

Он вытащил из кармана куртки блокнот, оторвал два листика.

— Ну, теперь твоя душенька довольна?

Хуан встряхнулся, прогоняя оцепенение, и после минутного колебания взял ручку, которую протянул ему Тринидад, и подписал свое имя.

— А теперь подписывай ты, Пепе.

■

Ветер раскачивал деревья в монастырском саду. Из церкви вышла группа женщин в черных платьях. Их силуэты четко вырисовывались на фоне молочно-белой стены. На прощанье Тринидад поднес друзьям по стаканчику водки, и они вышли из кафе, возле которого бродячий торговец, разложив свой немудреный товар, предлагал прохожим лимоны, тмин и лавровый лист.

— Теперь тебе обеспечен заработок на всю страстную неделю. А сам знаешь, это дело нелегкое.

Солнце уже поднялось высоко в небе, люди в резиновых сапогах поливали улицы.

— Если бы у тебя хватило силы, ты мог бы делать то же, что и я.

— Надо сначала знать, о чем речь.

— Каждые две недели я сдаю кровь. Если у человека здоровые легкие и сердце в порядке, они знаешь как платят!

Пепе остановился и засучил рукав сорочки. На левой руке маленькие алые точечки, следы подкожных уколов, отмечали рисунок вен. Пепе сосредоточенно пересчитал их, тыча в сгиб локтя грязным пальцем.

— Нельзя продавать кровь. Она ведь наша. Она — единственное, что мы имеем, что нам по-настоящему принадлежит.

Они молча шагали бок о бок, потом остановились на углу улицы. Ребятишки играли у обочины тротуара, из соседних домов доносился соблазнительный запах овощей, сала, сардинок и усача.

— Становись скорее на колени. Дароносицу к умирающему несут,— проговорил Пепе, опускаясь прямо на тротуар.

С дальнего конца улицы доносилось треньканье колокольчика, звучавшее с каждой минутой все громче. Из домов выбегали женщины и дети и преклоняли колени на пути следования дароносицы. Шестеро мужчин в черном несли серебряные фонари, где горели красные свечи. Мальчик-прислужник размахивал колокольчиком и корчил рожи ребятишкам, выстроившимся на коленях вдоль тротуара. Окруженный мужчинами в трауре, шествовал священник и нес дароносицу, прикрытую золотой парчой.

Пепе смиренно склонил голову и перекрестился.

— Надо всегда делать то, чего от тебя ждут,— наставительно сказал он, подымаясь с земли.— Подумаешь, трудно, что ли, перекреститься. Такой пустяк никого унизить не может. Когда нам еще недавно приходилось приветствовать святых и процессии поднятием руки, я не торговался. Да не стой ты, будто столб, больно уж ты все близко к сердцу принимаешь. Эх, старина Хуан, коли ты так глядишь на вещи, много ты еще наделаешь в жизни глупостей.

■

Между ратушей и судом, где инквизиция в свое время воздвигала костры для аутодафе, очищавшие еретиков, уже начали воздвигать трибуны для процессий страстной недели. Трибуны тянулись вдоль всего южного фасада ратуши, и золотистые ее камни служили опорой для металлических трубок. Чернорабочие соединяли угольники и навинчивали стальные гайки. Уже приступили к постройке деревянных помостов, развешивали малиновые парчовые полотнища, плели гирлянды, укрепляли стойки и устанавливали дощатые перегородки, обитые материей. В самую последнюю минуту всюду расстелят циновки, и запах пальмы заглушит запахи сигарет, воска и ладана. Тогда от трибун будет подниматься теплое извечное благоухание, люди невольно вспомнят горные тропки, маслобойку, сельские хижины, дорогу на выгон, куда всадники в широкополых шляпах, перетянутые вместо пояса куском шелка, гонят скотину.

— Сейчас тут особенно смотреть не на что, вот когда будешь идти мимо, тогда сам увидишь.

Пепе показал на площадь, где между двух рядов трибун был оставлен свободный проход.

— Чтобы добраться сюда, надо целых четыре часа нести помост, и ты будешь в доску пьяный. Тебе прикажут остановиться перед трибуной, где будут сидеть официальные лица. Тебе покажется, будто у тебя изо рта вот-вот потечет кровь, а все тело отяжелеет пуще, чем при болотной лихорадке. Если ты нагнешься и поглядишь сквозь дырочку в покрове, то увидишь все, чем одарил господь бог барышень в шелковых чулочках. Но для этого нужно выбрать удачное место. А так как ты уже выпил, то от одного этого зрелища сразу воспрянешь. Но надо не зевать и быстрее поворачиваться, потому как тебе тут же прикажут снова поднять помост.

Хуан оглядел трибуны, выраставшие ряд за рядом. С трудом он представил себе площадь такой, как ее описывал Пепе.

— А сзади,— продолжал тот,— будут другие, а на них нажимают еще другие, и они уже не увидят ничего, кроме капюшонов. Тебя будет тошнить, голова у тебя закружится, и ты подумаешь: хоть бы скорее смерть пришла. А в нос тебе будет бить запах собственного и чужого

пота, воска, дым от кадильниц, но ты к тому времени будешь до того пьян, что даже страдать не будешь. Станешь лишь об одном думать, как надсмотрщику угодить и чтобы, когда ты поставишь пасо в церковь, кающиеся дали тебе на чай за то, что ты здорово понянчился с Христом или, скажем, с богородицей.

У рабочих, возводивших трибуны, начался обеденный перерыв. Люди собрались кучками, чтобы позавтракать, поболтать минутку, пропустить стаканчик вина, выкурить сигарету. А рядом стояли их жены, только что принесшие завтрак. Они молча и серьезно глядели, как управляются с едой мужья, и радовались, что сумели припрятать для них лучший кусочек усача, сардинку пожирнее, селедку поаппетитнее. А мужчины грустно улыбались, разгадав уловки жен: мужья-то знали, что женам достанется самый скверный кусок, от которого откажутся даже дети, и они съедят его стоя, перемывая грязные тарелки в общей кухне где-нибудь в предместье.

Когда они добрались до пригорода, солнце уже спряталось на том берегу за верхушками кипарисов, росших на кладбище. От выпитого вина тяжело стучало в висках.

— Еще стаканчик,— предложил Пепе, сворачивая к закусочной. Он прищелкивал пальцами, подражая звуку кастаньет, потом хлопнул в ладоши и запел.

Хуан попытался было вторить ему, но голоса не хватило. Они вошли в эвкалиптовую рощу. В закусочной уже зажгли свет, и у стойки толпился народ: поденщики, работавшие на окрестных огородах, служители похоронного бюро и железнодорожники. Пепе затянул другую песню, на этот раз андалузскую:

Упал, сраженный автоматом,
На мягкий и зеленый мох.
О господи, воздай солдатам,
Что примут мой последний вздох.

Пройдя лужайку, они вошли в закусочную и облокотились о стойку. Солнце было теперь на том берегу реки, и отсветы его играли на вершинах холмов. Какой-то человек в синей спецовке железнодорожника приблизился к Пепе. Пока они говорили, Хуан отошел в сторонку, оперся спиной о белую стену. Голова у него кружилась. В уголках губ выступила красноватая слюна. Он услышал, как его окликнул Пепе. Когда Пепе с железнодорожником подошли к Хуану, он вытирал рот носовым платком.

— Ты не думай, что он у нас барышня или вообще никуда не годен, хотя он от двух стаканов вина раскис. Пообедали мы с ним в полдень, вот у него живот и заболел, а так он ничего! Отличный малый и, представь себе, отсидел три месяца за решеткой, из-за юбки в тюрьму попал.

— Шли бы вы оба домой спать,— посоветовал железнодорожник.— Не к чему вам больше пить.

Хозяин закусочной, услышав голоса у черного входа, решил выйти посмотреть, в чем дело, он направился к беседующим, покачивая головой и ласково, по-отечески расставив руки. Потом заговорил шутливо-примирительным тоном:

— Вы же сами знаете, что здесь вы всегда желанные гости. Мои клиенты все люди солидные и приходят сюда выпить стаканчик, чтобы провести время или забыть свои горести. Но сейчас пора закрывать закусочную, потому что у меня разрешение торговать только до девяти часов. А если хоть раз случится драка или скандал какой, у меня вообще разрешение отымут. Мы в двух шагах от кладбища, а кладбище — место священное, его надобно чтить.

Пепе покачивался и молчал. Потом вдруг запел:

Мой муженек пошел на ток,
А брат его сидел со мной...
Мой муженек пошел на ток
И цеп свой прихватил с собой.

— Ну, ступайте, ступайте,— сказал хозяин, подталкивая их в спину.— Сейчас не время шутить. Уже стемнело.

Железнодорожник взялся отвести Пепе и Хуана домой, он подхватил их под руки и перевел через площадь у кладбища. Пепе покорно плелся рядом с ним, спотыкался, но не переставал горланить:

Папаша мой могилы рыл,
А брат в полиции служил...

XV

На балконах с выкрашенными в зеленый цвет щитками еще виднелись сухие разлапистые пальмовые ветки, оставшиеся после вербного воскресенья. Утро блестело почти неестественной синевой. Солнечные блики играли на мозаике башен, на беленных известью фасадах, на обочине тротуаров, в кудрях школьниц, в глубине юных зрачков.

В теплом прозрачном воздухе перекатывалось эхо церковного перезвона, возвещавшего о въезде Иисуса Христа в Иерусалим. Возвращавшиеся из церкви дети несли пучки освященных оливковых веток. Утро звенело хрусталем голосов, тяжелело от запаха герани.

Нетерпеливо гудели соборные колокола. Весь город пропах ванильным мороженым, ракушками, жареными орехами и ладаном. Густой белый дым валил из-под аркад Немецкой улицы, где пекли пышки.

Торговцы нугой в белых передниках и туго накрахмаленных колпаках отгоняли бумажными метелочками первых в этом сезоне мух. По пути следования процессии еще не были расставлены сваленные в кучу сиденья, и по свободному проходу прогуливались приютские дети в синих матросках, слепые из школы Санта-Люсиа, старики из богаделен и девочки из интернатов для бедняков — в послеобеденный час все они расположатся на ступеньках собора, чтобы не пропустить начало торжественной процессии.

■

Они с трудом проложили себе путь в густой толпе, которая буквально забила оба конца Генуэзской улицы. На Хуане был широкий черный пояс, который он приколол английскими булавками к штанам, а штаны засучил до щиколоток. Оба надели свежевыглаженные белые сорочки и черные холщовые туфли на веревочной подошве, а под мышкой держали мешки, которые, войдя в храм, они положат себе на голову и аккуратно расправят, чтобы мешок пришелся как раз на макушку. Им предстояло идти в одной артели носильщиков.

Оба приблизились к собору. Кающиеся должны были тронуться в путь только через два часа, но Тринидад велел носильщикам прийти загодя, чтобы расставить людей по росту и силе, дать им последние распоряжения насчет маршрута и присмотреться к каждому, потому что у каждого могли быть свои слабости.

— Посмотрим, как ты себя поведешь! Если все будет хорошо, Тринидад у тебя в кармане.

— Сделаю что смогу. Я не из тех, кого надо понукать.

— Если б ты даже захотел лодырничать, все равно не выйдет. Тяжесть распределена между всеми поровну! Другие парни не позволят тебе отлынивать. Сам-то ведь ничего не видишь, тебе покажется, что ты

и так стараешься больше других, а на деле выходит, что этого еще недостаточно.

— Я привык в артели работать. Меня никогда не приходится понукать.

— Ты мне после, вечером, скажешь, сколько раз ты голову нагибал потому, что думал, будто умираешь.

Даже здесь, в парке, был слышен вопль сирены, пароход поднял якорь и отдал швартовы.

■

Присев на край тротуара, люди ждали надсмотрщика; разбившись на маленькие кучки, они говорили о процессиях, в которых им уже приходилось участвовать. И теперь, после года разлуки, они узнавали друг друга, здоровались, справлялись о женах, невестах, матерях и ребятишках.

Новички держались в стороне. Те, кто работал первый год, не осмеливались запросто подойти к «профессионалам». Откуда бы они ни пришли сюда — с равнин Альхарафе, из Дос-Эрманас или Алькала или с полей Ринконады,— всех их роднили крестьянские повадки. Да и одеты они были так, словно собирались в поле: серые штаны, холщовые туфли и черный берет.

Тринидад возник перед ними неожиданно, словно из-под земли; не вынимая рук из карманов черной куртки, он осматривал своих подопечных с видом барышника, покупающего лошадь.

— Те, кто уже работал у меня, отойдите направо.

Хуан остался вместе с новичками, такой же безвестный и безымянный, как они. В их обществе он чувствовал себя спокойно, словно в артели жнецов, и домики, лепившиеся вокруг собора, казались ему частью родного деревенского пейзажа, равнины или дубовой рощи.

Тринидад с улыбкой оглядел обе группы.

— Одно дело, когда уже знаешь, как управляться с мешком, а другое — нет. И тоже совсем иное дело, работал ты раньше у Тринидада или еще у кого. Не люблю недомолвок и предпочитаю заранее сказать вам все начистоту, чтобы потом не было неприятностей. Главное — все должно пройти гладко, и именно потому мне придется вас рассортировать. Сами понимаете, я бы от души хотел, чтобы помост был легче! Но надо получше использовать опытных носильщиков, и к тому же я должен стараться сохранить вас в форме до самого конца. Само собой, тех, кто будет работать на совесть, я завтра, возможно, поставлю на лучшее место. Для того чтобы нести пасо, нужно иметь отвагу и характер. Сегодня вы понесете пасо с балдахином,— заключил он, когда церковные врата заскрипели на петлях.

■

В церкви пахло воском и цветами. Уже кончали приготовлять помост. На освещенном пасо Иисус в белом одеянии был изображен коленопреклоненным перед сливковым деревом. Красные свечи разливали кроткий желтоватый свет, как-то удивительно гармонировавший с причудливым паникадилом в виде корзины из филигранного золота. Пурпурные бархатные покровы, свисавшие с боков помоста, чуть приподнимались там, где они были украшены букетами гвоздик.

На правом пасо — пасо скорбящей богоматери — под балдахином уже зажигали свечи. Взобравшись на верхнюю ступеньку стремянки, какая-то женщина украшала шею и грудь девы Марии, одетой в атлас и бархат, золотом и драгоценными камнями. По мере того как загорались

свечи, стоявшие у подпорок балдахина, убранного лилиями и нардом, в хрустальных подвесках-слезках вспыхивали радужные искры.

Два жандарма ждали у алтаря начала процессии. Тогда они встанут по обе стороны пасо, чтобы обеспечить сохранность драгоценностей.

Уже явились первые кающиеся; прежде чем преклонить колени перед алтарем, они снимали капюшоны. Потом они выстроились в два ряда, и старшие раздавали кому свечу, кому хоругвь, кому стяг, кому штандарт или золоченую трубу тонкой филигранной работы.

Тринидад собрал своих людей вокруг пасо. Женщина, завершив работу, спустилась со стремянки. Кающиеся и певчие из хора обменивались мнениями о том, на месте ли приколот цветок, как играют блики света, как лежат складки покрывала. Зажглись последние паникадила, и бархатное с золотом одеяние, раскинутое веером, как парадный плащ тореадора, заблестело, заалело подобно огням Ивановой ночи.

А для носильщиков начался обряд возложения мешков. Они помогали друг другу, тщательно укладывали мешок на затылке и на плечах, чтобы уберечься от ссадин. Кто подтягивал потуже широкий черный пояс, помогавший человеку держаться прямо, кто нагнулся, чтобы зашнуровать холщовые туфли. Тринидад расставил людей по росту. Идя в затылок друг другу, они занимали под навесом свои места. Бархатный покров, который должен был скрывать их от зрителей, еще не опустили. Боковые церковные двери заперли, и последние из кающихся прошли через ризницу. Все они снова надели капюшоны и выстроились длинной цепочкой перед главными вратами храма. Викарий неторопливо зажигал одну за другой свечи, которые они держали в руках.

Священник в мантии, со сложенными на груди руками, спустился по ступенькам алтаря и встал позади пасо.

Под обоими пасо зажгли масляные лампы, чуть рассеявшие густой мрак. Скупой их свет смягчал очертания напряженных лиц и губ, окрашивая их желтизной.

Крест поплыл к главным вратам храма.

■

О край помоста дважды стукнули молотком. Свет лампы искажал тени плечей и рук, подпиравших помост. Вдоль груди и по плечам текли соленые грязные струйки пота. Поскрипывали веревочные подошвы. У выхода из храма надсмотрщик крикнул в прорезь покрова:

— На колени.

Шестьдесят человек осторожно склонились, чтобы высокий балдахин мог пройти под круглой аркой портала. Между помостом и дверными петлями оставалось всего несколько миллиметров. Коленопреклоненные люди двигались медленно, почти незаметно для постороннего глаза. На миг помост как бы застыл в неподвижности, словно чудом врос в камень портала. Казалось, теперь его ни за что не сдвинуть с места. Однако помост передвигался миллиметр за миллиметром, как часовая стрелка. Толпа, облепившая паперть, затаила дыхание. Коленопреклоненные люди перемещались теперь чуть быстрее. На миг показалось, будто верхушка серебряных стоек сейчас зацепится за край каменной арки. Проходили секунды, нагнетая ожидание и любопытство толпы. Всем вдруг почудилось, что края помоста вот-вот коснутся дверных петель. Переступая на коленях, носильщики приближались к колоннам. Когда помост весь целиком миновал церковный портал, толпа ликующе завопила. Раздалась громкая саэта в честь доблестных носильщиков.

Согнутые колени распрямились все разом, как пружина. Балдахин качнулся, и казалось, подпорки его рассыплются на тысячи кус-

ков. Однако они тут же приняли обычное положение, и помост поплыл положенным ему путем посреди улицы. Едкий пот начинал жечь подмышки, плечи, руки, стекал по бедрам и животу. Зловонный дух, густой человеческий запах стоял под покровами помоста. Холщовые туфли размеренно шаркали по мостовой. Надсмотрщик руководил шествием.

Сначала Хуан почувствовал лишь легкую боль, как будто от укола булавкой в ключицу, но боль тотчас же перешла в руки, спустилась к животу. И внезапно исчезла, словно ему дали наркоз. Ничего не осталось, кроме тишины здесь, под пасо, гула голосов, доносившихся с площади, музыки, сопровождавшей размеренный и мягкий топот ног, и ожидания первой остановки, первого стакана вина, который вернет носильщику силы.

— Передние — правее, задние — левее...

Трубы и барабаны заглушали голос надсмотрщика, обрубали последние слоги команды. Кто-то из носильщиков дважды чертыхнулся. Разгоряченные работой тела напряглись, стараясь взять нужный ритм.

Хуану показалось, будто он слышит голос Пепе, стоявшего у противоположного конца деревянного бруса,— очевидно, тот спросил, справляется ли он с тяжестью. Ничего не ответив, Хуан только крепче подпер плечом помост и постарался попасть в ногу с остальными, потому что на секунду сбился с шага.

XVI

Эта ломота в костях ничуть не походила ни на ту, зимнюю, когда он возвращался с поля, ни на ту, что одолевала его после целого дня, проведенного на обрезке оливковых деревьев. Не походила эта усталость, тяжело гнездившаяся где-то в плечах, и на ту слабость, которую он испытывал после того, как таскал стокилограммовые мешки.

В хижине пахло камфарой и свежими травами. Женщина растирала ему спину домашней настойкой, наливая ее себе на ладонь из зеленой бутылки. Когда она провела рукой по его боку, Хуан сжал зубы.

— Я раздобыл себе местечко, оно и тебе вполне подошло бы, да Тринидад не согласен, уперся, как бык,— начал Пепе.— Он обязательно хочет, чтобы место осталось за мной, и, на наше горе, переубедить его невозможно. В твоем состоянии лучше бы тебе надеть стихарь да сутану — словом, вырядиться под ризничего и идти вместе с важными людьми. Хорошо, если б в последние дни процессии тебе поручили нести церковный крест, дело это нетрудное, а заработки те же. Если б я мог, я бы, уж поверь, уступил тебе свое местечко. Что бы обо мне ни говорили, а мне все-таки стыдно разгуливать под открытым небом, пока ты будешь волочить эту штуковину, особенно когда тебе так неможется.

Женщина в последний раз провела по спине Хуана ладонью, закупорила бутылку и сказала материнским тоном:

— По-моему, Хуан, не создан ты для такой работы. Раз у человека нет привычки, он за три дня вконец измотается. Отложи-ка это дело до будущего года, а главное — не кичись своим здоровьем, не такой уж ты богатырь.

— Спасибо тебе, но какая разница — три дня или семь, самое тяжелое уже позади. И потом, я вовсе не намерен терять оставшиеся дни.

— Куда разумнее о своем здоровье подумать.

— Верно,— подтвердил Пепе.— Здоровье всего важнее.

Хуан поднялся и надел рубаху. С губ его сорвался еле слышный сухой кашель.

— Я простудился, вот и все.

Он поглядел в окно на темные силуэты кладбищенских кипарисов.

Отсюда видны были мраморные кресты, и можно было даже прочесть надписи на памятниках, выступавших над беленной известью стеной.

— Мой муж тоже простудился и помер через три с половиной месяца, потому что не лечился,— заметила женщина.— А у Габриэля, царствие ему небесное, силы побольше было, чем у тебя, да и крепкий он был, как дуб.

Пепе бросил на земляной пол окурок и придавил его каблуком.

— Все, что ты сейчас делаешь, в конце концов ни к чему. Ну, накопишь несколько песет и даже воспользоваться ими как следует не сумеешь. Почему ты вбил себе в голову, что должен уехать с этой девушкой? Ничего ты не смыслишь! Как будто так легко взять да и уехать. Неужели ты думаешь, что где-то тебя ждет подходящая работа и что тебе будут хорошо платить?

— Я вырос в деревне и хочу туда вернуться навсегда. Крестьянских рук там не хватает. Я ведь не о галстуках мечтаю, не об остроносых ботинках. Просто хочу зарабатывать себе на жизнь, хочу, чтобы меня вечерами поджидала жена. Я ничего особенного не требую. Я ведь не золотые россыпи прошу, а хочу, чтобы у меня был клочок земли, хочу воспитать своих детей, когда они у меня будут.

— Нет, парень, слишком многого ты захотел, при теперешнем положении тебе такого не сыскать.

— Бог ты мой! Много ли нам нужно, чтоб быть счастливыми! — вмешалась женщина.— Пусть только у каждого из нас, из тех, кто родился в деревне, будет небольшой участок земли, несколько свиней, коз и кроликов, больше нам и не нужно.

— Придет день, и мы будем иметь все это.

Хуан встал посреди комнаты, сейчас он выглядел почти гигантом. Его потухшие глаза вдруг заблестели от ярости, а быть может, от лихорадки. На щеках выступили красные пятна. Казалось, как будто не он один произнес эти слова, а произнесли их одновременно с Хуаном тысячи уст. Женщина и Пепе молча слушали, им почудилось, что это вещает не он, а какой-то незнакомый извечный голос.

— Нам надо продолжать работать на земле, земля — наша. И если они не дают нам ее обрабатывать, значит, нужно уйти куда-нибудь и там крестьянствовать в ожидании того дня, когда мы сможем вернуться обратно, чтобы наши дети обрабатывали землю лучше, чем мы могли ее обработать.

Хуан знал, что слова эти не его, а Хенаро и Хосе Саласа, Хусто Фернандеса и Сириако Гусмана. Но он знал также, что теперь это уже слова не одного только Хенаро, как сам Хенаро ему однажды объяснил, а всех людей, ибо слова эти несли истину и жгли огнем и гневом, как сама истина.

— Придет день, и все это сбудется,— повторил он. И обратился к женщине: — А ты, у которой нет детей, ты увидишь, как дети других пашут ту землю, которую, как ты надеялась, должны были бы пахать твои дети. И ты, Пепе, который не хочешь детей, потому что сам знаешь, что тебе их не прокормить, ты, который по тем же причинам не пожелал соединить свою жизнь с женщиной, ты увидишь, как дети других засевают эту землю, ибо все люди имеют на нее равные права, хотя нам отказывают в этом праве и не дают нам возможности работать даже поденщиками.

Женщина ухватилась обеими руками за края передника, как бы желая удержать слезы, готовые хлынуть из глаз.

Пепе неопределенно махнул рукой, он тоже старался не показать волнения. Оно вернулось вместе с воспоминаниями о горьком детстве в деревне и грозило прорвать его теперешнюю броню, броню горожанина. Но ему удалось овладеть собой.

— Сейчас не время о таких делах говорить. Нам не земля нужна, а деньги. Мир устроен так, как устроен, и не нам с тобой его переделывать. Теперь решайся, надо же отдавать себе отчет в том, что делаешь, а я пойду надену сутану, плиссированные брыжжи, заработаю денежки и повеселюсь. Кто бы мог сказать, что в сорок лет я заделаюсь певчим, ведь я даже в детстве в хоре не пел.

— Тебе следует отдохнуть, пускай Пепе идет один,— посоветовала женщина.

— Если ты один день пропустишь, Тринидад ничего не скажет. Отлежись в тепле, выспись хорошенько, завтра тебе и полегчает. Хозяйка права, и не желаю я, чтобы она меня потом упрекала, будто ты из-за меня заболел, потому что я тебя за собой тащил.

Ребятишки плескались в жирной воде ручейка среди кучи отбросов, в компании кур и бродячих собак, копавшихся в грязи.

Они вышли во двор. Потом уселись у дверей лачуги выкурить сигарету и выпить стаканчик вина, ожидая, пока хозяйка принесет им из лавчонки селедок на завтрак.

■

Они перешли эспланаду и очутились на площади. За кладбищенской оградой стояли похоронные дроги. Когда ключарь показался из часовни, лошади с траурными плюмажами над холкой тронулись в путь.

— Вот сегодня я выряжусь вроде как он, можешь пойти на меня полюбоваться, нацеплю накрахмаленный стихарь и красную сутану, ну чисто певчий. Или прямо кардинал! Согласись, что совсем неплохо. Я бы не прочь всю жизнь иметь такую работенку.

— Каждый день себя выматываешь, сегодня немного, завтра побольше... А когда человек спохватится и начнет размышлять, то окажется, что он продался весь с потрохами.

— Ну, на тебя, брат, не угодишь! Поверь мне, что бы ни делать, лишь бы денежки платили. Все, что ты сейчас говорил, ну... там про землю и про крестьян — это, конечно, очень хорошо, но не могу я ждать манны небесной. Жизнь всегда такой была, такой и останется, сколько бы ты ни плакался, какие бы хорошие слова ни говорил.

■

Хуан остановился у церковной лестницы. Затем поднес к боку правую руку и глубоко вздохнул, словно в легких у него совсем не осталось воздуха. Он не рухнул на каменные ступени лишь потому, что Пепе успел его вовремя подхватить.

— Я же тебе говорил — не ходи!

Их обступили люди, Хуан снова упал, стал подниматься без посторонней помощи и упал в третий раз. Пепе обхватил его за плечи, вывел из толпы. Он свернул в первую попавшуюся улочку и силком усадил Хуана на обочину тротуара.

— Ну, как ты себя чувствуешь?

— Хорошо... Лучше... Это все пустяки.

— Я скажу Тринидаду, что с тобой случилось. А теперь ступай домой, ляг, отдохни. К завтрему отдышишься.

Хуан закашлялся, упрямо потряс головой и встал.

— Немного побуду на свежем воздухе, и все пройдет. Уверяю тебя, это пустяки.

— Один дойдешь?

— Иди, тебе пора работать, и не беспокойся обо мне. Это от желудка, селедка мне повредила...

Пепе обогнул церковь и поднялся по ступеням. Входя под арку, он помахал Хуану рукой.

А Хуан поплелся в южную часть города, всей грудью вдыхая воздух предместий, пахнущий минеральными удобрениями, паровозным дымом, цветами апельсиновых деревьев и ладаном. Приглушенные расстоянием звуки оркестра напомнили ему, что процессия сейчас выйдет из храма. С минуту он постоял в нерешительности, потом круто свернул и зашагал к Алькасару.

За стенами в аллеях сада щебетали птицы. Он прошел вдоль стены, пересек площадь Альфаро. От лихорадки, мучившей его по вечерам, заныли виски, ослабели руки, но желание жгло ему веки и губы.

Он втолкнул ее во двор. Над полуоткрытой калиткой блестел бронзовый колокольчик, ярко начищенный и сверкавший, как чаша. Под сводом галереи, шедшей вокруг патио, пробегали трепещущие тени. Украшенный мозаикой аналой богоматери из керамики вбирал в себя закатные лучи, оставляя в тени беленные известкой стены. На левой стене охотники за лисами в красных куртках вскидывали охотничьи рога и неслись галопом по охре английских гравюр. Две бычьи головы висели по обе стороны черного хода, к которому направились Хуан и его спутница. Он впервые переступал порог этого дома.

— Только не шуми!

Веревочные подошвы скрипнули на ступеньке. Когда они добрались до лестничной площадки, он не торопясь поцеловал ее, удерживая дыхание.

— Какие у тебя губы горячие!

— А у тебя холодные!

— Чем все это кончится?

Они продолжали подниматься на самый верхний этаж. Вдоль коридора были расположены комнаты для прислуги, здесь пахло плесенью, сыростью, дешевеньким одеколоном и женским потом. Эта приторная смесь запахов обострила его желание, оно стало еще настоятельнее, чем тогда, когда он круто повернул в сторону и, не в силах противиться зову плоти, направился к Алькасару.

Она заперла дверь на ключ и, собрав разбросанную по полу одежду, свернула ее узлом и сунула под кровать. Они впервые встретились не под открытым небом, а под крышей. В комнату проникал смягченный вечерний свет. Они сели на кровать и взялись за руки. Так они и сидели — молчаливые, испуганные, не смея взглянуть друг другу в глаза.

— А вдруг заметили, как ты ко мне подымался? Даже подумать страшно.

— А ты и не думай.

— Тебе все пустяки, будто нет на свете ничего важного.

Она отодвинулась и сжала колени.

— Оставь меня. Я тебе сто раз говорила — не желаю я, чтоб ты смотрел на меня голую.

Впервые он видел при свете ее ноги, ее покрытые светлым золотистым пушком икры и ляжки. Она резким движением натянула на колени юбку. В саду завывал ветер и раскачивал верхушки кипарисов. Ему ударил в голову ее пьянящий женский запах — запах пота и тяжелых маслянистых волос.

— Нет, только не сегодня,— взмолилась она.— Не сегодня!

Дрожащей рукой он рвал ее белье из дешевенькой материи, начал ее раздевать. И то, что он сам раздевал ее, имело для нее не меньшее значение, чем их первая близость.

— Возможно, это произойдет именно сегодня,— проговорил он слабым голосом.

За окном раздался бой барабанов, голоса труб. Аист взлетел с крыши, а птицы в садах Алькасара испуганно вспорхнули на верхние ветки. Среда страстной недели медленно угасала в трепещущих отсветах заката, а проникавший в окно запах воска и сада, где в канавах у клумб загнивала вода, лишь возбуждал их желание.

— Вставай. Уже поздно. Сюда могут прийти. Даже подумать страшно. Мы с тобой просто сумасшедшие.

Он не пошевелился, казалось, он не слышит ее слов. Как всегда, слабость и оцепенение были сильнее его воли. Сломленный полусном, он с трудом приподнялся на постели. Голова снова начала кружиться, как тогда, на ступеньках храма. Ему хотелось объяснить ей, что он охотно остался бы здесь, в этой мирной, уютной комнатке, и лежал бы тут, как забытый людьми тюк, лежал и ждал смерти.

На цыпочках она вывела его во двор. У ворот они молча разжали руки.

XVII

Когда Хуан пристраивал мешок на затылке, к нему подошел Тринидад.

— Запомни, на тех, кто не мог выйти по болезни, я зла не держу,— сказал он.— Нынче ночью придется здорово поработать. Ты пришел, и это главное. Если б даже Пепе мне не рассказал о твоем недомогании, я все равно поверил бы тебе. Ты, по-моему, человек надежный, и не думаю, чтобы ты попусту мог соврать. Все всегда узнается, и я знаю, что ты не бросил работу у меня, чтобы наняться в другую артель или пойти пьянствовать. К тому же люди видели, как ты трижды грохнулся перед церковью. За тебя работал другой и получил деньги. Сам знаешь, что у меня больше рабочих рук, чем требуется. Ну, а как ты теперь себя чувствуешь?

— Хорошо... Лучше... По-моему, ничего особенного и не было. Просто голова закружилась.

— А с Пепе мне одни неприятности. Взял да и вообще не явился, хотя нынче ночью придется всем потрудиться до седьмого пота. А ведь я дал ему возможность передохнуть — шутка ли, три дня он провел на свежем воздухе и ходил с певчими. Вот уж правду говорят: как волка ни корми, все в лес смотрит! Целого дня ему, видите ли, мало баклуши бить. Как только у него заведутся деньги, он с утра и до ночи пьет.

— Вам, должно быть, известно, что он себе гроша не оставляет, и будь у него сотни и тысячи, он все равно растранжирит их с первым встречным. Когда у него в кармане звенят монеты, он радуется, как мальчишка.

— Поди поешь с остальными, да потарапливайся. Мне надо, чтобы сегодня ночью вы, друзья, не подкачали. Мои люди должны держаться крепко.

Хуан взял свой мешок, аккуратно сложил его и, пройдя через церковь, очутился во дворе. Сидя прямо на земле, посреди патио, его товарищи по артели ели хлеб, макая его в оливковое масло, налитое в большую коробку из-под сардин. Апельсиновые и лимонные деревья подрагивали под порывами ночного ветерка. Ужин происходил при свете трех огромных черных свечей, которые зажег служка, потом он принес носильщикам вино в больших глиняных кувшинах. А там, высоко над стенами, по которым карабкался вьюнок с синими венчиками цветов, в темном провале четырехугольника виднелось ночное небо, усыпанное звездами. Хуан откусил кусок хлеба и еле сдержал тошноту, но, отхлебнув глоток вина, взялся за положенную ему порцию.

Во двор вошел Тринидад и хлопнул в ладоши.

— Осталось десять минут. Я не желаю иметь неприятности. А ну, поторопитесь и отложите разговоры до более подходящего случая.

Хуан положил кусок хлеба на землю и, прежде чем допить вино и закурить сигарету, поглядел на небо. К нему приблизился какой-то пожилой человек, на затылке у него аккуратно лежал мешок, и пояс он уже успел подтянуть потуже.

— Почему ты не ешь?

— Да так, не хочется.

— Сейчас одно вино без хлеба только во вред пойдет.

Хуан ничего не ответил.

— Помни, тут нужно хорошенько собраться с духом. А, по-моему, духу-то тебе как раз нынче и не хватает.

— Хватает!

— Новичок?

— Я здесь уже третий день.

— А я нынешний год впервые вышел. Раньше-то, когда ты еще под стол пешком ходил, я в десятках процессий участвовал. Откуда ты родом?

— Из Эсихи.

— С равнины?

— Да.

— А звать тебя как?

— Хуан. Можешь на меня рассчитывать.

— Спасибо, Хуан, все-таки легче, когда рядом стоит твой брат крестьянин. Стар я стал для такой работенки, ловкости прежней нет.

— Все, что я смогу для тебя сделать...

Надсмотрщик снова хлопнул в ладоши. Люди нехотя поднялись с земли и, разбившись на группки, прошли через ризницу в церковь, где посреди нефа стоял помост со статуей Иисуса Христа, освещенный четырьмя серебряными фонарями.

Кающиеся уже выстроились у дверей позади большого креста, держа в руках хоругви и стяги. Стрелки часов на башне показывали начало первого.

...Он снова поднес к губам носовой платок. Все пасо с разных сторон двигались к площади Сан-Франсиско. Там, на воле, уже светлело небо, а впереди слышалась музыка, рукоплескания, на балконах бились, как крылья, носовые платки.

Через десяток метров уже кончится улица Сьерпес. Скрытые под свисавшим до земли лиловым бархатным покровом носильщики шли усталые, потные, полупьяные, лихорадочно возбужденные.

Подпираемый затылками помост медленно плыл вперед, раскачиваясь на ходу. Мертвый Христос склонил голову к левому плечу, толпа рукоплескала ритмичному движению носильщиков, умело балансировавших корпусом.

Отчаянным усилием воли ему удалось спрятать в карман носовой платок, но тут он закашлялся. Подошвы холщовых туфель размеренно шаркали по мостовой, и никто не услышал этого сухого глуховатого кашля.

Тринидад шел впереди помоста, и казалось, что он, как фокусник, лишь силою своего магического искусства заставляет Христа покорно следовать за собой. С балкона, украшенного флагом с красными и желто-золотыми полосами, донесся пронзительный выкрик песнопения:

О горе нам: тебя несут
Распятым на кресте!

Надсмотрщик ударил серебряным молотком по краю помоста. Последние слова саэты разорвали тишину теплой апрельской ночи:

Избавить не могли тебя
От этих злых бичей!

Кортеж остановился у крайних домов. Перед ними открывалась площадь Сан-Франсиско, на ней были возведены огромные иллюминированные трибуны, малиновые полотнища пылали на здании ратуши и суда. Толпа криками и аплодисментами поощряла певицу, осенившую себя крестным знамением при виде подходившей процессии. И тут зазвучал мужской голос, затянувший новое песнопение. Кавалеристы вскинули трубы, и грянул марш. Толпа, облепившая трибуны, неистово захлопала в ладоши. Трубач бросил в воздух причудливое верхнее «до», легко покрывшее все остальные звуки. Его голосовые связки были напряжены до последней степени, и казалось, вот-вот не выдержат и порвутся.

Когда помост с Христом появился в узком проходе между трибунами, специально оставленном для процессии, мантильи и гипюровые косынки судорожно затрепетали.

У Хуана опять начался приступ кашля. Он сильнее уперся затылком в помост, как будто это новое усилие могло облегчить недуг. Густая кровь наполнила рот и струйкой потекла с губ. Он уже не чувствовал тяжести. Помост казался ему теперь не тяжелее трухлявого ствола маслины, доски пробкового дерева, колоды без меда и пчел.

Процессия приближалась к центру площади. Теперь уже недолго, к нему скоро вернутся силы, пусть хоть не полностью, пусть хоть частично, теперь уже скоро уйдут эти тоска и страх. Когда надсмотрщик стукнул серебряным молотком, чтобы остановить шествие, Хуан поглядел на трибуны, на золоченые кресла, покрытые парчою; носильщики пригибались чуть не до земли, чтобы посмотреть на трибуны, расставленные вдоль фасада ратуши.

Те, кого окончательно оглушили усталость и вино, безропотно пропускали вперед других, а те ловко пробирались среди мешанины рук, плечей, колен и торсов, намереваясь, как и каждый год, воспользоваться минутой отдыха и полюбоваться на женские ножки. При свете электрических ламп их туманило желание, и они не спускали лихорадочных глаз с тонких кружев, с соблазнительных округлостей, лишь угадываемых с такого расстояния. Те, кто стоял поодаль, не решались осуждать поведение товарищей. Под пасо горели масляные лампы, и видно было, как блестят глаза мужчин, как исчезает тяжелая одурь. Старики снисходительно поглядывали на молодых. В свое время они тоже любовались красотками, а теперь их вполне устраивала сигарета, которой затягиваешься и передаешь с улыбкой соседу. Они думали о вине, о том, что принесут полный мешок еды детям и внукам, которые нетерпеливо ждут их в предместье на пороге дома, возле грязных сточных канав.

Он опять судорожно подпер плечом помост: все носильщики под пасо напряглись в общем усилии. Надсмотрщик ударил серебряным молотком, и шествие возобновилось.

Тонкая струйка крови по-прежнему текла у него изо рта. Он посмотрел на масляную лампу, и вереница образов промелькнула в угасавшем сознании: отец, которому камнем пробило легкое, и мать, и братья, и она, та, которую он любил, лицо у нее было чуть растерянное, как в тот вечер, когда она впервые отдалась ему в оливковой роще. В голове бешено вертелось огненное колесо, и сквозь багровые спицы он смутно различал Хенаро и других товарищей по артели. Все были с ним в последнюю минуту его жизни.

Он рухнул наземь. Шедшие следом носильщики прошлись по его лицу, по груди, по ступням и ладоням, по глазам, по сердцу, они даже не

поняли, что их холщовые туфли на веревочной подошве попирают уже не землю, а лик умершего, потому что несли помост, на котором спаситель, широко раскинув руки на кресте, казалось, обнимал город.

Пятеро носильщиков из третьей шеренги склонились над его телом, а остальные подались к краям помоста, чтобы освободить место.

Маршировавшие по обе стороны пасо с опущенными в знак траура винтовками жандармы Антонио Гомес дель Реаль и Федерико Ниэблас дель Пино, которых отрядили сопровождать торжественную процессию по городу Севилья, как ни в чем не бывало снова зашагали вперед, когда после короткой заминки, нарушившей ритм движения, процессия снова двинулась по площади.

Христос, широко раскинув на кресте руки, медленно плыл к кафедральному собору, вокруг звучали саэты, гремели трубы, раздавались неистовые рукоплескания, облачка ладана ползли к небу над ковром из гвоздик; а позади алела узкая полоска крови.

На востоке занималась заря.

РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ

Баллада о том, чего никогда не было в Гранаде

Федерико Гарсиа Лорке

Вдалеке — за морями, полями, горами —
Всходит солнце иное над моей сединою!
Никогда я не был в Гранаде.

Голова поседела, потеряны годы,
Но хочу отыскать заглохшие тропы.
Никогда я не видел Гранаду.

Дайте в руки зеленую ветку из света,
Дайте долгий галоп с короткой уздою.
Никогда не входил я в Гранаду.

Кто же недруги те, что ее населяют?
Как звучит ее ветра свободное эхо?
Никогда я не был в Гранаде.

Кто сковал языки ее светлых фонтанов?
Кто сады не выпускает из плена?
Никогда я не видел Гранаду.

Придите все, кто не был в Гранаде.
Кровь пролитая там меня призывает.
Никогда не входил я в Гранаду.

Дворовый колодец и листья мирта
Заливает кровь любимого брата.
Никогда я не был в Гранаде.

Кровь на Дарро. Кровь на коре аррайанов.
Кровь любимого друга Хениль заливает.
Никогда я не видел Гранаду.

Где высокие башни — высокая доблесть,
Через горы, моря и поля — приходите.
Я войду в Гранаду.

Перевод БОРИСА СЛУЦКОГО

ХЕСУС ЛОПЕС ПАЧЕКО

Кто?

Ах, река Мансанарес,
испанская речка!
У народа Испании
так мало хлеба.

Ах, река Мансанарес,
как быть нам с тобою?
Наш народ беден хлебом,
беден водою.

Ты течешь, Мансанарес,
тонкою нитью.
Кто хлеб и воду
у народа похитил?

Кто твою воду выпил,
Мансанарес?
Кто выпил кровь в твоем теле,
народ Испании?

Песнь о хлебе

Когда голодный говорит о хлебе,
в его устах как выстрел это слово;
оно гремит, как гром в далеком небе,
пред тем как солнцу загореться снова.

У хлеба цвет рабочий, крепкий, чистый,
как жесткая, обветренная кожа,
и мякотью наполнен он душистой,
что на любовь, на молодость похожа.

Хлеб раньше был воздушною пшеницей,
ветрами, солнцем, ливнями и житом,
серпом и каплей пота, что струится
на лбу, сияньем солнечным омытом.

Перевод ИННЫ ТЫНЯНОВОЙ

МАНУЭЛЬ МОНТЕРО

Бой быков

Крестьянин разговаривает с сыном.
Они сидели на галерке цирка,
На солнцепеке. Старший говорил
Меньшому: — Примечай,
Как делается это
В наше время.
Сын
Смотрел испуганно и удивленно.
Бык на арене кружится, касаясь
Бедра героя в золотом шитье,
Как будто создан вечно окружать, как будто
Он сросся с человеком, как обычай,
Отец, отчизна.
Старший улыбался:
— Вот подрастешь... (И он вообразил:
Чуть свет не надо на работу,
Рука не устает от плуга,
Не надо шапку мять по воскресеньям
Перед крыльцом хозяина.)

Ревело все;
Вздымалась музыка к закату,
Как траурная роза, как терпкое вино.
...А мальчик думал,
Как станет взрослым, станет человеком
Для большего, чем в золоте ходить,
Для большего чего-то, чем убийство,
Для большего, чем гибель на рогах
Израненной отчизны.

Перевод Д. САМОЙЛОВА

ХОСЕ ЙЕРРО

Колыбельная для заключенного

По-над соснами чайка вьется,
(Вздохнуло море.)
Даже, если тебе не спится,
Что-нибудь все равно приснится...
По-над соснами чайка вьется,
по ветке звезда струится.

Люли-люли. Твои ладони
В тишине синева полощет.
Тьма. Над нею — луна на склоне.
Питер Пэн в тополиной роще.
На спине зеленой косули —
Слепая девочка, люли.
Ты — опять человек, ты дремлешь,
Люли, товарищ, люли...

Спи. Луну пожирает ворон,
Он клюет золотое око.
Колокольцами, детским хором
Море явится издалёка,
Ты — не мученик, ты — ребенок,
Беспечально чело, прекрасно.
Но печальную сказку на ночь
Рассказали, и стало грустно.
А земля и вода уснули...
Люли, товарищ, люли...

Ты — ребенок, угрюмый с горя,
Потому что в глубины моря
Закатился твой смех бездомный,
Проглотил его кит огромный.
Спи. Сейчас у твоей постели
Бубенцы запоют на бубнах,
И туманный напев свирели
Разольется в долинах лунных.

Не бывает душа тяжелой —
Это шелк, это дым и ветер.
Ночь просторна. Лети, пожалуй,
Сколько хочешь, куда захочешь,
Долетишь до зари алмазной,
Под крылами забрезжат камни,
Кругло-серые, словно каска,
Над которой летели пули.
Ночь прозрачна, чиста, как сказка,
Люли, товарищ, люли...

Ночь прекрасна, нага, привольна,
Ни цепей, ни решеток — пусто.
И неправда, тебе не больно,
А от сказки немного грустно,
Ты — не мученик, ты — ребенок,
Ты — ребенок, тебе не спится.
Ты — ребенок, тебе грустится.
Люли-люли. Твои ладони
В тишине синева полощет.
Чайка ждет, прилетит, как только
Ты уснешь в синеватом гуле.
Спи, товарищ мой...
Засыпает...
Люли-люли...

У самого моря

Посмертно у самого моря
Оставьте меня в наготе.
Я буду избавлен от горя
И буду всегда при щите.

Посмертно оставьте в покое.
Волна — мой кладбищенский сад.
Покинул я лоно морское
И должен вернуться назад.

Услышу волшебное пенье,
Мелодию ветра и верб.
И вот пережито мгновенье,
Которое косит, как серп.

И ночью под небом хрустальным
Рыданьем и пеньем морским —
Опальным, печальным,
прощальным —
Я выйду к пределам людским.

Город издали

Дым, висящий в пространстве... Дом, стоящий в колонне.
Им сейчас побродить бы вдоль полночной пустыни...
Столбенею, и каплет из небес на ладони
Новоявленной осени сок черно-синий.

Я искал твое сердце, как святыню в пустыне,
И набрел на твои же две глазницы в тумане,
Наклонился над ними и запомнил отныне:
Я на воле в цепях, как в тюрьме каторжане.

Перевод ЮННЫ МОРИЦ

ГЛОРИЯ ФУЭРТЕС

Нищий с запиской

«Подайте убогому, Христа ради.
Я глухонемой, не считая прочего,
Похоронил трех братьев и родителей,
Я глух и нем, к тому ж почти что слеп.
Разут-раздет. Не знаю дома отчего.
Подайте на рубаху и на хлеб.
На ноги гляньте — разве это обувь!
Я сирота, глухонемой и старый.
Подайте хоть какую-нибудь мелочь,
Не оставляйте без внимания.
Я не умею говорить,
Ей-богу, я совсем глухонемой.

Прошу вернуть записку — у меня другой нету».

Нет мудреца

Хотя б один мудрец!

Что смотрят мертвецы?
Кто допускает войны?
Зачем калечат розы?
Ответьте, мудрецы!

Тут есть ли хоть один!

Глядите, как смеюсь
И как я умираю!

Тот будет мудрецом,
Кто явится и скажет,
Что смотрят мертвецы,
В чем виноваты дети,
Зачем война на свете
И для чего стихи.

Кто пули превратить
Сумеет в леденцы,
Годится в мудрецы —

Кто бы он ни был!

Перевод Д. САМОЙЛОВА

Умершему в собственной постели

Куда улетели пчелы, собравшие воск для твоих свечей?
Куда девались тетради, где ты написал когда-то
первые строки?
Где твоя первая девушка? Как ей узнать, что ты
умер?

Эскизы испанского художника и скульптора АЛЬБЕРТО САНЧЕСА
для советского фильма «Дон Кихот».

НА ПОЛЯХ СВОИХ КНИГ

ВЕСЕЛЫЕ ПЛОДЫ ЕГО ФАНТАЗИИ

(Из воспоминаний о Федерико Гарсиа Лорке)

...Лорка приехал к нам на Кубу из Нью-Йорка, грубого и сумрачного. Очарованный Кубой, он сравнивал наш остров с палубой судна под звонкими поющими парусами. Лорка готовился тогда к завоеванию театра и сцены; он мечтал о Париже, который закрепил бы за ним славу драматурга в международном масштабе.

Вот в этот период я и познакомился с поэтом. Наша дружба оказалась краткой, но пламенной, и у меня остались от нее незабываемые воспоминания, которыми я хотел бы здесь поделиться.

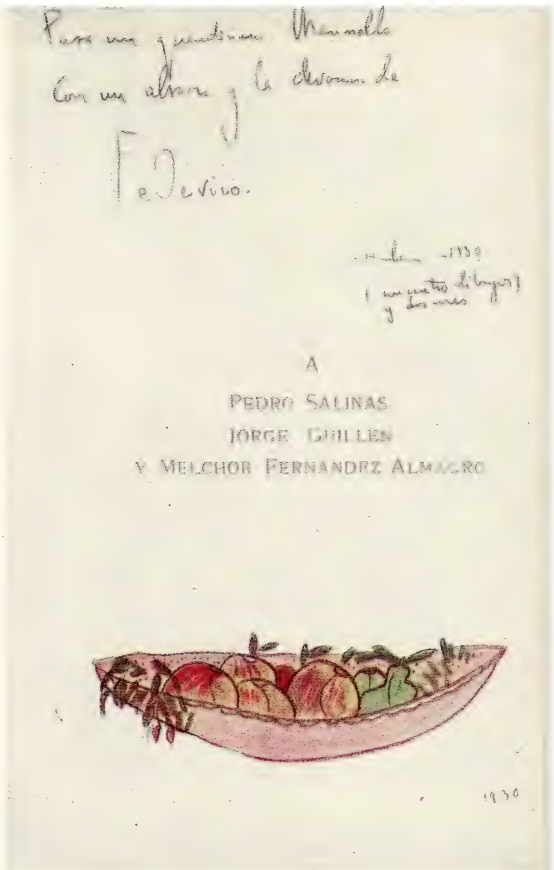
Среди моих книг я храню как драгоценную реликвию подаренный им экземпляр его «Песен» — память об одном нашем вечере. Федерико зашел ко мне (я жил тогда в крошечном домике на углу 15-й и 20-й улиц, в старом Ведедо) в послеполуденные часы, а ушел глубокой ночью. Он много говорил о своих впечатлениях от Кубы, говорил горячо и вдохновенно.

Во время разговора Федерико рисовал цветными карандашами на полях книги. «Я хочу, чтобы ты убедился,— заметил он при этом шутя,— что я гораздо лучший художник, чем поэт».

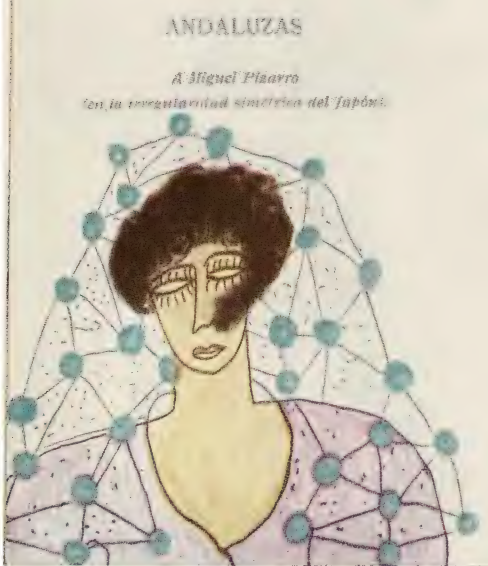
Вручая мне книгу, Федерико объяснил каждый из своих рисунков, и каждое из этих объяснений стоило лирической импровизации. Веселые плоды его фантазии. Вот они.

Романтическая сеньорита, проходящая в тени тополевой аллеи, с единственным словом в сердце и на устах — любовь... Девушка-андалузка в расшитом национальном покрывале... Фрукты — символ невинной природы. Юноша, преследуемый руками всех размеров, юноша с безнадежно скорбным лицом. «Этот малютка,— сказал Федерико, показывая на него карандашом и улыбаясь с детской непосредственностью,— этот малютка уже никогда больше не сможет быть веселым, потому что вовремя не надавал пощечин...»

Хуан Маринельо



«Моему дорогому Маринельо — обнимая и почитая. 1930 г.»,— написал поэт на титульном листе



НА ПОЛЯХ СВОИХ КНИГ

На страницах сборника своих стихов, изданного в Советском Союзе, Рафаэль Альберти набросал акварелью рисунки. С этого уникального экземпляра мы их и воспроизводим.

В какой уголок земли, взволновавший тебя,
пойти и сказать, что теперь ты спокоен?
(Смерть сама по себе не страшна. Страшнее всего,
что ты никогда не сможешь теперь
завести часы,
откинуть со лба прядь волос,
в аккуратную стопку сложить бумаги...)

Я понимаю, тебе грустно сейчас.
Ну чем же тебя утешить?
Имеет ли смысл говорить, что ты умер в чистой
постели,
что до последней минуты тебя окружали друзья?
Они так старались тебя спасти:
нарезали тонкими ломтиками яблоко,
измеряли температуру,
а самый набожный шептал потихоньку молитвы.
Подумай о тех, кто умирает вдали от дома,
кто умирает внезапно, на улице,
и, наконец, о тысячах тысяч, гибнущих на войне...
Вот пришли служащие похоронного бюро,
ты лежишь на ковре, и у тебя четыре свечи,
и белое распятие,
и жалобный хор соседок.
Чего же тебе еще?
И ты так хорошо причесан...

Перевод Н. ГОРСКОЙ

МАРИЯ БЕНЕЙТО

Ноктюрн женской тюрьмы

Им снятся в сумерках дети.
Уносят младенцев, еще не рожденных,
безбрежные реки горячей крови.
(Они каждый год теряют ребенка.)

Им снятся в сумерках долгих
желанная пуля, нож и отрава
и нежности тайной терпкое море.
И рвется крик тишины изо мрака.

Живут как во сне. Им снится
мужчина с кровавой раной на горле,
со спекшимся ртом — ненавистный грешник
встает, как виденье, в памяти горькой.

Огонь за семью замками.
Озноб. И во тьме — звериные стоны.
Приходит во сне мираж неизменный —
свободная ночь любовной истомы.

Слиняли ангела крылья.
Беспечная птица, прорвавшая сети,
расплющилась в миг о грудь урагана,
и блеклые перья развеял ветер.

Весной на стене высокой
кричит бескрылый чудовищный ворон,
в объятьях весны не познать цветенья
железным колючкам ограды черной.

Кому-то цветущей ночью
далекая песня встревожит сердце —
давно позабытый девичий голос,
воскресший на братской дороге смерти.

А кто-то, как слабоумный,
в припадке заходится смехом бессильным,
и скалится долго жутким гротеском,
и смотрит застывшим взглядом рептилий.

Другие, в огне сгорая,
досрочно по векселю платят пеплу.
И бродят горячие сны в руинах,
а годы проходят, глухи и слепы...

Перевод Н. ГОРСКОЙ

АНХЕЛЬ ГОНСАЛЕС

Увиденное со стороны

С тоскливым выраженьем
прохожий —
то есть кто-то, а не я, поскольку это было
увидено из моего окна,— прохожий
взвалил свою поклажу и пошел.
Потом остановился, обернулся
и долго-долго вглядывался в даль.
Собрался было вновь брести бог весть куда,
но вдруг узнал кого-то вдалеке.
В лице его прорезалась надежда,
потом какая-то немыслимая радость. Он хотел
позвать. Не выдержало сердце,
он рухнул в пыль.
Вокруг стояли равнодушные колосья.

И женщина приблизилась, в слезах,
поцеловала губы и сказала:
— Ты не услышишь, но клянусь,
что я люблю, что я всегда тебя любила.

Перевод Д. САМОЙЛОВА

АЛЬФОНСО САСТРЕ

КРАСНАЯ ЗЕМЛЯ

ДРАМА В ПЯТИ КАРТИНАХ,
С ЭПИЛОГОМ

Перевод с испанского Р. ПОХЛЕБКИНА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ПЕДРО — старый шахтер.
ТЕРЕСА — его жена.
ИНЕС — их дочь.
ПАБЛО — шахтер (в дальнейшем муж Инес).
ПЕРВЫЙ ШАХТЕР.
ВТОРОЙ ШАХТЕР.
ТРЕТИЙ ШАХТЕР.
ЧЕТВЕРТЫЙ ШАХТЕР.
ПЯТЫЙ ШАХТЕР.
ШЕСТОЙ ШАХТЕР.
СТАРИК ХУАН.
ЛУИС — ТРАКТИРЩИК.
ЖЕНЩИНА ИЗ ТАВЕРНЫ.
СЛУЖАЩИЙ КОМПАНИИ.
ЖЕНЩИНА С РЕБЕНКОМ.
СЕРЖАНТ ПОЛИЦИИ.
КАПИТАН ПОЛИЦИИ.
ТЕРЕСА — дочь Пабло и Инес.
ЮНОША.
ШАХТЕРЫ, ЖЕНЩИНЫ, ПОЛИЦЕЙСКИЕ.

ДЕКОРАЦИИ

Дом старого шахтера Педро. Этот дом принадлежит угольной компании. Комната в доме. За правой стеной, за занавесом, установлена подвижная декорация таверны: часть стойки и буфет за нею. В нужный момент, во время затемнения, край занавеса приподнимается, и декорация таверны выдвигается на передний план. Так же в нужный момент слева на передний план выдвигается декорация тюремной камеры — часть стены с решеткой, сцена тогда освещается тусклой лампой.

Таким образом, в спектакле три декорации: дом (комната) Педро, таверна и камера в полицейском участке.

КАРТИНА I

Комната в доме старого шахтера Педро. На переднем плане дверь на улицу. За окном алый закат.

Инес, дочь Педро, вынимает белье из платяного шкафа и складывает его в фанерный чемодан. На площадке перед домом появляется Пабло. Он останавливается перед дверью в нерешительности. Наконец стучит. Инес не слышит. Пабло стучит снова, громче.

Инес *(поднимает голову)*. Войдите.

Пабло входит в комнату.

Пабло. Добрый вечер.

Инес. Добрый вечер.

Пабло. Извините, может, я ошибся. Но мне сказали на шахте... Право, все эти дома такие одинаковые... дом номер триста двадцать восемь, кажется, так. Дом Педро Гонсалеса.

Инес. Да. Он самый. Вы пришли на прощальный вечер?

Пабло. Совершенно верно, на прощальный вечер, меня пригласил сеньор Педро. Вероятно, это ваш отец?

Инес. Да, это мой отец.

Пабло. Он дома?

Инес. Нет, еще не приходил, оформляет последние бумаги в конторе. Присаживайтесь.

Пабло *(садится)*. Большое спасибо. Вы не возражаете, если я закурю?

Инес. Нет, что вы...

Пабло свертывает сигарету.

Пабло. Видно, я первый пришел. Сеньор Педро сказал, что будут его друзья.

Инес. Да, они придут.

Пабло. Похоже, я пришел очень рано. Я вам не помешал?

Инес. Нет, нисколько... Я укладываю вещи... *(Пауза.)* Вы у нас недавно?

Пабло. Да.

Инес. Когда вы приехали?

Пабло. Только вчера вышел на работу.

Инес. Вы когда-нибудь работали на шахте?

Пабло. Нет. Впервые. Я все время жил в городе, работал в мастерских, на фабрике... а вот на шахте никогда...

Инес. Вам будет нелегко.

Пабло *(утвердительно кивает)*. Вчера меня из шахты даже вынесли. Мне стало так плохо, будто укачало... Не знаю, привыкну ли...

Инес. А почему вы уехали из города?

Пабло. Я никак не мог оставаться там. Пришлось сюда приехать.

Инес. У вас не было другого выхода?

Пабло. Нет.

Инес. Но не обязательно же шахта, есть другая работа...

Пабло. Прежде чем приехать сюда, я уже повсюду искал.

Инес. Все идет по-старому. Ничего на свете не меняется...

Пабло. Что вы хотите сказать?

Инес. Что все осталось по-старому, как и много лет назад. Мой отец тоже говорил, что прежде чем приехать на шахты, он все испробовал.

Пабло. Но я не думаю оставаться здесь всю жизнь. Я тут пробуду, пока не найду чего-нибудь получше.

Инес *(печально смотрит на него)*. Не продолжайте...

Пабло. Что с вами?

Инес. Мне кажется, будто я слышу своего отца... Из года в год он повторяет эти слова... И не только он, а все, кто работает здесь... Вы уж лучше постарайтесь привыкнуть, так будет вернее.

Пабло. Я и не собираюсь привыкать... Мне кажется, если б я даже и захотел, то не смог бы...

Инес. Сможете. Многие сомневались, а потом привыкли. Отец рассказывает, что, когда восемнадцатилетним парнишкой в первый раз спустился в шахту, ему показалось, будто он попал в ад... а теперь, когда его не пускают в шахту, он тоскует.

Пабло. Когда вы должны уехать из этого дома?

Инес. Нам велено освободить дом послезавтра на рассвете. Компания прислала извещение.

Пабло. И это всегда так? Присылают извещение — и все?

Инес. Что ж! Все об этом знают заранее.

Пабло. Куда же вы теперь поедете?

Инес. Отец говорит, что к нему на родину. Но прошло уже столько лет, как он оттуда уехал, что там, наверное, никто его и не помнит. Что мы будем делать, не знаю.

Пабло. Может быть, там жив кто-нибудь из его друзей... И они помогут вам.

Инес пожимает плечами.

Но вы, я вижу, не особенно надеетесь на это, Инес?

Инес. Откуда вы знаете мое имя?

Пабло. Ваш отец мне сказал. Видно, вы совсем потеряли надежду?

Инес. При такой жизни это и не мудрено.

Пабло. И тем не менее у нас еще много дел впереди. В наши годы можно пытаться что-то сделать. Как вы думаете?

Инес. Да, думаю, найду себе дело... поступлю прислугой, мыть полы... Это все, что меня ожидает... И хорошо, если сумею найти для родителей кров, чтобы им было где пережить зиму.

Пауза.

Пабло *(взволнованно)*. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю.

Инес. А что вам непонятно?

Пабло. Я не понимаю, почему, когда выселяют шахтера, а попросту выгоняют из его же дома, никто не протестует, никто даже не возмущается... Сегодня я сам слышал, как шахтеры сожалели об отъезде сеньора Педро... И больше ничего... словно так и должно быть.

Инес. Что ж, так оно и есть, и этого не изменишь.

Пабло. Скоро придут друзья сеньора Педро прощаться. Вы устраиваете прощальный вечер, будто это какой-то праздник, в то время как надо делать совсем другое. Ничего не понимаю.

Инес. Я видела много таких вечеров, когда прощались с товарищами моего отца, уходившими на пенсию... Уж так сложилось в нашем поселке... Каждый шахтер на последнюю получку устраивает маленький праздник друзьям... Прощается с домом, где прожил долгие годы и который уже считал своим, родным, с домом, который вынужден покинуть навсегда.

Пабло *(глухо)*. Куда же они потом деваются?

Инес. Кто их знает. Исчезают.

Пабло *(мрачно)*. Что ж, выходит, у шахтера на старости лет, после того как он всю жизнь работал, точно вьючное животное, нет своего угла?

Инес. Ему даже негде умереть.

Пабло. А пособие?

Инес. Дают, но разве это пособие?

Пабло. Компания выгоняет шахтера из дома...

Инес. А разве этот дом был его?

Пабло. Компания дает шахтеру жилье, пока он ей нужен.

Инес. Конечно.

Пабло. А когда шахтер стар и болен и уже из него ничего не выжмешь, компания выбрасывает его, как ненужную ветошь.

Инес *(кивает)*. Да, как ненужную ветошь.

Пабло. Когда шахтер уже не может защищаться и ему остается только помереть... *(Пауза. Лицо Пабло становится суровым.)* Нет, надо что-то предпринять...

Инес. Что?

Пабло. Надо что-то сделать.

Пауза.

Инес. О чем вы задумались?

Пабло. Ни о чем. В такие минуты меня только душит гнев и ярость... И я не способен думать... Меня трясет от ярости. Я, наверное, побелел, правда? Нервы ни к черту! Такое со мной случается не впервые... Но это быстро пройдет...

Инес со страхом смотрит на него.

Я вас напугал?

Инес. Нет. Но мне уже давно не доводилось видеть такого лица.

Пабло. Это потому, что я еще не сдался. А вы привыкли видеть покорные лица... тоскливые и безобразные лица покорных людей...

Инес. Вы не имеете права так говорить о наших шахтерах.

Пабло. Я никогда не осмелился бы говорить плохо о них. Я только говорю, что они слишком покорны.

Инес. Ну, а что они могут сделать?

Пабло. Не знаю.

Инес. Вы что, думаете, мой отец не боролся? Когда он был молодой, он пытался устроить стачку, а когда это не получилось, он и его товарищи решили штурмовать резиденцию компании.

Пабло. Резиденцию компании, где жили англичане?

Инес. Да, и это хотел сделать мой отец. Меня тогда еще не было на свете.

Пабло. А что он хотел сделать?

Инес. Убить президента компании и поджечь резиденцию.

Пабло. Президент находился там...

Инес. Да. Он приехал обследовать шахты.

Пабло. И чем все это кончилось?

Инес *(покачав головой)*. Товарищи отца под конец струсили.

Пабло. Они бросили его?

Инес. Да, бросили по дороге, и ему пришлось вернуться домой. Мама рассказывает, что на нем лица не было, его всего трясло. Ничего не произошло, но в душе отец совершил задуманное. Он так верил в это, что даже удивился, почему люди не выходят смотреть на пожар. Мама говорит, всю ночь напролет он просидел на одном месте, вот на этом стуле *(Инес показывает на стул, на котором сидит Пабло)*, яростно сжав кулаки. С тех пор он ни во что больше не ввязывается.

Пабло *(серьезно)*. О, тогда я восхищаюсь сеньором Педро, Инес. После такой ночи он всю жизнь может считаться героем, и никто не имеет права смотреть на него с презрением.

Инес. Я тоже так думаю, но мне приятно слышать это от вас. *(Почти шепотом.)* Спасибо вам.

Пабло. Не за что благодарить меня, Инес. Такова она, правда. Позволь мне говорить тебе «ты»? Мы же не старики... Вся молодежь нынче говорит друг другу «ты».

Инес. Как тебя зовут?

Пабло. Пабло.

Инес *(потупив глаза)*. Пабло, я очень благодарна тебе за твои слова о моем отце. Ты тоже веришь, что мой отец храбрый человек, настоящий мужчина. Я ненавижу трусов!

Пабло *(очень тихо)*. Это сразу видно... Ты из того же теста, что и те женщины...

Инес. Какие женщины?

Пабло. Героини прошлого, но они есть и в наши дни... Это на них держатся семьи, это они растят детей и создают для мужей в своих жалких хижинах радость и уют. Еще в те времена они были способны на великие деяния...

Инес. В какие времена?

Пабло. Я это знаю только по книгам... Я читал... Шла война, народ боролся с врагами... Ты не слыхала об этом?.. И наши женщины, обвязав себя зарядами динамита, бросались на укрепления врага... Все взлетало на воздух, и героини гибли... Вот каковы наши женщины...

Инес *(мечтательно)*. Это прекрасно... *(Умолкает, пристально смотрит в одну точку.)*

Пабло. О чем ты думаешь?

Инес. Я думаю о том, сколько бы ты мог порассказать мне разных историй... но ты слишком поздно приехал. И наши пути разминулись...

Пабло. Я приехал, когда ты уезжаешь.

Инес. Да.

Пабло. Когда тебя выгоняют.

Инес *(всхлипывает)*. Молчи. Такие речи ни к чему не приведут.

Пауза.

Пабло. Знаешь, почему я приехал в ваш поселок? Знаешь, почему мне пришлось бежать из города?

Инес. Расскажи!

Пабло. Тебе я могу довериться. Я не мог больше жить в городе, потому что власти запретили мне. Меня выслали.

Инес. А что ты сделал такого, что тебя выслали?

Пабло. Ничего особенного. Не подумай, что я какой-нибудь герой. Ты еще, чего доброго, вообразишь, будто я занимался политикой... Нет... Это меня не интересует... Я... убил человека.

Инес *(широко открывая глаза)*. Ты убил?..

Пабло. Да, убил. Пырнул его ножом. И убил.

Инес. За что же?

Пабло. Он бросил женщину, которая его любила. И бросил, когда она больше всего в нем нуждалась.

Инес. При чем же тут ты? Эта женщина была твоей родственницей?

Пабло. Нет. Никакая она мне не родственница. Я сам ввязался в это дело. Никто меня не заставлял.

Инес. Никто тебя не заставлял, и ты убил человека. Как же это так?

Пабло. Это была девушка из нашего квартала. Все знали ее историю. Все возмущались поведением того жалкого негодяя. Его тоже знали в квартале. Но никто его не останавливал... Девушка впала в отчаяние. Она даже хотела покончить с собой, чтобы не рожать ребенка... А этот тип продолжал пьянствовать по кабакам, бандит, запугал всех в округе... Его поведением возмущались, но никто и пальцем не пошевелил, чтобы его утихомирить... Ну вот, однажды я не выдержал. Уговорил свою мать приютить девушку и в тот же вечер отправился разыскивать этого типа по барам.

Инес. Ты хотел его уговорить?

Пабло. Нет. Я не собирался читать ему мораль. Я хотел его убить. Я шел с открытым ножом в кармане... Я дал ему возможность защититься и убил его. Можешь поверить, у меня в тот день капли вина во рту не было. Я убил его умышленно. *(Пауза.)* Весь квартал вздохнул после этого с облегчением, и все свидетели показали в мою пользу... Я просидел немного в тюрьме, а потом меня выслали из города... Я не очень огорчился... Пока я сидел в тюрьме, моя мать умерла.

Инес. А эта женщина?

Пабло. Она исчезла. Больше о ней я ничего не слыхал.

Пауза. В комнату тихо входит сеньор Педро.

Педро *(с наигранным весельем)*. Добрый вечер. Привет, молодой человек. Как дела?

Пабло почтительно встает.

Инес. Добрый вечер, папа.

Педро *(с прежней наигранной веселостью)*. Что ж, кутим на последнюю получку? Да?

Никто не отвечает. Педро старается продолжить разговор.

Ну вот, я побывал в конторе. Простились со мной очень любезно. Поблагодарили за хорошую службу. Занятно? Меня поблагодарили. Надо было бы спросить их: хорошо, ну а теперь что мне делать? Куда я денусь? Но я ничего не сказал... Тебя выгоняют, а ты помалкиваешь... Вот видишь, что тебя ожидает, сынок. Выкинут вон, когда из тебя уже всю кровь высосут. Ты знаешь, как мы зовем компанию? Вампир, потому что она кровь сосет из нас... Хлестко придумано!

Пабло смотрит на него с грустью.

Но тебе еще рано вешать нос... Тебе еще до этого далеко, паренек... пока ты еще доживешь до этого печального времени... *(К Инес.)* Ну, что? Мать еще не пришла? *(Направляется к двери и выходит на крыльцо. Глубоко вздыхает.)* Идите сюда... Здесь лучше... Прохладно, и можно подышать свежим воздухом...

Инес и Пабло выходят.

С утра осталось вино, дочка?

Инес. Кажется, да, папа.

Педро. Неси сюда.

Инес входит в дом.

Хочешь закурить, сынок?

Пабло. Не откажусь.

Свертывают сигареты.

Педро. Мне не следовало бы курить... У меня от них сильный кашель... Но что поделаешь? Чем-то надо заняться.

Входит Инес с бутылкой и двумя стаканами. Протягивает каждому стакан и наполняет вином. Педро пьет смакуя.

Хорошее, правда?

Пабло выпивает свой стакан. Входит Тереса, жена Педро. Она несет корзину с бутылками и пакетами.

Наконец-то, Тереса! Пора уж! Мы тебя заждались!

Тереса. А что, уже пришли?

Педро. Нет еще. Но скоро придут.

Тереса. Пойду пока приготовлю...

Входит в дом. Ставит бутылки на стол и достает стаканы. Разворачивает пакеты и т. д. Инес входит с ней вместе и молча помогает матери.

Педро *(садится на ступеньке, рядом с бутылкой, которую оставила Инес)*. Хочешь еще?

Пабло нерешительно пожимает плечами.

Конечно хочешь... Мертвый и тот не откажется...

Снова пьют. Педро вытирает рот тыльной стороной руки.

Люблю это вино. Его привозят с юга. Хорошее вино. Здесь у нас ни вина... ничего... Заводской дым все отравляет... Сам видишь. На огородах ничего не родится. На, глотни еще.

Снова пьют.

Эй, привет! Добрый вечер, ребята!

К дому подходят три шахтера.

Первый шахтер. Добрый вечер, сеньор Педро.

Остальные. Добрый вечер.

Педро. Вы уже знакомы с ним? *(Показывает на Пабло.)*

Первый шахтер. Да.

Педро. Пойдемте в дом и выпьем.

Все входят в дом. Подходит еще один шахтер. Он останавливается на площадке перед домом, чтобы закурить сигарету. Затем входит в дом. Назовем его вторым шахтером.

Второй шахтер. Добрый вечер.

Все здороваются с ним.

Ну, как настроение?

Педро. Да так, помаленьку, сынок. Выпей с нами. Тереса, принеси ему стакан.

Второй шахтер *(берет рюмку)*. Спасибо.

Педро. Инес, закрой дверь.

Инес идет закрыть дверь.

Инес *(замечая еще двух приближающихся шахтеров)*. Вот идут Хуан и Антонио.

Два шахтера идут, покачиваясь и что-то напевая. Третьего, который наиболее пьян, назовем третьим шахтером.

Третий шахтер. Привет, красотка Инес... Ты ждешь нас? Вот мы и пришли. Мы уже начали праздник в таверне Луиса: пропустили несколько стаканчиков за ваше здоровье... *(Спотыкается.)* Я вот говорю ему: «Пойдем к сеньору Педро и напьемся там...» А он все твердит: «Выпьем еще здесь». Едва его вытащил.

Четвертый шахтер. Это ты все говорил: «Давай еще выпьем...»

Педро *(в дверях)*. Входите, входите.

Шахтеры входят.

Дай им стаканы, Инес... Всем стаканы... *(Наливает всем вино.)* А сейчас, если вы позволите, я произнесу тост.

Всеобщий шум.

Уж так принято... Тише...

Наступает тишина.
Педро поднимает стакан и начинает тост.

Я хотел вам сказать... вам, лучшим моим друзьям... хотел сказать... как вы все стали мне близки за долгие годы... Хотел сказать, как я вас всех полюбил и как мне трудно с вами расставаться... Когда я приехал сюда, мне здесь не понравилось... Тогда мне было восемнадцать лет... Эта красная земля показалась мне очень тоскливой... Я приехал из краев, где зеленые луга и нивы, и поэтому при виде этой красной земли у меня сжалось сердце... «И на этой красной земле я должен буду жить?» — подумал я. В то время здесь была стачка и убили несколько шахтеров... и мне показалось, что земля стала красной от их крови. Нет, я не хотел жить здесь... Я припоминаю, что на другой день по приезде пошел дождь, и когда я встал, то все дороги вокруг развезло от кроваво-красной грязи... Мне казалось, что я никогда не привыкну ходить по этой преступной земле... Так мне думалось... И я даже не мог представить себе, как она станет мне близка... Эта земля и эти люди, которые на ней живут... Теперь вы знаете, я уезжаю... И через несколько дней будет казаться, что я никогда здесь и не жил... а когда пройдет немного времени, вы вообще скажете: «Да, был такой старик Педро, хороший был человек»,— словно меня уже и нет в живых... и ничто вам не напомнит о старом Педро... А сколько было горьких лет... и маленьких радостей и *(смотрит на Тересу)* любви, и все это не оставило никакого следа на этой земле... Так мы, бедняки, живем, так умираем, так исчезаем...

Тереса опускает голову и плачет.

Не плачь, жена... А то испортишь нам праздник... Конечно, это я виноват. *(Вытирает слезу.)* Уж поверьте, я приготовил для вас веселую речь... Простите меня... Я хотел сказать вам радостные слова...

Сцена медленно погружается в темноту.

КАРТИНА II

Таверна Луиса. Луис стоит за стойкой. Пабло по другую сторону напротив него, пьет. За столиками несколько шахтеров и женщина. Все молчат. Шахтеры молча пьют.

Пабло. Еще стакан.

Луис наливает. Пабло выпивает залпом.

Налей еще.

Луис *(наливая)*. Ты так захмелеешь, парень.

Пабло. Отстань от меня.

Луис *(вытирая стойку тряпкой)*. Забота тебя, что ли, заела?

Пабло. Не лезь в мои дела, Луис. Об одном тебя прошу.

Луис. Ну и характерец...

Пабло. Прости. Я не хотел тебя обидеть. Налей мне еще.

Луис пожимает плечами. Наливает стакан вина. Пабло молча пьет.

Луис. Я слышал, сеньор Педро пригласил тебя вчера на прощальный вечер.

Пабло. Да.

Луис. Ну, как провели время?

Пабло. Хорошо...

Луис. Когда они уезжают?

Пабло *(с едва заметной дрожью в голосе)*. Завтра на рассвете.

Луис. Как тебе понравилась Инес? Правда, красавица?

Пабло *(утвердительно кивает головой и, помолчав, добавляет)*. И, должно быть, очень хорошая девушка.

Луис. Одна из самых лучших в поселке. Уж я тебе точно говорю, я знаю ее с рождения. Очень серьезная девушка.

Пабло. И мне так показалось.

Луис. Она вся в мать, а это очень добрая женщина.

Пабло. Трудолюбивая и несчастная, да?

Луис. Да.

Пабло *(задумчиво)*. Они не должны уезжать отсюда. Я думаю, они не должны уезжать из своего дома. А вы как думаете?

Луис. Я как-то об этом не думал. Дело в том... Хочешь еще вина?

Пабло. Давай...

Из-за столика встает первый шахтер и подходит к Пабло.

Первый шахтер. Знаешь, Пабло...

Пабло. Что вам надо?

Первый шахтер. Я вот наблюдал за тобой. Ты что, напиться собрался? Больно много пьешь.

Пабло. А разве в вашем поселке каждый не волен делать то, что ему хочется?

Первый шахтер. Делай что хочешь. Напивайся. Мне все равно. Но завтра ты это сам почувствуешь на своей шкуре, когда спустишься в забой. Вот все, что я хотел тебе сказать.

Пабло. Меня бесит...

Первый шахтер. С тобой что-то случилось? Может, я могу чем-нибудь помочь тебе, парень?

Пауза.

Пабло *(серьезно)*. Ясное дело, что случилось. И с вами тоже случится. Но я вижу, вы все спокойны. *(Немного покачиваясь, идет на середину таверны и кричит неподвижно сидящим шахтерам.)* Я вижу, все вы спокойны!

Шахтеры продолжают сидеть молча. Один из них медленно поворачивает голову к Пабло.

Первый шахтер. Брось, парень... *(Старается удержать Пабло.)* Что с тобой?

Пабло *(вырываясь)*. Оставьте меня! Оставьте! *(Задыхаясь от ярости, кричит.)* Я вижу, все вы спокойны! Сидите себе смирненько! Не шелохнетесь. Помалкиваете. Вам нечего сказать. Точно ничего вокруг не происходит! Вы спокойно пойдете себе по домам спать. А завтра, как заведено, на работу. Вот до чего вы дожили!

Первый шахтер. Замолчи, парень. Ты выпил лишнее.

Пабло. Выпил лишнее! Только это и пришло вам в голову?

Поднимается старик шахтер и подходит к Пабло.

Старик. Ну, давайте выкладывайте.

Пабло. Что?

Старик. То, что вы хотели. Вы ведь что-то собирались сказать. Ну, так давайте.

Пабло. Да, и скажу.

Старик. Я вас слушаю.

Пабло *(проводит ладонью по лбу. Успокаивается)*. Благодарю вас. Я хотел бы посоветоваться с кем-нибудь.

Старик. Я же слушаю вас.

Пабло. Вы знаете сеньора Педро?

Старик. Да.

Пабло. Завтра, на рассвете, он должен оставить свой дом.

Старик. Я знаю.

Пабло. Это же несправедливо.

Старик. Это хуже, чем несправедливо. Это преступно. Продолжайте.

Пабло. Но надо что-то предпринять.

Старик. То же самое и мы говорили когда-то. Но что именно? Что предпринять? Этого мы никогда не знали. А вы знаете, что надо делать?

Пабло. Когда меня взорвало, мне хотелось кричать всем: «Неужели вы позволите старому Педро уехать отсюда, даже не выразив никакого протеста?»

Старик. Но вместо этого вы только обругали нас.

Пабло *(опуская голову)*. Я только хотел сказать, разве можно отпускать старого Педро просто так, даже не пытаясь протестовать?

Старик. А они ответили бы вам: «А что мы можем поделать? И ты привыкнешь к таким порядкам, и ты не будешь протестовать при виде того, как выбрасывают стариков. Все протесты были бесполезны». Вот что они тебе ответили бы.

Пабло. Вчера меня удивило: друзья сеньора Педро собрались у него выпить по стаканчику вина, и сам он потратил свою последнюю получку чуть ли не на праздничный вечер.

Старик. Ты тоже так поступишь.

Пабло. Я?

Старик. Да, точно так. Все тебе это скажут. И я тебе говорю.

Пабло. Теперь я кое-что начинаю понимать.

Старик. Что же именно?

Пабло. Да то, что вы совершенно не способны бороться!

Старик. Нас здорово потрепала жизнь, парень.

Несколько шахтеров подходят и окружают их. Слушают.

Мы не даем себе воли, глотаем все обиды. Но ты говори, продолжай.

Пабло. И давно вы перестали бороться?

Старик. Вот уж пятнадцать лет.

Пабло. А как вы боролись тогда?

Старик. Устроили стачку. Наших жен и детей приютили у себя товарищи из соседних поселков... Мы не оставались в одиночестве. Мы бастовали два зимних месяца. Люди гибли от голода и холода. Иные погибли в стычках.

Пабло. Чего вы требовали?

Старик. Повышения заработной платы.

Пабло. И добились чего-нибудь?

Старик. Нет, ничего.

Пабло. А я скажу, вы все-таки добились, вы заставили дрожать от страха акционеров, дали им почувствовать, что вы существуете, уменьшили их доходы... Компания поняла, что вы способны бороться, что вулкан действует и она должна быть осторожной.

Старик *(качает головой)*. Мы много выстрадали. Когда домой вернулись наши жены и дети, нам показалось, что мы пережили кошмар. Но продолжайте...

Пабло. У меня есть план.

Все приближаются к нему. Кольцо слушателей становится теснее.

Надо действовать завтра же, на рассвете.

Старик. Продолжайте. От ваших слов у меня даже холодок пробежал по спине. Вы говорите, у вас есть план?

Пабло. Да. Я его со вчерашнего вечера обдумываю.

Старик. Что, по-вашему, следует делать?

Пабло. Мы встанем у дверей дома сеньора Педро и не дадим ему уехать.

Раздается сдержанный гул.

Старик. Тише. *(Понижая голос.)* Вы понимаете, что говорите?

Пабло. Да. Я все обдумал.

Старик. Вы говорите, что надо не разрешать сеньору Педро уехать отсюда?

Пабло. Не разрешать, чтобы его выгнали из дому.

Старик. Помешать силой?

Пабло. Да, силой!

Старик. У нас нет оружия.

Пабло. А кирки и лопаты?

Старик. В это время как раз начинается рабочая смена.

Пабло. Это и моя смена. Но я не выйду завтра на работу.

Старик. Значит, забастовка!

Пабло. Да! И те, кто способен на нее, пусть идут с нами.

Все молчат.

Старик. У меня нет никого на свете. Я один. Я пойду.

Трое шахтеров встают из-за столика.

Пабло. Вы тоже с нами?

Один из шахтеров. Да.

Другие шахтеры *(встают из-за столиков)*. И мы тоже.

Пабло. Завтра, на рассвете, у дома сеньора Педро. Сегодня вечером я сообщу им, что мы решили. А сейчас давайте выпьем... Надо это отметить... Луис, вина для всех...

Луис. Я угощаю всех.

Пока он наливает вино в стаканы, сцена постепенно темнеет.

КАРТИНА III

Еще не рассвело. Вокруг дома Педро видны неподвижные силуэты шахтеров, устроивших пикеты. Они едва различимы. Один шахтер стоит, опершись на кирку, курит. Другие сидят прямо на земле, на ступеньках дома, у двери. В доме, слабо освещенном,— старый Педро, Тереса, Инес *и* Пабло.

Пабло. Итак, вы теперь всё знаете. Выходить вам не за чем. Если вам что-нибудь потребуется, позовите нас. Мы никуда не уйдем отсюда. У вас есть на сегодня еда?

Тереса. У нас есть то, что мы приготовили в дорогу. Да, на сегодня хватит.

Педро. Пабло, дорогой мой, это же сумасшествие — все, что ты затеял! Позвольте нам уехать, пока не поздно. Вам же не поздоровится. Вы сами не знаете, что делаете.

Пабло. Тут не о чем спорить, сеньор Педро. Мы не выпускаем вас из дома. Вы хотели уехать, у вас все было готово к отъезду, но мы вас не выпустили из дома. Вы меня поняли?

Никто ему не отвечает.

Хорошо. Дайте мне ключи.

Инес протягивает ему ключи. Они смотрят друг на друга. Пабло на миг задерживает в своих руках руку Инес.

Вы согласны?

Инес утвердительно кивает.

До свиданья. Мужайтесь.

Пабло выходит и запирает дверь на ключ снаружи. Прячет ключ в карман. В доме гаснет свет.

У кого есть закурить?

Один из шахтеров протягивает ему сигарету. Пабло закуривает.

Который час?

Из темноты доносится голос старика.

Старик. Около шести.

Пабло. Сейчас они узнают, что мы не вышли на работу.

Старик. Да, через несколько минут.

Пабло. Немножко не по себе, правда?

Старик. Да.

Пауза.

Пабло. Когда вас переводят на пенсию?

Старик. Через два месяца. В самый разгар зимы.

Пабло. Ну, еще увидим, что будет через два месяца.

Старик. Вот именно. Увидим. Дай-ка мне огонька. У меня потухла трубка.

Пабло протягивает огонь.

Пабло. Похоже, что вы довольны?

Старик. Да, вполне. Вот уж много лет, как я мечтал о чем-то подобном. Думал, умру, не дожив до такого дня.

Пабло. До какого дня?

Старик *(делает жест рукой)*. До такого, как этот. Хорошо! Пускай себе сирена воет. Ребята все здесь. И ты заметил? Все спокойны. Вчера ты корил нас за то, что мы спокойны...

Пабло *(взволнованно)*. Сегодня мне стыдно за это, и я прошу у вас прощения. Да, ребята держатся.

Старик. Ты еще узнаешь наших парней. Ты еще нас узнаешь.

Первый шахтер встает и подходит к старику.

Первый шахтер. Который час?

Старик. А для чего тебе? Не все ли равно?

Первый шахтер. Ну, ладно, скажи, который час?

Старик. Еще нет шести.

Пауза. Первый шахтер растерянно оглядывается, вздрагивает.

Первый шахтер. Тогда еще у нас есть время.

Старик *(хмурясь)*. Что ты сказал?

Первый шахтер *(нервно)*. У нас еще есть время поспеть на работу. *(Обращаясь к шахтерам.)* Ребята, у нас еще есть время!

Никто не трогается с места.

Еще нет шести. Мы еще поспеем.

Пабло *(подходя к нему)*. О чем вы говорите?

Первый шахтер. Я говорю...

Пабло. Замолчите. Уходите, если хотите, но замолчите.

Первый шахтер. Меня всего трясет.

Пабло. Мы это видим.

Первый шахтер. Сейчас заревет сирена.

Пабло. Да.

Первый шахтер. У меня жена и двое детей. Один совсем малыш.

Пабло. Ну и что?

Первый шахтер. Я боюсь.

Пабло. Ну так уходите отсюда. Не сбивайте с пути других.

Первый шахтер. Я сегодня не ночевал дома. Я был со всеми в таверне и пил, чтобы подбодриться. Я знал, что если пойду домой и увижу ребятишек, то ни за что не ввяжусь в это дело. Вот я и провел всю ночь здесь. Но теперь хмель вылетел у меня из головы и я понимаю, что к чему... Мне страшно... И я вижу, что еще есть время... Еще есть время!

Все молчат. Вдали воет сирена. Первый шахтер слушает ее с ужасом. Пабло легонько похлопывает его по спине.

Пабло. Ну, успокойтесь. Ничего страшного. Видите, у вас уже нет времени. И все вышло очень просто.

Сирена продолжает выть. Все молча слушают. Первый шахтер садится, сжавшись в комок.

Слишком свежее утро, правда? *(Говорит это, обращаясь ко второму шахтеру, который потирает руки.)*

Второй шахтер. Да, пожалуй.

Пабло. Вдобавок ко всему еще зима. Какие в этих местах бывают зимы? Очень холодные?

Второй шахтер. Обычно очень дождливые.

Пабло. Ну, зато весна, должно быть, здесь прекрасная.

Второй шахтер *(пожимая плечами)*. Да, весной лучше...

Пауза. Вой сирены замирает. Второй шахтер смотрит на Пабло.

Замолчала.

Пабло. Да, не беспокойся.

Второй шахтер. Я так думаю — мы не напрасно здесь.

Пабло. И это главное!

Второй шахтер. Что они предпримут, когда узнают?

Пабло. Не знаю.

Второй шахтер. А надо бы знать... чтобы быть готовыми. Чтобы они не захватили нас врасплох и мы могли бы защититься.

Пабло. А как ты думаешь, что они могут сделать?

Второй шахтер. Может, явится полиция и выгонит нас всех из домов.

Пабло. Мы откажемся уйти.

Второй шахтер. А еще...

Пабло. Что?

Второй шахтер. Они могут стрелять в нас.

Пабло. И ты боишься?

Второй шахтер. В меня еще ни разу не стреляли. Не знаю, каково это.

Пабло. Сперва неприятно, а потом пройдет — и ничего.

Второй шахтер. Хоть и не можешь защищаться?

Пабло. Человек всегда может защищаться.

Второй шахтер. У нас нет оружия.

Пабло. Но у нас есть кулаки.

Второй шахтер *(качает головой)*. Когда откроют стрельбу, кулаки не помогут.

Пабло. Когда начнут стрелять, тогда посмотрим, что делать. Тогда сразу сообразим.

Второй шахтер. Не знаю.

Пабло встает и начинает ходить. Когда он проходит мимо третьего шахтера, тот обращается к нему.

Третий шахтер. Послушай.

Пабло. Что?

Третий шахтер. Не можешь ли ты перестать тут маячить?

Пабло. А почему?

Третий шахтер. Это меня раздражает.

Пабло. А что ты хочешь, чтобы я делал?

Третий шахтер. Выпей со мной. *(Протягивает ему бутылку.)*

Пабло. Нет. Сейчас я не хочу пить.

Третий шахтер. Ну выпей. Хотя бы глоток.

Пабло. Нет.

Третий шахтер. Хочешь быть трезвым перед тем, что предстоит, да?

Пабло. Может быть, придется говорить. Надо иметь свежую голову.

Третий шахтер. Это тебе освежит горло. Давай выпей.

Пабло. Хорошо. *(Пьет из бутылки. Утирается рукой.)* Спасибо.

Третий шахтер. И не беспокойся. Все будет хорошо.

Пабло. Я не беспокоюсь.

Третий шахтер. Нет беспокоишься. Вон какое у тебя лицо серьезное!

Пабло *(улыбаясь)*. Серьезное...

Третий шахтер. А смотришь печально. Хоть и улыбаешься... Ну, еще глоток?

Пабло. Нет. И тебе больше не следует.

Третий шахтер. Как велишь. Ты хороший друг. Позволь мне еще глоток? Один глоточек?

Пабло *(улыбаясь)*. Делай что хочешь.

Третий шахтер. Спасибо. *(Пьет.)* А теперь позволь мне спеть.

Пабло. Это пожалуйста. Пой.

Третий шахтер *(встает, покачиваясь)*. Эй, кум. Давай мою любимую.

Голос из темноты. Сейчас.

Прожектор постепенно освещает говорящего. В руках у него гитара. Он начинает играть. Третий шахтер стоя запевает шахтерскую песню.

Третий шахтер.

Остался один я на свете!
Кругом только сырость да мрак.
Погиб мой товарищ в забое,
И лампа гаснет в руках!

Когда он умолкает, вокруг воцаряется гнетущая тишина. Третий шахтер подходит к Пабло.

Тебе не понравилось?

Пабло. Нет, понравилось... Только мне что-то взгрустнулось.

Третий шахтер. А мне эта песня очень нравится. Давай выпьем за нее... *(Покачиваясь, идет к тому месту, где оставил бутылку.)* Еще

глоток... *(Пьет из горлышка.)* А теперь, чтобы поразвлечь вас и разогнать вашу грусть-печаль, я вам спляшу. Эх, вот как. Пойду в пляс.

Начинает неуклюже приплясывать.

Кое-кто поворачивается с улыбкой в его сторону. Понемногу светает. Раздаются отдельные смешки. Третий шахтер начинает плясать перед группой шахтеров, которые смеются над ним. Постепенно смех становится всеобщим. Неловко повернувшись, третий шахтер сталкивается с только что подошедшим человеком. Это служащий компании.

А, простите!.. Я вас не заметил...

Все замолкают и разглядывают пришедшего. Тот, спокойно покуривая сигарету, обращается ко всем.

Служащий. Вы все сейчас пойдете на работу, словно ничего не случилось. Так мне велели вам передать. Начальство обо всем знает, но дает вам возможность все загладить без всякого для вас ущерба. Начальству с первых же минут было известно о затеянной вами глупости. А в полночь о ней знали все.

Старик. Ну и что же сказало начальство? Что оно сказало?

Служащий. Все сочли это пьяной выходкой. И начальство решило, что сегодня утром все вы выйдете на работу.

Старик. Это не пьяная выходка. Так и передайте им.

Служащий. Вы что, сошли с ума?

Старик. Нисколько. Мы просто решили, что лучше здесь побыть.

Подходит Пабло.

Пабло. Постеречь дом сеньора Педро, чтобы никто не мог выгнать его на улицу.

Служащий. Педро там, в доме?

Пабло. Да, сеньор Педро у себя.

Служащий. Я поговорю с ним. *(Делает шаг вперед.)*

Пабло *(преграждая ему дорогу)*. Нет. Нельзя.

Служащий. А ты кто такой?

Пабло. Новый шахтер. У вас еще будет достаточно времени познакомиться со мной.

Служащий. Нет.

Подходит третий шахтер и кладет служащему руку на плечо.

Третий шахтер. Знаете что... уходите-ка лучше. Да, ребята? Пускай лучше он уходит.

Второй шахтер. Да, уходите отсюда, сеньор. Это самое лучшее, что вы можете сделать.

Старик. И скажите своему начальству, что мы не уйдем отсюда, пока своего не добьемся.

Служащий. Что это с вами стряслось?

Все молчат. Раздается суровый голос старика.

Старик. Вы спрашиваете, что с нами стряслось? Что мы от вас требуем? Вы хотите знать наш последний каприз? *(Молчание. Голос старика становится еще суровей.)* Мы требуем, чтобы нам позволили умереть в доме, где мы жили, где родились наши дети... в доме, где порой умирают наши жены... в доме, ставшем для нас священным... там, где мы провели несколько счастливых минут и пережили столько горя и несчастий... где мы состарились, где каждый год мы празднуем рождество! Вот в этом доме мы и хотим умереть! *(Голос его дрожит.)*

Пабло *(порывисто)*. Идите и скажите им это! Уходите отсюда!

Служащий. Значит, я должен передать, что вы отказываетесь выйти на работу?

Пабло. Да, передайте!

Служащий. Шут с вами. Поплатитесь из-за ерунды.

Пабло. Ну, уходите же! Нам некогда, мы должны заниматься нашей ерундой.

Служащий уходит.

Кто это такой?

Старик. Один бедняга, он так же гнет спину на компанию, как и все мы. Я уверен, что в душе он нам сочувствует. Но разве он осмелится на такое?

Пабло *(утвердительно кивает головой)*. Мне всегда жалко этих людей. Уж больно они гордятся своими чистенькими костюмчиками. *(Произносит это с мягкой иронией.)*

Из дома доносится стук.

Педро *(кричит из дома)*. Откройте!

Пабло. Сейчас иду.

Подходит к двери, отпирает ее. Выходит Педро.

Чего вы хотите?

Педро. Как чего я хочу? Хочу быть с вами. Вы что же, решили, что я буду сидеть взаперти? Мне уже надоело только прислушиваться к тому, что здесь происходит.

Старик. Лучше, если ты будешь сидеть у себя дома, Педро. Неужели ты не понимаешь? Здесь ты только можешь все испортить.

Педро. Почему я могу все испортить?

Старик. Потому что, когда придут из конторы, смогут говорить с тобой.

Педро. Ну и что такого?

Старик. Они, чего доброго, убедят тебя уехать.

Педро. Ну, а если они меня убедят и я уеду, что тогда?

Старик. Ты никуда не уедешь, Педро.

Педро. А почему бы мне и не уехать? Я поеду на родину. Не может быть, чтобы я не нашел там какой-нибудь работенки.

Старик. Ты прекрасно знаешь, что ничего не найдешь и как сейчас везде плохи дела.

Педро. Другие смогли же выкарабкаться. Не удерживай меня, Хуан. Отпусти. Вы не должны рисковать из-за меня.

Старик. Мы не из-за тебя рискуем. Мы рискуем из-за всех. Из-за меня, потому что через два месяца меня тоже выгонят из дома. Ты не имеешь права идти против нас.

Пабло. Все это мы делаем ради всех. Не правда ли, сеньор Хуан? *(Поворачивается к старику.)* И вам нечего беспокоиться и переживать. Представьте себе, что вы не имеете к этому никакого отношения.

Педро. Но если они заявят: «Педро, уходи, а не то мы будем в них стрелять», я же не могу считать, что это меня не касается. И если кто-нибудь погибнет?

Пабло. До этого дело не дойдет, сеньор Педро.

Педро. Ты не знаешь компанию. Они способны на все. Меня тревожит их молчание.

Пабло. Не тревожьтесь, сеньор Педро, вы зря волнуетесь.

Педро. Дай бог, чтобы ничего не случилось. Дай бог...

Пабло. Нет, богу угодно, чтобы что-то случилось. Ладно, идите в дом, сеньор Педро.

Старик. Да, иди домой, Педро. Успокойся, ни о чем не думай...

Пабло. Мы не можем упускать такого случая, сеньор Педро. Очень трудно решиться на такое, но мы решились. И уж теперь мы не уйдем отсюда.

Старик. Даже если бы мы и захотели, то уже не можем. Теперь слишком поздно.

Педро. Да вы с ума сошли.

Тяжело ступая, входит в дом. Пабло запирает за ним дверь.

Старик *(задумчиво)*. Трудно ему свыкнуться с этим. Не хватает ему мужества.

Пабло. Похоже, он сильно постарел за эту ночь. Сейчас он показался мне прямо стариком.

Подходит первый шахтер. Останавливается перед ними и срывающимся голосом спрашивает.

Первый шахтер. Ничего не случилось?

Пабло. А что должно случиться?

Первый шахтер. Что-то никто не идет.

Пабло. Еще придут.

Первый шахтер. Но почему они медлят?

Пабло. Тебе не терпится?

Первый шахтер. Да.

Пабло. Что так? А раньше ты говорил, что тебе страшно.

Первый шахтер. От ожидания я еще больше нервничаю. Чему суждено случиться, пусть скорее случается.

Пабло. А ты подумай о чем-нибудь другом.

Первый шахтер. Не могу.

Пабло. Тогда ни о чем не думай.

Первый шахтер *(качает головой)*. Я только и думаю о том, что они должны прийти.

Пабло. Не годишься ты для таких дел.

Первый шахтер. Я хочу годиться.

Пабло. Послушай меня.

Первый шахтер. Ну?

Пабло. Мне тоже страшно.

Первый шахтер. По тебе не заметно.

Пабло. Потому что я мужчина.

Первый шахтер. А чего ты боишься?

Пабло. Того, что может случиться. Но я держусь. Так должен вести себя и ты.

Первый шахтер. Конечно, я ведь тоже мужчина.

Пабло. Ну так вот.

Первый шахтер. Но я не могу перебороть в себе этот страх.

Крик. Идут!

Пабло *(встает)*. Откуда?

Шестой шахтер. Вон оттуда!

Пабло *(идет в указанном направлении)*. Кто идет?

Шестой шахтер. Шахтеры.

Пабло. А ну-ка, что за люди? *(Идет им навстречу.)*

Четвертый шахтер. Знаете... *(Не может отдышаться.)*

Пабло. В чем дело?

Четвертый шахтер *(наконец переведя дух)*. Уходите отсюда.

Пабло. Почему?

Четвертый шахтер. Вы должны уйти как можно скорее.

Пятый шахтер *(подходя)*. Да, да, вам надо уходить. Постарайтесь попасть в шахту. Может, вы еще успеете.

Пабло. Но что случилось? Объясните толком!

Четвертый шахтер. Они вызвали отряд полиции.

Пабло. Мерзавцы! Вот каков их ответ. Натравить на нас полицию.

Старик. А ты что думал? Они будут сидеть сложа руки?

Пабло *(пришедшим)*. А что собирается делать полиция?

Четвертый шахтер. Силой загнать вас в шахту.

Пабло. Они нас боятся.

Пятый шахтер. Они выкинут сеньора Педро и его семью на улицу.
Пабло. Они сейчас придут?
Четвертый шахтер. Да, они на машинах.
Пабло. Очень хорошо. *(Смотрит на старика с большой нежностью.)* Вперед, не так ли?
Старик. Вперед!

Они пожимают друг другу руки.

Пабло *(пришедшим)*. Спасибо, ребята. Мы приготовимся. *(Громким голосом.)* Если кто хочет уйти, может сделать это сейчас! Может объяснить компании, что он просто захворал.

Никто не трогается с места.

Вы тоже можете уходить, через несколько минут здесь будет опасно оставаться.
Четвертый шахтер *(смотрит на своих товарищей)*. Мы пришли предупредить вас, чтобы вы уходили.
Пабло. Мы отсюда никуда не уйдем.
Четвертый шахтер. Нам надо вернуться.
Пабло. Ясное дело. Никто вас не задерживает.
Четвертый шахтер. Но если вы тут останетесь...
Пабло. Не беспокойся об этом. Возвращайся на работу, если хочешь.
Четвертый шахтер. Да я вовсе и не хочу, я вынужден.
Пабло. Спасибо вам хотя бы за то, что предупредили нас.
Четвертый шахтер. Да что уж там! И чего ради вы собой жертвуете?
Пабло. Это наше общее дело.

Пауза.

Четвертый шахтер. Тогда я тоже останусь.
Пятый шахтер *(нетерпеливо)*. Слушай, ты помнишь, зачем мы пришли?
Четвертый шахтер. Да, но я остаюсь.
Пятый шахтер. Ты спятил?
Четвертый шахтер. Может быть.
Пятый шахтер. Ну и шут с тобой. Я пошел. Прощай.
Четвертый шахтер. Прощай.

Пятый шахтер уходит. Кто-то насмешливо свистит ему вслед. Пабло пожимает руку оставшемуся шахтеру.

Пабло. Добро пожаловать.
Четвертый шахтер. Если бы я ушел, я был бы последним трусом.
Пабло. Я тоже так подумал, но, конечно, ничего не сказал тебе.
Четвертый шахтер. И ты отпустил бы меня, так ничего и не сказав?
Пабло. Да.
Четвертый шахтер. И я никогда бы не узнал об этом?
Пабло. Не знаю.
Четвертый шахтер. Хорошо, что я еще вовремя сообразил.
Пабло *(улыбаясь)*. Ты хороший парень.
Четвертый шахтер. Интересно все-таки бывает: попал я сюда случайно, а приключиться со мной может что-нибудь серьезное. Меня даже могут, чего доброго, убить. Интересно бывает.
Третий шахтер. Помолчите и лучше послушайте. Сейчас я расскажу вам побасенку. Так мы скоротаем время до прихода полиции.

Все прислушиваются.

Пришли однажды два приятеля на ярмарку. Один из них возьми да положи локоть на силомер... ну, знаете, такой аппарат, из которого выскакивает машинка... А другой подошел к силомеру да как ударит по нему, ну, машинка выскочила, разорвала весь рукав и оцарапала

локоть до крови у первого приятеля. А он так спокойно, не оборачиваясь к своему дружку, хоть кровь у него прямо хлещет, сказал: «Видишь, я же говорил, что ты сукин сын».

Все смеются. Раздается шум моторов, несколько шахтеров вскакивают.

Они уже здесь!

Слышится скрип тормозов. Никто не трогается с места. Входит сержант полиции с несколькими вооруженными полицейскими. Сержант направляется к дому Педро. Пабло выходит ему навстречу и загораживает дорогу.

Сержант. Дайте пройти.

Пабло. Нет.

Сержант *(подает знак)*. Убрать его!

Двое полицейских намереваются схватить Пабло. Старик преграждает им путь.

Старик. Одну минуточку.

Сержант. А тебе что надо?

Старик. Как только они меня отпустят, я скажу. Прикажи своим парням, чтобы они не особенно усердствовали... раньше времени. Они еще успеют. Сперва немного поговорим.

Сержант. Ну говори скорей, что тебе надо. У меня приказ!..

Старик *(нарочито ласково)*. Дорогой Рафаэль, вспомни-ка, сколько мы с тобой резались в карты, сидя в таверне? А теперь ты мне даже не даешь рта раскрыть. Разве так можно? Уж позволь мне сказать хоть два слова?

Сержант пристально смотрит на старика.

Ты знаешь, Рафаэль, зачем мы здесь?

Сержант *(оторопело)*. Я кое-что слышал...

Старик. Значит, ты знаешь.

Сержант. Да, более или менее...

Старик. И что ты об этом думаешь?

Сержант. Мне не положено думать.

Старик. А я хотел бы, чтобы ты сегодня немного подумал. Какой тебе дали приказ?

Сержант. Выселить жильцов из этого дома. Это во-первых.

Старик. А во-вторых?

Сержант. Препроводить вас на шахту.

Старик. По какому такому праву?.. Если ты, конечно, пожелаешь мне ответить.

Сержант. Я ничего не знаю. Мне приказал лейтенант.

Старик. Тебе приказал лейтенант? Понятно. А ты знаешь, кто в самом деле отдает эти приказы? Компания. И ты и твой лейтенант только служите ей. Она распоряжается вами, как хочет. Здесь все и вся подчинено только ей.

Сержант. Я в этих премудростях не разбираюсь. Я подчиняюсь своему лейтенанту.

Старик. А что он тебе приказал, в случае... если мы откажемся подчиниться?

Сержант. Стрелять.

Старик. И ты считаешь правильным... стрелять в нас?

Сержант. Я ничего не считаю. Я только подчиняюсь приказу.

Старик. А по-твоему, убивать нас это не жестокость и не подлость?

Сержант. Я ничего не знаю.

Старик. Ты хорошо относишься ко мне, Рафаэль. Сколько мы вместе с тобой веселились! Помнишь, как мы провели рождество? Выпили как следует. Ты остался ночевать у меня, и наутро я поил тебя кофе... Помнишь?

Сержант. Да.

Старик. Рафаэль, ты же не хочешь убивать меня?
Сержант. Нет, я не хочу убивать тебя, Хуан.
Старик. Что ты думаешь о компании, Рафаэль?
Сержант. О компании? Да все они там свиньи!
Старик. Ты их ненавидишь?
Сержант. Конечно, ведь они жиреют на шахтерской крови. Я их ненавижу. Нигде так паршиво не живут, как у нас. Меня тошнит от этих белобрысых боровов.
Старик. Мы тоже так думаем. Значит, ты никогда не станешь стрелять в нас, Рафаэль?
Сержант. Это одно другого не касается. У меня есть приказ лейтенанта. Посторонись!

Старается протиснуться к двери дома Педро, но Пабло его не пускает. Сержант замахивается на Пабло. Пабло ударом кулака валит сержанта на землю. Один из полицейских стреляет в Пабло. Сержант протягивает руку, словно стараясь помешать полицейскому выстрелить.

Пабло *(пуля не задела его, он стоит, застыв на месте)*. Стреляете! Ну, вы еще пожалеете об этом!

Полицейские стоят, готовые в любую минуту открыть стрельбу.

Стреляй еще! Стреляй, пока кого-нибудь не убьешь! Стреляй, если не боишься! Ну, стреляй!

Женщина, на которую никто до этого не обращал внимания, выходит вперед. На руках у нее ребенок.

Женщина. Послушай.
Пабло *(оборачиваясь)*. Что тебе?
Женщина. Они его убили. Я кормила грудью ребенка, и вдруг он перестал сосать. Его пеленки намокли от крови. Пуля попала в него. Он умер.

Пауза. Все застыли на месте. Голос женщины дрожит, она говорит все громче и возбужденней.

Теперь вы должны поджечь дома англичан и перебить их всех. Кого вы ждете? Есть в этом поселке мужчины? Этой ночью должны полыхать пожары... и мертвецы висеть на деревьях... Идите все и сделайте это... Убили моего сына... Пусть прольется кровь возмездия!..

Сцена погружается в темноту, издалека доносятся выстрелы и крики.

КАРТИНА IV

Дом Педро. Площадка перед домом. Ночь. Слышны выстрелы, вдали виднеется зарево. Жена Педро перевязывает ему рану на голове.

Тереса. Больно?
Педро. Да. Не затягивай туго.
Тереса. Ты потерял много крови.
Педро. Меня сильно ударили.
Тереса. Ты заметил, кто это был?
Педро. В такой заварухе попробуй заметь.
Тереса. Сиди спокойно. Никак не могу приладить бинт.
Педро. Выйди на улицу, Тереса, погляди. Там еще горит?
Тереса. Зарево видно даже отсюда.
Педро. Резиденцию подожгли с четырех сторон. Ты понимаешь, что это значит?
Тереса. Ой, чем все это кончится?! Мне страшно. Где сейчас Инес?
Педро. Оставь ее. Этой ночью нам нечего бояться. Мы можем быть спокойны, пока полиции не придет подмога. Сейчас мы хозяева на шахтах.

Тереса. Они уж, верно, вызвали подкрепление. Не иначе как скоро прибудет.

Педро. Осторожней. Ты мне делаешь больно. *(Пауза.)* Тереса, а ты знаешь, почему я доволен?

Тереса. Да.

Педро. А ну скажи, если знаешь.

Тереса. Потому что горит резиденция англичан. Ведь ты мечтал об этом, Педро.

Педро. Нет, это была не мечта. Это был давний план, Тереса.

Тереса. Я очень хорошо помню ту ночь, Педро.

Педро. Ты помнишь? Никто не хотел пойти со мной.

Тереса. Так уж оно получилось.

Педро. Да, но все же мой призыв не пропал даром. Теперь мы решились. Такие дела скоро не делаются. Зато теперь все в порядке. Но это еще только начало.

Тереса. Начало? Чего?

На площадке перед домом появляется Пабло. Он несет на руках Инес. Входит в дом. Тереса бледнеет.

Что случилось?

Пабло. Ничего страшного. Не бойтесь. Она просто потеряла сознание. Слишком много переживаний.

Педро. Вноси ее, сынок... клади на кровать...

Пабло входит в дом. Тереса идет следом за ним. Пабло вскоре выходит.

Пабло. Ничего страшного. Не беспокойтесь, сеньор Педро.

Педро. Она держалась молодцом.

Пабло. Была точно маленький дьяволенок, повсюду поспевала.

Педро. Все женщины вели себя героически, правда?

Пабло. Да.

Педро. Как вообще дела?

Пабло. Один полицейский убит и двое ранено. Лейтенант тяжело ранен. Остальные заперлись в казарме. Весь поселок взбунтовался. Даже было несколько самосудов. Расправились с управляющим шахтой.

Педро. Я его знал. Этот тип всегда смотрел на нас с презрительной ухмылкой. Его перевели сюда из африканских шахт. Сразу было видно, жалел он, что бич у него отняли.

Пабло. Теперь он больше не поухмыляется.

Педро. А еще с кем расправились?

Пабло. Еще с главным инженером.

Педро. Этот вообще нас не замечал. За людей не считал. Мы для него просто не существовали. Проходил мимо, словно нас и нет.

Пабло. Его затащили в самый дальний забой. Теперь он наверняка нас больше не увидит.

Педро. А еще кого?

Пабло. Пока не знаю. Много раненых. С нашей стороны тоже.

Педро *(с волнением)*. Надо бы узнать, сколько всего убитых.

Пабло. Зачем?

Педро. Чтобы не допускать больше жертв.

Пабло. Теперь мы уже не в силах остановить это.

Педро. До чего же мы дойдем?

Пабло *(мрачно)*. Не знаю. Теперь не остановишь. По крайней мере, пока не кончится пожар, людей не удержишь.

Педро. Вот и угадай, как в жизни бывает. Еще вчера кто бы мог подумать?

Пабло. Вы собирались уехать без всякого сопротивления, как и многие другие, и никто не возражал.

Педро. Да...

Пабло. Сегодня утром было здесь всего несколько человек. Маленькая горстка. Остальные пошли на работу. Нас осталось человек двенадцать, четырнадцать... До смешного мало.

Педро. Нет, не мало.

Пабло. Да теперь я и сам вижу, что нет.

Педро. Я теперь успокоился. И знаешь почему? Хотя и есть жертвы, я себя не чувствую виноватым больше кого другого. Знаешь почему? Потому что вы сказали, что дело не только во мне, что это нужно для всех, а мое выселение послужило только предлогом. Ведь, правда, вы мне так сказали?

Пабло. Да, сеньор Педро. Не волнуйтесь.

Педро. Это было прекрасно.

Пабло. Что именно?

Педро. Стачка... Вся работа вдруг остановилась. «Они стреляли в шахтеров!» — это разнеслось с быстротой молнии. В одну минуту забастовка стала всеобщей.

Пабло. Хотел бы я быть там, чтобы видеть, как все это произошло.

Педро. Разве ты не знаешь?

Пабло. Конечно знаю.

Педро. Это было здорово. Все работали, как обычно, и никто не подозревал, что произойдет через несколько минут. Подрывники закладывали запалы в забое, когда до них дошла новость — полиция убила шахтерского ребенка!

Пабло. Чья это жена женщина с ребенком? Я так больше ее и не видел.

Педро. Вдова одного шахтера. Муж ее недавно погиб в шахте.

Пабло. Теперь я понимаю.

Педро. Что?

Пабло. Почему она глядела с такой ненавистью. У нее на руках убили сына, и она не плакала. С этого все началось.

Педро. В забое все шло своим чередом, пока подрывники не взорвали последний запал. Но как только завыла сирена, все бросились наверх, несмотря на запрет надсмотрщиков, собрались у выхода, будто работа кончилась. Потом началось.

Пабло. Откуда вы все это знаете?

Педро. От одного шахтера. Он мне рассказывал, а сам чуть не плакал.

Пабло. Теперь надо подумать.

Педро. Над чем?

Пабло. Что делать дальше.

Педро. Ждать. Другого выхода нет.

Пабло. Ждать, когда нас сцапают?

Педро. Или бежать. Но куда? Нас всюду поймают.

Пабло. Я не говорю, что надо бежать. Другое дело, если смогут уйти все. Пока здесь останется хоть один шахтер, я отсюда не уйду.

Педро. И я тоже.

Пабло. Я думаю, что никто не уйдет. Мы все здесь останемся. И у нас один выход — ждать, когда нас схватят. Ну, так будем ждать.

Входит старик

Старик. Добрый вечер.

Педро. Привет, Хуан.

Старик. Ты ранен?

Педро. Как видишь.

Старик. Ты неважно выглядишь.

Педро. Я потерял много крови. А в моем возрасте...

Старик. Как дела, сынок?

Пабло. Привет, сеньор Хуан.

Старик. Мы победили.
Пабло. Да.
Старик. Мы даже сделали больше, чем хотели.
Пабло. Вы имеете в виду убийства?
Старик *(кивает)*. Я только что обошел все вокруг.
Пабло. Ну и какие новости?
Старик. Прибыла еще полиция.
Пабло. Еще?
Старик. Целая рота. Они тушат пожар, спасают резиденцию.
Пабло. А шахтеры?
Старик. Никого уже нет на улице. Поселок словно вымер.
Пабло *(вставая)*. И никто не мешает тушить пожар? Никто не сопротивляется полиции?
Старик. Садись. Мы сделали все возможное. Теперь очередь за другими.
Пабло. А что делает полиция? Вроде тихо.
Старик. Они устроили облаву, задержано полно народу.
Пабло. И вы так спокойно говорите об этом?!
Старик *(просто)*. Я пришел сюда дожидаться полицию. У тебя найдется немного вина, Педро?
Педро. Да.

Достает бутылку и несколько стаканов. Наливает вино. Все пьют.

Старик *(смакуя)*. Хорошее, да?
Педро. Да, очень хорошее.
Пабло *(нервно)*. Мне кажется, вам здесь опасно оставаться, сеньор Педро.
Педро. Почему?
Пабло. Сейчас сюда придет полиция.
Педро. Конечно. Но теперь я никуда не пойду.
Пабло. Почему же?
Педро. Это было бы трусостью. Правда, Хуан?
Старик *(качает головой)*. Наверное, все же лучше уйти, Педро. Глупо оставаться здесь.
Педро. Я никуда не пойду. Я останусь с вами.
Пабло *(нервно)*. Вы не имеете права.
Педро. Какого права?
Пабло. Не имеете права на...
Педро. Что это с тобой? Ну-ка?
Пабло *(опуская глаза)*. Сеньор Педро, оставаясь здесь, вы подвергаете опасности Инес.
Педро. Ты полагаешь, с ней может что-нибудь случиться?
Пабло *(не поднимая глаз)*. Да, и это было бы ужасно.
Педро. Пабло, да ты?..
Пабло. Да, сеньор Педро. Инес очень дорога мне.
Педро. Тогда я отвезу женщин, а сам вернусь.
Пабло. Но только поскорей.
Старик. Да, Педро. А то они могут прийти с минуты на минуту.
Педро. Тереса! Тереса!

Тереса появляется в дверях.

Как Инес?
Тереса. Сейчас ей лучше, она уже встала с постели.
Педро. Пускай она придет сюда.
Тереса. Но ведь...
Педро. Наденьте на себя что-нибудь потеплее... Мы уходим...
Тереса. Куда?
Педро. Я еще сам не знаю. Мы уходим.

На площадке перед домом появляется сержант с двумя полицейскими.

Сержант *(подойдя к двери)*. Выходите!

Все в доме застывают.

Выходите все!

Старик спокойно выходит навстречу сержанту.

Старик. Добрый вечер, Рафаэль. *(Потирает руки.)* Похоже, холодновато, тебе не кажется? *(Поднимает ворот пиджака.)*

Сержант. Ты арестован, Хуан.

Старик. Да, да, я знаю... ты не беспокойся...

Пабло входит в дом. Выходят Педро и Тереса.

Педро. Мы уезжаем, сержант.

Сержант. Это надо было делать утром. Сейчас уже поздно. Там есть еще кто-нибудь?

Пабло отводит Инес в комнату.

Педро. Да, моя дочь и... мой друг...

Сержант. Пускай выходят.

Педро. Сейчас они придут, сержант. Сейчас придут.

Сцена погружается в темноту; остается освещенной только комната. Пабло и Инес стоят напротив друг друга.

Пабло. Инес, прежде чем выйти, я хочу сказать тебе... если с нами что-нибудь случится, я хотел, чтобы ты знала, я хотел сказать тебе... *(Умолкает. С нежностью смотрит на Инес.)*

Инес. Я тоже люблю тебя, Пабло. Я тоже.

Сцена погружается в темноту.

КАРТИНА V

Тюремная камера. На переднем плане решетка. Полумрак. На полу сидят старик и несколько шахтеров.

Первый шахтер *(после паузы)*. Когда нас позовут?

Старик. А я почем знаю. Думаю, скоро. Из соседней камеры уже вызывали.

Первый шахтер. Мне страшно.

Старик. Чего ты боишься?

Первый шахтер. Побоев. Не знаю, вытерплю ли...

Старик. Вытерпишь. Ничего другого тебе не остается.

Первый шахтер. Не знаю. Вытерпеть — это значит не хныкать, не просить у них пощады.

Старик. Сожми зубы и терпи. Вот увидишь, тебе станет легче.

Первый шахтер. Ты храбрый, Хуан. Я тобой восхищаюсь.

Старик. Меня страшит другое.

Первый шахтер. Что?

Старик. Что все это ни к чему. Все останется по-прежнему.

Первый шахтер. Я теперь и думать не могу об этом. Меня всего трясет.

Старик. Успокойся.

Первый шахтер. Как там жена и детишки? Не арестовали ли они мою жену?

Старик. Кто знает.

Первый шахтер. Теперь, где бы она ни была, ей только и осталось что слезы.

Старик. Постарайся о ней не думать.

Первый шахтер. Она будет убиваться. Мы очень любим друг друга.

Старик. Но ты-то не должен хныкать. Ты же мужчина.

Первый шахтер украдкой вытирает слезы. Старик встает и начинает ходить по камере. Останавливается у решетки и смотрит на зрителей.

Третий шахтер. Кто-то идет? *(Он встает, подходит к старику и дает ему закурить.)* Здорово все получилось, правда?

Старик кивает.

Дали мы им жару! *(С восхищением свистит.)* Такая штука, думаю, не часто случается.

Старик *(улыбаясь)*. Значит, до тебя кое-что дошло?

Третий шахтер. Я быстро протрезвел. И все понял, да еще как... Вы не знаете? Я был с теми, кто первыми ворвался в резиденцию. И я первый пырнул управляющего.

Старик. Поосторожней, не болтай... Все мы первыми пырнули управляющего... Все мы действовали сообща. Понял?

Третий шахтер. Да, понял, сеньор Хуан.

Второй шахтер. Мы все действовали сообща. Так следует говорить? Да?

Старик. Да, так.

Второй шахтер. А я все думал, как же надо сказать, когда меня позовут. Очень это меня пугало.

Старик *(повторяя)*. Все мы действовали сообща.

Первый шахтер. Не знаю, смогу ли я так держаться.

Старик. Сможешь.

Первый шахтер *(отрицательно качает головой)*. Нет, не знаю, смогу ли. Я не годен на такие дела. Нет у меня храбрости.

Старик. В последнюю минуту, когда будет нужно, она у тебя появится.

Первый шахтер с сомнением качает головой. Слышны шаги в коридоре. Открывается дверь. Пришла полиция.

Полицейский *(второму шахтеру)*. Ты.

Второй шахтер. Я?

Полицейский. Да, ты. Выходи.

Второй шахтер встает и выходит. Дверь с шумом захлопывается. Свет в камере гаснет. В противоположном углу сцены на переднем плане луч прожектора освещает стол, за которым сидит капитан полиции. Рядом с ним стоит сержант. В глубине застыли два полицейских. На освещенный круг вступает полицейский, сопровождающий второго шахтера.

Капитан. Ну, подойди сюда.

Второй шахтер подходит.

Как твое имя?

Второй шахтер. Хакобо Лопес.

Капитан. А прозвище?

Второй шахтер. Что вы сказали?

Капитан. Как твое прозвище? Как тебя называют твои дружки-приятели?

Второй шахтер. У меня нет дружков-приятелей, сеньор.

Капитан. Так обычно говорят все преступники, которые попадают в полицию.

Второй шахтер. А я не преступник, сеньор.

Капитан. Сегодня выдался прескверный вечер, Хакобо. Нам уже пришлось как следует наказать несколько твоих товарищей: они отказались внести ясность в некоторые вопросы. Надеюсь, с тобой такое не случится.

Второй шахтер. Я тоже надеюсь, сеньор.

Капитан. Ты готов помочь нам?

Второй шахтер. Смотря что вы имеете в виду.

Капитан. Прояснить некоторые вопросы.

Второй шахтер. Это можно, сеньор.

Капитан. А ну, посмотрим. Кто зачинщик этих беспорядков?

Второй шахтер. Никто, сеньор.

Капитан. Как это «никто»?

Второй шахтер. Никто в отдельности. Все мы действовали сообща. Вот что я хотел сказать, сеньор.

Капитан. Кто первый задумал поджечь резиденцию?

Второй шахтер. Хоть это и покажется неправдой... но первыми задумали поджечь все вместе.

Капитан. А кто поджег?

Второй шахтер. Все вместе!

Капитан. Кто убил инспектора?

Второй шахтер. Все мы!

Один из полицейских подходит ко второму шахтеру и бьет его по лицу. Сбивает с ног и топчет сапогами.

Капитан. Довольно!

Полицейский отходит.

Вставай!

Второй шахтер с трудом поднимается.

Второй шахтер *(у него окровавлен рот. Он говорит нарочито вежливо, словно сокрушаясь)*. На все ваши вопросы, сеньор капитан, я могу ответить только правду. Все мы действовали сообща!

Полицейские выволакивают шахтера. За сценой слышны удары и стоны.

Капитан. Следующего!

Приводят старика.

Твое имя?

Старик. Хуан Сальвадор.

Капитан. А твое прозвище?

Старик. У меня нет... прозвища, сеньор. Меня все зовут «сеньор Хуан».

Капитан. Ты знаешь наши методы работы, Хуан?

Старик. Кое о чем слышал.

Капитан *(встает и подходит к старику)*. Вот это один.

Бьет его. Старик старается прикрыть лицо руками. Капитан бьет его в живот. Старик стонет.

А теперь говори. Кто зачинщик беспорядков?

Старик. Это дело общее.

Капитан бьет старика.

Капитан. Кто придумал поджечь резиденцию?

Старик. Все придумали.

Капитан снова бьет старика, тот стонет.

Капитан. А кто поджигал?

Старик. Одни принесли зажженные факелы, другие осаждали резиденцию... Так что все сообща.

Старика снова бьют. Он едва стоит на ногах.

Капитан. Кто убил управляющего? Кто убил главного инженера?

Старик *(с затуманенным взором)*. Я слишком стар, сеньор. А вы меня очень сильно побили.

Капитан. Это еще только начало.

Старик. Мне очень плохо. Я задыхаюсь. Мне плохо. *(Падает на пол.)*

Капитан *(проводит рукой по лбу)*. Потерял сознание.

Полицейский наклоняется над стариком.

Полицейский *(боязливо)*. Похоже, всерьез.

Капитан. Убери его отсюда. Следующего. Этой ночью надо все разузнать. Завтра приезжает майор. Следующего! Следующего!

Приводят первого шахтера. Он видит, как волокут тело старика.

Этой ночью он окочурится. Мы не хотели ему делать ничего плохого, но он уперся, как осел. Упрямый старикашка...

Первый шахтер. Только что он подбадривал меня, когда я трусил.

Капитан. Что он тебе говорил?

Первый шахтер. Чтобы я не терял мужества в последнюю минуту.

Капитан. Для чего тебе мужество?

Первый шахтер. Чтобы говорить правду.

Капитан. И ты набрался смелости?

Первый шахтер. Теперь да. Все мы действовали сообща. А теперь бейте. Ну, начинайте бить. Все мы действовали сообща! Почему вы меня не бьете? Ну, глядите, на что я способен. Все мы действовали сообща! Вы слышите? Все!.. *(У него начинается нервный припадок, он плачет.)*

Капитан. Ладно, ладно, успокойся, парень. Говори все по порядку. Расскажи, кто участвовал в беспорядках, назови каждого. Понимаешь? Имена и фамилии тех, кто был зачинщиками. Вот что мне надо знать.

Первый шахтер. Мы действовали все вместе!

Капитан встает.

Капитан *(жестко)*. Хорошо. Этот поселок еще попомнит меня. Сержант!

Сержант. Слушаюсь, сеньор капитан.

Капитан. Все зачинщики! Отлично! Все и будут наказаны! Вывести два взвода из казарм и открыть огонь по поселку. Перестрелять всех! Уничтожить огнем и мечом! Передать мой приказ лейтенантам!

Сержант. Слушаюсь, сеньор.

Сержант выходит. Капитан закуривает сигарету.

Капитан. Этот поселок еще попомнит меня.

Первый шахтер. Вы этого не сделаете, капитан.

Капитан. Сделаю. Вы этого сами захотели.

Первый шахтер. В поселке моя жена и дети. С ними может случиться несчастье.

Капитан. Ты будешь говорить? Еще есть время. Мне нужны имена нескольких зачинщиков, чтобы завтра назвать майору. Я должен ему доложить. А у меня нет сведений. Я не знаю, как все случилось! Только вижу результат. Убитые... и страшный пожар. Вот все, что мне известно. Сержант говорит, что он ничего не знает. Служащие компании тоже ничего не знают. Кто же тогда знает?! Кто? Все. Но никто не хочет говорить. Говори ты.

Первый шахтер отрицательно качает головой.

Ну так прощайся с женой и детьми. Мне плевать. Уберите его!

Полицейские уводят шахтера. Капитан остается один. Возвращается сержант.

Сержант. Взводы выведены, сеньор капитан.

Капитан. Хорошо.

Входит полицейский.

Полицейский. Разрешите доложить?

Капитан. В чем дело?

Полицейский. Этот старикашка...

Капитан. Что?

Полицейский. Помер... не выдержало сердце.

Капитан. Да... Неприятный случай. Помалкивайте об этом.

Полицейский. Слушаюсь.

Отдает честь и выходит. Сержант стоит неподвижно, со странным выражением лица. Капитан смотрит на него.

Капитан. Что с вами, сержант?

Вдали, еле слышно, звучат выстрелы.

Сержант *(украдкой вытирая слезу)*. Нет, ничего. Дело в том... что этот старик... Ну, словом, он вроде был моим приятелем... Мы даже в прошлом году вместе праздновали рождество у него дома. А наутро... он, ну, это пустяки... на следующее утро он угощал меня кофе...

Падает занавес. Музыка. Занавес очень медленно поднимается снова.

ЭПИЛОГ

Картина первая

Дом старого Педро. Инес готовит завтрак. Из другой комнаты выходит Пабло. Он обнимает Инес.

Пабло. Знаешь, какой сегодня день?
Инес. Да, Пабло.
Пабло. Вот вчера я купил это для тебя. *(Протягивает ей небольшую коробку.)*
Инес *(открывает коробку и достает из нее медальон на цепочке)*.. Какой красивый!
Пабло. Дай я тебе его надену. *(Надевает ей на шею цепочку.)*
Инес. Мне он очень нравится. Спасибо, Пабло.

Пабло садится за стол завтракать.

Уже десять лет, как мы поженились. До чего быстро летит время...
Пабло. Да, верно.
Инес. Кажется, ты только вчера пришел к нам... папа позвал тебя на прощальный вечер... Я тогда собирала вещи... уж не помню, что именно...
Пабло. Ты складывала в чемодан рубашки. Я это хорошо помню. Я смотрел на тебя во все глаза.
Инес. И я на тебя, но кто мог предполагать...
Пабло. Так часто бывает в жизни. Встречаешь ту, которой суждено стать твоей женой, там, где меньше всего ожидаешь... и даже отчета себе в этом не отдаешь... А через некоторое время уже не можешь жить без нее. Такова жизнь.
Инес *(вздрагивает при этих словах)*. А вскоре я осталась одна-одинешенька на целом свете.
Пабло. Не надо вспоминать ту страшную ночь.
Инес. Никто в поселке ее никогда не забудет.
Пабло *(хрипло)*. Я это знаю. Думаешь, я не догадываюсь?
Инес. О чем ты догадываешься?
Пабло. О том, что есть люди, которые не простят мне этой ночи.
Инес. Опять ты о своем. Что тебе должны простить?
Пабло. То, что я был первым...
Инес. Это не так!..
Пабло. Я начал первый.
Инес. Перестань себя мучить.
Пабло. О, если бы я мог думать о чем-либо другом!
Инес. Слишком мало времени прошло, чтобы люди могли забыть о кровавой расправе той ночью. Вот что мучает людей. До сих пор они еще носят траур.
Пабло. Они носят траур мне в укор.
Инес. Тебе все кажется!
Пабло. Нет, прошло много лет. Уже настало время, когда можно снять траур.
Инес. Этот траур, Пабло,— протест против той чудовищной расправы.
Пабло. Инес, а ты простила мне?
Инес. За что я должна простить тебе, Пабло?
Пабло. Ты только что сама сказала, что в ту ночь ты осталась одна-одинешенька на свете.
Инес. Был ты.
Пабло. Ну и что же?
Инес. И я осталась с тобой.
Пабло. Но среди убитых шахтеров были и тела твоих родителей.
Инес *(закрывает лицо руками)*. Замолчи.

Пабло. Видишь? Ты меня боишься. Я принес лишь несчастье.
Инес. Пабло!..
Пабло. Я много страдал, но, видно, еще недостаточно.
Инес. Ты так постарел в тюрьме.
Пабло. Я много страдал. Из своей камеры я слышал пулеметные очереди и понял, что происходит. Я хотел вырваться из камеры, чтобы погибнуть со всеми вместе, но меня держали под крепким замком.
Инес. Если ты и был в чем-то виноват, то в ту ночь люди простили тебя.
Пабло. Не знаю, видишь ли... Не знаю, хотел ли я умереть в ту ночь вместе со всеми или, может быть, радовался в душе тому, что меня заперли и я не погиб.
Инес. Нет, ты все знаешь. Ты нарочно мучаешь себя. Ты только и думаешь о совершенно невероятных вещах, чтобы терзаться.
Пабло. Люди смотрят на меня как-то странно.
Инес. Это тебе так кажется.
Пабло. Только в одном месте я чувствую себя спокойно.
Инес. Где?
Пабло. В часовне. Там никто не смотрит на меня с укором. Я начинаю молиться и успокаиваюсь. Товарищи подшучивают надо мной. Но только в часовне я чувствую себя спокойно. Когда я там, мне кажется, что меня простили...
Инес *(опечаленная)*. Пабло, неужели ты не можешь перестать думать об этом? Неужели?..
Пабло. Нет.
Инес. Почему ты не думаешь о том, что нам все-таки удалось кое-чего добиться?
Пабло. Мы ничего не добились.
Инес. Через несколько месяцев нам немного повысили плату. Хотя уже никто не требовал этого... Это, конечно, капля в море, но все же...
Пабло. Стариков по-прежнему выгоняют из их домов.
Инес. Говорят, что сейчас будет иначе...
Пабло. Их выгоняют, как собак.
Инес. Говорят, что будут строить новые дома.
Пабло. Этого никогда не будет. Им плевать на все.
Инес. Новые служащие, которые приехали на смену старым, держат себя с шахтерами намного лучше. Все об этом говорят. Они намного человечней.
Пабло. И это ты называешь победой? *(Пауза.)* Только если бы у нас был сын и он стал бы шахтером... нас не выгнали бы из дома, когда мы состарились. А теперь мы должны покинуть этот дом, твой родной дом... ведь в нем прошла вся твоя жизнь, здесь ты жила с детских лет...
Инес. Здесь я выросла, здесь познакомилась с тобой, здесь родилась наша дочь...
Пабло. Бедняжка Тереса... Что будет с ней?
Инес. Она не пропадет.
Пабло. А меня, как отца, пугает мысль, что будет с Тересой. Меня страшит ее судьба. Сумеет ли она защитить себя? Будет ли бороться? Или заранее сложит оружие?
Инес. Нет, ты ошибаешься!
Пабло. Ее надо увезти отсюда, но я уже ни на что не годен. Я побежден. Приехал сюда найти временную работу... и остался... Но уж если мне не удалось вырваться отсюда, я хочу, чтобы моя дочь...
Инес. Очень трудно вырваться отсюда. Я тебе говорила об этом с самого начала.
Пабло. Но моя дочь... *(Встает. Выходит из комнаты. Спускается на площадку перед домом. Глубоко вздыхает.)* Иди сюда, Инес. Здесь хо-

рошо. До двенадцати я свободен. Пока не завоет сирена... Как хорошо чувствовать себя свободным, хотя бы на несколько часов, пусть потом приходится спускаться в эту проклятую шахту.

Инес выходит. Пабло обнимает ее.

Какая чудесная погода, Инес. И скоро, несмотря ни на что, наступит весна...

Картина вторая

Дом старого Педро. Тереса, дочь Пабло и Инес, складывает вещи в фанерный чемодан. Из внутренней комнаты выходит Инес. Она совсем старая. Несет пустую корзину.

Инес. Я пойду за покупками, Тереса. Последи за огнем.

Тереса. Хорошо.

Инес. Отец сказал, что он не задержится. Так что скоро поужинаем.

Тереса. Он пошел в контору компании?

Инес. Да, выправить кое-какие бумаги... Я тоже скоро вернусь.

Она выходит и пересекает площадку перед домом. Тереса складывает рубашки в чемодан. По площадке, из глубины сцены, идет юноша. Он в нерешительности останавливается. Оглядывается кругом. Смеркается, и мы едва различаем его лицо. Юноша подходит к двери и стучит. Тереса идет открыть ему дверь.

Юноша. Это дом сеньора Пабло?

Тереса. Да.

Юноша. Можно войти?

Тереса. Проходите... *(Дает ему дорогу.)*

Юноша. Он дома?

Тереса. Нет, но он скоро придет.

Юноша. Позвольте, я его подожду здесь.

Тереса. Пожалуйста.

Юноша. Видите ли, я приехал устраиваться на работу в шахту, и один земляк сеньора Пабло, который живет в нашем городе, посоветовал мне обратиться к нему. «Скажи ему, что тебя послал Хоакин, бывший хозяин таверны в квартале,— велел он передать сеньору Пабло,— и увидишь, как он тебя примет».

Тереса. Присаживайтесь.

Пауза. Тереса продолжает складывать вещи. Юноша рассматривает ее.

Юноша. Вы его дочь?

Тереса. Да.

Пауза. Тереса идет за какой-то вещью в другую комнату и возвращается.

Вы приехали работать на шахте?

Юноша. Да, временно.

Тереса. Так все говорят.

Юноша. Может быть, я здесь и останусь, если найду подходящую работу.

Тереса. Здесь? Да здесь только одно горе да муки.

Юноша. Там поглядим.

Тереса. Сразу видно, что вы не знаете здешней жизни. Потому так и храбритесь.

Юноша. Я знаю кое-что и похуже.

Тереса. Не может быть.

Юноша. К сожалению, это так... Я прошел войну... концентрационный лагерь... тюрьму... Вам на самом деле здешняя жизнь кажется самой ужасной на свете?

Тереса. Здесь та же тюрьма.

Юноша. Не совсем...

Тереса. Вот вы увидите, как выходят шахтеры после смены. Посмотрим, что вы скажете, когда вас пошлют в забой.

Юноша. Я, конечно, предпочитаю чистый воздух.
Тереса. Наверху работают на час больше... но все равно это лучше. *(Пауза. Смотрит на юношу.)* Вы... сидели в тюрьме?
Юноша. Да.
Тереса. За что?
Юноша. За... политику.
Тереса. Вас интересует политика?
Юноша. Да...
Тереса. И вы состоите в какой-нибудь партии?
Юноша. У меня... есть друзья.

Тереса смотрит на него с любопытством.

Тереса. Революционеры?
Юноша. Можно сказать, что да...
Тереса. Это, должно быть, очень интересно.
Юноша. Ну, как сказать, хотя порой бывает и так.
Тереса. А может, вы... агитатор?
Юноша *(смеется)*. Нет.
Тереса *(пристально вглядываясь в него)*. А зачем вы приехали в наш поселок?
Юноша. Я же сказал: работать.
Тереса. А почему вы выбрали именно наш поселок?
Юноша. Тут мне нравится.
Тереса. А разве в городе не лучше?
Юноша. Может быть, и лучше. Но мне нельзя было там оставаться. Я вроде бы высланный... После тюрьмы мне надо было уехать из города.
Тереса. А... поговорите с моим отцом, он обязательно вам чем-нибудь поможет... Он все тут хорошо знает. Всю жизнь прожил...

Юноша кивает.

Еще немного, и вы бы нас не застали...
Юноша. Почему же?
Тереса. Потому что мы уезжаем. Завтра уезжаем.
Юноша. Как так уезжаете?
Тереса. Да. Мой отец уже стар, и его уволили на пенсию.
Юноша. Ну и что же?
Тереса. Мы должны уехать.
Юноша. Вы не хотите здесь больше оставаться?
Тереса. Нет, мы не можем.
Юноша. Как так?
Тереса. Мы должны освободить этот дом.
Юноша. Не понимаю.
Тереса. Это не наш дом.
Юноша. Но вы же прожили в нем всю жизнь.
Тереса. Моя мама родилась здесь.
Юноша. Вас не могут выгнать.
Тереса. Вчера отец устроил прощальный вечер.
Юноша. Не понимаю.
Тереса. У нас такой обычай: на последний заработок шахтеры устраивают праздничный ужин для друзей.
Юноша. Праздничный ужин?
Тереса. Да.
Юноша. Неужели можно устраивать праздник, когда такое творится?
Тереса. Так всегда делают, так повелось.
Юноша. Не понимаю. И вы относитесь к этому так спокойно? Неужели в вашем поселке живут одни трусы?..
Тереса. Не смейте так говорить.

Юноша. И никто не протестует?

Тереса. Вы не имеете права говорить плохо о здешних людях! Не имеете права!

Юноша. Я вас обидел? Не обижайтесь. Простите меня.

Тереса. Слишком много горя мы перенесли, чтобы какой-то случайный человек мог говорить про нас такое.

Юноша. Я еще раз прошу: простите меня!

Тереса. Да знаете ли вы, что сделал мой отец еще до того, как я родилась? Он поднял всех на борьбу.

Юноша. И что же произошло?

Тереса. Шахтеры подожгли резиденцию англичан, а некоторых даже убили. А потом прибыла полиция с пулеметами и расстреляла всех жителей поселка. Погибло очень много народу. И с тех пор мой отец уже больше не протестует. С тех самых пор! *(Плачет.)*

Юноша *(взволнованно)*. Простите меня, пожалуйста... Я не хотел вас обидеть... Я... сболтнул лишнее...

Умолкает. Тереса поднимает глаза и смотрит на него.

Тереса. Что с вами?

Юноша. Я думаю...

Тереса. Вы огорчились из-за того, что я вам сказала?

Юноша. Я думаю *(смотрит на Тересу и добавляет)*, что, может быть, завтра вы отсюда никуда не уедете.

Тереса. Что вы говорите?

Юноша. Я говорю... *(Его голос звучит необычно.)* Не знаю... Надо что-то предпринять...

Тереса испуганно смотрит на юношу.

Тереса. Нет. Не говорите так. Я вас умоляю!

Юноша. Почему?

Тереса *(в страхе)*. Потому что здесь всегда, когда кто-нибудь затевал подобное, гибло много народу... А те, кто оставался в живых, видели только горе и муки... Ничего не надо делать!

Юноша. Я напишу письмо.

Тереса. Кому?

Юноша. Товарищам.

Тереса. Для чего?

Юноша *(не обращая на нее внимания)*. Сегодня же ночью.

Тереса. Чтобы они посоветовали вам, что делать?

Юноша. Нет. Это я сам знаю. Я хочу сообщить им о том, что тут может произойти, и пусть они будут готовы помочь нам.

Тереса. Нет... Не делайте ничего... Мои родители уже стары. Мы уедем. Я найду работу... Буду мыть полы... или еще что... Не надо ничего делать!

Пабло пересекает площадку перед домом. Он очень стар. Идет с трудом. Входит в дом, где Тереса разговаривает с юношей.

Папа...

Целует Пабло, который ласково треплет ее по плечу. Пабло всматривается в юношу.

Юноша. Добрый вечер, сеньор Пабло.

Пабло. Добрый вечер.

Юноша. Меня послал к вам Хоакин, бывший хозяин таверны из вашего квартала.

Пабло. А, добряк Хоакин! Ну, как он поживает? Наверное, сильно постарел?

Юноша *(улыбаясь)*. Он выглядит молодцом. Шлет вам горячий привет.

Пабло. Спасибо, сынок. А ты приехал устраиваться на работу... или проездом у нас?

Юноша. Я приехал работать... и не только для этого...

Пабло. Не только для этого? А для чего же?

Юноша. Я хотел сказать вам, что вы не должны уезжать отсюда... если, конечно, вы хотите здесь остаться.

Пабло *(с удивлением смотрит на юношу)*. Вот как? Любопытно... Много лет назад... Интересно... Выходит, все в мире повторяется?

Юноша. Никто не имеет права выгнать вас из этого дома. Он ваш.

Пабло *(пристально смотрит на него. Пожимает плечами)*. Любопытно... продолжай...

Юноша. Я знаю, о чем вы думаете. Ваша дочь рассказала мне о том, что вы сделали однажды.

Пабло *(рассеянно)*. А, она рассказала...

Юноша. Но теперь другое время. Теперь у нас есть товарищи. Вы не уедете отсюда.

Пабло *(говорит серьезно)*. Послушай, паренек... Эта история случилась давно... Снова она не повторится... Было пролито много крови напрасно... Все это было слишком страшно... еще и сейчас я часто не сплю... *(Закрывает глаза руками. Бормочет с тоской.)* Напрасно!

Юноша *(с воодушевлением)*. Нет, не напрасно, сеньор Пабло... Благодаря этому я смог приехать к вам сегодня и сказать, что теперь все стало по-другому... если такое случится... тысячи рабочих, которых вы даже не знаете, бросят работу на заводах и фабриках... и тысячи крестьян присоединятся к вам, а студенты выйдут на улицы требовать справедливости, не боясь полиции... и многие из тех, кто сейчас живет в довольстве и покое, побелеют от страха...

Пауза. Пабло задумался.

Пабло *(неуверенно)*. Возможно ли?

Тереса *(испуганно смотрит на отца)*. Папа, о чем ты думаешь? О чем ты думаешь?

Пабло. Ни о чем. *(Смотрит отсутствующим взором.)*

Тереса. Никогда я еще не видела тебя таким. С тобой что-то случилось?

Пабло. Нет. Дело в том... *(Смотрит на юношу. Говорит взволнованно.)* Спасибо.

Юноша *(возбужденно)*. За что спасибо?

Пабло *(не слушая его)*. Меня это всегда удивляло.

Юноша. Что именно?

Пабло. Меня удивляло... меня всегда удивляло, что никто не узнал о нашей стачке... будто ничего не произошло... будто не было ни крови, ни пулеметов, ни траура, ни наших страданий... Никто так об этом и не узнал... Вот что меня удивляло...

Юноша. Меня еще не было на свете, или я был совсем маленьким, но были люди, которые знали об этом!

Пабло. И никто не пришел нам на помощь. Никто...

Юноша. Тогда еще не пробил час. Они не могли помочь вам.

Пабло. Никто даже не пришел сказать нам: «Вы правы... ваши требования справедливы... вы невиновны...» Зачем? Да затем, чтобы мы, вспоминая о том времени, хотя бы не страдали так.

Юноша. Я понимаю вас.

Пабло. Долгие годы вообще никто об этом не говорил... Это было нехорошее молчание... Нам словно зашили рот. Потом компания придумала ложь, чтобы опорочить наш протест, и этой лжи поверили. Мол, не было никакого протеста... Нам не из-за чего было протестовать... Просто нас взбаламутил иностранный агент, который устроил все эти беспорядки, чтобы помочь конкурентам нашей компании. Вот и все.

Юноша. Было все не так!

Пабло. Конечно, не так... Я сам поднял шахтеров... Но когда ложь повторялась из года в год, я и сам в нее поверил. Я поверил в то, что наш протест был преступлением... И никто не разуверил меня... Никто! И в глубине души даже мне приятно было думать, что виновником всех бед был не я, а какой-то... Как его называют? «Иностранный агент»... *(Смотрит на юношу и сурово добавляет.)* Никто ни разу не приехал к нам на шахты. Мы всегда оставались одни.

Юноша. Я, конечно, не крупный руководитель, но вот я приехал... от имени многих людей... сказать вам, что вы были правы...

Пабло. По-моему, теперь уже поздно. Я слишком стар. Уже поздно!

Юноша. Нет. Нет. Не поздно. Поздно для тех, кого уже нет... Для тех, кого сразили пули... Ясно, что для них уже поздно... И поздно для тех, кто умер от голода, болезней и горя... И для людей потерянных, которые забыли, кто они и откуда родом... Про них мы узнаем из газет: «Неизвестный нищий замерз в пещере», «Неизвестный старик попал в дом умалишенных...» Да, для этих людей уже поздно... Но не для вас! Не для ваших друзей... Для многих мы пришли вовремя, сеньор Пабло!

Пабло *(потрясенный)*. Это верно... Я слушаю тебя, сынок, и мне легче дышится... Выходит, мы протестовали не зря... Выходит, все было не напрасно...

Юноша. Это было не зря!

Пабло *(почти таинственно)*. Правда? Правда? И благодаря нам, благодаря тому, что мы сделали, ты теперь можешь так говорить?!

Юноша. Совершенно верно.

Пабло. И правда, что благодаря нам и нашим отцам и дедам, которые бунтовали, ты теперь знаешь, что надо делать?!

Юноша. Правда!

Пауза.

Пабло. Как мне хорошо сегодня... Верно, Тереса, я уже давно так не радовался?.. И как странно, сегодня, когда мне так хорошо и радостно... у меня немного першит в горле, и *(голос у него срывается)* я не знаю, почему, не знаю почему...

Тереса *(плача)*. Папа...

По площадке перед домом идет Инес. Она входит в дом. В корзине, которую она несет, лежат пакеты. Пабло встает.

Пабло. Инес!

Инес ставит корзину на стол.

Инес. Что?..

Пабло *(в волнении)*. Инес!

Инес, начавшая выкладывать из корзины пакеты, удивленно поднимает голову. Пабло почти кричит.

Мы никуда не уезжаем!

Пауза. Все смотрят друг на друга. Занавес опускается.

ЛЕОН ФЕЛИПЕ

(К восьмидесятилетию со дня рождения)

Его называют «Leon, honra de España» — по-русски это «честь, совесть Испании». Сам он уже на пороге шестидесятилетия сказал о себе просто и гордо: «Я не владею ничем. Я — никто. Я — только голос, который звучит на дорогах и становится ветром, и глаза, глядящие на мир без тени страха». У Леона Фелипе трудно забываемое лицо, но когда мысленно представляешь его, прежде всего возникает не лоб, не средневековая борода, теперь уже седая, а его глаза, смелые и по-детски наивные, глаза состарившегося Дон Кихота. Говоря о нем, вспоминают пророков, но, пожалуй, он больше похож на кастильского крестьянина с его сдержанной силой и достоинством.

Леон Фелипе — старейший испанский поэт. Почти ровесник Хуана Рамона Хименеса, он на девять лет моложе Мачадо, на четырнадцать лет старше Лорки, чьи имена уже стали легендарными. В испанской поэзии, пережившей в первой трети двадцатого века редкий и удивительный расцвет, подобный которому был только в России, Леон Фелипе занимает свое место, особое и прочное. Рядом с кристальной лирикой Хименеса, непостижимой простотой Мачадо, таинственной и нерукотворной поэзией Лорки, в щедром и звонком мире испанских стихов поэзия Фелипе подобна накаленной солнцем прямой дороге, мощенной простыми, угловатыми и вескими словами. Начиная от первой юношеской строки, вся поэзия Фелипе — это одно непрерывное стихотворение, более чем полувековой монолог, в котором звучит простой и строгий пафос — изначальная музыка кастильской речи.

Леон Фелипе — поэт широкой и свободной манеры. Собственно, он не пишет стихов в привычном значении слова; его поэтические сборники — это монументальные композиции, подобные стенной росписи, где самостоятельные стихотворные куски перемежаются с прозаическими отступлениями, философскими набросками и ораторской речью. Фелипе считает, что материалом поэмы могут быть «все легко воспламеняющиеся вещества, включая прозу». Это поэзия, рассчитанная на произнесение, на аудиторию. Она графична и бескрасочна; точнее, это поэзия двух цветов — черного и алого. Свет, солнце, революция, справедливость; тьма, фашизм, рабство, смерть — вот два контрастных ряда его символов. Ораторская поэзия — самый незащищенный участок литературы, здесь постоянно подстерегает опасность риторики — мгновенное возмездие за малейшую внутреннюю фальшь. Леон Фелипе не умеет фальшивить. «Нет большего преступления, чем то, которое совершено против правды,— сказал он в одной из речей.— Правда слишком дорого обходится!» Поэтому даже в своих речах он — поэт, поэтому его декламационная поэзия всегда остается поэзией, и поэзией трагической. С годами она стала еще трагичнее. Так сложилась испанская история. Поэзия Фелипе — ее свидетельство, она верна духу этой истории, и потому трагизм ее — это трагизм борьбы, не отчаяния.

За 80 лет своей бродячей жизни Леон Фелипе пережил многое; он пережил самую жестокую человеческую драму — драму своего народа, он знал горе, боль утрат, горечь и сомнения, но никогда не знал компромиссов. Застигнутый вестью о фашистском мятеже в столице Панамы, 52-летний поэт, не колеблясь, едет на родину, чтобы «видеть, где идет битва, и найти там смерть». И потом, так же не колеблясь, уходит в изгнание и становится одним из духовных вождей испанской эмиграции. Леон Фелипе — не только голос, звучащий на дорогах изгнания, это частица самой Испании. Это Кастилия, истерзанная и неумирающая, та Кастилия, которая встает перед нами в бессмертных строках Мачадо,— «земля презрения к судьбе, край скорби и войны». Упрямое свободолюбие Леона Фелипе, его юношеская нетерпимость к неправде и насилию, редкая чистота и цельность натуры сделали его опорой и источником веры для многих и многих испанцев. Приветствуя 80-летнего поэта, писатель и критик Макс Ауб произнес такие слова: «Леон, мы собрались здесь, чтобы сказать, чтобы еще раз сказать тебе, что ты —

один из самых больших поэтов печальной поры Испании. И если это ничего не значит для тебя, то значит для нас, ибо в твоей тени мы уверенней чувствуем прикосновение рассвета».

Поэзию Фелипе, простую и точную, нет необходимости комментировать. Вот несколько отрывков из его прозаических поэм, похожих на речи трибуна, и его речей, похожих на поэмы. Они скажут гораздо больше и лучше о Леоне Фелипе — этом бродячем герольде поэзии и справедливости.

«...Поэзия для меня — лишь система световых сигналов. Костры, которые мы зажигаем здесь, внизу, среди тьмы и тьмы, чтобы кто-то нас видел, чтобы нас не забыли...

И пусть никто не говорит — это старо и провинциально, а вот то — ново и иностранно; ибо всегда был один и только один способ создавать стихи — способ Прометея...

Такова моя эстетика — эстетика корабля, блуждающего в тумане. Сегодня, как никогда, поэзия для меня — организованное и организующее пламя, знак, зов и зарево бедствия...

Поэт — не тот, кто ловко играет маленькими словесными метафорами, но тот, кого пробудившийся прометеев дух ставит зачинателем великих метафор — социальных, человеческих, исторических, межзвездных. Дон Кихот — поэт этого класса. И он отличается от заурядных поэтов мира тем, что хочет писать свои стихи не острием пера, но острием копья... Там, где присутствует фантазия, неизбежно возникает воля. И метафора поэтическая вливается тогда в великую метафору социальную...

Дон Кихот — это прометеев поэт, который вышел из своей летописи и вошел в Историю, сотворенный из символа и плоти, шутовски наряженный и взывающий на всех дорогах мира: «Справедливость, справедливость, справедливость!»...

Торгаши, филистеры, предатели, мещане! У испанцев завтрашнего дня не хватит для вас слюны... И солнце Испании не будет завтра светить вам, ибо солнце Испании — слушайте хорошенько! — на сей раз либо взойдет, чтобы осветить землю справедливости и человеческого достоинства, где вам не будет места, либо не взойдет уже ни для кого.

Я знаю это лучше, чем вы. Вы лучше меня умеете продавать галстуки, надувать туристов и эксплуатировать рабочих, но я лучше вас умею слышать пульс Испании — лучше, чем кто-либо. Такова моя профессия — слышать сокровенное биение сердец людей, народов и звезд.

Впрочем, нет. Это не профессия. Это — счастье...»

Анатолий Гелескул

■ ■ ■

С ума сошли поэты!..

А как себя прикажете вести?
Что можно сделать большее, чем это?
И что вообще нам делать?
Где пути?
О, если бы совсем оглохли уши,
чтобы не знать, откуда свищут пули...
Или пускай бы вытекли глазницы,
чтобы не знать, кто истязает правду...
Или отсохли руки, не коснувшись
агонии удавленного мира...
Торчал бы я в острастку воробьям
и пугалом на изгородях гумен,
молчал себе, податливый, как воск!
Ах, будь я слеп и глух!..

Но я — безумен...
И пули ждут, нацеленные в мозг.

■ ■ ■

Брат... С тобою твое добро —
лошадь, очаг, ружье.
Мой только древний голос земли,
все остальное — твое.

Ты оставляешь меня нагим
бродить по дорогам земным...
Но я оставлю тебя немым... ты понимаешь?.. немым!
И как ты станешь седлать коня
и в поле точить косу
и как ты будешь сидеть у огня,
если песню я унесу?

Словно ты...

Эта жизнь моя —
камешек легкий,
словно ты. Словно ты,
перелетный,
словно ты,
скиталец убогий,
сирота проезжей дороги;
словно ты,
певучий клубочек,
бубенец дорог и обочин;
словно ты,
что в день непогожий
затихал
в грязи бездорожий,
а потом
принимался снова
плакать искрами
в лад подковам;
словно ты,
пилигрим, пылинка,
никогда не мостивший рынка,
никогда не венчавший замка;
словно ты, неприметный камень,
неприглядный для светлых залов,
неприглядный для смертных камер...
словно ты, искатель удачи,
вольный камешек,
прах бродячий...
словно ты, что рожден, быть может,
для пращи, пастухом несомой...
легкий камешек придорожный,
неприкаянный,
невесомый...

■ ■ ■

Пресвитеры базарного лотка!
Из отстрелявших пушечных стволов
вы смастерите гулкие органы...
И мир уснет на лавках прихожан.
Но тростнику не стать уже свирелью,
и бубну не рассыпать ритмы крови,
и флейте не поведать сны колосьев!
Поэзия земная станет кормом
для нечисти болотной...
И напрасно
наладите вы дряхлый клавесин,
кастрируете служек для капеллы
и скажете:
— Откормим теноров,
и пусть они заменят нам поэтов!..

Ведь то, что не воскреснет,— это песня!
Вы слышите?..
Не воскресает песня...

Бродяга

Я один из людей —
человек без артели и дел.
Я не мастер сетей. Видит бог — расставлял ли я сети?
Говорил ли: «Забейте окно, заложите засов»?
Говорил я одно:
«Не могу мастерить я куплеты.
Нет у меня ножа. Нет у меня и часов...
Но время я знаю!
И это не время флейты...»
Может, кто-то считает: «Раз порох согнал теноров,
насладимся флейтистами?»
Поздно. Не время флейты...
Это время шагать — выходить из пещер и шагать...
и шагать... и шагать... и шагать...
Я бродяга, я просто бродяга
без рода, догмата, угла.
Стар мой исход,
и состарилась где-то погоня.
Пыль бесконечных дорог спит на лоскутьях заплат,
пыль бесконечных дорог,
пот бесконечных агоний.
И без конца
я несу и несу на подошвах
слезы, и кровь, и песок бесконечных могил придорожных;
сгорбилась палка моя, почернела на шляпе тесьма...

А всему, что я знаю, учили меня
ветер,
вопли
и тьма... и тьма!..

Расскажите мне сон...

В этом городе я мимоходом.
Я чужой. И прошу об одном.
Меня усыпили сказкой,
а был я разбужен — сном.
Расскажите,
создатели сказок,
расскажите мне просто сон,
не мираж, не заклятье — сон,
не прошу я волшебных марев.
Расскажите мне просто веселый сон —
без сетей,
без цепей...
без кошмаров...

Дознание

...И кто-то приказал мне:— Говори!
Припомни все. Припомни, что ты видел.
— Не знаю. Это было в темноте...

Толкают... Чьи-то локти и колени...
И непонятно — держат или валят...
Все происходит в темноте...
— Потом?
Рассказывай!
— ...Выходим из пролома
навстречу снам... и медленно крадемся
притихшими задворками кошмаров...
— Ты видел их? Какими они были?
— Не знаю... словно траурные реки
в султанах черной пены... и плюмажах.
Нет... Черные кладбищенские кони,
бегущие, бегущие с рыданьем...
— Рыданьем ли? Рыданьем или ржаньем?
— Кто знает... И вбегающие в море...
Одно я знаю точно — все кошмары
приводят к морю.
— К морю?
— К огромной раковине в горьких отголосках,
где эхо выкликает имена —
и все поочередно исчезают.
И ты идешь один... из тени в сон,
от сна — к рыданью,
из рыданья — в эхо...
И остается эхо.
— Что за эхо?
— Мне показалось: мир — одно лишь эхо,
а человек — какой-то всхлип...
— И все?
И это все? Какой-то всхлип, и только?
— В конце уже я слышал только всхлип.
— Но всхлип ли это был? Откуда шел он?
Быть может, это были пузыри?
Толчок трясины? Ветер над трясиной?
— Не знаю... Все свершалось в темноте!

Плач

Час пробил. На колени — и молись...
Нет! Уплывай.
Плыви простором плача.
Плыви, моряк...
слеза... еще слеза...
за ней — туман... потом река...
и море!

Не тките мне платков —
сотките парус,
и пусть никто меня не утешает,
никто моей слезы не отирает,
никто моей реки не осушает...

Я плачу, чтоб не умер океан,
отец мой, одинокий океан,

который бьется, кутая и мо́я
двух берегов тюремные пороги
прибоем горьких слез моих...
Я — море.
Пловец и ветер. Барка и туман.
И дальний порт, последний миг дороги.

И где-то там
земля во мгле белесой
из моря слез возникнет на заре...

О свет...
Тебя коснутся мои слезы —
и час пробьет не плакать,
но прозреть.

Революция

Извечно снегам с утеса
стелить соболя высотам.
Извечно вертеть колеса
убогим и темным водам.
Но так же извечно солнцу
рукой палача и брата
снега обращать слезами
и воды — грозой крылатой.

Перевод АНАТОЛИЯ ГЕЛЕСКУЛА

ГОВОРЯТ УЗНИКИ БУРГОССКОЙ ТЮРЬМЫ

ВИДАЛЬ ДЕ НИКОЛАС

ДВОР ПЕЧАЛИ

Я стираю подошвы, бродя по тюремным квадратам,
бьется сердце мое в каждом часе за этой стеною,
как скупец, я считаю бегущее время: минуты,
и часы, и недели, и месяцы, годы
(здесь они утекают бессмысленной мелкой монетой).
Я бродячий поэт, и на каждом шагу я встречаю
целый лес нерастраченных слов.
Это люди.
Люди веры горячей, жестокой судьбы и страданья,
всё друзья и товарищи, те, кто со мной постоянно
(на границе для взмаха руки и случайного взгляда).
Песня вспыхнет порой сквозь тюремную сырость двора...
Или память о мертвых всплывет кораблем затонувшим,
чтобы в гавань души проскользнуть и на якоре стать у причала.
Я стираю подошвы, и сердце, и руки,
добиваясь ответа у темно-бесстрастного камня —
изваянья себя самого и глухой тишины изваянья.
А закатные тучи готовят орудья из ветра и града
и точат ножи из кровавого жгучего снега.
Я должен сомкнуть мои веки под диким бичом непогоды,
я должен смеяться сквозь дождь, и сквозь град, и сквозь ветер,
сквозь лютую зиму на том берегу страданья...
Шаг за шагом влачу свою цепь я, бродя по тюремным квадратам,
чувствую холод и ржавчину гнева под темной рубашкой,
чувствую, как борозду к борозде мне на лоб пролагают минуты.
Я стираю об эти дождливые стены далекое детство,
и о плиты тюремные — плиты далекого дворика, мне дорогого,
и об эти решетки — балконных решеток забытую нежность.
Я стираю о камни и жизнь, и колени, и зубы, и память.
Только — вот оно, чудо! —
со мною все та же надежда.
На тюремном дворе, в час, когда выхожу на прогулку,
я встречаю нетронутым сердце мое, как и прежде.

Перевод с испанского ИННЫ ТЫНЯНОВОЙ

СВОБОДА СОВЕСТИ

I

— Какой жидкий шоколад!

— На чистом молоке.

— Оно и видно. Муки надо больше добавлять. Ты ведь знаешь, я люблю погуще.

— Можно подумать, что ты каноник.

— Устал я сегодня, сам не знаю почему. Мессу служил четверть часа, как всегда, и лестницы те же, и ступенек столько же, а одышка почему-то ужасная.

— Ты слишком растолстел, Матео.

— На все воля божья. Тут уж ничего не попишешь! Что ни съем, все в жир идет.

— Да ведь ты совсем еще молодой, а такой тучный!

— Чем же я виноват? Ступай, мама, включи телевизор и оставь меня в покое. Я так устал! И ведь ты знаешь, что я люблю шоколад погуще.

— Еще чашечку?

— Пожалуй. Поставь здесь на столик.

«Вы присутствовали, дорогие телезрители, на заключительном заседании Недели социального просвещения. Передача транслировалась из Овьедо... Смотрите теперь передачу «Звезда на орбите» — выступление Паситы Гонсалес, победительницы нашего конкурса».

Не сводя глаз с экрана телевизора, Матео прихлебывает шоколад.

«Два креста на горе Забвенья — то почила наша любовь...»

Пухлая рука священника поворачивает рукоятку, и Пасита Гонсалес расплывается в затуманившемся стекле экрана. С трудом поднявшись с кресла, Матео переходит из столовой в соседнюю комнату. Стягивает сутану через голову. Подходит к платяному шкафу и смотрится в зеркало. Поглаживает огромный живот, щиплет щеки, снова вздыхает. Потом открывает дверцу шкафа, украшенного его, Матео, портретом, вынимает оттуда другую сутану и надевает ее. Застегивая пуговицы, еще раз оглядывает себя в зеркале и выходит.

— Куда нам девать все эти книги и журналы, что ты понатаскал?

— Места хватит.

— Да ведь ты их не читаешь. Даже картинки просмотреть в такой груде у тебя времени не хватит.

— Не твоя забота. Раз они уперлись на своем, шлют да шлют заключенным книги, пусть их. Продадим на вес, как макулатуру.

— Только не романы! Там есть интересные.

— Романы забирай себе, а с остальным как-нибудь разберемся. Но в одном можешь быть уверена: пока я тюремный священник, этим коммунистам не прочесть ни строчки.

— Вот твоя шапочка.

Перед зеркалом в прихожей Матео надевает четырехугольную шапочку с большой лиловой кистью. Завязывает под двойным подбородком шнурки мантии, которая едва сходится на животе. Мать услужливо распахивает перед сыном дверь.

■

— Сегодня прежде всего иду в тюрьму. День тюремного совета, как ты знаешь. А вечерком, если будешь в настроении, можем сходить в кино. Перед заседанием мне еще нужно осмотреть нескольких больных.

— Заключенных?

— Ну да.

— Разве там нет другого врача?

— Есть один, из заключенных, но все равно больных приходится осматривать мне. Такая уж должность.

Автор рассказа пожелал остаться неизвестным.

— А что это за врач из заключенных? Коммунист?

— Коммунист. Педиатр из Барселоны.

— Опять Луисито что-то разбил! Ни минуты не посидит спокойно. Чуть свет уже шалости. Луисито!.. Врач, как ты,— и коммунист? Просто невероятно! Молодой?

— Лет тридцати. В России врачей-коммунистов сколько угодно. Больше, чем здесь.

— Но ведь мы не в России, а в Испании, в католической стране.

— Представь себе, что оба заключенных-врача — атеисты.

— А как ты думаешь, среди твоих коллег много коммунистов?

— Кое-кто найдется. Но до всего этого мне нет дела. Я стараюсь как можно лучше лечить больных, а в остальном моя жизнь — ты и дети...

— Он женат, этот врач?

— Да. Послушай, кофе что-то жидковат.

— Служанка варила. Обожди минутку, я сама тебе сварю.

— Не стоит. Сойдет и так. Я буду к обеду вовремя. Постарайся не очень-то всевать с мальчиками.

— Этого врача надолго разлучат с его женой?

— Пока не отсидит срок. Как и прочие арестанты.

— И зачем только люди становятся коммунистами? Просто в голове не укладывается.

— До недавних пор и я этого не понимал. Ну, пока, дорогая. Значит, пойдем в кино, если не слишком устанешь.

Дон Луис садится за руль и включает мотор. Полуденное солнце рассеяло тучи. Но северный ветер нагонит, конечно, новые — похолодает, а к вечеру, чего доброго, дождь пойдет. Что и говорить, скверный климат для людей непривычных. Бронхиты, ревматизм...

Машина затормозила в положенном месте у тюремной ограды. Часовой почти фамильярно отдал честь.

II

Он считал шаги — один, второй... Посмотрел на часы. «Еще пять минут — и принесут похлебку». Пять шагов в длину. «Через час истечет еще неделя моих долголетних упражнений по измерению камер. Через час меня выведут на прогулку, а через два — снова запрут сюда».

Стальная дверь со скрежетом открывается. На пороге застывает тюремщик, пропуская дона Луиса, врача.

— Как самочувствие, Видаль?

— Неважно.

— Зачем вы встали? Я распорядился поставить вам койку с матрацем.

— В постели мне нисколько не лучше, чем на ногах.

— Как вы ели?

— Меня вырвало.

— В моче у вас обнаружена кровь, вы это знаете?

— Кроме вас никто не потрудился бы сообщить мне об этом, доктор. Дела мои плохи, выходит?

— Как вам сказать... Ведь вы сами обрекли себя на карцер. Год назад нам стоило больших трудов сохранить вам жизнь, но тогда одиночного заключения нельзя было избежать. А теперь вы попали сюда по доброй воле.

— Представьте себе, что мы поменялись местами: я принуждаю вас поклоняться богам, в которых вы не верите. Или еще проще — запрещаю вам молиться.

— Это уж меня не касается. Я не начальник тюрьмы, а всего лишь врач. Мое дело предупредить вас, что здоровье ваше в опасности. До свиданья! Берегите себя.

Дверь за врачом захлопнулась. «Толстяк Льопис теперь, наверно, занялся гимнастикой. Ему все нипочем. А если я вздумаю попрыгать — тут же подохну. Не хватает теперь только зимних холодов... В прошлом году все лицо обморозил».

Он открывает и закрывает кран. Смотрит на свои руки. Ложится на койку. «Скоро на прогулку поведут». Опять встает. «Как всегда. Оставляют между нами по две камеры пустых, чтобы нельзя было перестукиваться».

— Выходи!

Дверь распахивается, мелькает зеленый мундир. Когда Видаль де Николас выходит в коридор, надзиратель уже отпирает дверь через два номера от его камеры. Оттуда выходит Висенте Льопис и подмигивает Видалю. Идя позади Льописа, Видаль рассматривает его бычий затылок и наголо остриженную голову. Поглаживает собственный череп — тоже бритый. Надзиратель пропускает обоих заключенных вперед по коридору и идет следом. Два ряда камер в нижнем этаже, два ряда в верхнем. Наверху во всю длину коридора — черная чугунная балюстрада. При входе в центральный вестибюль надзиратель опережает их. Две зеленые гусеницы в стеклянном коконе — караульный офицер и начальник режима — привычным взглядом шарят по лицам арестантов. Надзиратель сворачивает влево. Видаль и Льопис шагают за ним. Надзиратель поворачивает ключ в висячем замке, отодвигает тяжелый чугунный засов. Придерживает рукой одну створку двери. Вот и двор с акациями.

«Если мне суждено снова обнять Толи, то, вспомнив про этот двор, я не захочу ее ласк. Близость с женщиной вообще станет для меня невозможной, если я не смогу забыть этот двор».

Засунув руки в карманы и повесив голову, он идет вдоль канавы, обходя почти правильный квадрат двора. Льопис остановился посредине, среди акаций, листва которых уже желтеет. Солнце мечет сквозь нее свои золотые копья.

«По всей канаве текла, наверное, кровь и булькала, уходя в сток. А где они ставили пулеметы? Ах да, изнутри стреляли! Если двери распахнуть настежь, лучшей позиции не придумать. Людей швыряло на тротуар, отбрасывало от стен... Поистине математически рассчитанное убийство! Облетевшие листья акаций лодочками плыли по этой кровавой реке. Ужасно умирать на таком наглухо огороженном квадрате, хотя сейчас эти стены похожи скорей на монастырские».

Дойдя до угла, он замечает, что начальник режима беседует с Льописом. Надзиратель, отойдя в сторону, притворяется равнодушным.

«Пытается его обработать. А что, если так и сказать ему: «Я родился, чтобы сокрушить три зла: софистику, лицемерие и тиранию»? Что за чушь! Ничего я ему не скажу. Пропади он пропадом. При чем тут Кампанелла? Разве что несчастного сожгли за что-то похожее. А эти как были скоты, так и остались. Вот всем нам и приходится два часа в сутки кружить по двору с акациями».

Начальник режима ушел. Висенте Льопис, прогуливаясь по двору, догоняет Видаля. Тот замедляет шаг и еще ниже наклоняет голову. Искоса он бросает взгляд на надзирателя, который постукивает башмаком по камню у корней дерева.

— Как себя чувствуешь, Видаль? — слышит он позади голос Льописа.

— Хорошо. В общем хорошо. Что он там пел тебе?

— Все то же. Идите, дескать, слушать мессу — и вас переведут в общую камеру.

— Пусть убирается к дьяволу!

— Я сказал, чтоб он оставил нас в покое. И что у них терпение лопнет раньше нашего.

Надзиратель смотрит на них, но ничего не говорит. Заключенные продолжают кружить по двору.

■

Жгучая боль кинжалами вонзалась в бока и сходилась в одну точку на пояснице. Но заслышав скрип двери, он перестал чувствовать боль.

— Ну как, вам удобно здесь? — «Коротышка», начальник режима, улыбается заученной улыбкой. От носа и рта кругами расходятся морщины, лицо его словно усыхает — так высушивают головы врагов индейцы племени хибаро. Взглянув на ослепительно-белый мундир, Видаль вспоминает, что в таком же щеголяет начальник тюрьмы.

— Да, так мне лучше, благодарю.

— Доктор был у вас?

— Был.

— Я распорядился, чтобы сегодня он вновь осмотрел вас. Задали вы нам хлопот. Разрешите все-таки сказать вам, что при таком состоянии здоровья бунтовать против тюремного распорядка — безумие.

— Мое поведение никогда не определялось состоянием моего здоровья, а только тем, что я считаю нравственным,— отвечает Видаль.

— Да разве нравственно восставать против тюремной дисциплины? Вы нарушили порядок и наказаны за это одиночным заключением. В остальном, в пределах дозволенного уставом, вы на нас пожаловаться не можете.

— «Я родился, чтобы сокрушить три зла: софистику, лицемерие и тиранию».

— Что такое?

— Ничего. Это слова Томмазо Кампанеллы, просидевшего около тридцати лет в испанской тюрьме за то, что не разделял ортодоксальных взглядов.

— Вы хотите последовать его примеру?

— Не совсем. Теперь есть другие пути. Хотя, в общем, я продолжаю начатое им дело. Прогресс коснулся всех, за исключением разве лишь немногих, и сама церковь, к которой я не имею чести принадлежать, уважает ныне позицию Кампанеллы, а значит и мою. Впрочем, в моей жалобе — с соблюдением всех норм распорядка — отказ мой обоснован лучше. Заточив меня в карцер, вы сами нарушаете ваш хваленый порядок. Но взывать к совести тюремной администрации — не мое дело.

— Пошли бы утром к мессе, ничего бы и не случилось. Мы спокойненько обсудили бы этот вопрос. Вас посадили в карцер не за отказ слушать мессу, а за нарушение тюремных порядков.

— Ваше рассуждение отдает лучшими временами схоластики. Когда все законные пути протеста исчерпаны, а совесть не успокоена, человеку ничего другого не остается, как спасать свою совесть — даже рискуя прогневить начальство. Впрочем, вполне естественно, что вы произвольно толкуете в свою пользу обветшалые правила. Я не крещен. Мне незачем посещать богослужение. Кажется, ясней ясного. Я доложил об этом, не нарушая распорядка. А вы говорите, что я наказан за его несоблюдение. Уж не хотите ли вы этим успокоить свою совесть? Или совесть тюремного начальства? Но мне наплевать и на вашу совесть, и на совесть всех начальников, вместе взятых. Я не прихожу в бешенство оттого, что вы католик, не принуждаю вас отречься от вашей веры. Мне и в голову не придет добиваться, чтобы вы стали атеистом,— напротив, я всячески помог бы вам бунтовать против правил, которые хоть в какой-то мере ограничивали бы свободу вашей совести. Но помог бы не только ради вас, а и ради себя. Ради свободы совести для всех.

— Я смотрю на вещи иначе. Не стану пререкаться с вами. Вы заключенный, а я служащий тюремной администрации. От имени начальника тюрьмы предлагаю вам освобождение из карцера, если вы согласитесь слушать мессу.

— Я отказываюсь.

III

«Сегодня уж мне горох не взвешивать. Они ведь говорят: «Начальник пошел взвешивать горох». Как будто каждый день горох варят! Ну, а если даже и так? Хороший начальник должен все пробовать, все проверять, совать нос во все котлы, как святая Тереза, как сам господь всемогущий. Но, я уверен, дай волю этим коммунистам, они и господа бога обзовут шутом гороховым, не то что меня. А ведь раньше их так не кормили, как теперь. На глазах жиреют. Кино им два раза в неделю показывают. И даже свидание с матерями я разрешил раз в год, по особой просьбе. Чего еще надо, кажется? Так нет, эти фанатики не желают, видите ли, слушать мессу!»

Телефонный звонок. Начальник тюрьмы протягивает руку и чуть-чуть вздергивает рукав белого мундира, чтобы не запачкать его о трубку.

— Слушаю.

— Сеньор начальник, вы просили главное управление тюрем? Соединяю с Мадридом.

— У телефона Чавала, начальник центральной Бургосской тюрьмы.

— Что новенького, Чавала?

— Добрый день, сеньор начальник управления. Я побеспокоил вас, чтобы сообщить о предстоящем тюремном совете. Все возможные формы убеждения уже испробованы. Но двое фанатиков не сдаются...

— ...

— Разумеется. Они по-прежнему в карцере. Поэту приходится не сладко. Но о мессе он и слушать не желает. Поскольку здоровье его сильно расстроено, я распорядился поставить в камеру стул.

— ...

— Слушаюсь, сеньор начальник управления. Стул прикажу забрать. Я велел также изъять продуктовую посылку от родных, которую сначала разрешил передать, согласно вашей инструкции.

— ...

— Нет, только персиковый компот, сгущенное молоко, фрукты и пирог. Пирог, понятно, раскрошился.

— ...

— Да я не о том волнуюсь, что раскрошился. Не подобает мне отменять собственные распоряжения, вот что. Этим фанатикам того только и надо, тут же прицепятся.

Голос начальника еле слышен, тем не менее Чавале кажется, будто слова гвоздями впиваются ему в мозг. От напряжения верхняя губа Чавалы дрожит: усики так и ходят вверх-вниз.

— Слушайте внимательно, Чавала. Этих двух бунтарей мы здесь не считаем просто фанатиками. Дело обстоит гораздо сложнее. Конечно, вас как начальника тюрьмы это не слишком беспокоит, но мы вынуждены смотреть на вещи шире. Учтите это. Пока что их пропаганда помалкивает, но скоро они поднимут вой, можете не сомневаться. Тут, как никогда, надо проявить величайшую осмотрительность. В вашем распоряжении политическая полиция. Обеспечьте дисциплину и молчание. За стены тюрьмы ничто не должно просачиваться. Кто-нибудь еще отказывается ходить к мессе?

— Нет, не думаю, чтобы нашлись охотники. Я уже вам докладывал, сеньор начальник, не исключено, что эти двое действуют каждый сам по себе. Один из них поэт, не крещеный, а другой — бывший фалангист. Возможно, что каждый чудит на свой лад.

— Не будьте простаком, Чавала. Представьте себе, что все политические заключенные поддержат этот бунт. Ведь бунтари для них своего рода знамя. Тогда дело станет громким. Оно привлечет к себе внимание и у нас в стране, и за границей. В Южном Вьетнаме монахи-буддисты, отстаивая свою веру, сжигают себя живьем, и это наделало много шуму, как вы знаете. Общественное мнение во всем мире всколыхнулось. Будем опасаться худшего и постараемся не допустить подобных волнений в Бургосе. Нас обвинят в инквизиторстве, и первый камень бросят даже не коммунисты, а сама католическая церковь.

— Да ведь и мы католики, сеньор начальник управления.

— Да, но сверх того еще и служащие тюремной администрации. А это значит, Чавала, что, если мировое общественное мнение осудит нас за подавление свободы совести заключенных и мы вынуждены будем отменить свои распоряжения, они тут же потребуют свободы политических убеждений, права быть анархистами и коммунистами. Так что даже во имя католической веры мы не можем пойти на такой шаг, что бы там ни строчили борзописцы. Слушайте, Чавала, пусть ваш совет назначит обоим сорок суток строгого карцера. Понаблюдайте, какое действие это окажет на остальных заключенных. Если кто-нибудь последует их примеру, посадите ослушника в карцер и сообщите мне. Ну, а если они изберут другой путь, мы подумаем, как нам захватить инициативу в свои руки. Будьте бдительны. Строжайшим образом проверяйте корреспонденцию и велите слушать разговоры во время свиданий. Не до-

пускайте панибратства между служащими тюрьмы и заключенными. Остерегайтесь подозрительных лиц...

— Ах да, сеньор начальник! Вчера ко мне в кабинет явилась жена Видаля де Николаса.

— С какой просьбой?

— Не с просьбой, а с требованием. Она заявила, что они с Видалем поженились, хотя сама она католичка, но это не помешало их браку. Муж ее, дескать, всегда уважал убеждения других и вправе требовать, чтобы его убеждения тоже уважались.

— Как же вы ей ответили?

— Не попади Видаль в тюрьму, он был бы волен не ходить к мессе, сказал я. Тогда она стала оскорблять меня, и пришлось ее выгнать.

— Старайтесь быть любезным и отвечать уклончиво. Грубость ни к чему хорошему не приводит. Никогда не выгоняйте просителей. Пропаганда это немедленно использует.

— Но иногда ничего другого не остается. Помните адвоката, которого притащил этот художник, Мигель Васкес, когда мы отобрали у него картины?

— Да, и что же?

— Он мне проходу не дает. Преследует телефонными звонками, на улице науськивает прохожих...

— Старайтесь поменьше выходить. И не снимайте трубку.

— Я уж пытался таким образом отвязаться от него. Но он все-таки поймал меня по телефону.

— Ну что поделаешь, Чавала! Ради бога, пораскиньте мозгами и что-нибудь придумайте. Мне теперь некогда, дел по горло. Запомните: сорок суток карцера и немедленно поставить меня в известность, если что случится. А по поводу художника и его адвоката я добьюсь судебного решения.

— Ваш покорный слуга, сеньор начальник.

— Будьте здоровы, Чавала.

Чавала выждал минутку, не отнимая трубки от уха. Затем положил ее на рычаг. Посмотрел на распятие. «Дело помаленьку проясняется, Иисус». И, услыхав стук в дверь, крикнул:

— Войдите.

В кабинет вошел начальник режима. Чавала с любопытством оглядел его новехонький, сверкающий белизной мундир.

— Здравствуйте,— ответил он на приветствие вошедшего.— Кажется, осень на пороге.— И принялся барабанить по пьедесталу распятия, где на углах были высечены черепа со скрещенными костями.

— Я пришел доложить вам, сеньор начальник, что члены совета уже прибыли.

— Скажите, неужели у меня лицо убийцы?

— Господь с вами, сеньор начальник! Что это вам в голову взбрело? Разумеется, нет! Да и вообще я не верю, что бывают такие лица.

— Недавно я задал этот вопрос американцу, что сидит у нас в тюрьме, и получил такой же ответ. Но при этом он как-то косо поглядел на меня... Ладно, через десять минут я приду в зал совета. Кстати, пройдите вместе с моим помощником на склад взвесить продукты. Скажите ему, что я сегодня занят.

Когда дверь за начальником режима захлопнулась, Чавала снова снял телефонную трубку.

— Соедините меня с моей квартирой... Алло! Как дела, дорогая? Послушай, я очень спешу. Приготовь мне зеленый мундир, надо переодеться. Сейчас я поднимусь.

IV

Свернув от тюрьмы на Бургос, малечькая «шестисотка» мчалась со скоростью 70 километров в час. Сигарета доктора почти расплющилась о баранку. «Нефрит и язвенный гастрит». Машина затряслась, и дон Луис снял ногу с педали акселератора. Выбросил сигарету в окно. Стрелка спидометра отошла на 55. Он снова довел ско-

рость до 60. «По существу, я умыл руки. Я должен был бы сказать ему: «Этот человек ценой своего здоровья отстаивает и наше с вами право молиться богу по утрам». Как бы там ни было, для медицины это всего лишь нефрит и язвенный гастрит. Такова истина. Ясное дело, это им даром не пройдет. Хотя капеллан полагает, что все обойдется, а болван начальник вообще не способен думать. Теперь бунтарей посадят на одну баланду... Если Видаль будет и дальше упорствовать, он потеряет почку. Что ж, сам захотел. Вольно ему не ходить к мессе. В аду, конечно, и без почки можно прожить. А мне в раю уж не быть врачом. Фу, что за глупые шутки! Не нравится мне этот капеллан. Руки у него всегда потные. И не улыбнется сроду. А учитель, этот многодетный отец,— просто мошенник. Через несколько лет, если так пойдет дело, я тоже стану многодетным отцом. Чем еще заниматься в Бургосе?» Он замедлил скорость, въезжая в Бургос. Затормозил у кафе. Хотел было запереть дверцу на ключ, но раздумал. У стойки попросил вермута с джином.

Не торопясь поехал домой. Когда он вошел, жена выключила радио и положила на колени книгу, которую читала. «Зеленые холмы Африки». Она подставила мужу губы для поцелуя.

— Как ваш совет?

— Как обычно.

— В кино пойдем?

— Обязательно.

V

Наступил праздник богоматери — защитницы скорбящих и плененных *. В тюрьме удвоили охрану. На каменных плитах двора застыли зеленые силуэты часовых. В девять часов всех заключенных после проверки шеренгами вывели во двор. Ветер попытался было сорвать флажки, вывешенные над аркадами, но, когда их водрузили там снова, отступился и затих.

Надзиратели щеголяли в белых ремнях, которые приказал раздать им начальник тюрьмы, и в белых нитяных перчатках. Разбившись на группы, они болтали, курили и глазели на арестантов, будто сроду их не видели. Постепенно начали сходиться служащие тюремной администрации. Ремни у них были золоченые, а перчатки такие же, как у надзирателей. Выходили они во двор поодиночке. Иногда, впрочем, шли попарно, занимая посты в саду, при лазарете, кухне или близ одиночных камер. Учитель, на сей раз без портфеля, пересек двор. На тщедушной груди его брякала огромная медаль, формой напоминающая крест, но круглая посередке. При каждом шаге она, как маятник, моталась из стороны в сторону. Учитель поднялся на крыльцо школьного здания. Начальник режима, переменив белый мундир на зеленый, появился во дворе вслед за учителем. Наконец в одиннадцать часов сигнальный рожок приказал строиться. Как всегда, никто не спешил: порядок надо соблюдать, конечно, но и достоинство свое не ронять. Нахлобучив береты, арестанты разобрались по бригадам. Наконец арестанты строем пошли в школьный зал, заменяющий часовню. Алтарь был украшен гирляндами миртовых веток. По правую руку от большого распятия поставили статую увенчанной богоматери — почти в человеческий рост. Сотни восковых свечей горели вокруг. Богослужения пришлось дожидаться битый час. Вслед за арестованными вошли музыканты из числа заключенных, а также вольнонаемные. И те и другие заняли места за пюпитрами позади строя, но лицом к нему, и лишь один, с дирижерской палочкой в руке, повернулся к строю спиной. Заиграли «Марш инфантов». Вошел в штатском платье военный губернатор Бургоса, сопровождаемый главным судьей трибунала и представителем гражданского губернатора. Следом шествовали главный инспектор тюрем и начальник тюрьмы, потом служащие тюремной администрации, военные и целая толпа сыщиков с бегающими глазками. Все это множество людей с трудом разместилось перед алтарем и в боковых приделах. Гости посолиднее старались захватить молитвенные скамеечки. Под звуки националь-

* В начале XIII века в Испании был основан монашеский орден, который ставил своей целью выкупать у мавров пленников-христиан. Покровительница ордена дева Мария по испанской католической традиции до сих пор считается защитницей узников.

ного гимна фалангист, пользующийся доверием начальства, вынес знамя, и это как бы послужило знаком для тюремщиков — они отвернулись от алтаря и уставились на арестантов. Взгляды заключенных блеснули ответной враждой. Месса продолжалась недолго. Когда священник, служивший у алтаря, начал читать Евангелие, дон Матео, капеллан, подошел к микрофону, установленному рядом с изображением пресвятой девы, и размеренным голосом начал втолковывать заключенным, что божья матерь купно с отпрыском своим спасла род людской, ибо родила бога и вскормила его своим молоком. Он называл ее также розовым бутоном, давал ей еще другие имена, но все это продолжалось недолго.

В полдень в тюрьму были допущены дети. Уже с раннего утра они вместе с матерями ждали за тюремной оградой. Матери держали в руках детские курточки и свитеры. Дети входили в тюремные ворота по двое и по трое, старшие вели малышей за ручку либо обнимали за плечи. В это время представители властей и сыщики как раз покидали тюрьму, и кое-кто даже соблаговолил погладить ребят по макушкам. Впрочем, на это отважились лишь наиболее солидные гости, а не рядовые шпики. Начальник тюрьмы вышел проводить самых важных гостей, но толпа женщин во главе с женами Видаля де Николаса и Льописа преградила им путь.

— Почему нас лишили свидания с мужьями? Почему к ним не пропускают детей? — кричали в толпе.

Белокурая девочка, с глазами глубокими и синими, как горное озеро, улыбалась, несмотря на испуг; ее держала на руках высокая женщина; у другой женщины, помоложе, спал на руках грудной младенец. Не давая военному губернатору рта раскрыть, начальник тюрьмы принялся бубнить, что мужья этих двух женщин коммунисты, не признающие тюремной дисциплины. Тогда все женщины еще плотнее обступили их, и сотни черных, голубых, зеленых глаз засверкали гневными молниями.

— Наших мужей посадили в карцер за отказ идти к мессе. Но ведь они не католики. Кто дал вам право унижать их и насильно тащить к мессе? Да вы сами себя унижаете, порочите собственную веру.

— Ложь, ложь, ложь,— отмахивался от женщин начальник тюрьмы. Щеточка его усов прыгала и покрывалась брызгами слюны. «Вот теперь у меня, наверное, лицо убийцы. Клевета, клевета! Не убийцы, а апостола!» — твердил он про себя, а вслух кричал:— Они взбунтовались против тюремного распорядка!

Круг просительниц сжимался все теснее, а взгляды копьями пронзали губернатора. Губернатор попытался было заговорить, но, поглядев на начальника тюрьмы, который в изнеможении слизывал с усов капельки слюны, так и остался с разинутым ртом...

А дети все входили, по двое и по трое. Заключенные поджидали их во дворе и подхватывали на руки. (Посещения родственников были разрешены после двадцати лет строжайшего тюремного режима, когда к заключенным никого не допускали. За эти двадцать лет успело подрасти новое поколение.)

К семи часам вечера, когда на крышу северного корпуса упали багряные блики заката, двор опустел. Начальник тюрьмы у себя в кабинете швырнул на пьедестал распятия золоченый ремень, и он казался змеей, выползающей из черепа.

— Это начальник главного управления тюрем?

— Слушаю вас, Чавала.

— Ничего нового, сеньор начальник.

— И ради этого вы беспокоите меня звонком?

А Видаль де Николас лежал на койке, и жестокая боль сверлила ему бока. Приступ рвоты заставил его подняться. Стоя на коленях, он нагнулся над унитазом и пробормотал сквозь зубы:

— Собаки, собаки, собаки...

Перевод с испанского М. АБЕЗГАУЗ

АНХЕЛА ФИГЕРА АЙМЕРИЧ

Голос Анхелы Фигеры, этой скромной шестидесятилетней женщины, матери семейства, неутомимой труженицы передвижной библиотеки,— один из самых трагических голосов современной испанской поэзии, трагической поэзии, о которой Фигера сказала: это «крик, заткнутый кляпом». Последний, шестой, сборник ее стихов называется «Жестокая красота»: беспощадность мысли поэта, словно удар плетью, пробуждает от убаюкивающих совесть грез.

Фигера болеет болью всех людей — это привилегия большого художника. Но там, где эта боль за всех достигает такой остроты, что, казалось бы, может перейти только в отчаяние, у Фигеры она становится верой и чувством ответственности за всех. Так после долгих лет вынужденной немоты звучит призывное слово скорби и правды. Правда рождает поэзию, очищенную от замусоленных образов, и всеобъемлющую простоту, единую в своей человечности. Да, эта поэзия чуждается всякой красивости, всякой метафоры, если они могут заслонить то главное, основное в человеческой жизни, о чем с такой безыскусной и горькой страстностью говорит Фигера. Суровый библейский образ, к которому прибегает поэт, понятен каждому крестьянину. Простота Фигеры — это простота выношенной мысли и выстраданной надежды.

Так от стремления передать многим самое существенное и необходимое рождается подлинно современная поэзия, с ее четким, организующим ритмом, разговорными интонациями, отсутствием поэтических ухищрений и той скупой выразительностью, которая доступна лишь большому мастеру.

Видас Силюнас

Романс о святом Пахаре-Поэте

И был я Пахарем-Поэтом
На поле желтом и печальном.
И пот с меня струился градом,
И слезы этот пот смягчали.
Мой стих глубоким был и долгим,
Как борозда крутая эта,
Когда за крепкими волами
Я в поле выходил до света.
Когда же наступала осень,
Усердно засевал я поле
И к горсти зерен прибавлял я
Лишь горстку красоты, не боле.
Тайком, чтоб не узнал хозяин,
Лишь горстку правды и не боле
Я прибавлял к зерну и летом
Без устали косил я поле.
Но пожинал я боль и голод,
Боль, голод, разочарованье.

И в праздник Пахаря-Поэта,
В расцвете майского сиянья
В большом торжественном соборе,
Мерцаньем призрачным залитом,
Я опустился на колени
На каменных холодных плитах.
И так, скрестив покорно руки,
До света стоя на коленях,
Молился я Отцу и Сыну,
Святому Духу слал моленья.
Просил помочь во имя неба
И милосердия во имя,
Просил за тех, кто добр и честен,
За тех, кого считают злыми,
Просил за тех глухих, что слышат,
Просил за тех слепых, что зрячи,
Просил за воинов свинцовых,
За воинский свинец горячий,
Просил за тех, чей пуст желудок,
Чье сердце отдохнуть бы радо,
За всех оборванных мальчишек,
За девочек с туманным взглядом,

За пьяных стариков молил я,
Молил за женщин истомленных,
За всех, на белый снег упавших,
За всех, лучами опаленных,
За тех, кто спит в тюрьме, молил я,
За тех, кто бодрствует во мраке,
За тех, кто вопиет в пустыне,
И кто молчит в смертельном страхе,
И кто утратил все надежды,
И кто надеется покорно.
Так долгие часы стоял я,
Молясь без сна на плитах черных.
Когда взошло высоко солнце,
Тогда я с темных плит поднялся,
И кровь осталась на коленях,
И ладан на губах остался.

С надеждой трепетной во взоре
Из храма, с темных плит, оттуда,
Еще молясь Отцу и Сыну,
Я выходил навстречу чуду.
Я верил: ангелы спустились
И пашут, рук не покладая.
Под сенью крыльев блещут зерна,
На солнце красным отливая.
Хлеб справедливости и мира,
Воскресшие любовь и воля...
Но ангелов не видно было.
Ни одного. Пустое поле...

Я кровь с колен обтер сурово
И двинулся за плугом снова.

Авель

Ничего он не знал. Он был добрым и ясным.
Жил легко и свободно, как плоти присуще.
Отрок светловолосый, свежим соком налитый,
Стройно нес он под солнцем счастливое тело.
И смиренно молился он жестокому богу
И телят меднокожих приносил ему в жертву.
Ничего он не знал. Но однажды, как пламя,
Гневно вспыхнула зависть пред взглядом невинным
И ударила яростно в грудь молодую.
И не знал он, как мертвым он вдруг оказался,
И не знал он, как стал вдруг совсем одиноким,
С терпким вкусом древесной коры на губах
И разлившейся в венах холодной разлукой.
И никто не сказал ему, что он умер — и только,
Что в глубокой земле никого он не встретит
И что будет лежать он, покорный, недвижный,
Безраздельно отдавшись безмолвию ночи.
И никто не сказал, что корявые корни
Обовьют его тело свирепо и жадно,
Свежим соком его свои поры наполнив.
И никто не признался, что куст розмарина
Вырос, в камень надгробный корнями вцепившись.
И никто не сказал, что карминная роза
Еще ярче сквозь кровь его вдруг запылала.
Ничего он не понял. Он был мертвым — и только.

Вина

Если стонет ребенок в агонии тяжкой,
Задыхаясь от жара, с лицом побелевшим,
Если юноша чистый себя убивает,
Потому лишь, что боли душа не выносит,
Если мать проклинает небо пепла и горя,
Если мочится воин пред Мадонной без Сына,

Пред поруганной девой с головой отсеченной,
Если страшную формулу ищет ученый,
Чтобы два миллиона людей уничтожить,
Если женщины в чреве детей убивают
И крадутся старухи за юношей стройным,
Если сытые волки терзают живое
И земля новой крови уже не приемлет,
Если тюрьмы, и ужас, и чахотка, и голод...
Это страшно! Но, право, что могу я поделать?
Ведь не я виновата. И не вы виноваты.
Мы-то честные люди. Мы-то молимся в церкви,
Спим, работаем, дышим и живем помаленьку.
Нам-то с вами известно: на все — божья воля.
И в кино мы идем. И в трамвай мы садимся.

Двадцать лет

Мальчики, злые бычки, тополя, вы растете так прямо,
Вы наливаетесь крепостью, тянетесь вверх за другими,
Рвете кору, раскрываете окна глухие,
Мальчики, дети мои, вам исполнилось двадцать сегодня.
Вот почему я, усталая, старая, к вам обращаюсь.
Надо и мне, наконец, говорить с вами, дети,
С вами, которых во чреве своем я носила,
С вами, пришедшими к нам из развалин и крови
В ту же бессонную ночь, когда сын мой родился.
Мальчики! Мальчики! Он вместе с вами родился,
В ночь, когда плач ваш пророчески несся над миром,
Над безутешной землей, напоенной слезами.

С вами попал он в Испании красную рану,
В пепел и сумрак ее городов несравненных.
Злые гиены его колыбель окружали.
Пение птиц заглушали свистящие пули.
С вами хочу говорить потому, что вам двадцать сегодня.
Бьются сердца горячо, и закинуты головы ваши,
Поступь тверда, и обветренны крепкие лица,
В снах и глазах ваших движутся девушки плавно.
Мальчики! Вижу я, как материнская мягкость
Теплым кольцом ваши шеи еще окружает.
Но как красивы уже ваши руки мужские.
В них и желанье, и свежесть, и твердость трепещут.
Мальчики! Ждать не могу. Уже время настало.
Мальчики! Ждать не могу. Я боюсь умереть.
Вдруг умереть от того, что молчать я решила.
Вдруг умереть от того, что решила поведать.
Вдруг умереть от того, что отравлено сердце
Пищей жестокой, таблетками аспирина,
Горькой шипучкой и уличным воздухом мертвым,
Богом на небе и голодом здесь, на земле.
Верьте мне, мальчики. Я ведь обдумала это.
Горько оплакала, прежде чем все рассказать вам
Долгие годы я губы кусала ночами.
Долгие годы я руки сжимала ночами.
Долгие годы... И все ни при чем оставалась.
Лишь со стихами, всегда со своими стихами.

С ними, и только. Вы слышите? Так я хотела!
Мальчики! Сколько дорог мне пришлось миновать!
Сколько мне горя пришлось пережить, собирая
Каплю за каплей горячую кровь человека,
Чтобы постичь, наконец, его точную меру
И пред собой, наконец, его ясно увидеть.
Мальчики! Мальчики! Вы, наконец, предо мною.
Вы предо мной. И над водами древних страданий
День заискрился, когда я взглянула на вас.
Нет. Я не стану в сиянии рук ваших чистых
Вам говорить о бесчестье, и боли, и смерти.
Нет. Я не стану сегодня твердить вам о мести.
Я не скажу вам ни слова о гневе и злобе.
Нет, то не зрячие ружья на свет появились
Вместо детей, что погибли той ночью далекой,
То родились ваши руки, вот эти ладони,
Твердые, крепкие, с теплым и ясным сияньем.
Мальчики! Дети! Пора приниматься за дело.
В руки берите скорей инструмент для работы.
Час ваш настал. Начинайте же. Дела немало.
Руки всех юношей в мире к горам протянулись,
Чтобы обнять их подножья и сдвинуть их с места.
Объединитесь. Трудитесь, работайте рядом.
Вдаль посмотрите. Пора вам расчистить дороги.
Грязные, старые тропы уже не годятся.
Пусть же бесчестные, дряхлые, сгнившие стены
Рухнут на землю и трусов навек похоронят.
Пусть же умрут и лиса, и шакал, и стервятник,
Если они преградить вам дорогу посмеют.
Бросьте скорей полинялые эти знамена,
Старые книги, которые съедены молью,
Бросьте лекарства с их красочными ярлыками,
Сбросьте же тяжкий свинец, что вам давит на веки.
Бросьте. Идите вперед. Пусть для нас остаются
Подлость, и злоба, и трусость, и кнут, и ошейник.
Слышите? Это у нас обескровлены вены,
Руки и ноги черны от ожогов жестоких,
И бесконечная желчь нас сжигает и сушит.
Слышите? Это у нас. Ну а вам — вам пора отправляться.
Молоды ваши надежды, и руки, и плечи.
Мальчики! Сбор винограда скорей начинайте!
Мед собирайте, и хлеб, и любовь, и улыбки.
Медлить нельзя! Воедино сложите усилья.
Медлить нельзя! Слейте жизни свои воедино.
Смело к морю ступайте, шагайте по тучам.
Бросьте руины. Забудьте о нас поскорее.
Мы — мертвецы, и мы сами своих похороним.
Будьте сильны и свободны, спокойны и смелы.
Стройте Испанию мира, Испанию счастья.
Пусть она будет такой же, как вы, возрожденной,
Щедро созревшей под этим серебряным ветром.
Мальчики! Дети, которые так возмужали!
Мальчики! Мальчики! Те, кому двадцать сегодня.

Перевод Т. МАКАРОВОЙ

ХУАН ГОЙТИСОЛО

Ронда

I

Миновав военно-морскую базу Лос-Алькасарес, шоссе выходит на скудную равнину, размеченную крылатыми силуэтами бесчисленных ветряных мельниц. Кажется, что перед тобой один из офортов к «Дон Кихоту» или серая, чуть выцветшая голландская открытка. Ветер здесь не стихает, и с глухим рокотом вертятся крылья мельниц, похожие на лопасти вентиляторов или крылья гигантской стрекозы. Вечерело, и небо было багровым. Помню, мы остановились у пальмовой рощи; кричали птицы, предвещая близость сумерек, ветер вторил жалобной воркотне мельниц, и доносившиеся издали голоса детей и выстрелы охотников казались нереальными. Мы даже не вышли из машины, мы торопились в Картахену.

Накануне мы ночевали в Валенсии, впереди был юг, и мы стремились к нему с тем нетерпением, с каким дети ждут дня рождения. Поля Леванта с богатыми, по-праздничному чистенькими селениями оставались позади, и нам казалось, что мы мчимся навстречу новой, неведомой жизни. Клаудия не бывала в этих местах, и я знал их плохо. Как сейчас, вижу поселок с пыльными улицами, который мы проезжали в самый разгар августовской ярмарки. Один мальчик крикнул нам вдогонку: «Шиворот-навыворот, баба за рулем». И когда за врытыми в горный склон землянками шахтерского поселка показалась, наконец, Картахена, меня пронизало, как это бывает у стрелка, таинственное предчувствие, что я попал в цель.

Солнце уже село, в порту сгущались сумерки. По набережной группами бродили моряки, и в сумеречном свете четко рисовались спящие силуэты судов. Рассыльные бросились нам навстречу, выкрикивая адреса гостиниц. «Мы уже нашли»,— крикнул я в окошко. Недавно мы ночевали в гостинице, полной клопов, и сейчас хотелось устроиться получше. В течение нескольких минут мы кружили по портовым кварталам. Потом окольным путем направились к отелю «Медитерранео». Угол отеля выходил на площадь Префумо, и место нам понравилось. У магазина тканей Клаудия остановила машину, и мы стали смотреть на ярко освещенные бары и витрины магазинов. На площади было много солдат и матросов, и отделение солдат готовилось к смене караула у дверей военного губернаторства. Взвалив чемодан на плечи, я подошел к администратору отеля. Рассыльный проводил нас в номер. Горничная немедленно приготовила душ, и мы, умывшись и позабыв об усталости, вышли на улицу.

Я всегда питал слабость к портовым городам, мысль о приятном отдыхе у меня всегда связана с запахом соли и смолы, с пароходными гудками и тем неясным и все же отчетливым гулом, который, всякий раз и в любых широтах, неизменно говорит о близости моря. В прежние годы во время каникул я тратил все свои сбережения на то, чтобы побывать в портах и тавернах Гамбурга, Гавра. Клаудия знала их еще лучше. Сейчас же, возбужденные новизной впечатлений, мы гуляли по площади, делясь отвращением к альпинистам, швейцарцам, коровам и горам.

Главная улица напоминала мне Змеиную в Севилье: столики баров и кафе высыпали на мостовую, и прохожим приходилось протискиваться среди них. Не было видно ни одной женщины. Мужчины безмятежно болтали, толпясь у столиков, сновали

чистильщики со своими щетками и кремами. Иногда попадались навстречу солдаты, бросавшие вслед нам шуточки по поводу брюк Клаудии, плотно облегавших бедра. Близилось время ужина, и в воздухе пахло жареной рыбой. Мы выпили в одном из баров по рюмке мансанильи, а в другом — графинчик белого вина. Наконец нам попалась таверна любителей пения, и мы вошли; Клаудия заказала себе потроха по-мадридски, а я — дюжину печеных сардин.

Столы были деревянные, и посетители обслуживали себя сами. Там сидели шахтеры в беретах и цветных рубашках, солдаты и матросы в блузах нараспашку. Некоторые принесли с собой ужин в сундуках, иные — вино и просто ломоть хлеба. Воздух был пропитан запахом пота и жаркого. Солдаты то и дело вскакивали за графином красного и, попивая вино, хлопали в ладоши. Один из них, коренастый и плотный, напевал тоненьким голоском. Рядом с ним, прислонившись к стене, пил другой, тонкий и светловолосый. Одет он был бедно, в штатское, товарищи приставали к нему, чтобы он сплясал.

— Лучший танцор в казарме,— объяснил мне молодой парень с землистым лицом.— Если уж возьмется, всех за пояс заткнет.

— Откуда он? — спросил я.

— Здешний,— ответил он,— из-под Палоса.

Другой солдат, подойдя к нашему столу, выложил всю историю его жизни и злоключений. Он сирота, работал в каменоломне, не умеет ни читать, ни писать. В большом городе, таком как Барселона, парень быстро бы сделал карьеру. За это он ручается: он жил когда-то в Барселоне и знает тамошнюю страсть к танцам.

— Если вы знаете какого-нибудь импрессарио, познакомьте его с ним, не пожалеете.

— Как его зовут?

— Лопес Росас Гонсало... Но все зовут его Артист.

Пока он говорил, подошли еще двое, они тоже подтвердили: Артист лучший танцор в городе, он владеет своим телом как хочет, он состязался с чемпионом американцев и победил его...

— Американцев?

— Ну... Так называют здесь тех, кто работает в Эскомбрерас, на централи.

— На какой централи?

— На теплоцентрали. Их несколько тысяч. Видно, американцы спешат, и платят они, как никто.

Меня познакомили с одним из этих «американцев» — человеком с густыми черными бровями, глубоко посаженными глазами, голубыми, как два озерка светлой воды. Он тоже видел, как танцует Артист.

— Да, как-то ночью, при директоре и инженере, он плясал фанданго, тиентос, солеарес — часа три. Его привели помериться с нашими, и он посрамил лучших со стройки...

— Вам надо бы посмотреть его. Ради этого стоило проехаться.

Артист все сидел, откинувшись на спинку стула, равнодушный к возбужденному им интересу. Углубившись в свои мысли, он отсутствующим взглядом смотрел на своих товарищей и машинально поглаживал падавшую на лицо прядь волос.

— Он всегда так,— объяснил парень с землистым лицом.— Пока не напьется как следует, не двинется с места.

— Наш поручик, а он погулять любит, всегда берет его в свою компанию,— сказал ефрейтор с каталонским акцентом.

— Невеста поручика Рамоса обожает андалузские танцы.

— В прошлое воскресенье его пригласили на Горку, а спускали оттуда на носилках.

— Он один выпил бутылку анисовой.

— Я видел, как он выдул за вечер две бутылки коньяку.

Солдаты тесным кольцом окружили Артиста: хватали его за рубашку, за ноги, один пытался выдернуть из-под него стул. Ефрейтор тоже встал и что-то сказал ему на ухо. Молодой человек медленно повернул голову, и по его взгляду я догадался, что ефрейтор говорил ему о нас.

— Надо поддержать честь города,— произнес сержант, подмигнув нам.— Сеньоры — приезжие и хотят посмотреть, как ты танцуешь.

Это, видимо, подействовало, он поднялся с места и подошел поздороваться. Теперь свет от лампы освещал его всего, и я мог, наконец, рассмотреть его как следует. Он был еще тоньше, нежели показался мне на первый взгляд, и вид у него был болезненный и усталый, как у преждевременно состарившегося человека.

— Я станцую для вас,— сказал он Клаудии.

Остальные встретили его решение аплодисментами. Парень с землистым лицом скрылся за дверью в глубине зала и вскоре вернулся с гитарой. Он настраивал ее некоторое время, пока солдаты отодвигали стулья, расчищая место.

Артист стоял, уставившись глазами в пол, прядь белокурых волос падала ему на лоб. Ефрейтор-каталонец сел рядом с Клаудией и самодовольно улыбнулся.

— С этими мурсийцами только так... Если не подстегнуть, они не пошевелятся.

Подошел хозяин посмотреть на все эти приготовления, и я заказал всем по стакану вина.

— Только без скандала,— предупредил он,— соседи пожалуются, и мне влепят штраф.

— Не беспокойтесь, дон Анхель,— крикнул ефрейтор,— все будет в порядке!

— Как подобает испанцам.

— Испанцам и мужчинам.

— Я говорю, чтоб драки здесь не устраивать, как в прошлый раз...

— В прошлый раз не мы дрались.

— Вы ли, другие, не все ли равно.

— Будьте покойны, шеф.

— Мы же обещаем, какого еще...

Кургузый солдат взмахом руки водворил тишину, и взгляды всех остановились на хрупкой фигуре Артиста.

— Вот сейчас он в форме,— доверительно пояснил нам ефрейтор.— Вы увидите нечто особенное.

— Не всякий день увидишь такое, нет,— подтвердил «американец».

Затем гитарист выжал из гитары фанданго и под возгласы:

— За Картахену

— За казарму

— Мать твою так,—

солдаты начали бить в ладоши.

II

«Американец» был прав: в Картахену стоило приехать, чтобы увидеть, как танцует Артист. Прошло уже одиннадцать месяцев с той ночи, а он все еще жив в моей памяти: весь он собран, возвышен и легок, прядь волос упала на лицо, движения его точны и строги, как бы полны безразличия к вызываемому им восторгу. Не помню, когда он начал и когда нас попросили на улицу. Хозяин несколько раз наполнял стаканы вином, и все мы выпили больше, чем надо. Помню только, что какой-то неряха матрос танцевал с Артистом, и под язвительные аккорды гитары они изобразили пародию на танец апашей.

Клаудия была в таком же восторге, как и я, и несколько раз пожала под столом мою руку. Артист был настоящим артистом! Ни на одном празднике не встречал я такого неистового, такого ясного и полнокровного проявления таланта. Когда мы вышли, собутыльники подхватили его на плечи и довольно долго несли с песнями и шумом. Улицы еще были полны народа, и мы заходили в несколько баров выпить. Артист, казалось, не знал устали и танцевал еще столько раз, сколько просили. Белокурая прядь прилипла ко лбу, и по лицу его струился пот.

Раз он подошел чокнуться с нами, и мы обменялись несколькими словами. Голос у него был детский, слегка надтреснутый. Он спросил, понравился ли нам танец. Мы ответили — да, очень, и он умолк, удовлетворенный. Вскоре его приятели вновь

поднесли ему выпить. Тот, что рассказывал нам о нем, завел ссору с ефрейтором. Остальные вмешались, стали разнимать их, кто-то предложил пойти всем на Горку.

Слева от площади Префумо, напротив главного входа военного губернаторства, узкая и кривая улица связывает нижнюю часть города с районом Эль Молинете. Подъем крутой, и идти приходится медленно. Наконец выходишь на площадь, освещенную газовыми фонарями, типичную площадь портового города, маленькую и какую-то нескладную, с бельем, висящим на балконах, и бесчисленными кошками, шныряющими по помойкам; кажется, что попал в другой мир: воздух насыщен сладковатым запахом тления, бессмысленно горланят радиоприемники, и слышится приглушенное бренчание гитары. Один к другому теснятся бары: «Майами», «Палм-Бич», «Фонарь», «Кораблик», и их разноцветные огни — красные, зеленые, фиолетовые и голубые — венчают ночь сверкающим, цветистым ореолом.

Мы с Клаудией не ожидали такого контраста и остановились, пораженные зрелищем. Курсанты, матросы и солдаты ходили из бара в бар, и некоторые из них, оборачиваясь, здоровались с Артистом. Запомнился мне американский офицер под руку с девушкой, смуглой и накрашенной,— он был пьян и все порывался выпить с нами; мальчик, стрелявший в нас из-за угла из игрушечного пистолета — за ним пришла его мать и, взяв за ухо, увела домой...

Мы вошли в бар с длинным цинковым прилавком, за которым стояло пять или шесть женщин. За дальним столом сидело несколько офицеров, увидев Артиста, они встали.

— Вот он!

— Сукин сын!

— Куда ты, черт, запропастился?

— Я был с приятелями, прапорщик.

— А мы ищем тебя повсюду.

— Я не знал... Мне никто ничего не сказал.

— Никто, никто... Хорош гусь.

— Да еще и нарезался как следует, да?

— Так себе, прапорщик.

— Ты остаешься с нами и немедленно станцуешь. Ну, так живо.

— Гитары нет.

— Ерунда. Станцуешь и без гитары.

— Как прикажете.

Он обернулся к нам, как бы прося извинения, и офицеры начали бить в ладоши. В мгновение ока вокруг него образовалось кольцо посетителей. Солдаты тоже отбивали ритм, мы с Клаудией устроились у стойки.

— Нравится, да?

Это был тот, что сцепился с ефрейтором. Он отошел от остальных, и я улыбнулся ему.

— Да, очень.

— За свою жизнь немало я видел танцоров,— сказал он.— Но таких — никогда.

Он говорил хриплым голосом, словно сдерживаясь, и в немногих словах поведал биографию парня: родителей расстреляли после войны, его приютил родной дядя, никто не учил его танцевать...

— Никто?

— Никто. Он сам научился всему, в каменоломне...

Он рассказал, как по окончании работы взрослые брали его с собой пить. Они шли в таверну на окраине города и слушали радио. И всякий раз, когда звучала музыка, мальчик танцевал под нее... Чувство ритма было у него в крови. И рабочие каменоломни любили его, как сына, они видели, как он начинал, и его танец не был заученным, как у других, он вкладывал в него всю душу.

— Это стоящий парень, да,— заключил он.— И очень добрый. Такие на вес золота...

— Да, сразу видно...

— Он не умеет отказывать и танцует за гроши, а все этим пользуются.

— Пользуются? Каким же образом?

— Выжимают из него все соки,— ответил приятель,— сначала поят, а потом заставляют танцевать, пока не свалится от усталости.

— Офицеры всегда таскают его с собой,— рассказывал он.— В казарме делать нечего, и они чуть ли не каждую ночь напиваются. Начинают в баре «Резиденция» и, если все идет благополучно, поднимаются на Горку, чтобы подцепить женщин и пофорсить в барах. Их совершенно не заботит, что парню вставать в шесть утра. Посылают за ним часового и поднимают с постели...

— А он? Почему он идет?

— Вот и я ему говорю,— в сердцах сказал солдат.— Он не может, как они, спать днем. И здоровье у него слабое... Всю жизнь работал, с семи лет.

Артист закончил танец и остановился, чтобы отдышаться. Он казался мальчиком с колечками волос на лбу и мутным, вопрошающим взором. Его цветная рубашка была вся в заплатах, а вместо ремня брюки поддерживал кусок старой веревки.

— Нет у них ни капли уважения к нему,— сказал его друг.— Мой отец знал его в каменоломне и рассказывает, что там его ценили... Не то что здесь. Все кому не лень жмут из него соки, а чего он стоит — на это им наплевать.

На лбу артиста вздулись жилы, и у меня мороз пробежал по коже.

— Сколько осталось ему служить,— спросила Клаудия.

— Десять месяцев,— ответил парень удрученно.— До будущего лета.

— Жаль,— сказал я.

— Да, жаль.

— В Мадриде я быстро нашел бы ему работу.

— Да.

— Он из той же породы, что и Антонио и Фаике...

— Да.

— У меня есть связи, и я мог бы помочь ему.

— Да, да.

Он опустил глаза, словно угадав мои мысли, и закурил сигарету.

— Он настоящий артист,— сказал он.— Очень жаль, если зря пропадет.

Перевод с испанского ДИОНИСИО ГАРСИА

РИКАРДО ДОМЕНЕЧ

Счастье привалило

— Эй, вина для всех!

— Хосе-Мария, Томас и оба пастуха обернулись.

— Глянь-ка! Какая тебя муха укусила?

К стойке подходил Антонио. Уверенным шагом, распрямив спину. Он не удостоил их ответом. Хосе-Мария уже разливал вино на четверых. Томас и пастухи с удивлением уставились на Антонио. Что с ним стряслось?

— Да что с тобой, Антонио? — спросил, наконец, один пастух.

Антонио с важным видом поднял рюмку. Не спеша отхлебнул глоток и поставил рюмку обратно на стойку.

— Каких только чудес не бывает на свете! — сказал он и улыбнулся.

Люди глазам своим не верили. Последнее время Антонио ходил понурый, сумрачный, а теперь так и сияет; видно, жизнь улыбнулась ему, и собой он очень доволен.

— А нельзя ли узнать, что за чудеса?

— Ну, всякое бывает...— уклончиво ответил Антонио.

Он осушил рюмку и сказал трактирщику:

— Наливай еще, дружище, запишешь все на мой счет.

Томас и пастухи тоже допили свое вино. Хосе-Мария снова наполнил рюмки.

— Черт! Да скажешь ли ты, наконец, что случилось?

— Слишком уж оно хорошо, чтобы поверить.

— Да что ж такое?

Антонио разом опрокинул в рот рюмку. И, потирая руки, начал:

— Вы, верно, знаете, как убивались мы с моей Хосефой все это время из-за болезни девчонки...

— Знаем.

— Как водили ее к знахарке, и то, и другое, и пятое, и десятое...

— Помним, как же.

— И к доктору водили, к дону Карлосу. Выходит, не такая это простая штука, сказать человеку: у тебя, мол, это болит или то...

— Точно.

— И как дон Карлос сказал: да, надо везти ее в столицу, пусть ей там сделают операцию, только стоить это будет кучу денег...

— Да, дружище, знаем.

— Ну так вот, я еду в Мадрид.

— Что-о-о?

— Повезу девчонку в Мадрид, сделают ей там операцию, и будет она у меня как огурчик.

Дружный смех присутствующих прервал его.

— Это ты-то, в Мадрид!

— Будто такая операция не стоит уймы денег!

— У него денег куры не клюют, только езди по столицам да плати докторам!

— Морочь голову другим, Антонио!

Но Антонио пропустил насмешки мимо ушей. С видом непоколебимого превосходства он распорядился:

— Еще четыре рюмашки, я плачу!

Хосе-Мария послушно налил вино, хотя просто давился от смеха. Томас и пастухи тоже хохотали. Один Антонио даже бровью не повел. Взгляд его по-прежнему выражал торжество и уверенность в себе. Когда взрыв хохота утих, Антонио сказал с расстановкой:

— Вот тут-то и зарыта собака. Когда не было ни гроша, нечего было и думать о таких расходах. Ну, а теперь — да, теперь, вот именно — у меня есть кругленькая сумма.— И он хлопнул себя по карману сзади на штанах.

Мгновенно наступила тишина. Хосе-Мария, Томас и оба пастуха даже оробели. Не столько от слов Антонио, сколько от тона, которым слова были произнесены,— никто раньше не слыхал, чтобы он говорил таким твердым и властным тоном. Да и вообще Антонио словно подменили: глаза сверкают торжеством, осанка уверенная, плечи распрямились, угощает с такой щедростью... Как такому не верить? Со смесью почтительного удивления и восторга ждали они, пока он снова заговорит.

— Дело в том,— торжественно заявил наконец Антонио,— что правильно говорит пословица: «У бога милости много, он испытует нас, но не погубит».

Каждый, повторяя про себя слова Антонио, подумал: вот она, святая правда,— у бога милости много, испытует, но не погубит. Как не похож этот новый Антонио на

понурого горемыку, каким все его знали прежде! «Вот что делают деньги»,—подумал Хосе-Мария.

— Вы все видели, каков я был в последнее время,— рассказывал Антонио.— Совсем раскис, руки опустились, неоткуда ждать помощи. И душа ни к чему не лежит, неохота даже скотине корм задать. А уж беда, как вечером приходишь домой и видишь — девчонка на глазах тает, бедняжка, а моя Хосефа не говорит ни словечка, все хлопочет около девчонки, а горе так и точит, так и точит ее изнутри...

— Понимаю тебя, понимаю,— поддакивал Томас.

— Так вот,— повторил Антонио,— верно говорит пословица, что у бога милости много.

Он откашлялся. Взгляды слушателей выражали нетерпение. Антонио продолжал:

— Вот, значит, сегодня к вечеру совсем меня тоска доняла. Загнал я скотину, возвращаюсь в деревню, а ноги так и подкашиваются, как подумаю, что приду это домой, а там все то же — бедная моя девчонка с лицом страдалицы и Хосефа... И вот что про себя твердил: «А ведь можно ее вылечить, Антонио. Только раздобыть бы эти проклятые деньги». И пошел по деревне куда глаза глядят — ноги сами привели меня к усадьбе доньи Саграрио. И вдруг словно осенило меня. Говорю себе: «Почему бы тебе не обратиться к донье Саграрио, а? Ведь она добрейшая женщина!» И сам себе отвечаю: «Добрейшая-то добрейшая, это известно. Да больно велик расход, а она... С какой стати ей для тебя раскошеливаться!» Похожу-похожу перед домом, да и опять говорю себе: «Но ведь работаешь у нее в доме вот уже тридцать лет... Сказано, попытка — не пытка». И вот так, значит, как был, собравшись с духом, вваливаюсь в дом и говорю, что хочу, мол, видеть сеньору...

— А ведь верно, я видел, как ты вошел,— перебил один из пастухов.

— ...Что хочу, мол, видеть сеньору по неотложнейшему делу. «По какому такому делу?» — «Да вот по неотложнейшему, значит, такое, что не терпит». Ну, наконец-то сеньора меня приняла, а я ей возьми да и бухни: «Ваша, мол, милость, донья Саграрио, не хотелось мне вас беспокоить, потому знаю, что у вас и без меня забот хватает; но, видите ли, человек я добрый, мухи на своем веку не обидел, и в доме вашем служу уже тридцать лет, а теперь вот не знаю, откуда ждать помощи, и к вашей милости припадаю ровно к господу богу, уж вы меня простите, коли нехорошо такое сказать, а только я до крайности дошел»... Ну, сеньора, конечно, спрашивает, в чем, мол, у тебя дело, а я ей тут все и выложил, была не была, думаю; и про девчонку, значит, и про операцию, и про Мадрид, и про расходы... Уж вы, верно, знаете, какая донья Саграрио сухая да надменная, вечно-то свысока на тебя смотрит, не так ли? А вот, представляете, не успел я договорить, гляжу, она чуть не плачет. И все твердит: «Бедная девочка, ах, бедная девочка...»

Антонио помолчал. Отхлебнул большой глоток и жестом показал трактирщику, чтобы тот снова налил всем по маленькой. Хосе-Мария молча наполнил рюмки.

— А потом и говорит мне: «Не кручинься, Антонио, это все не беда. Еще чего не хватало! Столько лет ты у меня работаешь...» И спрашивает: «Сколько тебе нужно?» А я и выпалил, не долго думая: «Без дураков — пять тысяч дуро». И вот донья Саграрио, не говоря ни слова, встает и оставляет меня одного. Мне еще невдомек, чем дело кончится, но уже легче оттого, что выговорился, душу облегчил; успокоился сразу и только повторяю про себя: «Увидим, Антонио, поживем — увидим». Да только и минуты не прошло, как возвращается донья Саграрио с пачкой кредиток в руке и протягивает мне. Я глазам своим не верю. Уж больно это хорошо, прямо не верится. Подхожу, беру денежки — взаправдашние, новехонькие! Не помню, что я ей сказал. Совсем обомлел. Вроде бы сказал: «Как же я с вами расплачусь, сеньора?» А она и говорит: «Полно, человече, полно. Так велит христианское милосердие». А я опять свое: «Знал, дескать, я, что вы всех на свете добрей, святая прямо, не зря о вас молва идет, что столько добра творите. Да вот в чем загвоздка: как мне с вами расплатиться?» А она в ответ: «Не заботься об этом». Ну, тут я стал откланиваться и все благодарю, благодарю: следы ваших ног, мол, буду целовать, сеньора. А она меня похлопывает эдак по плечу: «Пустяки, человече. Тут не о чем толковать. Это мой христианский долг. Ты столько лет служишь в доме... еще чего не хватало!» Ну я,

значит, сами можете представить, выбежал из усадьбы чуть не вприпрыжку. А когда проходил здесь по площади, то и говорю себе: «Вот что, Антонио, надо пропустить рюмашку, грех такое дело не спрыснуть!» Вот оно как.

Глаза у Антонио были влажные. Хосе-Мария, Томас и пастухи смотрели на него, разинув рты.

Хосе-Мария снова стал разливать вино, хотя никто его об этом не просил. Он даже самому себе налил рюмку и одним духом опрокинул вино в рот, не коснувшись губами стекла. Теперь воцарилась тишина, долгая тишина. Все уставились на Антонио с нескрываемым восхищением.

— Что вы на это скажете, а?

Никто не находил слов, подходящих к такому событию.

Наконец один промолвил, свертывая цигарку:

— Вот это здорово, черт побери! Ну и подфартило!

— Шутка сказать, пять тысяч дуро! Да он в сорочке родился!

— Он-то? Под счастливой звездой, не иначе!

— Вот-вот, именно,— подтвердил Хосе-Мария.— Одно слово, счастливчик...

■

Антонио не спеша прихлебывал вино.

Они продолжали пить, пока один из пастухов не сказал:

— Ну, нам пора.

— И верно, пора,— поддержал его другой пастух.

Но Антонио, Томас и Хосе-Мария возмутились:

— Вот еще! И слышать не хотим.

— И речи быть не может, приятель. Такой случай не каждый день выдается. Как это вы теперь уйдете?

— Ясное дело, уходить теперь негоже.

— Так-то оно так,— отговаривался пастух,— да хотел бы я знать, кто меня поутру поднимет с постели. Хорошо Антонио — забот у него теперь никаких, знай спи сколько влезет.

— Ладно, но по одной еще можно пропустить?

— Ну разве что по одной. И баста.

Пастухи разом осушили свои рюмки и распрощались, горячо поздравляя Антонио, который явно был тронут.

— В добрый час, дружище.

— Обнимемся, черт побери.

Пастухи вместе вышли из таверны, и один из них все еще бормотал:

— Видали? Ну и везучий же, бестия!

Отзвонили к вечерне. Антонио, Томас и Хосе-Мария продолжали пить. Хосе-Мария принес несколько бутылок и глиняное блюдо с ломтями ветчины.

— Это у меня припрятано на торжественный случай, вроде нынешнего,— сказал он.

Антонио — с горящими щелками глаз — бормотал:

— Вообрази: пять тысяч дуро! Вылечат мне девчонку!

Он споткнулся и не упал только потому, что уцепился за локоть Томаса.

— Тихо, земляк, тихо,— уговаривал его Томас.

— А не лучше ли нам сесть за стол? — предложил Хосе-Мария.

— Вот это мысль! И как только мне в голову не пришло? Айда за стол.

Они перенесли бутылки, рюмки и ветчину на четырехугольный столик с мраморной доской. Антонио, которого шатало, уцепился за плечо Томаса. Время от времени он повторял: «Пять тысяч дуро!» И смеялся. Хосе-Мария высоко поднял бутылку, наполняя стаканы. Вино лилось, щедро булькая. С каждым глотком оно становилось все вкусней.

— Вот что,— сказал Хосе-Мария,— принесу-ка я гитару. Как вы на это смотрите?

— Чего тут спрашивать? Тащи!

И Хосе-Мария принес гитару.

— Вот так праздник! — восхищался Томас.

— Пять тысяч дуро...— ухмыляясь, бормотал Антонио.

Раздались первые пронзительные звуки.

— Настрой ее, Хосе-Мария.

Хосе-Мария перебирал струны.

— Не так-то просто. Я не брал ее в руки бог весть с каких пор. Наверно, со смерти моей старухи, царство ей небесное.

Теперь роль виночерпия взял на себя Томас. Они уже не прихлебывали вино, а опрокидывали в рот, будто лекарство. Вино и впрямь действовало на них целебно: рождало чувство подлинного счастья, блаженства жить в мире, где все кажется прекрасным и справедливым.

— Готово, звенит,— сказал наконец Хосе-Мария, показывая гитару.

— Ну, начали! — пригласил Томас.

Прекрасный и справедливый мир ворвался в таверну отрывистыми бессвязными аккордами гитары. Пьяными голосами Антонио и Томас завели:

Дону Пьян его сеньора
Родила сынков что надо —
В рот не могут взять малютки
Ни воды, ни лимонада.

Они хохотали. Глушили вино. И пели:

В поле трое жать пошли
Да с одним серпом.
Жнет один, а рядом двое
Мелют языком.*

И хохотали.

Когда бутылки опустели, наступила тишина. Хосе-Мария положил гитару. Закурили. Казалось, все устали. Время от времени Антонио бормотал: «Пять тысяч дуро...» Но двое других уже не слушали его. Каждый погрузился в собственные думы.

— Давно я так не веселился,— сказал наконец Хосе-Мария.— Со смерти моей покойницы Аны, упокой господь ее душу, не доводилось мне так славно проводить время.

Никто не откликнулся. Прекрасный и справедливый мир распался на части, а тем самым перестал быть прекрасным и справедливым. Вдруг Томас прервал молчание:

— Вот это самое я тебе и говорил на днях, если припоминаешь, Хосе-Мария, земляк; что есть, значит, такие счастливчики, про них всякий скажет: «Этот в сорочке родился, все у него идет как по маслу». А у других, как назло, вечно все не клеится. В точку попал, за примером недалеко ходить. У него,— Томас ткнул пальцем в Антонио,— все вышло, как по заказу. Понадобилось ему пять тысяч дуро, чтоб отвезти девчонку в Мадрид и сделать ей операцию? Пожалуйста, на тебе денежки! Задумано — сделано. А мне сроду счастливого билета не вытянуть. Ты сам видел, как эта свинья-хозяин вышвырнул меня на улицу, когда ему в голову взбрело. Что мне теперь делать? Как прокормить жену и четверых ребятишек? Или прикажете им по случаю неурожая с голоду околеть? Антонио тут рассказывал: пока ему не привалило счастье, так у него сердце разрывалось, когда приходил домой и видел больную девчонку. Но если б ты знал, как перехватывает глотку мне, когда прихожу домой, гляжу на моих бедных мальцов и твержу себе: «Послушай, Томас, надо ведь их кормить и одевать; душа болит глядеть на них, так дольше продолжаться не может, ищи какой-нибудь выход». Но какой? Какой, гром тебя разрази? А? Видишь, как оборачивается дело? Не подумайте только, будто я не рад за Антонио. Я не из зависти там говорю или чего такого. Но ведь это ни в какие ворота не лезет — мы здесь пируем, а у меня на душе кошки скребут.

— Так за чем дело стало? Пойди к донье Саграрио, она и тебе отвалит пять тысяч дуро,— сказал Хосе-Мария.

Антонио, подняв пустую рюмку, завопил:

— Да здравствует донья Саграрио!

---

* Перевод стихов Г. Полонской.

Но Томас по-прежнему сидел насупившись.

— Куда там, такие вещи удаются только однажды,— сказал он.— А главное: смотря кто за них берется. Тут надобно везенье. А иначе — лучше и не мечтать. Лучше и не мечтать, заметь себе. Так что поговорим о чем-нибудь еще. Не хочу я вам праздник портить, а? Нет уж! Это было бы свинством!

— Да теперь какой праздник. Пора закрывать таверну. Если не возражаете, конечно.

— А который это час?..— забеспокоился Антонио. Он был пьян в стельку.

— Час такой, что спать пора,— ответил Хосе-Мария.— Твоя Хосефа, что, ничего еще не знает?

— Моя Хосефа? Ничегошеньки... ничего, ни о чем.

— Ну так живо! Айда домой и расскажи ей.

Встать на ноги Антонио не мог. Ему помогли подняться.

— Проводишь его,— приказал Хосе-Мария Томасу.

— Меня бы самого не грех проводить.

— Ты — дело другое. Тебе оно в привычку, выпивать. А он—глянь, на что похож. Отпусти его, он и шлепнется.

С двух сторон они подхватили Антонио под мышки и чуть не волоком повели к двери. Уже на пороге Антонио обернулся к трактирщику, бормоча:

— Сколько... сколько?..

— Что ты там бубнишь?

— Сколько... платить...

— Завтра посчитаемся. Ты теперь богач!

Томас обхватил Антонио поперек туловища. Площадь была пустынной, темной, безмолвной. Наверху, в небе, приветливо мигали далекие звезды. Выделывая восьмерки, приятели в обнимку поплелись через площадь. Хосе-Мария несколько минут смотрел им вслед, потом опустил жалюзи и запер тяжелую дверь.

Миновали площадь. Антонио еле волочил ноги и спотыкался на каждом шагу.

— Осторожно, земляк,— приговаривал Томас, подхватывая его и не давая упасть.

— Ты только подумай... Пять тысяч! — продолжал твердить Антонио. И заливался смехом.

— Такой уж ты везучий...

— Вылечат мою девчонку, как огурчик станет...

— Вот про то я и толкую: один тянет лямку так, что невмоготу, не продыхнешь, значит, а у других — мало тебе сахару, на еще и меду.

— Девчонка-то моя словно второй раз родится... Ты рад за меня? Скажи, рад?

— Ну, конечно, рад, дружище. От чистого сердца, земляк, ей-богу. Провалиться мне на этом месте, коли соврал. Да и с чего бы мне завидовать? Из-за вражды, что, мол, искони водится между пастухами и батраками? Никакой такой вражды нет и в помине. Для меня, заметь хорошенько, земляк, ты как брат родной. Вот от чистого сердца.

— Вылечат ее. Уж с пятью-то тысячами вылечат...

— Вся разница, что тебе лямка так в хребет не врезается. Несешь себе свои пять тысяч, а у меня в котомке только тоска да горе. Такой уж я неудачник!

— «Да ведь это долг христианки... Еще чего не доставало!» Вот оно: богат бог милостью, испытует, но не погубит.

— Кормить да одевать четверых мальцов — это тебе не песни петь. Если ничего не придумаю — а что тут придумаешь?— тогда что делать? Господи боже, что делать? Нельзя же домой с пустыми руками приходить! Глаза бы мои не глядели на все это, боже милосердный!

— «Уж я знал, что вы добрей всех на свете, святая прямо, не зря о вас молва идет, что столько добра творите».

— Что тогда делать?

Внезапно оба заметили, что каждый слушает только сам себя, и смолкли. Шаги их гулко отдавались вдоль сонной улочки. Издали доносилось кваканье лягушек да стрекот сверчков.

— Пойдем к реке, может, ты протрезвишься,— предложил Томас.

— Ладно, пошли...

И они зашагали к реке. Антонио то и дело спотыкался о булыжники.

— Осторожно, земляк,— предостерегал Томас.

Ночь была темная. Бледный серп луны едва-едва вырисовывался на мглистом небе. Из соседней рощи доносились таинственные шорохи. То выползли из своих нор лесные зверюшки — лисы и зайцы, кролики и хорьки,— и лес казался заколдованным царством. Зверьки спускались на водопой к реке, пробирались, шурша, в зарослях вереска, охотились друг за другом и спаривались. Все громче квакали лягушки и стрекотали сверчки.

Антонио и Томас подошли к реке. Зверюшки поспешно попрятались. По ивам и папоротникам пробегал ветерок. Томас сказал:

— Умой лицо да глотни водицы. Это лучше всякого нашатыря.

Антонио опустился на колени и перегнулся с берега вниз, упершись руками в кайму ила. Дрожащими губами он коснулся воды, холодной и режущей как нож.

— Лучше этого ничего нет,— повторял Томас.

Он стоял сзади, на расстоянии нескольких шагов от Антонио, и глядел. Антонио застыл неподвижно — теперь он окунул все лицо в темную речную воду. Томас продолжал глядеть на него невидящим взором. Перед глазами у него стояла печальная картина — жена да четверо оборванных истощенных ребятишек. Он не мог прогнать это видение — разве такое прогонишь? Он не в силах был заглушить внутренний голос, который вопил: «Томас, пять тысяч дуро; Томас, пять тысяч дуро; Томас...» Нет, не в силах. Глаза у него вылезли из орбит, и в сердце закипел гнев. Видение, вставшее перед глазами — жена, четверо оборванных истощенных ребятишек...— властно требовало ответа. И он уже выбрал этот ответ. Пьяный, отчаявшийся, вне себя, он выбрал этот ответ.

Он подкрался сзади к Антонио, зажав обеими руками огромный камень. Подкрался чуть слышно, с остановившимся взором... Наклонившись над неподвижным Антонио, он взметнул камень вверх и со всей силы опустил на затылок пастуха. Послышался глухой треск проломленных костей, потом еще, и еще, и еще... По воде поползло багровое пятно. Из проломленного черепа Антонио, пенясь и булькая, текла кровь. Томас швырнул камень в реку и поспешно перевернул Антонио кверху лицом. Лицо было вымазано тиной и кровью, остекленевшие глаза выпучены. Из них теперь глядела только смерть.

Томас опустился на корточки и начал обыскивать мертвеца. Он судорожно шарил по телу трясущимися руками. Из одного кармана вытащил носовой платок и альбасетскую наваху, в другом оказалась только зажигалка с длинным желтым фитилем да книжечка курительной бумаги, в третьем лежал кисет... Так он обшарил сверху донизу и снизу доверху всю одежду мертвеца — руки у него тряслись все сильнее — и не нашел пяти тысяч дуро, которые искал... У Антонио не было этих денег. Все оказалось ложью.

Ошалевший, растерянный, уселся он на землю. Острая боль сверлила виски и мешала думать. Так сидел он довольно долго, глядя на неподвижный, раскинувший ноги труп, похожий на тряпичное чучело, на марионетку, брошенную в темноте возле балагана, когда потухли огни и представление окончилось. Томас тупо уставился на него, чувствуя все ту же острую боль в висках, мешавшую думать, и горечь во рту. Потом внезапно расхохотался.

— Все это было вранье! — воскликнул он.

И закрыл лицо руками, словно желая уйти от содеянного.

Перевод с испанского М. АБЕЗГАУЗ

ГАБРИЭЛЬ СЕЛАЙЯ

«Считаю,— писал Селайя,— что красота — это метафизический идол. Экспрессивность выражения, мне кажется, важнее эстетического совершенства». В полемическом пылу поэт противопоставил два взаимосвязанных качества собственной поэзии, красота которой заключается в экспрессивности. Селайя пользуется словом не как иллюзионист, но как агитатор и просветитель. Поэзия для Селайи — наиболее естественный способ передачи мысли, строфическая форма размышлений, конкретная и ясная («Я показываю ясную тень. Тень, которая хочет перестать быть бесформенной»), служащая его гражданской программе. «Поэзия не является самоцелью. Поэзия — это инструмент переделки мира... В стихотворении — пусть уж извинят меня наипоэтичнейшие поэты — должна быть грязь. Должны быть идеи, хоть с этим и не согласны безмозглые певцы... Должна быть риторика, описание и сюжет и даже политика... Поэзия не является нейтральной. Ни один человек не может быть нейтральным сегодня».

Селайя откровенен во всем. Он откровенен в своей социальности; он поэт рабочего класса и его революционного будущего. И поэт подлинный, самобытный и разнообразный. Пятидесятилетний Селайя, автор 22 сборников стихов, в панораме современной испанской поэзии занимает незаурядное место — это ее эпическое крыло.

Слово его — телесно, оно глубокими корнями уходит в мироздание и набухает соками материи. Селайя похож на дикаря — первооткрывателя красоты мира, с гордостью дающего вещам их имена (он называет одну из своих книг «Вещи как они есть»). Его клокочущая, неуемная жизненность — это радостная одержимость творца, верящего в то, что человек может и должен добыть счастье земного бытия. Точка, которой завершается его стихотворение,— это одновременно отправная точка для решительного шага в жизнь. Поэтому на вопрос, что составляет секрет и силу поэзии Селайи, я ответил бы одним словом: действенность.

Видас Силюнас

Уведомление

Город весь из смолы, гладкой и черной,
но с брешами, пахнущими стадом коров,
складами зерна, мокрою древесиной,
шорными мастерскими, цикорием и дроком.

Есть режущие крики, есть бесчеловечные шумы,
есть резкие гудки — они успокаивают
мое дурацкое гипертрофированное сердце.

Есть часы, когда я отдаюсь напрокат: смеюсь и плачу с другими;
но я написал бы замечательные стихи,
если бы в наше время это не было непристойно.

Мигелю Лабордета

(Отрывок)

С астероида Ге-Селайя-50,
при ясном небе и с зевком в моей глубине,
сегодня, двадцать третьего июня, в день без горя и славы,
когда свежий ветер несет меня на северо-северо-восток,
я приветствую тебя, Мигель, если случайно ты еще существуешь.

Последние известия обычны, очень печальны:
наши девушки выходят замуж за нотариусов,
деловые люди смеются мне в лицо;
ветер — это только ветер, а не заблудившийся ангел;
а бог, у себя на небе, по-прежнему бог бессловесный.
Страшновато смотреть на людей, что идут по улицам.
Если кто-нибудь спросит, как зовут их, они не сумеют
ответить всерьез, ответить начистоту.
Что ж, пусть идут с опущенной головою —
не хочу их видеть. Меня пугает, что мертвые ходят.

Лучше молчать. Не надо, чтобы при звуках вопроса:
«Как ваши родные? У нас все в порядке, спасибо»,—
кто-нибудь из них понял, что он уже мертв,
что у него нет разума, нет своего «я» с точным именем,—
тогда, возненавидев себя самого, он лишится чувств.

Оставим их в покое, пусть идут и будут счастливы:
«Проходите, дамы и господа (и старики тоже, бесплатно!)».
Пусть идут, как будто в самом деле это настоящая жизнь.
Я гарантирую, что каждый вечер будет садиться солнце.
Я гарантирую чудеса и красоты в пределах их досягаемости.

Мы, шарлатаны, предлагаем им бесценные
цирковые чудеса, клоунов на удивление,
диких зверей, прыгающих сквозь обручи,
смертельную игру с равновесьем, стихи жонглеров
и мага-иллюзиониста с двойным дном своего «я».

Может быть, Мигель, я не должен был говорить о вещах,
столь мало пристойных,
об излишнем великолепии, о повседневной дешевке,
но меня немного пугают твои ужасные вопросы:
«Какого черта сюда я явился?» И «Что я делаю здесь, размышляя?»
Пойми: это вещи, о которых не говорят.

Счастливые минуты

Когда идет дождь, а я перебираю бумаги и под конец
все бросаю в огонь — неоконченные стихи,
неоплаченные счета, письма мертвых друзей,
фотографии, поцелуи, хранившиеся в книгах,—
словом, отрекаюсь от мертвой тяжести моего упрямого прошлого —
тогда я сияю, вырастаю как раз настолько, насколько сам себя отрицаю,
и этим разжигаю огонь, и прыгаю через пламя,
и вряд ли сам понимаю, что чувствую я при этом,—
разве не зовется счастьем то, что меня приводит в восторг?

Когда выхожу на улицу, весело посвистывая,—
окурок в зубах, душа свободна, для всего открыта —
и говорю с детьми или ухожу с облаками,
а май суфлирует и все растягивает и раздвигает,
а девушки впервые носят декольте, и у них
голые и загорелые руки, а глаза изумленные и робкие,
и они смеются и сами не знают, почему так переполнены,
так брызжут радостью, что она дрожит совсем близко,—
разве не зовется счастьем то, что чувствуешь тогда?

Когда приходит друг, а дома ничего нет,
но любимая достает анчоусы, ветчину, сыр,
оливки, ракушки, две бутылки белого вина,
и вот я присутствую при чуде — знаю, что все взято в долг,
и не хочу думать, сможем ли мы заплатить за это,—
и когда мы неумеренно пьем и болтаем,
и друг мой в восторге и думает, что и мы в восторге,
и мы как будто смеемся над смертью при этом —
разве не зовется счастьем то, что вдруг происходит?

Когда просыпаюсь, я лежу вытянувшись.
Балкон открыт. Уже рассветает: птицы
высвистывают трели, поднимают языческий гам,
а я должен вставать, но я не встаю
и вижу, лежа на спине, как отражается на потолке
волнение моря и блеск перламутра морского;
и вот я лежу так: и все — все равно,—
разве тогда я не упраздняю время, не спасаюсь от страха?
Разве не зовется счастьем то, что приходит с рассветом?

Когда прихожу на рынок, гляжу на персики
и — сжимая зубы — на круглые вишни,
на истекающие соком фиги, на сливы,
упавшие с древа жизни, наверно, греховные,
потому что они меня так соблазняют. Я спрашиваю цену,
торгуюсь, добиваюсь уступки после долгого спора,
но, кончая игру, плачу вдвое, и это совсем не много,
и продавщица открывает глаза изумленно —
разве не зовется счастьем то, что тогда происходит?

Когда я могу сказать: день окончен,
а говоря «день», я говорю также: «хожденье, торговля,
поиски денег, борьба мертвецов»;
и когда, усталый, перепачканный, прихожу я домой,
сажусь в полумраке и включаю радиолу,
и приходят Хачатурян, или Моцарт, или Вивальди,
и музыка царствует, и я чувствую себя снова чистым,
просто-напросто чистым и несмотря ни на что невредимым —
разве не зовется счастьем то, что охватывает меня?

Когда, истерзанный тысячею забот,
вспоминаю о друге, захожу к нему, и он говорит мне:
«Я как раз собирался пойти повидать тебя»;
и мы долго говорим не о моих огорчениях —
ведь если б он и хотел, то помочь мне не может,—
но о том, что сейчас происходит в Иордании,
о книге Неруды, о портном, о ветре,
и, уходя, я чувствую себя утешенным и спокойным —
разве не зовется счастьем то, что меня самого побеждает?

Открыть все окна, глотнуть свежего воздуха;
пройти по дороге, где пахнет жимолостью;
выпить с другом; поболтать или помолчать;
почувствовать, что чувства других — твои;
посмотреться в глаза, которые смотрят, не унижая нас,—
разве это не значит быть счастливым, несмотря на смерть?
Проданному и преданному видеть почти что с цинизмом,
что больше у меня ничего не могут отнять и что я еще живу,—
разве не зовется счастьем то, что не продается?

Перевод О. САВИЧА

СЕМБЕН УСМАН

Горячий ветер

РОМАН

Перевод с французского
Л. ГАЛИНСКОЙ и О. ГРАЕВСКОЙ

XII

С болью в сердце

— А вот и тетушка Комбети! — закричал Гезо.— Эй, Какпо, тетушка Комбети пришла!

Какпо выбежал из гостиной и бросился навстречу Мань Комбети.

— На-ка, держи вот это! Я все ноги исцарапала. Хуже нет лезть на эту гору,— вздыхала она.— Я совсем без сил, я падаю от усталости. А где же Гезо, чего он ждет? Разве он не знает, что надо выходить навстречу взрослым?

— А что у тебя на голове, тетушка?

— Это для твоего отца. Только ради него я так извожу себя.

Они подошли к веранде. Мань Комбети с большим трудом поднялась по ступенькам, сняла с головы свой груз и, тяжело дыша, почти упала в шезлонг. Пот катился по ее лицу.

— Предки мои! До чего же хорошо вернуться к себе в дом! Гезо, ты ничего от меня не получишь, потому что не выбежал мне навстречу...

— Но я первый увидел тебя, тетушка.

— А дальше что? Ты должен был первым прибежать. Подождите, я немного отдышусь. Ноги отказываются мне служить. Старею я. Растите быстрее, чтобы я могла хоть немного отдохнуть под вашей тенью.

Вытянув ноги, она откинулась в шезлонге. Гезо сел на соседний стул. Он дулся.

— Ну, чего нахмурился? Предки мои! Фу, как некрасиво! Ну хорошо, ты тоже получишь свою долю, только самую маленькую. А в следующий раз ты прибежишь первым. Где ваш отец?

— Он в больнице. Он еще не знает, что ты пришла. Он много говорил о тебе.

Окончание. Начало в № 11, 1964 г.

— Обо мне? С кем же, Гезо?

Мальчики переглянулись, и на губах Гезо мелькнула лукавая улыбка. Мань Комбети насторожилась.

— Мы тебе скажем, если ты нам дашь подарки.

— Какпо, как тебе не стыдно! Ты что же, торговаться со мной хочешь? Ничего вы не получите. Все выброшу. И ничего я не хочу знать. Ничего.

Какпо раскачивался, держась одной рукой за столб веранды и задевая головой листья, свисающие из подвешенной на перекладине калебасы.

— Смотри не разбей... А то получишь от отца.

Снедаемая любопытством, Мань Комбети прикрыла глаза.

— А в доме есть мадам.

Сердце ее замерло. Она вся выпрямилась. Глаза, ставшие ледяными, переходили с одного мальчика на другого.

— Мадам? Откуда? — воскликнула она.— Что она здесь делает?

— Она больна.

— Больна? — переспросила удивленная Мань Комбети.— Но больные живут там,— она показала рукой в сторону цветника, за которым виднелась больница.— Вы просто разыгрываете меня, бесенята.

Беспокойный взгляд тетушки впивался в мальчиков. «Предки мои! Что здесь произошло за мое отсутствие? Тангара внезапно заболел?» Она не знала, что и подумать.

— Пододвиньте мне узел... Приподымите. Тяните, материя крепкая, она еще послужит для набедренных повязок.

Какпо с помощью Гезо подтащил узел к ее ногам. Она порылась в нем и стала вытаскивать подарки: две золотистые папайи, кокосовый орех, страусовое яйцо, плоды мангового дерева, длинные клубни маниока и ююбы. Мальчики набросились на ягоды ююбы.

— Это правда, что в доме мадам?

— Правда, тетушка.

— Унесите все это. Я не хочу видеть ее в моей комнате.

— Но она живет в папиной комнате,— сказал Какпо, набивая рот ягодами.

— В папиной?.. Да что же это значит? Ах, спина моя болит! Я чувствую, как все мои внутренности прирастают к коже.

Она застонала и провела рукой по пояснице... Боль не прекращалась. Какую-то минуту она сидела согнувшись, повторяя:

— В папиной комнате... в папиной...

— Папа сам ей отдал эту комнату.

— А где он спит?

— С нами, на маленькой кровати,— отвечал Гезо и, нагрузившись привезенными вещами, пошел впереди Мань Комбети в комнаты. В гостиной Мань Комбети увидела Шарлотту.

— Это она? — спросила тетушка, как будто в доме была другая белая женщина.

— Да,— ответил Гезо.— Мадам, это тетушка Комбети,— добавил он по-французски.

— Здравствуйте! — произнесла Шарлотта.

— Что она сказала? — спросила Мань Комбети.

— Она приветствует тебя, тетушка.

— А она не может говорить, как все люди?

— Она не понимает нашего языка.

— Откуда она явилась?

— Мы же тебе сказали, тетушка, что она пришла из больницы.

— Больница — не дом. Я спрашиваю, где она живет. И я хочу знать, где ее муж.

— Она сердится? — спросила Шарлотта.

— Тетушка принесла нам фрукты. И она спрашивает, где ваш дом.

— Скажи ей, что я живу в заповеднике.

Гезо почесал нос, не зная, как перевести это слово. С веранды вернулся Какпо.

— Одну минуту, мадам, я не знаю, как перевести «заповедник»... Какпо, объясни тетушке, что мадам приехала из... заповедника.

— Тетушка, мадам приехала из леса. Она там живет.

— Я тоже пришла из леса. Но лес — это не дом. Что она там делала? И вы мне еще не сказали, замужем она или нет.

— Она приехала из леса...

— Я уже слышала это, Какпо.

Пока Гезо объяснялся с Шарлоттой, дьявольский круговорот мыслей проносился в голове Комбети. «Мы жили так спокойно, и вот, надо же, явилась сюда белая рожа. Приехала из леса! Но у белых есть своя больница, свои дома, пусть она туда и уходит».

— Белая рожа должна уйти туда, откуда пришла.

Какпо и Гезо едва сдерживали смех, но глаза выдавали их.

— Что она говорит? — спросила Шарлотта.

— Так, болтает,— ответил Гезо.

— Она действительно больна. Мы ее навещали в больнице, тетушка,— объяснял Какпо.

— Теперь она здорова. И может возвращаться в лес, раз она говорит, что это ее дом, раз она живет со зверями. Вы ничего не сказали о ее муже.

— Мы ничего не знаем. Когда вернется отец, ты спроси у него.

— Конечно спрошу.

«Предки мои! Они просто сошли с ума! Чтобы я стала жить под одной кровлей с белой рожей!» И Мань Комбети прошла в свою комнату.

Шарлотта слушала, ничего не понимая. Она не могла догадаться о причине внезапной неприязни Мань Комбети. Мальчики избегали ее взгляда.

— Я пойду отдохнуть, дети.

Они переглянулись. Им стало жаль ее. Сдержанный Какпо постарался ласково улыбнуться. Затем он круто повернулся и вышел.

— Хотите, я останусь с вами, мадам? — спросил Гезо.

Шарлотта благодарно протянула ему руку.

Когда Мань Комбети вернулась в гостиную, там никого не было. Это оскорбило ее еще больше. На крыльце она увидела Какпо. Уединившись, как всегда, мальчик о чем-то мечтал. Взгляд блуждал далеко, поверх здания больницы. При появлении Мань Комбети он вздрогнул.

— Ты один?

— Да.

— Я пошла на кухню.

Она спустилась по ступеням и оглянулась: глаза Какпо впились в ее широкую спину.

«Пьянчуга-повар, наверное, не очень скучал без меня. Постараемся узнать у него, как попала сюда чужая женщина. Белая женщина в доме! Хуже и не придумаешь!»

■

С самого утра у Тангары было отличное настроение. Радость и уверенность в себе наполняли его. Он сам не знал почему, но жизнь стала прекрасной! Он чувствовал свою силу. Пять операций прошли удачно. Может быть, это они придали ему бодрости? Или же падение процента смертности? Он не помнил, когда и почему им впервые овла-

дело это ощущение благополучия. Это было давно, очень давно, и причина теперь не имела никакого значения. Главное, что сегодня он вновь ощутил переполнявшую его радость. Словно он сбросил с себя всю тяжесть, которая давила его, как старые цепи. Он напевал.

— Ты один? — спросил он Какпо.

— Да.

— Мой мальчик, ты еще слишком молод, чтобы замыкаться в одиночестве. Да будет мир с вами, люди в этом доме!— произнес он по-французски африканскую фразу приветствия.

Первым вышел Гезо:

— Здравствуй, папа!

— Да будет с тобой мир!

— Да будет мир, папа.

— Очень хорошо,— сказал Тангара, глядя на дверь, за которой находилась Шарлотта.

Он ждал ее появления с нетерпением. Сердце медленно отсчитывало удары.

— Здравствуйте, доктор!

— Здравствуйте, мадам! Как вы себя чувствуете?

— Превосходно!

— Сейчас посмотрим. Подойдите поближе.

Он заставил ее показать язык и ощутил на своем лице легкое, ровное дыхание Шарлотты. Он оттянул ее веки: светло-зеленые глаза в упор глядели на него.

— Так, так. Вам можно выходить. Завтра я вас осмотрю более тщательно.

— А как в больнице?

— Я провел утром пять операций. И все благополучно. Только один ребенок, у которого... нет, не стоит рассказывать, а то я вам испорчу аппетит.

— Я предпочитаю ничего не знать.

— Я тоже,— засмеялся доктор.

Шарлотта сразу заметила, что Тангара в отличном настроении.

— Папа, вернулась Мань Комбети.

— Прекрасно. Она принесла мне травы. По такому случаю можно и выпить. Сейчас приготовим аперитив. В этом буфете у меня есть мартини, «сен-рафаэль», виски, минеральная вода. Можно сделать коктейль. Но, честно говоря, вам нельзя пить.

Он опустился на колени, чтобы достать из нижнего отделения буфета бутылки. Передавая их Гезо, он продолжал:

— А как готовится это питье? Правду сказать, я не имею представления, как делают коктейли... Гезо, принеси лед и воду.

— Можно по-разному,— ответила Шарлотта, сменив Гезо у столика.

Она села напротив Тангары. Расставляя бутылки, он нечаянно коснулся ее руки. У него захватило дыхание. Он посмотрел на бледные губы, на щеки, на морщинки у глаз, на блестящие зрачки. Горячая волна поднялась внутри него. Он боролся с собой. Он смотрел на женщину и не мог отвести взгляда от ее шеи, от кромки платья, за которым медленно поднималась и опускалась грудь. Он задыхался. Огромным усилием воли он заставил себя встать:

— Теперь дело за вами. Наполняйте бокалы.

— Мир с тобой, доктор! — сердито произнесла Мань Комбети в дверях гостиной.

— Ах, Комбети! Сестра моя! Как видишь, мир со мной!

— Предки мои! Я вижу. Я же здесь. Я принесла тебе травы и коренья. А эта белая рожа?

— Не говори так. Это же некрасиво. Разве ты не знаешь, что у нее скончался муж?

— Она недолго горевала.

— Почему ты так жестока к ней? Ты же ее не знаешь.— Улыбка играла в глазах Тангары, и все его изборожденное шрамами лицо сияло.

«Я ее не знаю? Мне достаточно того, что она женщина. Предки мои, она закатывает свои страусовые глаза. Надо идти к Бите Йену, и как можно скорее!»

Вслух же Мань Комбети произнесла:

— Я ее не знаю. Но я знаю, что ее муж умер из-за политики. Предки мои! За кого же ты меня принимаешь?

— Она наша гостья. Надо уважать обычаи.— Тангара повернулся к Шарлотте: — Вы знакомы?

— Мы не поняли друг друга. Мы не смогли поговорить. Мальчики старались переводить.

— Вы говорите обо мне,— зло прервала ее Мань Комбети.— Я не поняла, что вы сказали, но я знаю, что вы говорите обо мне.

— Да,— признался Тангара.— Ты обедала?

— Да, я поела. Я не умею есть за столом.

(Мань Комбети не садилась за стол со всеми, она ела, сидя на земле.)

Тангара следил за приготовлением коктейля, все время разговаривая с Шарлоттой:

— Не надо столько алкоголя... Добавьте минеральной воды.

— Папа, а нам дадут попробовать?

— Нет, Гезо. А где же Какпо?

— Он во дворе.

— Он всегда такой? — спросила Шарлотта.

— Обычно он или читает, или сидит один.

— Доктор, мне нужна тысяча франков,— сказала Мань Комбети.

— Тысяча? Для чего?

— Не спрашивай. Я все равно не скажу... И это вдова, только что потерявшая мужа! — добавила она, с укоризной глядя на Шарлотту.

— Хватит... Гезо, возьми у меня в столе тысячу франков.

Мальчик пошел в комнату и скоро вернулся.

— Вот, папа.

— Возьми, Комбети!

— Она больна, эта мадам? — спросила она, беря деньги.— Предки мои! Если бы все больные походили на нее, больница была бы совсем пустой. Я иду в город.

— Прежде, чем ты пойдешь в город, я хотел бы тебе показать одного больного, но после обеда.

— Поторапливайся, а то я спешу...

— Попробуйте, коктейль готов,— произнесла Шарлотта.

— Великолепно... Ах, как вкусно!.. Сейчас сядем к столу.

■

Больные и их родственники небольшими группками сидели на скамьях во дворе, греясь на солнце. В большой мужской палате было тихо, много пустых постелей: выздоравливающие вышли на прогулку. В палате оставались лишь тяжелобольные и их родственники. Тангара, Мань Комбети и Дьябате (он сегодня был дежурным врачом) окружили койку Реми Согло. Возвращения Мань Комбети врачи ждали с нетерпением. Больному делали вливания питательных растворов. Но сила инерции владела Реми. Все в нем, за исключением глаз и разбухшего языка, казалось, перестало жить, хотя еще и не умерло.

Из всех трудностей, с которыми приходилось сталкиваться Тангаре, это была самая непреодолимая. Сам Тангара не верил в чудодейственную силу различных магических предметов. И его не переставало удивлять, что многие жители его страны продолжают прибегать к подобным средствам.

Он неоднократно сталкивался с явлениями, которые приводили его в полное замешательство. Например, некоторые больные решительно отказывались от переливания крови. Почему? Иногда это было табу, а иногда оказывалось, что колдун произнес над ними свой приговор. В подобных случаях упрямство больного сводило на нет все усилия врачей и сестер. Больной отказывался жить и умирал. Тангара делал анализы, но выяснить причину смерти не удавалось.

Тангара вспомнил одного больного, которого привели родные и который боялся прикосновения иглы: на нем якобы лежал «запрет» на укол, даже на укол лесной колючкой. Как только ему сделали подкожное вливание, он потерял сознание, и пришлось срочно заняться его сердечной деятельностью во избежание серьезных последствий.

Такие явления были особенно часты во время уборки урожая. Тангара стал записывать случаи внушения. Он насчитал десятки различных видов. Он рассортировал карточки по возрасту, полу, повседневным занятиям и сезонным работам, по социальному положению больных.

Случай Реми не подходил ни к одной группе.

— Что с ним? — спросил он у Мань Комбети.

Женщина внимательно посмотрела на Реми, который не сводил с нее глаз. Сестра Фанта вытерла пену с его губ. Мань Комбети покачала головой:

— Предки мои! Он погиб! На нем лежит проклятье.

— Почему погиб? Он ничем не болен. Сердце работает нормально,— объяснял Тангара.

— Да, он живет... но он уже умер. Он уже давно умер,— повторила Мань Комбети.

— Послушай, Комбети, я тебя не об этом спрашиваю. Он болен? У него что-нибудь болит? Где?

— Он не болен, доктор.

— Так почему же он лежит без движения и ни на что не реагирует?

— Я говорю — он умер,— повторила Мань Комбети.

Тангара с трудом удержался, чтобы не закричать. Он стал нервным и раздражительным. Он взял руку Реми:

— Ну, посмотри же, Комбети, его рука живет, его глаза видят, его сердце бьется, как у тебя. Как же ты говоришь, что он мертв?

Мань Комбети снова внимательно осмотрела Реми, но своего мнения не изменила. Она не могла сказать, что именно у него болит.

— Он один знает, что он сделал.

— Что бы он ни сделал, здесь это не имеет никакого значения,— прервал ее Тангара.— Я хочу знать, что с ним. Попробуем еще раз прослушать его. В сотый раз. Надо же знать, чем он болен.

— Доктор, смотри,— Дьябате показал рукой на дверь.

На пороге стоял Бита Йен. Электрический ток прошел по палате. Разговоры стихли. Воцарилось молчание. Статный, величественный, с бритой головой — лишь одна прядь свисала над левым ухом,— с железным, украшенным ракушками браслетом на запястье, Бита Йен оглядел ряды справа, затем слева. Потом он медленно подошел и остановился в ногах у койки Реми. Сверхчеловеческим усилием воли Реми Согло заставил себя приподняться, мускулы лица страдальчески напряглись. Бита Йен смотрел на него в упор, его взгляд пронизывал несчастного насквозь.

У Мань Комбети от испуга глаза полезли на лоб. Кровь застыла в жилах. Всегда такая находчивая, она утратила сейчас всякую способность рассуждать. Подавленная, безвольная, она отступила, повинуясь безотчетному страху. Тангара заметил происходившую в ней борьбу и ободряюще шепнул:

— Не бойся. Он всего только человек. А ты же почти доктор. Доктор должен быть смелым.

— Одни верят в святость искупления, другие — в иную чепуху. Как же ей не верить и даже не бояться? Это очень необычный человек,— произнес Лей по-французски, чтобы его поняли только врачи и медсестры, и подошел к Тангаре и Мань Комбети.

— Ты здесь, Лей? Я не видел, как ты вошел...

— Четыре часа подряд я умоляю его разрешить мне написать его портрет. Я пытаюсь убедить его! Где там?! Какое-то табу запрещает ему позировать. Ты представляешь! Это же просто непостижимо!.. Привет, Дьябате! Здравствуйте, мадемуазель! И все это история с Фором...

При имени Лея Фанта вздрогнула. Отойдя в сторону, она спряталась за спину Дьябате, откуда могла вволю любоваться художником.

Некоторое время в палате стояла тишина. Затем губы Биты Йена зашевелились.

— Он умер,— произнес он.

— Кто?

— Он.— И Бита Йен показал пальцем на Реми.

Тангара приложил ухо к груди больного. Сердце не билось. Он проверил пульс. Пульса не было. Несколько секунд он внимательно смотрел на Биту Йена, затем опустил глаза на Реми Согло, неподвижно лежавшего с открытыми глазами, открытым ртом, опухшим языком.

— Это правда. Смотри, Дьябате, он умер.

Тангара был взбешен. Он отказывался понять эту почти моментальную смерть. Рот его недовольно искривился. А Бита Йен, как бы бросая вызов всем человеческим познаниям, выпрямился и протянул руку в сторону Реми:

— Я знал, что он здесь. Сегодня наступил его день.

— Иначе говоря,— пояснил Лей,— он не убил его. Он просто покарал его, ускорил его переход из жизни в небытие.

— Ты писал в статье, что Фор был наказан охотниками. Его помощник тоже получил по заслугам,— произнес Тангара и оперся руками о спинку кровати. Он не мог отвести глаз от мертвого.— Мне надо с тобой поговорить,— добавил он, обращаясь к Лею. Затем повернулся к Бите Йену: — Ты знаешь, что виновен в смерти двух людей?

— О человек, ты ничего не знаешь. Воистину, ты ничего не знаешь. Как ты можешь говорить, что я виновен в их смерти? Каждый сам виновен в своей смерти. Боги его приговорили. Они заставили его искупить его прегрешения. Сказать, что охотник не имеет права охотиться, значит говорить неправду. Это кощунство. Я здесь ни при чем. Теперь он со Старшими, и я забыл о нем.

Бита хотел идти, но Тангара удержал его, положив руку на плечо.

— Но я хочу знать... знать, отчего он умер. Я — доктор, и мне необходимо это знать.

Хитрые зрачки колдуна впились в его глаза. Сознание того, что этот человек обладает тайной, было невыносимо для Тангары. Он вспомнил первые годы учебы, практические занятия, когда человеческий организм представлял для него сплошную загадку.

Изборожденное морщинами лицо Биты Йена светилось умом. Он оглядел доктора с головы до ног и произнес:

— Значит, твои познания меньше моих? Что ж, я согласен... Я слышал, что ты родом из наших мест. Мой отец рассказывал мне о роде

Кунугу, о твоем роде... Я лишь посредник. А ты хочешь, чтобы я общался с умершими...

Он осторожно снял руку Тангары с плеча и вышел.

Мань Комбети не спускала глаз с колдуна. Она не пропустила ни слова из его разговора с доктором. Как только Бита Йен вышел, она выбежала вслед за ним. Тангара видел, что они о чем-то беседуют, что оба обернулись и посмотрели на него.

«О чем это они?» — подумал Тангара и решил, что, как только у него выпадет свободное время, он непременно пойдет повидать Биту Йена. Он должен знать.

— Странный человек, не правда ли? — сказал Лей.— Итак, мы можем поставить точку, хотя для властей дело далеко не закончено.

— Дьябате, сделай все необходимое! Лей, ты идешь со мной? Нам надо о многом поговорить. Ты читал мое письмо?

— О выходе из Фронта? Да! Там на тебя не сердятся. Видишь ли, Фронт напоминает реку. Ее течение уносит сор и выбрасывает его где-нибудь на берег. Проходит время, и, если отбросы не разложились, река подхватывает их и несет дальше.

— Ты меня даже не спросил, почему я вышел из Фронта.

— Ты же сам написал в письме: из-за моей статьи «Агнцы Авраамовы» — о Форе и Реми.

— Знаешь что, Лей, приходи завтра в два часа ко мне на чашку кофе!

— Завтра? — прикинул Лей.— Ладно, завтра я могу. До скорого, Дьябате. До свидания, мадемуазель.

И, выходя из палаты, он повторил про себя: «Шальная Африка».

XIII

Харматтан*

Девять часов вечера. Все кругом затихло. После работы Фуссейну быстро вымылся и, нарядившись в праздничное бубу, незаметно прошел к флигелю доктора. Не решившись спросить, дома ли Мань Комбети, он присел на веранде, скрестил ноги и поставил перед собой кору. Бубу пышными складками ниспадало на ступени.

И вот его большие пальцы коснулись струн, заставили их зарыдать. Пальцы бежали все быстрее и быстрее, они то поднимались, то стремительно сбегали вниз и снова поднимались. Тишина ночи наполнилась музыкой. Заискрились, задрожали, закружились сверкающие звуки. Взлетели ввысь сухие, звучные аккорды. Они то сливались в медленном падении, то разбегались, образуя все новые и новые вариации, иногда совсем короткие, а иногда подолгу задерживались на низких дрожащих нотах и, наконец, сливались в торжественно-величавой гармонии.

Фуссейну сопровождал свою игру то долгими, то едва уловимыми вздохами. Что-то бормоча про себя, он тихо покачивал головой. Надтреснутый голос рассказывал длинную-длинную историю...

В этот вечер Фуссейну тосковал по деревне, в которой вырос. Он посвящал музыку родным краям. Когда-то в этой деревне находился штаб Самори Туре **, и на холме сохранились прямоугольники тол-

---

* Харматтан — горячий суховей, который дует в Западной Африке с востока или северо-востока в период с декабря по март.

** Руководитель борьбы против французских колонизаторов в Судане в конце XIX в.

стых крепостных стен. Музыка рассказывала о его юности, напоминала о его семейном очаге и о холме, который возвышался над широкой красной равниной — нет, не красной, а матово-алой, словно расстеленный кусок бархата. На нем отчетливо вырисовывались гнезда термитов, похожие на кисти винограда. Земля была обожжена лесными пожарами, все хранило следы огня: кора, кустарники, почерневшие деревья. А над землей несся харматтан, поднимая тучи пепла, посыпая им степь от края до края, стирая все краски с ландшафта.

В памяти Фуссейну вставали приверженцы великого Самори, его воины-софа *. Пальцы рождали целые созвездия звуков. Потоки тонкой, чистой мелодии лились в ночи.

Грусть воспоминания? Тени умерших?

Слезы катились по лицу музыканта, но то были слезы счастья. Он не выдержал и запел. Голос его вторил галопу всадников.

Вот они несутся во весь опор, конники Самори, подымая столбы пыли, навстречу ветру, криками и улюлюканьем подгоняя коней. Просторные бубу раздуваются от ветра, шарфы развеваются по воздуху, как гривы и хвосты лошадей. Они несутся в атаку, и их большие конические каски пристегнуты ремнями. Сверкает великолепная конская сбруя. Седла, ремни, подпруги украшены тиснениями и длинной кожаной бахромой.

Тоска? Мечты? Пальцы Фуссейну бежали по струнам, и струны пели и рассказывали. Видения, такие непохожие, сменяли одно другое.

Пожар в зарослях! Величественный, всепоглощающий, стремительный огонь вдруг делается совсем незаметным, ползет тоненькой безмятежной струйкой. Но вот он внезапно приходит в ярость и мчится вперед, карабкается на деревья, вьется вокруг веток, скачет по кронам. А внизу пламя растекается спокойно, нежно обволакивая травы. Язычки его играют, резвятся, падая, извиваясь по земле.

Фуссейну засмеялся, и вместе с ним смеялась кора. Он играл для себя. Он любил... Что? Музыку? Женщину? Внезапно ритм изменился. Он стал томно-ленивым. Напев музыканта зазвучал протяжно.

«Былое величие древней Африки! Времена предков, они возродятся из-под пепла харматтана!»

Голова качалась в такт песни.

Он снова увидел себя молодым, окруженным людьми. Какой-то человек вышел вперед, топнул ногой и сказал, покоренный его музыкой: «Дьяли **, я дам тебе сто быков и столько же коров. С завтрашнего дня и до конца дней твоих я буду кормить тебя и твою семью». Все зашумели одобрительно и восхищенно. Благодетель начал танец с саблями — он то кидался в атаку, то замирал, словно в засаде. О, радость победы! А вслед за ним уже выходят четыре молодые девушки в роскошных нарядах. Легкие, колеблющиеся, как струи реки, ласковые, как лунный свет, прелестные амазонки ведут хоровод. А в центре круга — раненая воительница. Они должны спасти ее. Они стелят по земле бубу, они кружатся, врываются в гущу сражения, вглядываются в далекий горизонт, молят богов. Они сходятся все теснее, теснее, круг почти сомкнулся, затем они расступаются, а в центре продолжает бороться со смертью раненая амазонка. Тогда они запевают песнь, и в ночи звучит гимн амазонок.

Музыкант резко ударил по струнам, склонил голову, и тяжкий вздох вырвался из его груди.

Тангара, Шарлотта, дети сидели на веранде, не шевелясь. Они слушали. Шарлотта не улавливала смысла, но отдельные места глубоко

* Софа — всадник в армии Самори.
** Музыкант и певец.

врезались в ее память. Она видела, как блестят глаза Тангары. А там, вдали, в окнах больницы темнели фигуры, прилипшие к окнам. Музыка поглощала их. Мань Комбети сидела рядом с Фуссейну.

Пальцы музыканта бежали по струнам. Неведомая сила владела им. Видения сменялись.

Длинный ряд людей. Они склонились, и спины их напряглись, как струны. Пот течет по утомленным телам. Они трудятся изо всех сил. Идет прополка. Кто быстрее? Бесконечно ровные борозды, дымится земля, сдобренная утренней росой и человеческим потом. А за ними ряды девушек в длинных рубашках. Косички уложены на макушке, и лишь торчат хвостики, пушистые, как у белки, или тонкие, крысиные. Они сеют. Топнув пяткой, они проделывают ямку, бросают в нее зерно и засыпают ямку носком. Музыканты бьют в тамтамы, аккомпанируя песне девушек и стараясь превзойти один другого. Нет, это не адский труд, а сама жизнь. Мужчины, женщины все вместе созидают в труде, и этот труд для них — радость. А за ними стелется богатая плодоносная земля, накаленная солнцем и жадно пьющая влагу...

— Фуссейну, уже поздно. В больнице не спят,— сказал Тангара.

Под пальцами музыканта снова послышался шум харматтана. Он говорил о жизни, о настоящей жизни, о повседневной жизни. Мужчины и женщины, говорил он, будут воспевать жизнь. А мне это не дано. Ничто не может разорвать пуповину, связывающую людей с родной землей. Он резко ударил по струнам и замолк. Шарлотта зааплодировала. Только Шарлотта. Мань Комбети спросила:

— Чего это она хлопает руками?

— Она не знает,— ответил Тангара. И добавил по-французски: — Простите меня, но я должен сказать вам, что здесь не принято аплодировать... Артиста или музыканта благодарят или одаривают.

— Ах, я опять оплошала...

— Нет, нет, это не страшно. А теперь, мальчики, пора ложиться. Завтра надо рано вставать.

— А Гезо спит, папа.

— Разбуди его.

— Спасибо, Фуссейну. Ты настоящий артист. Я не знал этого.

— Да что ты, доктор! Я так давно не играл. И я очень рад, если моя музыка понравилась... Возможно, мадам...

— Ах, мадам? Так ты, значит, играл для мадам? — прервала Мань Комбети.

— Нет, женщина. Ты знаешь, для кого я играл.

— Фуссейну, не забудь завтра сходить на рынок.

— Не беспокойся, доктор, завтра я превзойду самого себя.

Тангара и Шарлотта ушли в дом.

— Я пойду, женщина. Мой путь далек. И на дорогах много солдат из-за этих «да» и «нет». Не следует долго задерживаться в европейском квартале. Могу ли я оставить у тебя кору до завтра?

— Ты собираешься уходить? Может, посидишь еще немного?

— Как хочешь,— в голосе Фуссейну прозвучали уверенные, победные нотки.

■

Обед подходил к концу. Тангара сидел напротив Шарлотты и по привычке подбирал хлебные крошки. Он не решался сообщить Шарлотте о смерти Реми, боясь нарушить вчерашнее хорошее настроение. Весело, с легкой иронией он рассказывал о поведении некоторых больных на утреннем приеме. Они смеялись до слез.

— А теперь я приготовил для вас десерт. Как видите, я начинаю конкурировать с Фуссейну. Ни дети, ни вы, Шарлотта, не знаете, что когда я учился в Париже, то считался лучшим кулинаром в нашей компании,— признался Тангара, не поднимая глаз от скатерти.

Шарлотта молча смотрела на него.

— Гезо, принеси десерт. Какпо, сегодня воскресенье, и твоя очередь убирать со стола.

— Нет, папа. Сегодня должен убирать не я, а Гезо.

— Ну что ж, подавай десерт, Какпо!

Дети встали. Шарлотта хотела помочь им.

— Нет, нет, не надо, мадам Фор. Здесь у каждого есть свои обязанности. Все делается по очереди. Как обед?

— Я даже вздохнуть не могу. У меня живот...— проговорил Гезо, выпучив глаза.

— Рис был очень вкусен,— подтвердил Какпо, ставя блюдо на стол.

— Сын мой, еда — это жизнь,— произнес Тангара и встал.— Я тоже хорошо поел. Какпо, а ты спросил мадам, хорошо ли поела она?

— Мадам,— проговорил Какпо, складывая салфетку,— хорошо ли вы поели?

— Да... Ты можешь сказать твоему папе, что я хорошо поела и что я сыта.

— Папа, мадам говорит, что она довольна, что она хорошо поела,— повторил Какпо, давясь от смеха.

— Итак, все довольны. Сын мой, быть гостеприимным хозяином — священная обязанность человека. Запомни.

— Да, папа. Я буду помнить.

— У вас все делается очень церемониально,— заметила Шарлотта, пододвигая салатницу.

— Вам запрещено работать. Вы здесь находитесь на положении выздоравливающей.

— Па, все сделано,— заявил Гезо и сел на свое место.

— Очень хорошо... Да, одну минуту. Я поставлю кипятить воду для кофе. Мадам Фор, вам разрешается выпить третью рюмку. Я сам тоже выпью.

Она налила вино. Тангара унес свой бокал в кухню. Гезо и Какпо, принаряженные в праздничные штаны, рубашки и курточки, перемигивались.

— А в прошлое воскресенье мы ели лань.

— Нет, это была не лань, а анти... анти...

— Антилопа,— договорила Шарлотта.

— Да, антилопа. Она из семейства жвачных животных. А потом были страусные яйца.

— Надо говорить страусовые,— поправил Гезо, очень довольный тем, что может похвастать своими познаниями.— По воскресеньям у нас всегда вкусный обед. Потому что папа дома. А в Париже по воскресеньям всегда бывали пирожные. Ах, как я люблю пирожные...

— Но в городе ведь есть кондитерская. Что вы обычно делаете по воскресеньям? — спросила Шарлотта, поднося рюмку к губам.

— Идем в кино. На дневной сеанс. Кино про ковбоев. Вы знаете Джона Уэйна? Здорово, правда?

— Да.

— Он вам нравится?

— Да, Гезо.

— А Чарли Чаплин?

— Я тоже его люблю.

— Он очень смешной. Вы пойдете с нами в кино?

— Если хотите.

— О да, мы очень хотим. Правда, Какпо?

— Я хочу, но надо спросить папу.

— Вот, вот. Я слышу, вы нападаете на Какпо. Так что вы хотите у меня спросить?

Тангара сел и стал раскладывать на тарелки фруктовый салат. Разговоры смолкли. Первой заговорила Шарлотта:

— Очень вкусно, очень.

— Правда, па, вкусно.

— Вы придаете мне храбрости. Я и так уже подумывал, не бросить ли мне медицину и не заняться ли кулинарией. Надо поразмыслить.

Шарлотта улыбалась. Несмотря на общее хорошее настроение, улыбка ее была сдержанной. Она не решалась быть сама собой. Но радушие хозяев было заразительным. Понемногу забывались перенесенные испытания. Она стала забывать и старалась забыть все. Ее душа наслаждалась мирным счастьем этого дома. Правда, изредка среди разговора в ее мозгу внезапно всплывало болезненное воспоминание. Но она почти совсем не думала о муже.

Она с удовольствием отмечала то доброе согласие, которое чувствовалось в отношениях доктора с детьми. Эта жизнь не позволяла ей поверить, что она обречена на одиночество. Шарлотта должна была признаться себе, что никогда раньше ей не приходилось видеть такого доброго согласия в доме. Она старалась припомнить свое прошлое и даже в ранних детских воспоминаниях не находила ничего похожего на эту дружескую атмосферу. Ни во время своего замужества, ни раньше, в своей семье. Ее детство было прервано войной. Страшные ночи тревог и бомбежек, когда, вся съежившись, она в ужасе слышала выстрелы и взрывы бомб, которые отзывались похоронным звоном по отцу, по матери, по соседу.

Она бежала из этой Франции в Африку. Она вышла замуж за Антуана Фора не по любви, но и не по расчету. Она спасалась от одиночества. Она готова была последовать за первым встречным, лишь бы уехать из Франции, на острова Океании или куда угодно еще. Туда, где жизнь — рай. Об Африке она не знала ничего. Антуан заманил ее в сети своего воображаемого мира. Сколько раз она собиралась вырваться из этих сетей! Но смола привычки держала ее прочно.

«Такая жизнь мне никогда не надоест»,— думала она. Она говорила мало из опасения выдать свои мысли. Каждое утро она повторяла себе, что пора вернуться в заповедник. Но заговорить об этом не осмеливалась, боясь, что доктор разрешит ей покинуть его дом.

— Па, а мы пойдем в киношку вместе с...

— Гезо, надо говорить не «па», а «папа» и не «киношка», а «кино».

— Я могла бы пойти с ними в кино. Целую вечность я нигде не была,— произнесла Шарлотта просящим голосом.

— К сожалению...

— Ах!

— Еще слово, Гезо, и ты не пойдешь в кино. Лучше отнесите тарелки на кухню и посмотрите, не закипела ли вода,— произнес строго Тангара.

Мальчики послушно убрали со стола и вышли.

— Они у вас просто замечательные. Они никогда не ссорятся между собой?

— Изредка. Какпо сильнее. Но вызывает на драки всегда Гезо. Если они не ладят, я их оставляю вдвоем в их комнате. Пока не помирятся, сидят у себя. Они, конечно, всегда приходят к согласию. Я стараюсь не оправдывать ни одного, ни другого. Какпо медленнее соображает. Ему труднее даются занятия. Но если он понял, то по-настоящему. Он, например, по арифметике лучший в классе. Гезо схватывает на лету, но забывает тут же. В школе у них есть символ...

— Какой символ?

— Необычный символ. Просто это какой-нибудь предмет, который директор школы дает учителям. По понедельникам учитель, придя в класс, отдает этот символ одному из учеников, который должен передать его тому, кто употребит в классе какое-нибудь африканское слово. Затем этот ученик будет следить, кто следующий скажет слово на родном языке, и передает символ ему. В общем, эта мера принята для того, чтобы запретить детям говорить на местных языках.

— Но ведь в своих семьях они говорят на родных языках?

— Это не важно. В конце недели подводят итог. Учитель спрашивает у первого ученика, кому он передал символ. Он показывает, тот называет следующего, третьего и так далее. А затем их всех наказывают.

Шарлотта возмутилась столь деспотичными мерами воспитания.

— Но с тех пор, как Гезо здесь. Какпо больше не наказывают. Какпо очень вспыльчив и часто дерется, заступаясь за Гезо. А Гезо — индивидуалист. По-видимому, сказывается влияние кормилицы, очень доброй женщины, но он был один с нею и...

Тангара умолк. Длинные пальцы его тонкой руки что-то нервно выстукивали на столе. Лицо доктора было спокойно, но в его молчании Шарлотта заметила какой-то новый, незнакомый оттенок. Ей очень хотелось узнать все о Гезо.

— Одиночество делает людей малообщительными,— проговорила она как бы невзначай, без видимой связи с предыдущим разговором.

— В будущем году я хотел бы взять мальчиков с собой во Францию.— Затем добавил: — Вы можете курить.

Откуда у Тангары такая власть над нею? Конечно, он ее лечащий врач. Ну и что же? Она не давала ему никаких прав. Но в действительности она признавала за ним все права. Более того, она принимала это как должное. «Почему я здесь? Ведь существует же больница для белых и управление вод и лесов, которому подчинялся Антуан?» Она закурила сигарету и глубоко затянулась: щеки ее ввалились, и ноздри затрепетали.

«Сколько алчности в этой привязанности к курению»,— подумал Тангара.

— Вы любите курить?

— Гм... гм..— Она выпустила кольцо дыма.— Человека можно узнать по его манере курить. Табак заполняет пустоту в жизни многих людей. Я где-то читала, что женщины курят из потребности доказать свою независимость по отношению к мужчинам. Большинство женщин начало курить во время последней войны. А что вы думаете о табаке?

— Я ведь не курю и могу судить о табаке только с точки зрения врача. В данном случае я придерживаюсь мнения известных онкологов. Табак является причиной тысяч болезней. А здесь, в Африке, невыделанный, в листьях, табак приносит огромный вред. Табак иссушает организм. Обратите внимание на психологию молодого человека, который только начинает курить. Как правило, основная черта его характера — робость. В большинстве случаев молодые люди начинают курить из бахвальства, чтобы доказать самим себе, на что они способны. Возьмите другой пример: когда юноша идет на первое свидание — это относится одинаково к африканской и европейской молодежи,— чтобы придать себе солидности, утвердить свою личность, он покупает пачку сигарет, надеясь придать себе вес в глазах своей Дульцинеи. И еще один пример. О нем не задумываются, но ведь несомненно, что кино оказывает дурное влияние и приучает молодежь курить. Сколько фильмов показывают нам героев или героинь обязательно с сигаретой во рту. Как правило, в критический момент герой элегантным жестом тушит сигарету или лихо выплевывает ее в сторону на несколько метров. Здесь идут

главным образом ковбойские фильмы, в которых герои сами скручивают свои сигареты. А потом голодные мальчишки подбирают окурки, заворачивают их содержимое в первый попавшийся кусок бумаги и курят. И самое удивительное, что ведь само государство приучает их к курению. А что вы скажете по поводу «последней сигареты» приговоренного к смертной казни? Это же невероятно! Если вы должны казнить этого человека, что ж, убивайте! Но предлагая ему последнюю сигарету, правительство доказывает лишь свое безволие, как, впрочем, и человек, который принимает эту милость.

— Вы не курите, и потому...

— Но я курил... прежде... И еще один факт. Европейские женщины курят больше, чем их африканские сестры. Когда я был во Франции, я обратил внимание, что некурящий мужчина выглядит более странно, чем женщина с папиросой во рту на улице... Но куда же они подевались с кофе? Какпо! Какпо!..

— Да, папа,— послышалось из кухни.

— Где же кофе?

— Сейчас будет. Фильтр медленно пропускает.

— ... И возвращаясь к нашему разговору, я хотел бы добавить, что в старинном африканском обществе табак и орех кола так же, как и приданое, имели символическое значение. Муж, который отвергал жену, должен был произнести: «Если кто другой поднесет тебе табак или орех кола, ты вольна их принять». Эта фраза означала развод.

— А если женщина хочет развестись, какие слова должна произнести она?

— Право, не знаю. Во-первых, она должна вернуть приданое. Но если кто-нибудь хочет взять ее в жены, он спрашивает: «Могу ли я предложить тебе табак?» — и женщина или ее родные отвечают: «Да».

— А почему нельзя предложить табак жене другого?

— Родные или близкие могут ей предложить. Но кто-нибудь чужой, из другого рода или племени, не имеет права. Причин здесь много. Но главная, несомненно, та, что в табак или в орехи кола легко подмешать или подлить любовное зелье. Оно может возбудить женщину и привести помимо ее воли к измене... По-видимому, наш кофе будет готов только завтра.

На пороге появился Какпо с чашками и сахарницей:

— В итальянских кофейниках кофе проходит очень медленно. Но зато он вкуснее и будет лучше утреннего.

— Ты уже пробовал?

— Нет, но я положил больше кофе. Сейчас принесу.

— Побыстрее, а то вы опоздаете.

Какпо поставил на стол алюминиевый кофейник.

— Возьми деньги и не забудь вернуть мне сдачу. Да не дерись с белыми мальчиками. Ясно? Иначе три воскресенья ты останешься дома без кино.

Шарлотта недоумевала: как доктор находит время заниматься детьми? Утром, осмотрев ее, Тангара присутствовал при купании сыновей. И это был совсем другой человек, не похожий на врача, который только что осмотрел ее, и на того человека, который нес всю ответственность за больницу. В нем сочеталась материнская заботливость с суровой отцовской нежностью, и эти черты подсказывали мысль о других качествах, таившихся в его душе. Дети были хорошо воспитаны. Доктор справлялся с ними без женской помощи. Мальчики сознавали свою ответственность... «Не нарушит ли добрый порядок дома появление новой женжины, кроме Комбети?» — думала Шарлотта.

Тангара разливал кофе.

— Вам с сахаром? Я люблю очень сладкий...

Гезо и Какпо предстали для осмотра перед выходом в город.

— Все будет в порядке, да? Я увижу вас после кино.

— До свидания, мадам,— сказали ребята.

— Вы потом расскажете мне фильм?

— Хорошо, мадам. До свидания, папа.

Едва перешагнув порог, мальчики пустились во всю прыть.

Тангара и Шарлотта продолжали болтать обо всем и ни о чем. Время шло. За дверью, затянутой металлической сеткой, раздался стук.

— Входи, Лей! — пригласил Тангара.

— Привет! Здравствуйте, мадам! — произнес художник, присаживаясь.

— Чашку кофе или стакан старого бордо? Бордо из запасов полковника Люка.

— Кофе.

— Я пойду отдохну,— сказала Шарлотта. Она не знала, следует ли ей остаться или уйти.

— Простите меня, я вас не познакомил. Лей — наш национальный художник и журналист, автор статьи...

— «Агнцы Авраамовы»,— закончила Шарлотта, пристально глядя на Лея.

— Да. Как дела с референдумом? — спросил Тангара.

— Можете делать прогнозы,— Лей положил локти на стол.— Кто победит? Достоинство или кабала? Три с половиной миллиарда колониальных франков вложены в кампанию за ответ «да». Я только что прочел об этом в «Новой Африке» от девятнадцатого числа. Они упрятали Дьембе в тюрьму, распустили территориальный совет и собрание, а на руководителей кантонов и государственных чиновников действуют или угрозами увольнения, или подкупами. Все приходы, духовные семинарии, священники, епископы, проповедники — все открыто призывают паству голосовать «да». Армия, парашютные войска, жандармерия, полиция — все силы стянуты, чтобы заставить население проголосовать «да»! Вы видите, с кем приходится иметь дело Фронту.

Он отпил кофе. Брови его нахмурились.

— В таком случае, мы окажемся побежденными,— сказал Тангара.

— Мы? — переспросил Лей.— Наконец-то! Важно, сколько будет голосов против. Какой процент «нет». Вот ведь в чем суть вопроса.

— А какое отношение ко всему этому имел Антуан? — отважилась спросить Шарлотта.

— Мадам, мы очень сожалеем. Вы должны знать, что власти еще не сказали своего последнего слова.

По тону Лея Тангара понял, что тот не желает продолжать этот разговор. Обычно они беседовали очень откровенно, как настоящие друзья. Теперь же Лей перевел разговор на другую тему. Тангара решил, что перемена объясняется его выходом из Фронта.

Чтобы прервать наступившее неловкое молчание, Шарлотта произнесла:

— Мне больше всего нравится вот эта последняя картина.

Картины были совсем разные. Первая — она висела напротив входной двери — изображала торговца человеческими костями. Он сидел полуголый, с безмятежным видом, покуривая длинную трубку, а перед ним громоздилась куча наваленных скелетов. Вокруг толпились мужчины, женщины — это был рынок. Номе, укутанная в белую ткань, стояла в пол-оборота и держала ребенка, который тянулся ручонками к ее груди.

Вторая картина висела в углу. На ней виднелась группа мужчин атлетического сложения. Они сидели вокруг калебасы на палубе баркаса, втащенного на берег бухты. Баркас был привязан к кусту, одиноко тор-

чавшему на желтом песке. Один из мужчин держал шест и пристально глядел на заходившее солнце.

Последняя картина изображала Номе одну, в кресле.

— А я,— ответил Лей,— предпочитаю торговца скелетами. Это образ харматтана... В нем слились прошлое и будущее. Ведь африканский рынок — единственный в своем роде спектакль, театр без костюмов. Он — как живительная вода. Там все — актеры и зрители одновременно. Именно там разыгрывается драма жизни, их жизни, жизни колониального народа. Человек с трубкой, торгующий останками, несет в себе истину. Медленная неминуемая смерть — вот удел народа, неизбежный результат режима, который правит нами. А вокруг народ, и весь этот народ обречен на вымирание. Тот старик, с ватной бородой, сам похожий на скелет, смотрит на кости и спрашивает себя: «Где же все те, кто жил когда-то? Чьи это останки? Чьи кости валяются здесь?» А Номе (это моя любимая модель) — само воплощение африканской земли, знойной и плодородной. Она созрела. Но руки ее связаны, ее горестные глаза говорят сами за себя. А дитя — его тело усыпано белыми точками — показывает на торговца и спрашивает: «Что же будет со мной завтра?» Он ждет ответа от родителей. Тяжелая забота легла на лицо отца. Лицо матери не выражает ничего, ни гнева, ни злобы. Она только спрашивает себя: «Что ждет моего сына завтра?» Главная мысль картины такова: вся Африка — могила для африканцев... А над головами плывет багряно-лиловая туча — харматтан! Нет, это не только сухой и жаркий ветер! Это рыдание. Это плач четырех веков, это крик миллионов и миллионов погребенных голосов. Их неумолчный вопль звучит в наших ушах, он ведет из мрака прошлого к лучезарному будущему. Вот что такое харматтан!

— Ваше объяснение блестяще,— ответила Шарлотта,— но я все-таки предпочитаю третью картину, с ее чистотой линии.

— Это вопрос языка. Номе больше говорит взгляду. Это — принаряжавшаяся Африка. А харматтан — это крик души. Он живет в нас, как зародыш в чреве матери. И ничто не сможет оторвать нас от материродины... Как-то утром я встретил женщину...

Он замолчал. Казалось, он видел эту женщину мысленным взором. Потоки солнца заливали столовую мягким светом, падали на лицо Лея, на его руки, которые машинально играли чашкой.

— ...Из колониального магазина вышла беременная женщина и столкнулась с группой парашютистов. Она испугалась и инстинктивно прикрыла руками живот.

— Ах!— воскликнула Шарлотта.

— Ей стало больно,— сказал Тангара.

— От испуга при этой неожиданной встрече с солдатами у нее, по-видимому, шевельнулся ребенок.

— Безусловно! — подтвердил доктор.

— В эти доли секунды на ее лице было написано столько ненависти к оккупантам! Ее взгляд скользнул по автоматам... Я увидел вдалеке танк, он стоял на углу рыночной площади, и я пожалел, что у меня не было с собой бумаги для рисования.

— Ты стал бы рисовать ее?!— удивился Тангара.

— А почему бы и нет? Каждое утро я обхожу рынок в надежде встретить ее снова, но безуспешно.

— Военные власти не допустили бы такой картины. Разве ты не понимаешь этого?

— Почему не допустили бы? Ты полагаешь, что я изобразил бы парашютистов в виде чудовищ? Или тебе неприятно было бы увидеть оккупационную армию глазами народа?

— Нет, я только подумал, что они не разрешили бы.

— Можно еще чашечку кофе? Благодарю... Считается, что живопись доставляет интеллектуальное, эстетическое наслаждение. Я не согласен. Я продаю свои картины европейским туристам. Для них это — экзотика. А образованные африканцы покупают картины, подражая европейцам. И это очень печально. Народ в своей подавляющей массе еще не знает эстетического наслаждения. Он еще не научился понимать картины...

Шарлотта переводила взгляд с одного на другого. Она чувствовала себя легко и свободно. «Неужели нужна была смерть Антуана для того, чтобы я могла так непринужденно беседовать с ними? Знакомо ли им одиночество? Что одушевляет их? Что придает им энергию?» Она страстно завидовала им. Ей хотелось сказать им так много. Она упрекала себя, сама не зная, за что. И в то же время она чувствовала себя чужой в их мире, хотя они и говорили по-французски. Она хотела присоединиться к разговору, высказать свое мнение, но невольно спрашивала себя, не обидит ли их ее вмешательство. И сама возмущалась своими опасениями. Огромным усилием воли она отбросила эти мысли и заставила себя прислушаться.

— Я вовсе не жажду бессмертия,— говорил Лей.— Мое единственное желание — участвовать в создании нового общества.

— Весьма благородные стремления,— с иронией заметил Тангара.— А как митинг?

— Запрещен.

— Почему?

— Такова воля правительства.

— Но вы же имеете право?

— Право?! Мало ли что называется правом. Хороша свобода у нас в стране, нечего сказать...

XIV

Премьер-министр

Снаружи раздалось тихое бормотание мотора, потом хлопнула дверца машины. За сеткой двери показался высокий силуэт. Тангара сразу узнал приехавшего:

— Премьер! И без свиты! — Доктор встал навстречу гостю.— Входите!

Тамбан Юссидо, председатель совета министров, вошел, держа шляпу в руке, и окинул взглядом столовую:

— Прошу прощения, мадам, что потревожил ваш послеобеденный отдых.

Он протянул руку Шарлотте.

— Наш премьер-министр Тамбан Юссидо,— представил его Тангара.

Смущенная Шарлотта не знала, как обратиться к премьеру: «ваше превосходительство» или просто «господин». Она пробормотала что-то не очень связное, пожала протянутую руку и встала.

— Сидите, прошу вас, мадам. Как вы себя чувствуете? Мое правительство и лично я очень опечалены постигшим вас горем. Я сделаю все, от меня зависящее, чтобы пролить свет на это дело. Садитесь, прошу вас.

— Благодарю,— сказала Шарлотта и села.

«Какой лжец!» — подумал Лей, не двигаясь с места. Тамбан Юссидо смерил художника высокомерным взглядом: он не забыл его статью «Картонные марионетки», напечатанную месяца два назад.

— Прошу вас, садитесь,— пригласил Тангара, досадуя в душе, что случайная встреча Тамбана Юссидо и Лея произошла именно у него в доме.

Лей поднялся и почтительно поклонился:

— Здравствуйте, господин министр!

Когда он заговорил, столовая вдруг стала слишком тесной.

— Вам пора отдохнуть, мадам Фор.

— Да, да. Я как раз собиралась пойти прилечь. Господа, прошу извинить меня...

— Пожалуйста, мадам,— поспешил ответить Тамбан Юссидо, слегка наклоняя голову. Как только Шарлотта скрылась за дверью, он повернулся к художнику: — Лей, всему есть границы! Если бы я мог предположить, что увижу тебя здесь, то не приехал бы. И я сожалею, Тангара, что ты встречаешься с подобными людьми.

— Чашечку кофе? — предложил Тангара.

— Спасибо, нет.

— Рюмочку коньяка или ликера?

— С удовольствием.

— А ты, Лей?

— Нет, спасибо.

Тангара достал бутылку зеленоватого ликера и два маленьких серебряных стаканчика. Он вспомнил последний визит премьера: Тамбан предлагал ему принять участие в управлении страной. Тангара отклонил это предложение.

Тамбан Юссидо сел, заложив ногу на ногу, старательно поправил складку на брюках. Из левого внутреннего кармана пиджака он достал массивный золотой портсигар, взял сигарету и закурил. Молчание становилось тяжелым.

— Ваше здоровье,— произнес Тангара, поднимая стакан.

— Ваше здоровье,— ответил премьер-министр и поднес стаканчик к губам.

— Кстати, Тангара, ты не читал нашего последнего номера? — спросил Лей.

Тангара не ответил.

— Тем лучше.— Лей достал газету из кармана.— Статья называется «Буржуазные паралитики набивают карманы».

Он начал читать:

— «Нет!» — скажем мы 28 сентября.

«Нет!» — всем буржуа, устроившимся на теплые местечки!

«Нет!» — колониализму, вырядившемуся в новый костюм!

«Нет!» — буржуазным паралитикам, гнилому оплоту марионеток!»

Он читал долго, искоса поглядывая на премьера: круглая голова, коротко подстриженные волосы, уголки рта опущены, широкое лицо, обвисшие щеки. Тамбан Юссидо сидел мрачнее тучи.

— «Крестьяне, рабочие, служащие, вы трудитесь на банду сторонников «да», которые стоят во главе нашего ничтожного правительства, на этих мелких мошенников и папенькиных сынков, которые призывают вас голосовать «да», чтобы потом образовать новый правящий класс.

Гражданин, твое «нет» положит конец воровству, семейственности, унижению. Во имя твоего достоинства и достоинства твоих родных голосуй «нет». «Нет!» — за нашу родину-мать Африку!»

В комнате воцарилось гнетущее молчание. Тангара не знал, что сказать. Он сложил руки на груди, и пальцы его нервно бегали по рубашке. Пока Лей читал, он следил за выражением лица премьер-министра. Вот Тамбан положил руку на стол. Накрахмаленные манжеты с золотыми запонками. Еле заметно дрожит большой палец. Жирная фи-

зиономия наливается кровью от глухой ярости, которую он не в силах скрыть.

— «У нас есть доказательства. Строятся виллы, и все могут увидеть их. И хотя эти виллы еще не закончены и в них никто не живет, заключен драконовский контракт на сдачу вилл в аренду, который поддержал министр финансов и подписал уполномоченный по местному бюджету. Иначе говоря, местный бюджет оплатит все строительство, а виллы не станут собственностью страны.

Это явный факт разбазаривания общественных средств, которыми ведают, к сожалению, колониальные власти».

— Это низкая клевета! Вы посягаете на честь правительства! — Премьер-министр старался говорить спокойно.— Мы действительно предлагаем населению голосовать «да»... потому что Сообщество, созданное генералом де Голлем, есть единственный выход для нашей страны. Если другие африканские государства примут решение «отделиться», тем хуже. Очень жаль, Тангара, что ты находишься среди тех, кто сеет смуту, среди теоретиков перманентной катастрофы, врагов родины, агентов международного коммунизма. И чем скорее ты порвешь с ними, тем будет лучше...

— Что ж, давайте поговорим о Сообществе. Зачем нам присоединяться к капиталистической Франции? Франция будет иметь своих представителей повсюду, где ей захочется... А мы станем просто ее собственностью. Наши экономические интересы совершенно отличны от интересов Франции, более того — диаметрально противоположны им. Почему потребовалось потратить три с половиной миллиарда франков, чтобы купить достоинство...

— У меня создается впечатление, что вы поражены каким-то психическим комплексом независимости.

Премьер-министр убрал руку со стола. Если бы он не пришел без приглашения, он был бы убежден, что его заманили в западню. «Неужели Тангара связан с этими кругами? — думал Тамбан.— Почему он отказывается принять участие в управлении страной? Значит, он все-таки принадлежит к оппозиции?»

— Невежество, отсутствие реального представления о действительном положении вещей — вот что вас характеризует («вас» относилось не только к Тангаре). С точки зрения политической страна не готова к независимости. С экономической точки зрения еще хуже: у нас нет ни промышленности, ни капиталов. Мы получим капиталы, только если останемся в Сообществе. Мы достигнем...

— Та-та-та...— прервал его Лей, отодвигая чашку и пристально глядя ему в глаза.— Нам необходимо индустриализовать страну, а не закладывать ее. Наша экономика может быть только плановой. Ты говоришь, что у нас ничего нет. А мы говорим: нет, это неправда. Наши руки, наши головы — вот наше величайшее богатство. Только сам народ обеспечит блага для народа. Мы хотим иметь и политическую независимость, и экономическую независимость. Без экономической независимости мы всегда будем лишь слугами.

— Пустые слова! Одни теории! Мы правим страной, и мы скажем на референдуме «да». У нас и так уже дефицитный бюджет...

— Почему же вы отказываетесь от независимости? Потому что вы ничего не делаете без согласия французского правительства. В дефиците бюджета повинен не народ, не так ли? И не больницы, не школы, не строительство гидроэлектростанции, не прокладка дорог. Дефицит лежит клеймом на вашем правлении... Вы думаете только о холодильниках последней марки, о роскошных машинах и установках для кондиционирования воздуха...— Глаза Лея метали молнии. Тангара с удивлением смотрел на художника.— Ваши мошеннические операции высасывают

кровь из народа. Сколько получает самый малооплачиваемый среди вас? Двести тысяч, или триста тысяч франков, или больше? В то время как рабочий получает от шести до десяти тысяч в месяц, да и то лишь когда ему удается найти работу. У вас у каждого имеется свой дом, две или три жены, и вы содержите их многочисленные семьи, человек по пятнадцать в каждой. А ваши машины? Вот где кроется причина вашей трусости. Когда вы призываете: «Голосуйте «да», «да» означает независимость», вы прекрасно знаете, что это обман.

Схватка противников привела доктора в полное замешательство. Уже давно, со времени учебы во Франции, ему не приходилось присутствовать при такой резкой полемике. Он думал: «Пусть премьер ответит! И сразу станет ясно, правду ли говорит Лей. Конечно, не строительство больниц и не организация медицинской помощи опустошила бюджет. Они сами со своими машинами расхищают государственную казну. Ведь даже их дальние родственники разъезжают в автомобилях. И я хочу знать, почему они запрятали Дьембе в тюрьму».

— Я вижу, ты прошел неплохую школу. А почему бы тебе не поехать рассказывать все это в Сенегал или на Берег Слоновой Кости? Наша страна проголосует «да». Даже если это не всем понравится,— сказал премьер-министр.

Он презирал Лея. Сторонники «нет» раздражали его. Он гневно добавил:

— «Да» победит, и вы увидите, что за этим последует, клянусь честью!

— Я африканец. Судьба Сенегала волнует меня в такой же степени, как и судьба всех других африканских территорий. Между вами и другими правителями нет большой разницы. Все вы олицетворяете одно и то же. В мировой истории угнетенных народов цена независимости, цена свободы всегда оплачивалась потоками крови. Под французским владычеством в Черной Африке, не говоря уж о всей Африке в целом, было пролито в пять раз больше крови, чем в Западной Европе за все ее войны и революции. Если положить на весы всю кровь, пролитую в Западной Европе и в Африке, то наша чаша перевесит.

Лей разгорячился. Слова лились прямо из сердца. Казалось, он готов броситься на Тамбана и задушить его.

— Впервые за четыре столетия — впервые! — нам говорят: «Скажите «да» — и вы увековечите рабство! Скажите «нет» — и вы свободны!» Свободны творить, создавать, вернуть славу нашего прошлого. А вы, вы убеждаете народ оставаться рабами. С завтрашнего дня или, точнее, с воскресенья 28 сентября, все вы, без исключения, от Сенегала и до Чада, от Нигера до Берега Слоновой Кости, все вы, министры, будете отвечать за каждую каплю пролитой крови, за каждую слезу матери, за каждый крик младенца, плачущего потому, что у матери нет более молока.

— Я такой же патриот, как и ты. А может быть, и больше. Мы прокладываем вам путь, выдвигая местные кадры, которые приведут страну к полному расцвету. А вы, так называемая элита будущего, вы даже не пытаетесь размышлять. Мы предлагаем голосовать «да», зная истинное положение дел. Поймите нас,— закончил Тамбан Юссидо, пытаясь добродушной улыбкой скрыть недостаток аргументов.

«Неужели же нами правят ничтожные людишки? Он не способен даже ответить на обвинения. Он только пытается притвориться добродушным. Я кое в чем не согласен с марксистами, но они говорят правду»,— думал Тангара. Он все еще надеялся услышать ответ премьера.

— Хватит слов! Ты говоришь, что ты патриот. Допустим. А что касается кадров, то нас как раз и беспокоит их нехватка. Все об этом думают.— Лей говорил спокойно.— Мой отец продался депутатам, а депу-

таты — колониалистам. Он говорит: «Вы еще молоды, вы горячи, вы все спешите. У нас нет ни денег, ни армии, ни кадров». Вот что внушают народу. И мой отец ежемесячно получает деньги за то, что вливает в души этот яд. Я недавно прочел, что он и еще какие-то типы его пошиба образовали группировку, которая ведет пропаганду за ответ на референдуме — «да». А кадры, в которых мы действительно нуждаемся, только мы сами и можем подготовить. Не ожидая благословения некоей нации или какого-то кургузого парламента. Никакая другая нация не создаст Африки. Только мы, африканцы, мы сами построим новую Африку. И еще один вопрос...

Лей задумался, откинувшись на спинку стула. Секунд пять длилось молчание.

— Не могу точно вспомнить дату. Впрочем, это не существенно. Когда ты был депутатом французского Национального собрания, во время голосования по резолюции о посылке солдат — так называемых сенегальских стрелков — в Индокитай, как ты вел себя? Вопрос относился не к тебе одному, а ко всем депутатам африканских территорий. Ты считаешь себя патриотом — так почему же ты воздержался при голосовании? По-твоему, это разумная позиция со стороны патриота? Зная, что вьетнамский народ борется за свою независимость и тем самым за нашу независимость, как же ты воздержался при голосовании?

— Я вижу...

— А я ничего не вижу. Я жду ответа.

— Я премьер-министр этой страны. Никто не имеет права судить меня.

— Нет, народ имеет это право! — гневно закричал Лей.

— Ты что же, станешь утверждать мне в лицо, что ты и есть представитель народа?

Лей смерил его взглядом. Он оперся руками о край стола, один за другим пальцы сжались в кулак. Он произнес, словно говоря с самим собой:

— Итак, ты воздержался при голосовании. Промолчать в такой момент — это верх подлости! Не хватило смелости сказать ни «да», ни «нет». А алжирская война? Это, кажется, не школа кадров. А сколько молодых людей ты посылаешь туда? Я хотел бы знать, во что обходится голова черного солдата в Алжире? Не задаром же ты поставляешь пушечное мясо колониалистам? Сколько тебе платят комиссионных? Как когда-то царькам, которых сажали на трон европейские торговцы неграми! Наступит еще день, когда вы поставите памятник работорговцам.

— Довольно! — премьер-министр задыхался от ярости.— Мы не хотим независимости, которую швыряют нам в лицо.— Он уставился на расхохотавшегося Лея.— Я премьер-министр, и я не позволю какому-то сопляку оскорблять меня. Ты еще подавишься своими оскорблениями! Тангара, ты стал орудием в руках этой партии. Я ухожу,— надменно заявил он и взял шляпу и перчатки.

Тангара вышел проводить его.

— Мне очень жаль, что разговор принял такой оборот.

— Не важно! Но ты должен опасаться их. Они все заражены коммунизмом. Горлопаны! Пустобрехи! И меня очень огорчает, что ты с ними заодно. Недавно — как раз ровно неделю тому назад — я обедал у губернатора... Подожди, дай мне договорить... Все знают, какой ты великолепный врач. Ты наша национальная гордость. Твои статьи в медицинских журналах ценятся очень высоко. И было бы жаль и для заграницы, и для твоего доброго имени, если бы ты оказался в оппозиции. Когда ты представил докладную записку о полковнике Люке, ни министр здравоохранения, ни я сам ни на минуту не усомнились в твоих

обвинениях. Я прошу тебя, прекрати всякие отношения с этими горлопанами. Сейчас не время для ссоры. Я могу заверить тебя, что все мое правительство, все целиком, думает только о благе страны. И в мое правительство входят лишь подлинные патриоты.

Они шли по дорожке. Премьер останавливался, потом снова делал несколько шагов. Примерно в пяти метрах за ними следовал черный «ситроен ДС-19». В его блестящем лаке отражались кроны деревьев.

— До принятия нового законодательства у нас были большие трудности,— продолжал премьер.— И мы были бессильны что-нибудь изменить. Но новое законодательство позволило нам, более того, прямо дало нам полную автономию. И в случае с тобой только благодаря этому законодательству мы смогли сместить полковника Люка. Он в милости у губернатора. А ведь губернатор ставит свое заключение, накладывает вето на каждое намечаемое преобразование. Конечно, ты прежде всего обязан своим знаниям. До сих пор ни губернатор и никто другой не поднимали вопрос о тебе. Я не говорю о твоем столкновении с духовенством... Но там все быстро урегулировалось. Без сомнения, каждый волен действовать по своему усмотрению, но иногда бывают случаи, когда приходится приспосабливаться. В настоящее время ты, насколько я понимаю, примыкаешь к оппозиции. Я неоднократно видел, и не только я, но и губернатор, и архиепископ, мы видели твое имя на плакатах сторонников «нет». Дело Дьембе, уверяю тебя, совершенно другого порядка. Его арест не имеет никакого отношения к референдуму. Предъявленные ему обвинения со временем будут опубликованы. Но его арест вызвал кампанию клеветы. Я глубоко убежден в твоей порядочности, я знаю, что ты сам часто бываешь жертвой собственной порядочности. Я хочу помочь тебе вернуться на свое место. Если бы я был нездоров, я обратился бы к тебе за советом. Но о политике я знаю столько же, сколько ты знаешь о медицине. Посмотрим, как настоящие мужчины, на действительное положение вещей. Что происходит в стране? Племенные вожди — а они прошли хорошую школу — заставят всех голосовать «да». Если правительство выступит против них, оно будет свергнуто. С другой стороны, существует банда экстремистов — их очень немного, и они не имеют никакой поддержки в стране. Именно они агитируют голосовать за «нет». Проанализировав создавшееся положение, мы решили поддержать голосование за «да». Нас к этому принудила обстановка в стране. Если власть окажется в руках вождей, наступит полная анархия; это приведет к распаду страны. Подумай, что станет со страной, если она окажется под властью племенных вождей? Поэтому мы решили привлечь на свою сторону всю интеллигенцию, всех образованных людей и, проголосовав «да», закрыть тем самым дорогу феодалам и отбросить экстремистов. Поэтому я и прошу тебя продумать свою позицию, внимательно посмотреть на реальное положение вещей и постараться быть объективным. Ты должен поддержать меня во время собрания, которое состоится послезавтра. Тебя все знают и очень уважают.

Они стояли в воротах, через которые непрерывно входили и выходили посетители.

— Но как же ты довел страну до того, что племенные вожди оказались сильнее вас? — сказал Тангара.— Что касается полковника Люка, то он не врач, а знахарь. Он, возможно, и был хорош для армии, да и то во времена мулов, а не автомобилей. И все-таки здесь что-то не совсем так. Ведь он состоит советником при министре здравоохранения! Наверное, он там более полезен... Что же касается референдума, я читал статьи о положении в Африке, я много думал об этом, думал о судьбе народа. С самого начала моей деятельности я старался не примыкать ни к одной партии. Я хожу в качестве наблюдателя на собрания, которые организовывает Фронт. Не я определяю пути развития страны.

Я оставляю это дело специалистам... недостатка в которых, по-видимому, нет. И меня же за это упрекают. Вчера или позавчера я получил твою инструкцию, в которой мне напоминают, что я работаю по договору и еще не утвержден в должности...

— Я ничего тебе не посылал!

— Не ты, так начальник твоего кабинета... Во всяком случае, я не собираюсь выступать. Во-первых, я люблю спокойствие, а во-вторых, я действую только по совести. Относительно же губернатора и епископа — ты намекал, что следовало бы повидать их,— я предпочитаю сидеть в своем углу. Но я считаю своим долгом — и этот долг для меня священен — объяснять народу разницу между голосованием «да» и «нет».

Дважды он чуть было не сказал премьер-министру, что вышел из Фронта.

— Неужели ты в самом деле считаешь, что мы в состоянии сами управлять страной? У тебя в больнице не хватает медикаментов...

— Тогда зачем ты — премьер-министр и председатель Территориального собрания?

— Я не так выразился,— поправился Тамбан.— Я хотел сказать, разве мы готовы, разве мы обеспечены всем, чтобы получить независимость?

— Я не руководитель. Но на твоем месте я собрал бы всех и спросил, а потом бы решал. Во всех случаях «да» — наихудший выход.

— Нет, ты просто не хочешь понять. А жаль! Не будем больше говорить об этом. Как себя чувствует эта дама? Она может уже выходить?

— Да.

— Кстати, раз уж пришлось к слову, почему ты не отправил ее в больницу для европейцев? Что касается ее мужа, это совсем другая история.

— Полковник Люк, полицейский комиссар и еще какой-то капитан приходили в больницу. Почему они не перевели ее туда? Я ведь только врач.— Коварный вопрос Юссидо оскорбил Тангару. Тем не менее он счел нужным добавить: — Может быть, тебе еще известно, что она спит на моей кровати?

— Да, это мне тоже известно! — ответил премьер-министр, положив руку на плечо врача.— За последнее время, должен признаться, о тебе ходит немало разных слухов. Ну, ладно, ею займется управление вод и лесов. Я понимаю, что нескромные разговоры бывают неприятны,— не без намека закончил он.

«Какая низость! Они готовы заставить ее спать со мной ради их «да»! Шальная Африка!» — думал Тангара.

— Стоило мне только пригласить эту женщину к себе, как все вы вообразили неизвестно что!

— Я пойду, а то твой товарищ ждет тебя. Жаль, жаль,— повторил Тамбан Юссидо, подавая знак «ситроену».— Мы еще увидимся,— произнес он на прощание, усаживаясь на заднее сиденье.

Тамбан Юссидо долгие годы был депутатом французского Национального собрания. За последние десять лет он принимал участие почти во всех правительственных коалициях IV Французской республики. Главы этих правительств выставляли его напоказ при всяком удобном случае, на различных международных встречах.

Тангара в задумчивости постоял у ворот.

Длинная вереница мужчин и женщин проходила мимо. Засунув руки в карманы, он пошел по дорожке обратно: «Что это? Угроза? Ультиматум? Итак, я предупрежден. Я должен голосовать «да» и агитировать других голосовать «да». Он повернул на центральную аллею.

— Сиди, сиди,— сказал он сторожу, вставшему при его приближении.

Длинный коридор был пуст. Из палат доносился приглушенный шепот, стоны, хрип. Стояла невыносимая духота.

Войдя в палату, он подошел к больному, которого оперировал накануне. Уже немолодой мужчина был очень слаб. Он бредил. Семья окружила его, и на их лицах было столько страдания...

— Оставьте его. Приходите завтра, ему будет лучше... Послушайка,— подозвал он санитарку,— позови дежурную сестру.

Несколько минут спустя в палату вошла Фанта.

— Сделай ему укол, чтобы успокоить боли... Ты опять дежуришь сегодня? Да, да, ладно... Время посещений кончилось...

— Сын мой, я доверяю тебе своего брата,— произнесла маленькая старая женщина.

— Я позабочусь о нем, мать.

Старая женщина подошла к нему, взяла его за руку и подняла изборожденное морщинами лицо:

— Он у меня остался один. Я хочу, чтобы он жил. Я не знаю, где другие. Ты понимаешь, сын? Он — последний плод на дереве... На старом дереве, ибо я уже не принесу больше плодов. Ты понимаешь, сын?— потухшие глаза умоляюще глядели на доктора.

— Я понимаю, мать. Ты можешь идти. Завтра ему будет лучше.

Тангара имел привычку неожиданно появляться в больнице. И персонал был всегда настороже. Больные же радовались его приходу. Улыбнувшись каждому на прощание, доктор прошел в другой, меньший флигель.

Обстановка там ему показалась несколько накаленной...

— Доктор! Доктор! — позвал его один из больных.

— В чем дело? — спросил Тангара, останавливаясь.

— Вот мы сейчас говорили о «да» и «нет»,— начал больной, усаживаясь на постели и вытянув ноги.— Ты умеешь читать и писать. Ты читал большую книгу *. Скажи нам, что лучше: «да» или «нет»?

Тангара обернулся. Все взоры устремились на него. Больные ждали ответа. Было ясно, что сейчас здесь происходил долгий спор.

— Постой, постой, доктор,— вмешался Бирама, другой больной с лицом, украшенным шрамами. Бывший солдат колониальной армии, он коверкал все слова, но очень гордился тем, что говорит по-французски, как доктор...— Вот его староста пришел из деревни сюда, в больницу, сказать нам: вы все,— он обвел рукой палату,— в воскресенье скажете «да». А я,— он тыкал пальцем себя в грудь,— я сказал его старосте и всем — они все слышали,— я сказал, нужно голосовать «нет». Почему? Потому что старосты все одинаковы, я их знаю.

Широко раскрыв глаза, скрестив на груди руки, Бирама медленно поднимал голову, затем резким жестом опускал подбородок вниз.

— Его староста, все старосты знают только кошелек. Я служил в армии из-за старосты. Но это другая история... Подожди, подожди,— обратился он к соседу.— Ты потом будешь говорить! Дай же мне договорить! Когда я кончу, ты возьмешь слово. Если ты всегда будешь говорить, то всегда будешь прав. Доктор, у меня к тебе есть маленький вопрос. Только как мужчина, а? Ты ответишь честно, да? В воскресенье ты будешь голосовать?

— Да, буду.

— Так, так! — отчеканил бывший солдат, с гордостью обводя взглядом всех. Чахоточное лицо Бирамы сияло.— Доктор, ты умеешь читать и писать. Ты умеешь много читать, писать. Ты пойдешь голосовать. С первым вопросом покончено... Ты будешь говорить честно, как мужчина? А теперь ты ответишь на второй вопрос. Эй вы, слушайте все!

---

* Проект конституции, представленный на референдум.

Доктор, ты скажешь теперь, как лучше голосовать — «да» или «нет». Вот, больше я не говорю, я слушаю тебя. Все слушают тебя. Ты скажи сам.

Толстый рот Бирамы раскрылся в улыбке, показывая лошадиные зубы. Он вытянул шею, точно собирался выслушать исповедь умирающего. Тангара колебался. Неожиданность вопроса смутила его. Он думал о значении, которое все придавали его ответу. Он укорял себя, что позволил больным такую бесцеремонность в отношениях с ним. Он обдумывал слова премьер-министра. Во всех случаях он потом стал бы упрекать себя за то, что не объяснил им разницы между «да» и «нет». Ведь он уже выступал публично, объяснял содержание «да» и «нет», говорил о двух различных путях, которые открываются перед страной. Все ждали ответа.

Фанта положила на кровать свои инструменты и тоже ждала.

— Доктор, тебе говорить! А ты,— бросил Бирама в сторону своего соседа,— ты слушай!

— Лучше голосовать «нет»,— ответил Тангара.

— Так. Так,— повторил довольный Бирама.— Все слышали? Он,— Бирама показал рукой на главного врача,— он, который знает все бумаги, который выучил все науки, который имеет все дипломы, он, который может заработать больше денег, чем все старосты во всех деревнях, он, который одевается в самые красивые одежды, спит на красивой кровати, ест вкусные кушанья, он сказал «нет». А ты, дурень, можешь идти к своему обманщику-старосте, ничего ты не понимаешь,— повернулся Бирама к соседу.

Тангара и Фанта вышли из палаты.

Тангара прошел прямо к себе. Лея он не застал.

Мир разделился на два лагеря. Он не хотел примыкать ни к одному. «Я только врач. Один врач на сотни тысяч человек! И я нужен людям,— с гордостью подумал он,— и это самое главное».

XV

Отцовское внушение

— Какая подлость! Дождаться полудня и только сейчас известить о запрещении митинга! Вот оно, истинное лицо реакционеров! — возмущался Агемон, оглядывая собравшихся. Он стоял в коротком нейлоновом плаще с толстой папкой в руках.

— Опять отступаем. Почему всегда мы должны уступать? — поддержал его Сори, сжимая кулаки.

— Вчера все решили избежать столкновений...

— Но мы всегда...

— Сори! — прервал его Лей.— Разве ты не видишь солдат?

На границе европейского и туземного кварталов собралась плотная масса людей, в большинстве молодежь. Вдоль улицы выстроились солдаты с оружием в руках. Два взвода парашютистов во главе с капитаном Ги де Ломбаром разгоняли толпу. После первой стычки руководители Фронта отдали приказ не отвечать на провокации и отойти. Сейчас люди собрались за деревьями, в конце улицы; там выступали ораторы. Повсюду были разбросаны листовки Фронта.

Агемон, Сори, О'Пае, Маига, за которыми неотлучно следовал Дигбе, и другие руководители находились в центре толпы. Со всех сторон непрерывно поступали новые сведения. Сообщили о подходе милиции. Не прошло и пяти минут, как был подан сигнал: разойтись. Народ

медленно, но послушно стал расходиться. Площадь опустела, только листки бумаги валялись на земле.

— Мы тем самым избежали кровопролития. Сегодня вечером, как было назначено, заседание Координационного комитета,— объявил Агемон, очень довольный дисциплинированностью демонстрантов. За последние три месяца он хорошо научился разбираться в психологии масс.

— Вы идете в помещение Фронта? — спросил Лей.

— Да.

— Я хочу повидать Тангару. Я скоро вернусь.

Проходя мимо офицеров, он услышал:

— Они словно испарились. Двадцать минут назад здесь было более двухсот человек.

■

Помещение Фронта было переполнено. На лицах — нескрываемое разочарование. Не все еще доросли до сознательного понимания революционного движения, того сознания, которое приобретается в кровавой борьбе и которое очищает понятие «свобода». Они ввели слово «независимость» в обиход народа, в свой язык. Но сознание независимости еще не созрело в умах, не превратилось в силу, способную поднять их на восстание. Идея независимости вырисовывалась, но она еще была слишком расплывчатой. На данном этапе они могли использовать лишь легальные формы борьбы. И они дорожили этой легальной свободой и ненавидели противника, который попирал эту свободу. Они прислушивались к собственному голосу, который нарастал, как приближающаяся гроза. Но ничто не могло толкнуть их на неразумные действия.

Активисты, уходившие в глубинные деревни, уже вернулись и теперь в этой атмосфере всеобщего недовольства рассказывали о проделанной работе.

— Повсюду портреты генерала де Голля, — говорил Коффи. — Премьер-министр разослал своих приспешников — местную милицию, солдат, толмачей, старейшин, я уж не говорю о целом легионе проповедников. Один из старейшин нам так и сказал: «Почему голосовать «нет», если правительство нам говорит: «Голосуйте «да»? «Да» означает независимость, а «нет» — отказ от независимости». Мы видели мешки с рисом, которые раздает правительство. Кроме того, им говорят, что если «да» победит, они будут освобождены от уплаты налогов в этом году и с них будет снята задолженность за прошлые годы. Правительственные ставленники распускают слухи, что всем тем, кто будет голосовать «нет», грозит тюрьма. Во многих деревнях главы семей попросту собрали все розданные бюллетени и будут голосовать «да». И тем не менее меньшинство твердо стоит на своем.

— В деревнях распускают ложные слухи!— закричал кто-то, вскакивая на скамью. — Сволочи.

— Они рассказывают, будто будет отменен налог... — произнесла Тьюмбе и прислонилась к плечу Сори. От усталости она еле держалась на ногах. — Надо смотреть правде в глаза: как это ни тяжело, но мы проиграем.

— Все равно они сволочи! — повторял все тот же голос.

— Сволочи — это еще слабо сказано,— поддержал его Самюэль. На его костлявом лице выступили капельки пота.

— Где Лей? — тихо спросила Тьюмбе.

— Он пошел к Тангаре, — ответил Сори. — Знаешь, твоя мать и Мань Комбети очень подружились. Сегодня утром они были вдвоем на рынке.

— Они выросли вместе.

— Да, вот еще что: тебя искал отец. Мне сказала Номе. И даже Агемон заметил, что он все время поджидает кого-то у здания.

— Да? Это что-то новое. — Тьюмбе повернула голову к Сори. — Вот уже много месяцев, как я с отцом почти не разговариваю. Ты совсем забросил свою мастерскую?

— Да.

— Ну и хорошо! Ты починил мой велосипед? Я заберу его.

Вместе с Сори они прошли в мастерскую.

— Тебя проводить?

— Нет... Я не задержусь, я приду к началу заседания Координационного комитета.

Она села на велосипед, и вскоре послышался треск его моторчика.

■

На улицах туземной части города царило оживление — после перерыва на самое жаркое время дня начиналась вечерняя торговля. Перед своими хижинами, по углам улиц и переулков торговцы на перевернутых ящиках, на циновках, а то и прямо на сырой земле раскладывали товары — лоскуты материи, сотни различных блюд, соответствующих времени года; острый запах пряностей щекотал ноздри.

В доме отца было темно. Тьюмбе поставила велосипед. Нет, ее возвращение не было похоже на сказку.

— Тьюмбе! Наконец-то, Тьюмбе! — Номе шла ей навстречу. — Отец в страшном гневе. Он выместил злобу на детишках. Он злится на тебя. Что ты наделала?

— Номе, не кричи так... Кто взломал мою дверь?

— Отец. Он унес все твои книги к себе.

Вокруг собрались женщины, молодежь — вся многочисленная семья. В доме чувствовалось приближение грозы.

— Тьюмбе! Тьюмбе, дочь моя, где ты была?

— Мать, я же тебя предупредила, что иду в лес, — ответила Тьюмбе из своей комнатушки.

Она разыскала спички, зажгла свечу и оглядела разоренную комнату.

— Я ничего не знаю. Твой отец в ярости. Ты обязана ему подчиняться. Я ведь всего только женщина, — Ухигуэ бессильно опустилась на кровать.

— Мать, что здесь происходит? Ты сказала отцу, где я? Или кто-нибудь в семье умер?

— Я все ему сказала. Он рычит, как раненый зверь. Тьюмбе, лучше бы уж умер кто-нибудь из родных, чем видеть твоего отца в таком состоянии.

— Почему он разорил мою комнату?

— Я не знаю. Я ничего не знаю. Он сейчас здесь. Не говори ему ничего. Он — твой отец. Он мужчина. Он может ударить. Уж такова наша женская доля... Разве есть женщина, которая может похвастать, что ее никто не бил — ни отец, ни муж? Ты слушаешь меня? Ты помнишь, в последний раз, когда он бил меня?..

— Да, мать, помню.

— Я пролежала три дня.— Мать не сводила глаз с Тьюмбе. Как еще она могла поддержать ее? Всю свою любовь она, казалось, вложи-

ла в этот взгляд. — Тьюмбе! Не говори ничего... Кричи, если он ударит. Не бойся кричать. Кричи изо всех сил...

— Ты замолчишь, безголовая? — заорал Коэбоги.

И сразу в доме все смолкло. Все прислушивались. Жозеф Коэбоги, заложив руки за спину, подходил к дверям.

— Тьюмбе! — позвал он.

— Да, отец?

— Подойди ко мне!

— Хранит ли тебя мир, отец? — Тьюмбе остановилась в нескольких шагах от него.

— Сейчас узнаешь! Где ты была?

— Я была в лесу, отец. Я объясняла людям, почему надо голосовать «нет», отец.

— Кто приказал тебе вести агитацию за «нет»? Руководители твоей партии? А они признают бога?

— Бог — это личное дело каждого, отец. А Африка — это наше общее дело. Ты можешь спросить меня, верю ли я в бога? Признаю ли я бога? Но ты не можешь спрашивать это у всей партии, отец. В организациях Фронта принимают участие и католики и неверующие...

Тьюмбе предвидела, что произойдет далее. В дверях, загораживая свет, стояла Ухигуэ. Два приятеля отца, Анри и Поль, которые пришли, чтобы помочь ему, придвинулись ближе.

— Ты веришь в Христа? Ты веришь в бога?

— Отец, я не верю в Христа. Каждый волен в своей вере.

Проповедники Анри и Поль перекрестились.

— Так что же, я, значит, сумасшедший? Я болван, потому что я верю? Ты отрицаешь существование самого господа бога? Это провозглашает твоя партия. Ты коммунистка, да?

— Отец, моя партия никогда ничего не говорила о боге. Да, я коммунистка, я борюсь в рядах партии, и коммунизм — мой идеал.

Вот уже год, как Тьюмбе мучилась из-за этих недомолвок. Теперь она сразу почувствовала огромное облегчение.

— Значит, ты даже не отрицаешь этого?

— Я говорю то, что есть, отец, и...

— А твой отец, значит, ошибается? Да знаешь ли ты, что сделала меня всеобщим посмешищем? Надо мной насмехаются, мне говорят: «Жозеф Коэбоги, прежде чем обращать нас в новую веру, ты бы обратил сперва свою дочь». Собственная дочь позорит отца!

— Отец...

— Довольно! Хватайте ее!

Два проповедника набросились на Тьюмбе и схватили ее. Несмотря на отчаянное сопротивление девушки, она через пять минут была связана. Напрягая все тело, она пыталась устоять. Но резкий толчок бросил ее на землю.

Ухигуэ в грустном молчании смотрела на дочь.

— Привяжите ей руки к коленям!

Тьюмбе вырывалась, напрягала мускулы, не давала согнуть ей руки. Но наконец силы оставили ее.

— Вставьте палку!

Проповедники схватили длинный шест и просунули его между локтями и коленями Тьюмбе.

— Спасибо, братья, благодарю вас,— произнес Коэбоги. Подняв плеть, он встал над беспомощной, словно насаженной на вертел девушкой.— Тьюмбе, признаешь ли ты, что Иисус Христос — наш Спаситель? Молчишь?

Удары падали один за другим. Тьюмбе пыталась увернуться, но шест крепко держал ее. Кожа ее горела, словно в огне.

— Ты агитируешь за «нет»! Ты вместе с этими подонками из Сенегала и Гвинеи! Они позорят всю Африку. Здесь, в нашей стране, все проголосуют «да»! Ты ходишь в лес уговаривать, чтобы там сказали «нет»? А теперь посмотрим, кто придет освободить тебя. Твоя партия? Или кто-нибудь еще? Только имя божье сможет освободить тебя! Если мои слова не доходят до твоего сердца, я буду бить тебя до тех пор, пока ты не признаешь нашего Спасителя! Ты стоишь за «нет»? А министры, а все высокопоставленные люди стоят за «да». Ты позоришь меня, потому что связалась с этой бандой бездельников! Вы думаете, что вы умнее всех?! Кто же, как не вы, убил белого?

Удары сыпались градом. Спина горела огнем. Боль исказила лицо Тьюмбе. Она сжала зубы. Ни крика, ни стона. Ее тело словно перестало существовать.

Ухигуэ в слезах подошла к мужу:

— Прости ее! Она больше не будет! Ведь правда же, Тьюмбе, ты больше не будешь? Ты признаешь бога? Ты больше не будешь рассказывать, что «нет» лучше, чем «да»?

— Заткнись! Ты думаешь, что я не знаю, что ты заодно с ней? Ты тоже говорила, что надо голосовать «нет».

Мать в испуге отступила назад.

— Ты будешь отвечать, девка? — вопил отец.— Ты веришь в Иисуса Христа?

— Тьюмбе, дочь моя, ну ответь же отцу,— вмешался Поль, вставая на колени рядом с девушкой.— Зачем упрямиться? Твой отец прав. Ты сбилась с истинного пути, это случается. Ты покаешься. Все это по молодости лет. Ведь ты же не отрицаешь существования бога?

— Если ты не хочешь говорить, просто кивни головой,— подсказал Анри.

Ответа не последовало. Разочарованные проповедники в бессилии пожали плечами. Отец снова взялся за плеть.

— Коэбоги,— просящим голосом произнесла Ухигуэ. Она говорила почти шепотом, но муж услышал ее.

— Жозеф Коэбоги! — резко поправил он.

— Жозеф Коэбоги,— снова заговорила мать, не решаясь подойти,— надо уметь прощать. Ты же видишь, что она даже не кричит. Ты убьешь ее, ведь она не откроет рта.

— А, ты смеешь подстрекать ее, чтобы она противилась мне! — взревел озверевший Коэбоги.

Ухигуэ в ужасе попятилась назад. Муж двинулся на нее. Прикрыв рукой лицо, она отходила, пока не уперлась в стену. Голыми ногами она пыталась нащупать дверь, но напрасно. Плеть настигла ее. Она дико закричала.

— Ты только и умеешь кричать! Ни на что другое ты теперь не годна! Что до нее,— он указал на Тьюмбе,— то у меня достаточно времени. Она как осел — ей нравится, когда ее бьют. Что ж, посмотрим! Номе! — позвал отец.

— Да, отец! — ответила в трепете младшая дочь.

— Принеси газеты, которые лежат в моей комнате.

Номе поспешно вышла.

— Эй вы, несите огонь,— властно приказывал отец.— Ты еще смеешь запирать свою дверь? Мы что же, воры? Ты не доверяешь нам! Здесь — я хозяин. Все обязаны слушаться меня! В одном доме не может быть двух хозяев!

Номе вошла с кипой газет в руках. Осторожно кашлянула.

— Где же огонь? Обо всем мне приходится думать!

Двое мальчиков принесли тлеющие поленья. Отец велел положить их перед Тьюмбе. Затем, разрывая газеты в клочки, стал бросать их в огонь.

— Раздувай огонь, Тьюмбе! Ах, ты отказываешься мне повиноваться! Неблагодарная.

Тьюмбе уткнулась лицом в колени и не двигалась. Один из мальчиков дул на поленья. Поднялся дым, потом показалось пламя. Костер разгорался. Непомерные тени выросли на стенах. Лицо Жозефа Коэбоги стало похоже на маску из черного воска. Он выпрямился во весь рост. Ухигуэ, привыкшая к повиновению, не осмеливалась протестовать. Тьюмбе свернулась ежиком: одежда на израненной спине была разорвана.

— Смотри! Не хочешь? Так знай же, никогда больше этих газет не будет в моем доме. Здесь я глава, и не забывай, что твое удостоверение на право голосования находится в моих руках. Поняла?

— Жозеф Коэбоги, прости ее! Ты ее отец! Прости ее, прости,— всхлипывала Ухигуэ, проводя рукой по лопатке, нывшей от удара плети.

Огонь разгорался сильнее. Номе подкладывала пачки газет. Ярость душила Жозефа Коэбоги. Он стиснул кулаки. Он доведет дело до конца! Все молчали, не давая ему повода сорвать гнев на ком-нибудь еще. Сиплым голосом, ни на кого не глядя, он обратился к Полю и Анри:

— Братья, унесем ее в мою комнату. Посмотрим, кто упрямее...

— Номе, дочь моя! — шептала Ухигуэ.— Беги скорее, беги, скажи Сори и другим, скорее! И сразу возвращайся. Ну, почему же она не заплачет? Разве это стыдно — кричать? Можно подумать, что она не чувствует ударов. Будь прокляты эти мужчины и женщины, родившие их!

Номе незаметно скрылась, не возбудив никаких подозрений.

И все поглотила тьма наступившей ночи.

Понедельник, 22 сентября

Координационный комитет Фронта заседал всю ночь. Введение ограничительных мер, запрещение митингов, собраний и любых сборищ — не более пяти человек в общественных местах — все это вынуждало комитет переменить тактику. Кто-то раза два обратил внимание на отсутствие Тьюмбе. Все относились с большим уважением к девушке, осуждали поведение отца и сокрушались по поводу происходящего, но сделать ничего не могли.

Наутро после собрания и распределения обязанностей члены областного партийного бюро — Маига, Коффи, Сори, Лей, О'Пае и другие — собрались в мастерской Сори, чтобы поговорить о том, как помочь Тьюмбе. Уставшие, невыспавшиеся, они хмурились. Маига, заместитель Тьюмбе, вел собрание.

— Конечно, Тьюмбе отвечает за весь район. Но отец запер ее. Что мы можем сделать? Ничего! Мы же не можем ворваться в дом Коэбоги! Это послужит лишь поводом для расправы со всей партией. Более того, это развалит Фронт.

Коффи сидел рядом со своей женой О'Пае и курил сигарету за сигаретой. За последние трое суток он спал не более шести часов.

— А если отец убьет ее? Как можно покинуть товарища в таком положении? Я понимаю позицию Фронта, но не нашу.

— Сори, ты заговариваешься! — прервал его Маига, зажав между коленями ручные тиски. Он сменил механика в его мастерской.— Надо еще посмотреть, не уловка ли это, чтобы внести разлад в организации Фронта.

— Но ведь она наша!

— Она первый секретарь бюро,— прервал жену Коффи, все время поглядывая на часы.— Но ведь и те, кто сидит в тюрьме,— борцы за независимость, и среди них Дьембе,— они тоже наши.

О'Пае не стала возражать. Она лишь сочувственно посмотрела на Сори, который стоял мрачный, опершись на раму велосипеда и низко опустив голову.

— Конечно, ей сейчас нелегко. А что можно сделать?

Голубые лучи наступающего дня проникали сквозь тонкую изгородь. Лей встал.

— Прежде чем внести свое предложение, я хочу сказать, что все это — излишняя сентиментальность. Я вспоминаю такой же случай со мной. Это было еще до моего вступления в партию. Мой отец — реакционер, фанатик, феодал — запрещал мне рисовать, он связывал мне руки и бил по ним. Почему он с таким ожесточением уничтожал мои картины? Во-первых, из-за религии: он мусульманин, и его религия запрещает воспроизводить человеческое лицо; во-вторых, мой отец — прихвостень и слуга колониалистов. И, наконец, мой отец начинал смутно чувствовать, еще не понимая этого, что власть его, берущая начало из древнего африканского общества, рушится. В прежние времена отец воплощал в себе основателя, распорядителя и исполнителя. Я же, его сын, всем своим поведением — моральным и политическим — отрицал его главенствующую роль. Между моим отцом — мусульманином и отцом Тьюмбе — новообращенным в христианскую веру нет никакой разницы. Оба они — игрушки в руках колонизаторов.

Лей сел. Однако он еще не кончил говорить.

— Поведение отца Тьюмбе для нас ясно. Я не раз говорил об этом с Тьюмбе. Она сама все понимает. Мы же не педанты, не романтики, но и не взбалмошные люди; действовать надо обдуманно. Я должен сперва повидать на базаре Гиби. Агемон согласен со мной. Нельзя предпринимать ничего, что может обойтись партии слишком дорого.

— Ладно,— произнес Маига.— Я думаю, выступление Лея достаточно ясно? Прежде чем закрыть заседание, я хотел бы напомнить цитату из книги «Как стать настоящим коммунистом»: «Африка просыпается. Новые силы сотрясают континент. Мы, все члены партии, должны сплотиться, углубить наши знания, чтобы правильнее разобраться в законах социального развития и в законах пролетарской революции. Мы должны научиться понимать врага. Мы должны уметь находить недостатки в наших собственных идеях, привычках и предрассудках, унаследованных нами от прошлого, и суметь исправить их в себе. Мы должны поднять уровень нашей сознательности и укрепить положительные качества...»

Так закончилось утреннее заседание. Все разошлись. Утро было прохладное. Черные тучи громоздились над горизонтом. Лей и Сори вышли вместе.

— Да, трудно бывает подчас,— Лей трижды повторил эту фразу, глядя на Сори, но казалось, что он разговаривает с собой.

— Идем, я куплю тебе супа. Рано утром он еще совсем горячий. Смотри, что там делается...

На другом конце рынка собралась толпа. Они направились туда. Эль-Эй Этиан переводил текст плаката. Мужчины и женщины внимательно слушали, стараясь не пропустить ни слова. С сегодняшнего дня Фронт ввел новый метод пропаганды: в своих плакатах он рассказывал о мошеннической операции со строительством вилл. По мере того как Эль-Эй Этиан переводил и объяснял текст, в толпе все чаще раздавались возмущенные возгласы. Солнце поднималось выше, и толпа все росла и росла.

— Говори громче! В задних рядах не слышно!

— Раз ты говоришь для всего народа, все должны слышать,— кричал бойкий парень.

— Да, да! Погромче,— поддержали его в толпе.

Издали была видна лишь голова Эль-Эй Этиана. Его низкий грудной голос с металлическим тембром поднялся и окреп. Успокоенные слушатели теснее сомкнули ряды.

— Полиция! — крикнул дозорный.

Местная полиция — в ее обязанности входило срывать лозунги, плакаты, призывы сторонников «нет» — ворвалась на площадь, потрясая дубинками. Эль-Эй Этиан успел скрыться, и толпа точно испарилась.

— Вот она, свобода! — произнес Лей и пошел дальше с Сори.

■

Два проповедника, уставшие от напрасного ожидания, ушли, оставив Жозефа Коэбоги наедине с дочерью. Всю ночь в его душе кипел гнев. Он вспоминал старые африканские обычаи, семью, где главой был только отец. Он вынужден был признать, что семейный уклад постепенно рушится. Так и не добившись повиновения Тьюмбе, Коэбоги прилег и незаметно уснул.

Тьюмбе, брошенная на жесткий в выбоинах земляной пол в комнате отца, не ждала помощи от Фронта. Связанные запястья и щиколотки ныли. При малейшем движении ссадины на спине вызывали нестерпимую боль. Неподвижно лежа на полу, она тихо плакала, без стона, без крика.

Когда отец проснулся, его первой фразой было:

— Признаешь ли ты Христа Спасителем нашим? — Он перешагнул через тело дочери, открыл окно и дверь.— Ты будешь теперь ходить в церковь? — в бессильном бешенстве крикнул он.

Под утро Тьюмбе забылась сном; теперь, услышав глухой голос отца, она вздрогнула и пробудилась. Она подняла на Коэбоги глаза: в них был все тот же отказ.

— Ты будешь ходить в церковь? — повторил отец.

Тьюмбе в упор смотрела на Коэбоги — дочь не покорилась. Она бросала вызов отцу не из желания настоять на своем или проверить себя. Ее переполняла жгучая ненависть к угнетателям, которая придавала ей сил, чтобы не кричать. Она видела перед собой огромные потоки крови, целый океан крови, он выходил из берегов, заливал горы, затоплял весь континент. И на волнах тихо покачивался стройный силуэт невольничьего корабля.

— Ты пролежишь тут весь день,— заявил отец, надевая значок проповедника и крест.— Девка!

— Отец, ты не имеешь права так называть меня...

— Отвечай! Ты пойдешь в церковь, ты больше не станешь говорить людям, что лучше голосовать «нет»? Ну, отвечай!

Ее взгляд, полный ненависти, терзал отца. Он чувствовал, что свод обычаев, которые определяют традиции семьи, пошатнулся. То, что вчера было для него лишь предчувствием, сегодня стало уверенностью. Он видел, что потерпел поражение он сам, отец. Власть ускользнула от него. Сам себе не смея признаться в этом, он уже чувствовал могучий пульс новых времен, который сотрясал старую семейную крепость.

В раздумье он глядел на Тьюмбе.

■

Ухигуэ напрасно прислушивалась, не услышит ли криков дочери. Она была готова в любую минуту бежать к ней. Но все было тихо. Всю ночь Ухигуэ то забывалась коротким сном, то просыпалась в слезах.

С раннего утра она уселась на пороге. Дом постепенно просыпался. Женщины смотрели на Ухигуэ, потом переводили взгляд на закрытую дверь Коэбоги. Вышла Номе, разложила товары на лотке и села около Ухигуэ.

— Матушка Ухигуэ, провела ли ты ночь с миром?

— Да, с миром! Ты видела Сори? — Ухигуэ была удивлена, что товарищи дочери не пришли.

— Матушка Ухигуэ, я сказала Сори, Лею и Агемону.

— Почему же они не пришли? Ведь это из-за них отец готов убить Тьюмбе!

— Я не знаю, матушка Ухигуэ, почему их до сих пор нет.

— Как, ты еще здесь? — закричала мать Номе; она хотела поскорее прогнать свою дочь из дома, боясь, как бы гнев отца не обрушился и на нее.

— Иди, иди,— проговорила Ухигуэ.

Расстроенная Номе долго не могла решиться уйти. Потом она ловким движением установила лоток на голове и пошла.

Ухигуэ осталась одна. Закрыв лицо руками, она думала. Новая жизнь выбила ее из колеи. Она чувствовала, что теряет почву под ногами. «Тьюмбе пора замуж. Почему никто не приходит свататься? Мань Комбети видела Биту Йена... Чего же она ждет? Ах, если бы она ничего не говорила о независимости! Зачем вмешиваться в мужские дела? Разве мы, женщины, можем когда-нибудь стать равными мужчинам?» Мысли неслись одна за другой: так водяная мельница перемалывает все, что в нее засыпают.

Появился Жозеф Коэбоги. Несколько секунд ей казалось, что сердце ее вот-вот разорвется. Машинально она встала. Их взгляды встретились, и женщина опустила глаза.

— А, ты здесь, гадюка! Дожидаешься, точно гиена?!

Женщины и дети подходили пожелать доброго утра хозяину дома.

— Вот настоящие жены и воспитанные дети,— удовлетворенно произнес он.— Не то, что твоя дочь. Она воображает, что все знает! Она смеет восставать против моей власти! Пока она не подчинится, будет валяться связанная, как рабыня. Да ведь она от рабыни и родилась.

— Прости ее! Ты ведь ее отец!

— Я сказал — нет. Она слишком упряма.

— У тебя нет сердца. Ты — человек, а ведешь себя как зверь. Ты подло поступаешь с ней!

Ухигуэ шла на мужа. Она сама не понимала, что делает. Неведомая сила толкала ее вперед. Долго сдерживаемое возмущение прорвалось. Ее глаза смело смотрели прямо в глаза мужа. Другие жены в ужасе отступили.

— Ну, ударь, ударь же, Коэбоги! Нет, я не назову тебя Жозефом! Ты — Коэбоги! Бей же! Ты только это и умеешь! Твой рот может изрыгать лишь яд.

Удар по лицу свалил ее. Но она сразу поднялась. Платок остался лежать на земле.

— Ты всегда был такой. Только и знаешь, что бить. Ты готов убить всех людей на земле ради подачки белых. Ты сам — раб!.. Я проклинаю твоего нового бога! Я рада, что Тьюмбе не закричала и не доставила тебе этого удовольствия!

Озверевший Жозеф Коэбоги схватил ее за горло. Испуганные дети заревели. Пальцы его разжались. Он не мог выносить детского плача.

— Я иду в церковь. Если ты посмеешь развязать ее, на тебе не останется живого места! Молчать, сопляки! — закричал он на детей и поспешно вышел.

■

Ухигуэ задыхалась, потрясенная собственными словами. Вся семья, пораженная и напуганная ее поведением, не знала, ни что сказать, ни что делать.

— Теперь ты можешь войти,— недобро произнесла мать Номе.

Она заранее упрекала Ухигуэ за те удары, которые ждали всех.

Дверь комнаты Коэбоги была открыта: черная зияющая пасть. Ухигуэ в нерешительности облизала губы. Посмотрела по сторонам, надеясь встретить хоть один одобряющий взгляд. Ни одного. Черная зияющая пасть ждала. Она вошла.

Тьюмбе, узнав шаги матери, вытянула связанные ноги.

— Мать, развяжи меня,— тихо попросила она.

— Он запретил мне. Ты могла бы сказать, что веришь.

— Мать, развяжи меня.

Тьюмбе перевернулась на живот. Развязавшаяся юбка скрутилась вокруг бедер. Мать стыдливо прикрыла оголившееся тело.

— Тьюмбе, я горю на малом огне. Чего ты хочешь от меня? Я не знаю, как жить. Я не понимаю сегодняшней жизни. Раньше я знала, что такое жизнь, что такое семья. Теперь я больше ничего не знаю. Я возразила твоему отцу. Ты понимаешь? Я кричала на него!

Она плакала и тихонько гладила пальцами распухшую от ударов спину дочери. За всю свою жизнь она ни разу не ослушалась мужа. Потрясение было глубоко, как трещины в почве после землетрясения.

— Мать, развяжи меня.

Пальцы Ухигуэ застыли. Руки повисли в воздухе. Нерешительность и боязнь предстоящего наказания разрывали ее сердце на части.

— Я бы хотела. Так хотела. Но ведь он убьет меня. Я уже стара, Тьюмбе. У меня нет больше сил переносить удары.

— Уйди, мать. Оставь меня одну.

— У тебя нет сердца. Как ты можешь так говорить со мной, твоей матерью! Я пришла сказать тебе, что... надо верить и что его бог лучше. Скажи ему все, что он захочет. Но не прогоняй меня!

— Мать, уйди. Уйди, пока он не вернулся.

— Тебе больно?

— Больно. Везде. А теперь уходи.

— О, Тьюмбе, как я хочу развязать тебя! Но я боюсь. Не говори со мной так.

Тьюмбе попыталась разорвать веревки, но они только еще больней впивались в израненное тело. Она приподняла голову, осмотрела комнату. Над старой железной кроватью хранились фетиши от дурной судьбы.

— Мать, развяжи меня.

В дверь постучали. Мать вздрогнула.

— Здесь ли папаша Жозеф Коэбоги?

Тьюмбе узнала голос Агемона.

— Его нет, развяжи меня скорее.

Агемон увидел скрученные руки и ноги девушки, выругался по-французски.

— Он просто спятил, твой отец. Как можно так связывать человека? — Агемон опустился на колени и развязал Тьюмбе.

Испуганная Ухигуэ отошла в сторонку. Тьюмбе не могла двинуть ни рукой, ни ногой. Она лежала, как парализованная. Только ненависть поддерживала ее. Она уткнулась лицом в землю и заплакала. Прошло несколько секунд. Собрав всю свою энергию, она встала. Но ослабевшие ноги подкосились.

— Ай-ай! Землячка, давай-ка мы тебе поможем. Ты совсем мертвая,— говорил вошедший Гиби.

— Мать, я покидаю этот дом,— сказала Тьюмбе. Она стояла, поддерживаемая мужчинами.

— Куда ты пойдешь? Ты не можешь уйти из дому! Это невозможно!

С помощью своих товарищей Тьюмбе выбралась во двор, прошла в свою комнатку. Женщины и дети глядели на нее как на воскресшую.

— Ты хочешь уйти? — еще раз спросила мать, останавливаясь на пороге.

— Мне здесь больше нечего делать!.. Нет, Гиби, бери только книги и тетради. Да, да, эти! Агемон, возьми мой чемодан, положи туда все это тряпье,— говорила Тьюмбе, опираясь о стену.

— Ты не можешь! Не можешь покинуть меня! Твой отец избил тебя — ну и что же? Если бы все дочери уходили из дому из-за отцовского наказания, нигде бы никого не осталось. Разве я не права, Агемон?

Он ничего не ответил.

— Куда ты пойдешь? Ты хочешь уехать с Сори?

Трое членов Фронта переглянулись: отъезд держали в секрете, но тайна, видимо, уже просочилась.

— Кто тебе сказал, что Сори собирается уезжать, мать?

— Номе. Она тоже хочет уехать с тобой. Ты не имеешь права увозить с собой чужую дочь! Нет, нет, дети, никто больше об этом не знает! — поспешила добавить Ухигуэ, испугавшись, что только поддержит решимость дочери.

— Нет, мать, я никуда не поеду... Я говорю правду, ты можешь мне верить. Но я ухожу из этого дома.

— Навсегда?

— Не знаю... Гиби, ты свяжи узлом, за два конца — книги ведь тяжелые.

Язык Ухигуэ быстро облизывал губы: туда-сюда, туда-сюда. Она боялась заговорить. Все-таки было большим утешением, что дочь остается в стране. Несомненно, это подействовало вмешательство Биты Йена. Она перешагнула через порог, присела рядом с Тьюмбе. Совесть не давала ей покоя — ведь она не развязала дочь.

— Куда же ты пойдешь жить?

— Я пойду в семью к Агемону.

— Как? — удивился Агемон.

— Я займу хижину Лея,— объяснила Тьюмбе.— Он уезжает в воскресенье вечером. А до тех пор устроюсь как-нибудь. Все готово? — Она поднялась, держась за стену.— Мать, ты возьмешь себе все, что осталось. Может быть, я еще вернусь... А если нет, то ты придешь жить ко мне. Мне нужна свобода.

Они смотрели друг на друга. Слезы катились из глаз матери. Новый мир раздавил ее. Она хотела сказать хоть что-нибудь, найти какие-то слова... Она не сводила глаз с Тьюмбе. Тишина звоном отдавалась в ушах. Тьюмбе крепко сжала челюсти: жалость к матери переполняла ее. Она взяла ее руку, крепко, до боли, сжала ее, стараясь вложить в это пожатие всю свою нежность. Покрытое морщинками лицо, тонкие хвостики заплетенных кос, как это было ей близко и каким уже стало далеким. В груди, помимо ее воли, поднимались рыдания, но она сдержала их.

Мать и дочь более не принадлежали одному миру, они жили в разных мирах. Мать не могла понять, что незыблемая неподвижность — закон времени, закон ее времени! — уходит навсегда, а для Тьюмбе более не существовало этого закона незыблемости, он уходил в прошлое. Она отбрасывала его, чтобы создать другой мир, другие времена.

— Надо торопиться,— сказал Гиби.

— Кто возьмет мой велосипед?

— Сори ждет на улице. Я отнесу ему это,— произнес Агемон.

— Я возьму чемодан или этот тюк? — спросила Ухигуэ.

— Оставь, мать, мужчины сами отнесут. Помоги мне выйти из дома. Гиби, ты подожди здесь.

Тьюмбе обняла мать за плечи, и они вместе пошли к выходу.

XVI

Расторжение договора

Рано утром прошел мелкий дождик. Не успел он кончиться, как звонко защебетала стайка птиц. На низкой веточке — хоть бери рукой — вертелся голубь. Маленькие птенцы всех цветов — алые, черные, желтые и червонного золота — носились друг за другом. На мокрой земле нежно ворковали разжиревшие горлицы. Доверчивые ласточки сушили на солнце свои крылышки.

Шарлотта вышла погулять с Гезо в сад. Мальчик погнался за лиловой гусеницей. Гусеница, почуяв опасность, взобралась на бугорок и выгнула дугой спину. Но темная масса, свалившаяся с неба, раздавила ее. Гезо, довольный, поднял ногу. Бугорок был пуст.

Какпо сидел у веранды и с интересом наблюдал за танцем дождевых капель на листьях деревьев.

— Где они? — спросила Мань Комбети.

— В саду,— ответил Какпо.

— Я ухожу. Дома все в порядке.

Во всем белом, как требовал того Тангара, Мань Комбети направилась к зданию больницы. Время от времени Какпо слышал смех Шарлотты и Гезо. Они смеялись от всего сердца.

На садовой дорожке показался Тангара в белом халате.

— Где мадам, Какпо?

— В саду, папа.

— Я здесь,— послышался веселый голос Шарлотты.

Но когда она увидела европейца, который сопровождал доктора, смех замер на ее губах.

— Приготовьте ваши вещи. Этот господин пришел за вами. Вы с ним знакомы?

Шарлотта сразу узнала инспектора управления вод и лесов. Он вежливо снял шлем.

— Мадам, мы приготовили для вас номер в гостинице. Доктор считает, что вы вполне здоровы.

Она с укоризной посмотрела на Тангару. «Зачем ты это сказал?» — спрашивал ее взгляд. Глаза их встретились.

— Машина сейчас подойдет, мадам. У вас много вещей? — спросил инспектор.

— Здесь, собственно говоря, у меня ничего нет. Мои вещи остались в заповеднике.

— Там мы все запаковали и составили опись ящиков. Вы их найдете в гостинице.

— Почему?

— Мадам, мы выполняли полученные указания.

— Понимаю.

Все стало для нее ясно. Она повернулась и пошла в дом.

— Не желаете ли выпить?

— Спасибо, доктор.

— Спасибо «да» или спасибо «нет»?

— Спасибо «нет»! — с улыбкой ответил инспектор, разглядывая картины на стенах.

— Папа, она уезжает?

— Да, Гезо.

Мальчик убежал в комнаты.

— Это вы рисуете, доктор? — спросил инспектор.

— Нет.

— Жаль.

— Я готова,— Шарлотта держала за руку Гезо. Он мигал и пальцами растирал слезы. За эти дни мальчик сильно привязался к Шарлотте. К дверям подъехала машина.

— Одну минуту,— попросил Тангара. Он вернулся в гостиную, снял портрет Номе и вынес его.— Возьмите!

— Зачем?

— Просто так. Не надо дурно думать о людях...— Он не закончил фразу.

Она быстро отвернулась.

— Спасибо за все.

— Не за что.

Какпо стоял рядом с отцом. Доктор положил руку на плечо мальчика.

— Дети, я была очень рада познакомиться с вами. Спасибо за гостеприимство.

Она наклонилась, чтобы поцеловать мальчиков. Гезо обвил ее шею руками. Затем Какпо неуклюже последовал его примеру. Шарлотта протянула руку Тангаре.

— Доктор...— Внезапно вспыхнувшее горькое ощущение потери охватило обоих, но из-за светских условностей они вынуждены были скрыть свои чувства.— Еще раз спасибо.

— Не за что,— повторил Тангара.

— Мы еще увидимся,— добавила она и покраснела. Она села в машину, помахала рукой, дети в ответ тоже помахали ей. Тангара долго смотрел вслед.

— Наконец-то уехала эта белая рожа!

Они обернулись. Мань Комбети сердито пожала могучими плечами.

— Она поцеловала меня,— сказал Какпо, показывая рукой на щеку.

— Это как если бы она тебе пожала руку,— объяснил Тангара.

— А тебя она не поцеловала, папа.

— Целуют только детей.

— А во Франции целуют и взрослых,— возразил Гезо.

— Иногда... Я пошел в больницу... А вам пора готовить уроки, если вы хотите поехать во Францию.

■

Тангара почувствовал себя совсем одиноким. Впервые одиночество показалось ему тягостным. Настроение упало. Огромная пустота окружала его. Чтобы как-то утешить себя, он повторял: «Этого надо было ждать. Не сегодня, так завтра она все равно уехала бы». Но логика мало успокаивала. «Шальная Африка!»

Четверг 25 сентября

Он с головой окунулся в работу, стараясь отогнать образ Шарлотты. За время ее пребывания он несколько запустил научную работу и теперь принялся за прерванную статью о природе зимних заболеваний. Ему надо было еще отредактировать другую статью, отправить лекарственные растения в Париж. Прошло только два дня с отъезда Шарлотты, а он уже начал ее забывать.

И вот тут произошло событие, ранившее его в самое сердце. Утром он в одной рубашке, без пиджака, пил кофе. У него было несколько свободных минут, так как сегодня он не собирался бриться — он брился раз в три дня. Он перечитал адрес на конверте. Никакого сомнения: письмо было адресовано ему. Ну, конечно, оно же пришло еще в начале недели. Он сразу узнал конверт с правительственным штампом. Шарлотта сказала в то утро:

— Для вас письмо, доктор.

— О, это опять, наверное, какая-нибудь ошибка в расчетах. Или они мне не доплатили, или переплатили. С ними всегда так. Я им пишу о больнице, а они мне — о жалованье.

Гезо и Какпо стали играть с конвертом, перебрасывая его из конца в конец стола.

Он вскрыл письмо. Это было «временное» освобождение его от должности главного врача больницы. Ему давали понять, что в связи с расторжением договора министр здравоохранения задерживает выплату полагающихся ему денег. Новым главным врачом назначается полковник Люк, его заместителем — доктор Дьябате. Письмо заканчивалось традиционной формулой: «Примите уверения в глубоком к вам почтении...»

Одна деталь сразу привлекла его внимание. Письмо не было подписано ни министром здравоохранения, ни министром государственных учреждений. Решение о его освобождении было принято на заседании совета министров. Это решение вступало в силу сегодня утром. Он посмотрел на календарь: 25 сентября 1958 года. У него в распоряжении было двадцать четыре часа, чтобы освободить занимаемую квартиру. Неожиданное известие настолько потрясло его, что он даже не знал, с чего начать.

Минуты две он размышлял. Затем, нарушая свои привычки — он всегда допивал кофе до конца и даже относил чашку на кухню,— отодвинул чашку с кофе и встал. Лицо его исказилось. Он снял очки и постоял немного в нерешительности. Затем направился в больницу, в надежде, что все окажется дурной шуткой.

— Доктор Тангара?

Знакомый голос. Он обернулся: ястребиное лицо, мешки под глазами, военная форма — полковник Люк. Он готов был убить его в эту минуту!

— Здравствуйте,— ответил Тангара, нахмурившись.

— Я очень огорчен случившимся. Все министры одинаковы. Дайте власть вашему лучшему другу, и он станет вести себя как последний подлец... Я надеюсь, что вы не оставите так это дело.

— Пошли вы, знаете куда...

Впервые за три года Тангара выругался. Даже сам не заметил как. Люк изумленно раскрыл глаза.

Тангара был уже далеко. Больница просыпалась. Он вошел в кабинет и упал на стул. Сомнений более быть не могло. Полковник Люк пришел занять его место.

— Привет! — произнес Коффи, входя с вещами и папками.— Я шел к тебе в твой старый дом. Мне сказали, что ты здесь.

— Я сейчас заберу свои вещи,— сказал Тангара, открывая ящики стола.

— Мне очень грустно,— произнес Коффи.— Ты был лучшим врачом, с каким мне приходилось работать. Африка...— Он замолчал: момент был не совсем подходящим для политического разговора.— Если я могу тебе чем-нибудь помочь, мой дом открыт для тебя. Что касается детей...

— Благодарю тебя. Я не думаю, что это потребуется.

Мысли его путались. Тангара не был в состоянии осознать, что с ним произошло. Целиком поглощенный своей работой, он был из тех людей, которые не замечают реальной действительности. Когда на них обрушивается несчастье, они совсем теряются. Тангара вынимал бумаги из ящиков.

— Как это мотивируется? — спросил он.

— Здравствуйте, доктор! — сказала старшая сестра. За ней шла Фанта.— Больные и персонал хотят объявить забастовку. Они освистали полковника Люка. В палате...

— Сейчас идем,— сказал Коффи.

— Не надо делать глупости. Полковник Люк — врач, а Дьябате будет его помощником.

— Да,— сказал Коффи, делая сестрам знак, чтобы они вышли из кабинета. Ему от души было жаль Тангару.

— Пусть доктор сам поговорит с ними!

— Сейчас он придет. Тангара, тебе надо бы сходить к министру здравоохранения или к премьер-министру.

— А ты?

— Что я? Обо мне говорить бесполезно. Пойдем посмотрим, что там происходит. Надо их успокоить,— сказал Коффи, пропуская Тангару вперед.

Тангара держал в руках сумку с инструментами. Старая сумка, в форме пирамидки, он купил ее восемнадцать лет назад. Он попросил тогда: «Сумку для сельского врача, чтобы ехать в колонии. Вроде походной больницы».

Было около девяти часов. Тангара и Коффи стояли перед домом министра здравоохранения. Тангара уговаривал Коффи пойти к министру вместе. Но Коффи отказывался, понимая, что его присутствие только осложнит положение Тангары.

— Почему ты не хочешь идти? Пойдем же,— настаивал Тангара.

— Мне ничего не должны. Со мной рассчитались полностью, чтобы у меня не было оснований для жалобы. Что же касается тебя, очень возможно, что эта мера — лишь предупреждение. Понимаешь?

Тангара соглашался с ним — он просто не мог себе представить, чтобы врача уволили с работы из-за его политических убеждений.

— Ты же врач! Ты ничего другого не можешь делать... Поехать в другую страну — это же немыслимо! Ведь нашей стране так нужны врачи!

— Ты витаешь в облаках! Тебе надо пробудиться. Я стану профессиональным борцом за освобождение... До скорого!

У входа в трехэтажный особняк черная женщина в светлом платье запирала свою машину. Тангара поспешно перешел улицу.

— Сестра моя, извини меня.

— В чем дело? — спросила она по-французски, останавливаясь у порога.— Тебе чего?

Для Тангары это «тебе чего?» прозвучало, как пощечина. Он теперь стал болезненно чувствительным. Женщина бесцеремонно разглядывала его: без галстука, не причесан, складка на брюках не отглажена, ботинки не чищены, забрызганы грязью, пиджак поношенный, вылинявший под мышками. Она решила, что посетитель не принадлежит к их «кругу».

— Чего тебе? Ты что, сказать не можешь? — женщина смерила его презрительным взглядом. Искусственно развитые волосы поблекшего черного цвета торчали на ее голове, как сухой веник. Яркая помада подчеркивала выступавшую нижнюю губу, и никакая пудра на щеках не могла скрыть черноты кожи. Вместо бровей красовалась тоненькая

нарисованная полоска, выходившая далеко за пределы надбровной дуги. Фарфоровые глаза надменно уставились на Тангару.

— Я хотел бы видеть министра. Я был в министерстве, но мне сказали, что он дома.

— Ты ищешь места или помощи? Его нет дома. Пора знать, что он человек занятой. А ты в каком секторе пропаганды?

— Секторе? — переспросил Тангара.

— Ты ведешь агитацию за голосование «да»?

— Нет.

— Так чего тебе надо? — равнодушно произнесла она, оглядывая его с высоты своей безмятежности.— Его нет. Можешь написать ему.

Она повернулась на каблучках и захлопнула дверь.

Горечь и возмущение кипели в душе Тангары. Он искал глазами Коффи. По улице проносились дорогие машины. Ни одного знакомого лица. Тангара чувствовал себя потерявшимся мальчуганом среди взрослой толпы. У него не было знакомых. Он виделся лишь со своими помощниками и больными.

Минут десять он ходил взад и вперед, заглядывая в проезжавшие машины. Он не знал, на какой машине ездит министр здравоохранения (злые языки поговаривали, что министр является представителем одной из автомобильных фирм). Наконец это ему надоело, и он пошел прочь. Он решил пойти к премьер-министру. Тамбан Юссидо принимал обычно от десяти тридцати до часу дня. У Тамбана Юссидо он, по крайней мере, узнает причину своего увольнения. На углу он окликнул такси: это был «бьюик».

— В совет министров!

Они ехали минут пятнадцать. Не доезжая нескольких метров, шофер затормозил. У входа в здание стояли на часах два спаги в полной форме с доисторическим оружием. Тангара безуспешно искал свое портмоне.

— Нет, нет, тебе не пройдет эта «министерская» штучка! Знаю я таких прохвостов, вроде тебя. Вы воображаете себя большими начальниками. Ты будешь платить или нет? — кричал на него водитель.

Тангара выворачивал карманы. Он даже вспотел. От страха перед скандалом — здесь, у здания совета министров! — он начал заикаться.

— Послушай, брат, я же врач...

— Я не болен. Мне наплевать на тебя,— кричал парень.— Плати, и все.

— Подожди меня здесь. Мне надо повидать премьер-министра, а потом мы поедем вместе ко мне, и я заплачу.

— Не на такого напал! Я не дурак! Ты доктор? Если бы ты был доктором, на тебе был бы костюм получше. Знаем мы эти ваши штучки с такси! Теперь нас не проведешь! Ты отсюда не выйдешь! Или же мы поедем в полицию.

— На, читай, вот, читай! — протянул ему Тангара министерское письмо о снятии его с работы.

Помолчав с минуту, взбешенный шофер опять принялся за свое:

— Ты и впрямь принимаешь меня за круглого идиота? Я не умею читать. И не хочу ничего знать! Я работаю. Плати, и все. Нашелся, тоже мне!..

— Послушай, брат...

— Хватит мне твоих «послушай, брат»,— коверкая французские слова, не унимался шофер.— Ты будешь платить, или я набью тебе морду. Ясно?

Вокруг начала собираться толпа.

Часовой приказал:

— Эй там! Убирайтесь отсюда!

— Этот проходимец отказывается мне платить! Он называет себя братом Тамбана!

— Что? — властным тоном переспросил солдат.

Шофер рассказал, в чем дело. Тангара пытался объясниться.

— У тебя есть деньги? Нет... Тогда вези его в полицию. Хулиган! Проходимец!

Спаги жестом подозвал второго часового. Посоветовавшись, они решили отправить Тангару в полицию. Они потребовали у него паспорт. Тангара не имел при себе никаких документов. Шофер на своем полуфранцузском, полуафриканском языке продолжал высказываться относительно так называемых образованных людей, о номерах, которые откалывает в такси разное хулиганье. Он очень рад, что наконец-то ему попался один, и этот уж поплатится за всех.

У полицейского участка солдат грубо толкнул Тангару, угрожая ему плеткой. Его провели к какому-то чиновнику, где вместе с преступниками в наручниках посадили на скамью дожидаться своей очереди. Шофер не отходил от него ни на шаг. Он говорил не умолкая, рассказывал свою историю всем и каждому:

— Хулиганье, и все!

Он был среднего роста, мускулист, его белье все пропиталось потом, рубаха была надета поверх брюк, нагрудные карманы топырились от бумаг.

Вошел полицейский комиссар. Солдаты стали смирно.

— Простите,— произнес Тангара.

Он встал и пошел навстречу Раулю с протянутой рукой. Рука одиноко повисла в воздухе.

— Доктор Тангара! Какая неожиданность! Что вы здесь делаете?

— Начальник! — объяснял солдат.— Он сел в такси без денег.

— О...— произнес Рауль.— Проводите его в мой кабинет. И шофера тоже.

— Туман,— назвался шофер и стал вытаскивать из карманов разные бумаги, готовый предъявить их все сразу.

— Объяснимся в кабинете! — прервал его полицейский комиссар.— Как же вы так себя ведете, доктор?

— То есть...

Рауль открыл дверь своего кабинета:

— Проводите их. Я сейчас.

Полицейский комиссар вошел в соседнюю комнату. Там сидел молодой негр в белом костюме и что-то писал. Рауль велел ему выйти и закрыть за собой дверь, потом взял трубку телефона и набрал нужный номер.

— Алло! Дайте второе бюро,— сказал он.— Попросите капитана Ги де Ломбара. Да-да. Поищите его... Я жду у телефона.

Он уселся на стол.

— Капитан! Говорит Рауль, полицейский комиссар. У меня здесь доктор Тангара. Нет-нет... Я не вызывал его. Он не заплатил за такси. Да... Да... Я подумал, что он может вам понадобиться. Это неплохой случай... Я знаю... Полковник Люк. Хорошо, я задержу его до вашего звонка. Да, я буду здесь.

Он повесил трубку и прошел в свой кабинет.

Доктор, шофер такси и солдат стояли перед столом. Рауль, откинувшись на спинку, разглядывал их: все одинаковы...

— Рассказывай, что произошло, сначала ты,— обратился он к шоферу.

— Начальник, все та же история,— объяснял на ломаном французском языке шофер.— Он сказал: «Вези быстро в министерство». Я повез. Он сказал: «Нет денег». И еще кричал на меня, а я не бой.

Рауль иронически поглядывал на доктора.

— Ну, что вы имеете сказать, доктор?

— Это правда. Я сел в такси. И когда мы подъехали, я обнаружил, что у меня нет при себе денег. Я сказал ему, чтобы он подождал меня, а потом отвез домой. Он ничего не хотел слушать. А этот...

— Ты лжешь,— закричал солдат.— Он врет, начальник! Он хотел ударить его и говорил ему: «Ты не умеешь ни читать, ни писать. Я тебя не боюсь». Он лгун, начальник!

Тангара повернулся к шоферу и заговорил с ним на местном языке.

— Простите, доктор. Здесь не разрешается говорить на других языках. Это запрещено. Это карается по закону...

Тангара все более терялся.

— Я не знал... Но вы-то понимаете, что я в состоянии заплатить за такси.

— Увы, сейчас вы уже не в состоянии заплатить...

— Но я заплачу, вернувшись домой...

— Вы более не главный врач больницы.

— Это так. Но мои вещи еще находятся там. С другой стороны, вы прекрасно знаете, что я в состоянии заплатить за такси... Я не могу больше терять времени,— неожиданно спохватившись, заявил он. Непреодолимое отвращение ко всем полициям мира овладевало им.

— Сюда легко войти, гораздо труднее выйти отсюда,— отпарировал Рауль.

Туман все еще держал в руках пачку своих бумаг. Он начал понимать, что его пассажир не так прост, как ему показалось. Кто-то постучал. В дверях показалась голова.

— Одну минуту,— бросил комиссар. Он видел, что доктор начинает нервничать.— Я составлю протокол. Ты, давай свои бумаги.

Он повернулся вместе со стулом к пишущей машинке. Пока он вставлял листы, Туман раскладывал разорванные бумажки.

— А ведь он настоящий доктор, твой пассажир,— подмигнул Рауль шоферу.

— Я ничего не знаю, начальник,— произнес шофер, которого и так уже мучила совесть.

Зазвонил телефон. Рауль снял трубку.

— Да, это я... Он здесь. Согласен. Да, да. Нет, ничего серьезного. Как вам будет угодно... Это верно. Я не знал об этом...

Он положил трубку.

— Неприятная история, не так ли, доктор? Отчего, по-вашему, умер Фор?

— В который раз вы меня спрашиваете об этом! Я же не видел даже тела Фора.

— Ах, верно! Но чтобы узнать, иногда можно и спросить. Твое имя Туман, так?

— Да, начальник.

— Ты отвезешь доктора, куда он скажет. Он заплатит тебе. Как видите, доктор, не стоило волноваться. Впрочем, вы были спокойны.

Полицейский комиссар говорил, не переставая стучать на машинке.

Через час Тангара, Туман и спаги стояли на крыльце полицейского участка. Туман рассыпался в извинениях.

— Нет, нет, ты пойдешь пешком. Я не собираюсь платить за тебя,— заявил Тангара солдату и захлопнул перед его носом дверцу машины.— Быстро, к премьер-министру.

Машина отъехала. Озадаченный солдат остался стоять на месте.

В холле министерства было много народу: нарядно одетые африканки болтали между собой, в сторонке стояла группа духовных лиц, пять-шесть европейцев с толстыми портфелями сновали туда и

обратно. Несколько человек сидело в глубоких креслах. Тангара застегнул пиджак, поправил ворот рубашки, пригладил руками волосы и подошел к столу привратника.

— Я хотел бы видеть премьер-министра.

— Ты назначен на прием? — Черное как уголь лицо секретаря выглядело усталым.

Он оглядел сверху донизу костюм доктора. За сегодняшнее утро Тангара прошел через столько испытаний, что не обращал более внимания на такие пустяки. Но, по правде говоря, он предпочел бы быть одетым иначе. Он склонился над столом.

— Нет. Я не назначен на прием. Передайте премьер-министру мое имя: Тангара Кунугу, главный врач туземной больницы.

— Заполните карточку, пожалуйста. Я передам ее начальнику кабинета.

Тангара взял шариковую ручку и заполнил карточку.

— Подождите здесь, пожалуйста.

Пять минут спустя Тангару ввели в просторную комнату. За столом из светлого полированного дерева восседал седой человек с приятным лицом — начальник кабинета премьер-министра.

— Садитесь, доктор. Вы желаете получить аудиенцию премьер-министра. Но в данный момент премьер очень занят.

— Я хотел бы увидеть его. Я не знаю причину, по которой...

— Ничем не могу помочь. Мы не посвящены в секреты богов,— ответил тот, приподняв правую бровь.— Премьер занят. Насколько я знаю, ваш случай подпадает под юрисдикцию министра здравоохранения. Вам лучше поговорить с ним. Он только что поехал к себе.

Тангара судорожно пытался вспомнить, кто ему рассказывал, что начальник кабинета премьер-министра в действительности решает сам все вопросы. Возможно. Но в одном у Тангары не было никаких сомнений; начальник кабинета принадлежал к колониальной администрации. Тангара не мог видеть на таком ответственном посту белого, более того, бывшего служащего колониальной администрации. Всякий раз, как он сталкивался с подобным явлением, Тангара бывал несказанно огорчен, хотя и никому этого не говорил.

— Я передам премьер-министру, что вы приходили. Но, понимаете, в связи с референдумом он завален работой. Куда можно сообщить вам?

Итак, ему дают понять, что разговор окончен. Он встал. Начальник кабинета проводил его взглядом до двери.

Тангара назвал шоферу адрес министра здравоохранения. Один вопрос мучил его: за что он уволен?

Туман разговорился: пассажир более не внушал ему недоверия.

— Послушай, брат,— начал он, не выпуская руля и глядя прямо перед собой,— послушай, извини меня. Ты знаешь, я тоже не люблю полицию, все они сволочи. А теперь с этим голосованием вся страна бурлит. А вы, начальники, там, на верху, вы ничего не говорите толком. Ничего.

— Говорят много, но никто ничего не знает,— неопределенно ответил Тангара, глядя на жирный затылок водителя.

— Ты хорошо сделал, что заставил спаги идти пешком,— произнес Туман на местном языке. Затем продолжал на ломаном французском:— Они ни черта не делают и только надоедают всем все время. А ты — настоящий человек. О, я знаю! Ты не хотел мне сделать плохо. Я же видел этого белого, он испугался тебя. Хорошо быть ученым. Может, у тебя еще нет своего шофера. Я могу. У меня есть брат, он шофер в правительстве. А большой доктор может иметь своего шофера.

Они въехали в квартал дорогих вилл и высоких домов. Резко затормозив, так, что Тангару бросило вперед, Туман остановил «бьюик» у подъезда, быстро вышел и услужливо открыл дверцу машины:

— Прошу, начальник! Мне ждать?

— Да.

Как только доктор переступил порог дома, перед ним вырос огромный человек со сломанным носом и расплющенными губами — несомненно, бывший боксер.

— Тебе чего? — недовольно спросил он.

— Мне нужно видеть министра.

— Министра? Он тебе назначил явиться?

— Он ждет меня. Передай ему, что пришел доктор Тангара Кунугу.

Отставной боксер искоса поглядывал на доктора. Он был на голову выше Тангары.

— Я передам мадам. Как тебя зовут?

Тангара повторил свое имя. Его провели в небольшую комнату, рядом с вестибюлем. В доме стоял невообразимый шум. Многочисленные родственники всех жен тоже жили у министра. Женщины, дети, молодые люди слонялись без дела, перекликались, звали друг друга. Прихожая находилась рядом с лестницей. Газеты прошлогодней давности валялись на низком столике. Рядом стояла полная окурков пепельница.

— Здравствуйте, доктор!

Он встал и тут же узнал женщину, с которой разговаривал утром. Она тоже узнала его, но, скрывая смущение, небрежно протянула ему руку.

— Ах, извините, я делала маникюр, лак еще не высох.— Она согнула руку в локте, и доктор пожал ее выше браслета. Перед глазами мелькнули ногти с перламутровым лаком, массивные кольца, звякнула золотая цепочка на браслете. Накрашенные губы улыбнулись как старому знакомому. Лицо у нее было хитрое и властное.

— Прошу вас, доктор. Он сейчас вас примет,— церемонно произнесла жена министра.

Тангара последовал за ней. Они поднялись по лестнице — повсюду валялись тряпки, чьи-то сандалии, комки бумаги, в углу была разлита вода.

— Это невыносимо! Нгоне, убери здесь! — закричала мадам, останавливаясь на площадке второго этажа.— Нет никакой возможности привить им хотя бы малейшее представление о гигиене. Как много еще предстоит сделать, доктор, не так ли? Дом министра, у которого несколько жен, выглядит не очень красиво...

Коффи как-то рассказывал Тангаре, что третья супруга министра держит весь дом в повиновении. Как только они вступили на лестницу, ведущую на третий этаж, обстановка и запахи резко изменились. Здесь царила «прогрессивная» супруга, и ее этаж был закрыт для прочих обитателей дома.

— Входите, доктор!

Это была небольшая гостиная, богато обставленная современной мебелью. Министр здравоохранения, дородный, с небольшим брюшком, в домашнем пиджаке, встал ему навстречу.

— Очень рад видеть тебя, старина. Ты знаком с моей женой? Садись.

Они знали друг друга еще со школы. Оба были из одного племени: об этом свидетельствовали шрамы на лицах. Тангара вспомнил не очень красивые проделки своего товарища по школе: дважды он присвоил себе собранные классом деньги. Он доучился до звания помощника врача колониальных кадров, как и Коффи.

— Я догадываюсь, почему ты пришел,— сказал министр. Он встал и, повернувшись спиной к Тангаре, долго смотрел через широкое окно на деревья и на видневшиеся вдали ветхие крыши домиков бедных кварталов.— Ты пришел потому, что я тебе нужен. Так всегда. О человеке вспоминают, только когда он может оказать какую-нибудь услугу. Ах, как не люблю я этих корыстных визитов! Ты понимаешь меня?

— Но в чем меня обвиняют?

— Ни в чем серьезном, надеюсь. Я полагаю, что это временная мера.

— Омего,— прервал его Тангара, глядя ему в глаза,— ты же министр здравоохранения, ты должен знать.

— Конечно! Но это не мое решение. Так решил совет министров. Ты же не маленький, ты должен понимать, что такое решение имеет под собой веские основания.

— Какие основания?

— Достаточно слов! — Омего засунул руки в карманы пиджака и обернулся.— Мы все знаем, что ты крупный дипломированный специалист. Конечно, страна нуждается во врачах. Но наши кадры не должны нарушать предписаний вышестоящих лиц.

— Что же я нарушил?

— Послушай, старина, лично я прекрасно знаю все твои заслуги. Но не о них сейчас речь. Во-первых, решение принято высшей инстанцией. И не забывай, что против тебя выдвинуты обвинения.

— Но какие? Назови их!

Все, что хотел Тангара,— это выяснить причину своего увольнения.

— Какие? — воскликнул министр, пожимая плечами и укоризненно качая головой.— Ты сам прекрасно знаешь! Ты же принимаешь участие в деятельности Фронта.

Тангара точно свалился с неба. Он даже потерял дар речи. Он хотел было сказать, что он вышел из организации Фронта, но передумал.

— Я свободен иметь свои убеждения?

— Потише, потише! Никаких намеков на диктатуру. Тамбан не диктатор,— отпарировал Омего. (Обвинение в диктаторстве было широко распространено в стране.) — Конечно, каждый волен иметь собственные убеждения. Но ты не имеешь права превращать больницу в коммунистическую ячейку.

— Во что?

— Да, да! Я могу тебе сказать. В воскресенье Тамбан был в больнице. Что у тебя за дела с Леем? А кроме того, в больнице говорят, что ты сказал больным и их родным, чтобы они голосовали «нет» на референдуме.

— Это неверно! — запротестовал Тангара.— Но даже если бы это было и так, я все еще не вижу причины...

— Ты просил объяснения. Я выполняю твою просьбу. Ничего больше я сделать не могу... Я понимаю тебя,— добавил Омего отеческим тоном.— Но ты пришел ко мне слишком поздно. Все, что зависит от меня — двухнедельное выходное пособие и деньги за отпуск,— ты получишь целиком.

Тангара вдруг вспомнил: он действительно сказал в воскресенье Бираме, что голосовать «нет» — лучше для страны. Неужели это и есть коммунистическая пропаганда?

— Омего,— начал он, нервно сжимая пальцы...

— Послушай, старина. Ты водишь знакомства с людьми не твоего ранга, с подонками страны. И потом, ты нигде не бываешь. Твоя замкнутость, желание отделиться от людей твоего круга — вот в чем кроется настоящая причина. Сколько раз я сам приглашал тебя! И что же? Ты или позвонишь, или пришлешь извинительное письмо, отклоняя пригла-

шение. Конечно, можно посвятить всего себя работе — это выглядит прекрасно! — но ведь надо же и жить! Я приглашал тебя на мою последнюю свадьбу — жена здесь, она может подтвердить — кстати, она ведь фельдшер-анестезиолог,— и что же, никто тебя у нас не видел...

— Это правда, доктор,— заговорила жена министра.— Я давно мечтала познакомиться с вами,— склонив голову, она изучала свои ногти, которые приобрели металлический оттенок.— Я читала ваши статьи, в частности, вашу полемику с белым врачом — не припомню его имени. Вы писали, что африканская медицина, учитывая ее нынешнее состояние, должна развиваться своим особым путем, не забывая при этом, конечно, классической терапии. Ваша теория о реорганизации и о переподготовке врачей должна быть проведена в жизнь. Я целиком поддерживаю вас. С тех пор как я стала женой Омего, я все время внушаю ему эту мысль. После референдума, оставаясь в Сообществе, мы сможем перестроить наши учреждения. Вы согласны со мной?

— Я более не работаю, мадам.

Она поднесла пальцы к свету. Затем продолжала, не только не смутившись, но наоборот, с тщеславием выскочки:

— Мы обедаем сегодня у губернатора, и я привожу себя в порядок.

— Послушай, старина,— вновь заговорил министр,— я тебе не советую добиваться приема у Тамбана. Он очень сердит на тебя. Он рассказывал мне о дискуссии с Леем у тебя в больнице. Кстати, жена этого белого все еще в больнице?

— Она уехала... Спасибо за все.

Они вместе дошли до второго этажа — до демаркационной линии между двух «обществ».

■

Тангара сел в машину. В голове царил полный сумбур. Все произошло слишком быстро. Он не мог еще трезво оценить случившееся. Шофер пытался заговорить с ним, но Тангара не отвечал.

Он приказал проехать с задней стороны дома, чтобы избежать любопытных взглядов персонала больницы. «Бьюик» остановился у крыльца. При виде доктора Мань Комбети, Фуссейну, Фанта заговорили все сразу.

— Доктор!.. Доктор!..— звучал низкий грудной голос Мань Комбети.— Значит, правда, что опять эта белая рожа будет начальником больницы для черных? Если тебя больше не будет, почему он будет начальником? Предки мои! Но ведь у белых есть своя больница!.. Пусть идет туда!..

Мань Комбети шла ему навстречу. Глаза ее пылали гневом, лицо стало жестким. Она была похожа на статую из черного мрамора. Сильные руки бурно жестикулировали. Она нанизывала ругательства одно за другим, как бусы, и вешала их на шею полковника Люка.

Шофер Туман, многое повидавший на своем веку, даже вылез из машины и с уважением внимал речам Мань Комбети. Каждая новая тирада акушерки вызывала у него взрыв смеха. Гезо и Какпо скромно опустили глаза. Гезо мигал — наверное, от яркого солнца.

— Ладно, Комбети...

— Как так «ладно»?! Белая рожа толкает меня, занимает твое место, а ты говоришь «ладно»! Он сказал, чтобы больше ноги моей не было в больнице... Почему?

— Он назначен директором больницы. С ним будет работать Дьябате. А меня выставили за дверь.

— Предки мои! Я не допущу, чтобы мною распоряжалась белая рожа. Никогда я не работала на белых, никогда! Я разорвала мое избирательное удостоверение и бросила его ему в морду.

— Что ты сделала?

Фанта вышла вперед:

— Да, доктор. Она дала пощечину полковнику Люку. То есть сначала доктор Люк толкнул ее. Она ответила ему затрещиной. Потом она вышла, принесла свое избирательное удостоверение, разорвала его и бросила ему в лицо. Тогда доктор Люк запретил ей показываться в больнице.

— Я не понимаю, что ты там лопочешь,— оттолкнула ее Мань Комбети.— С тех пор как солнце встало, ты все ходишь за мной, словно тень. Предки мои! Ты же не небосклон!

— Комбети, не кричи! Здесь же доктор!

— Ты чего еще вмешиваешься? Винная бочка, пошел отсюда к своим кастрюлям! Здесь хозяйничаешь не ты! Ах, предки мои!

Фуссейну замолчал и поправил свой высоченный белый колпак.

— Фанта, возвращайся на работу. Фуссейну, можешь ты мне дать кого-нибудь из твоих людей, чтобы помочь запаковать вещи? Если ты встретишь столяра, пришли его ко мне с инструментом и ящиками. Мань Комбети, все разговоры кончены! Вы поели, дети?

— Нет... Я не голоден,— отвечал Какпо.

— Я тоже не хочу есть,— сказал Гезо.

— Тем не менее надо есть. Шофер, сколько я тебе должен?

— Две тысячи семьсот пятьдесят. Это за все поездки с утра, доктор. Я могу найти тебе грузовую машину. Хочешь? — спросил Туман.

— Я и не подумал об этом. Да, да. Пусть придет к трем часам.

В гостиной, куда осторожно прошел и Туман, Тангара сказал Какпо:

— Заплати ему... Значит, я рассчитываю на тебя.

— Слово сказано, доктор. Я сам буду в три часа,— сказал тот, пряча деньги в карман.— До скорого, начальник!

Тангара бессильно опустился на стул. Он был в отчаянии. Вся его кипучая энергия иссякла в одно утро. Внутренняя дисциплина вдруг сдала. Пропал интерес ко всему. Восемнадцать лет напряженного труда рухнули в одно утро.

Он задумался. До сих пор ему удавалось держаться между националистами, которых он упрекал за чрезмерную горячность, и правителями — неумелыми людьми, стремящимися к дешевой популярности у народа, этой безликой массы, принимающей за чистую монету высокопарные слова лживой пропаганды. Сторонник либеральных взглядов, Тангара искал равновесия между различными силами, которые раздирали Африку на части. Он ни с кем не соглашался, придерживаясь собственного мнения. Он законно гордился тем, что был в курсе всех последних открытий в области медицины. Как врач, он следил за всеми публикациями и журналами, издающимися самыми различными учеными. И теперь он спрашивал себя: кому это нужно?

— Папа, мы уедем из больницы?

— Что? Ах, да! Надо поесть. Мы проведем каникулы вместе. Только проведем их не здесь. Мы поедем к бабушке и дедушке.

— Я не люблю жить за мостом, там грязно,— сказал Гезо.

— Что поделаешь, придется жить там. Позовите Фуссейну. Мань Комбети!

Она вошла.

— Ты будешь обедать с нами?

— Я не умею есть за столом. Я пойду на кухню.

— Ничего. После обеда надо сложить вещи. Ты переедешь с нами?

— Я еще не знаю. Мне здесь было так хорошо...

XVII

Удостоверение

Лей занимал у Агемона отдельный, довольно просторный домик. Он стоял в глубине двора, и к нему вел узенький проход между двумя хижинами. Там ничто не мешало художнику работать. В помещении царил хаос. Соломенный матрац, циновки, солдатское одеяло, сосуд для воды, стол и книги составляли все его убранство. На стенах висели карандашные рисунки, наброски, фотографии, разные калебасы, эскизы статуэток. Над кроватью была приколота карта Африки: слова «Золотой Берег» были дважды зачеркнуты черным карандашом и внизу аккуратно выведено: «Гана».

Несмотря на все протесты Лея, Тьюмбе настояла на своем. Художнику пришлось собрать свои вещи и переехать в комнату к Агемону. Правда, через несколько дней он уезжал на конгресс писателей в Ташкент.

Бюро настояло, чтобы Тьюмбе несколько дней не ходила на собрания — Коффи предписал ей полный покой. Тьюмбе пыталась протестовать:

— Сейчас крайне важно, чтобы каждый работал на своем посту.

— Ты нам слишком дорога, и мы не можем рисковать твоим здоровьем. Ведь и так уже ясно, что на референдуме победит «да». В оставшиеся дни только чудо может изменить положение, ну а в чудеса, как тебе известно, мы не верим. А с 29 сентября начинается новый этап борьбы. Ты, как первый секретарь партийного бюро, должна наметить дальнейшую линию поведения, подготовить доклад для центрального комитета.

Вначале визиты товарищей были краткими и молчаливыми. Люди входили и, постояв несколько минут, тихо удалялись. Но через два дня уже казалось, что штаб Фронта переехал в новое помещение. Из маленького домика во все стороны направлялись директивы. Там происходили дискуссии, там изучали расстановку сил. Там определялись важнейшие моменты борьбы. Одновременно боевая группа вербовала кадры для тех африканских государств, которые после референдума получают независимость.

Чем ближе было 28 число, тем активнее действовал Фронт, тем яростнее шла борьба под лозунгом: вернуть человеческое и национальное достоинство народу. На борцов обрушились репрессии. В ответ поднялись новые группы агитаторов-чтецов. Реакционные силы не пренебрегали ничем. Они преследовали честных служащих. Против лиц, подозреваемых в склонности к либерализму, были пущены в ход травля, угрозы и увольнения. Снятие с работы за несколько дней до голосования главного врача туземной больницы было весьма многозначительным.

Когда Фронт получил письмо Тангары о выходе из организации, ему ответили так: «На длинном пути, который нам предстоит пройти в борьбе за благополучие, достоинство и счастье народа, случается, что честные и прогрессивно настроенные товарищи, почувствовав усталость, отойдут от борьбы. Мы не обвиняем их ни в измене, ни в трусости. Пройдет критический момент, и наши сограждане сумеют сами вернуться на правильный путь. И вместе с ними мы поднимемся к вершинам человеческого достоинства всех народов».

■

В пятницу — это была последняя пятница сентября — Тьюмбе, немного оправившись, решила пойти домой, взять свое удостоверение на право голосования.

Тьюмбе вошла во двор:

— Люди, провели ли вы с миром эти дни?

— С миром, Тьюмбе!

— Да будет мир!

— Только в мире велик человек! — хором ответили женщины.

— Тьюмбе, дочь моя! Тьюмбе! — воскликнула больным голосом Ухигуэ, выбегая навстречу дочери.

— Милая мать, что с тобой?

— Это все отец твой...

Ухигуэ показала свою исполосованную и распухшую спину.

— Если бы не другие женщины, он убил бы меня. Я кричала, как еще никто никогда не кричал. А ты, Тьюмбе, в мире ли ты? Тебе хорошо там, где ты живешь?

— Тело мое в мире. Я пролежала два дня. У меня болела спина.

Ухигуэ взяла дочь за руки и провела в свою комнату. Они сели на кровать. Мать не выпускала ее рук.

— Мне хорошо с тобой!.. Он вернулся, как только ты ушла. Он был как бешеный бык. Он оскорблял меня... Я ничего не отвечала... А потом он стал бить меня, бить, бить, словно нанятой. Я так кричала, что на следующее утро даже потеряла голос. А ты, дочь моя, Тьюмбе, в мире ли ты?

— Милая мама, я в мире. Я дышу свободно.

— Знаешь, он забрал все, что оставалось в твоей комнате,— говорила Ухигуэ, ласково глядя на дочь.

С самого рождения Тьюмбе никогда не покидала ее. Для матери она все еще была ребенком, и Ухигуэ видела свой долг в том, чтобы охранять и защищать свое дитя.

— Я пришла, мать, взять свои вещи и удостоверение на голосование.

Ухигуэ вздрогнула: значит, дочь пришла не ради нее. Первым побуждением было оттолкнуть ее, но она сдержалась. Она всегда немного побаивалась резкой смены настроений Тьюмбе. Лицо ее стало печальным.

Тьюмбе сжала зубы. Склонила голову. Осторожно она прикрыла своими ладонями руки матери. Подняла глаза, в которых светилось столько нежности:

— Милая мать, я должна взять свое удостоверение. Я не могу оставить его отцу. Ты понимаешь?

— Что значит какое-то удостоверение? У меня всегда было удостоверение, и всегда твой отец голосовал за меня. Он голосует за всех в доме, кроме тебя! Смирись, дочь моя! Белым плевать на тебя, на всех нас! А ты хочешь бороться с ним?! Все знают, что победит «да». Так зачем же голосовать «нет»?

— Мать, послушай! — Она задумалась: как бы получше объяснить.— Мать, я знаю, и мои товарищи знают, что победит «да». Но для того, чтобы...

— Ты сама видишь! Так зачем же будить спящего льва? Ради удовольствия потянуть его за хвост? Будут еще выборы.

— Нет, нет, мать, это не так! Я борюсь за независимость. Голосовать на этот раз очень важно для меня, для всех нас. Речь идет не о том, чтобы выбрать какого-нибудь человека. Речь идет о выборе всей нашей жизни. Это важно, как вода, как пища, как улыбки...

— Значит, голосование для тебя важнее, чем я? — строго спросила она.

Глаза ее стали суровыми. Нестерпимая боль сжала сердце. Ухигуэ ждала ответа.

— Мать, не о том речь. Дело не в матери и дочери. Речь идет о всей стране. Это...

— Я тебя спрашиваю: это удостоверение важнее для тебя, чем я?

— Мать, милая мать, не спрашивай меня.— В голосе Тьюмбе зазвучали детские нотки.

И звук этого голоса, каким когда-то говорила ее маленькая девочка, разбудил в душе матери давно забытые образы: и бессонные ночи, когда она укачивала Тьюмбе, и первые шаги девочки, и день, когда в первый раз дочь подала ей кувшин с водой: «Пей, милая мать, вода холодная». Она выпила, хотя ей и не хотелось пить. Ухигуэ сидела с просветленным лицом. Она подумала, что дочь отказывается от своих планов.

— Хорошо! Удостоверение — это пустяки. Почти во всех семьях тоже будут голосовать одни мужчины.

— Мать...

И снова слова застряли в горле. Она хотела быть послушной дочерью, но она хотела также взять свое удостоверение. Предчувствие неизбежного конфликта беспокоило ее.

— Мать, я иду к отцу.

Голос звучал твердо. Тьюмбе быстро встала, боясь, что уступит матери. Занавеска на двери упала.

■

Жозеф Коэбоги, предупрежденный о приходе дочери, стоял в дверях комнаты. На голове торчал шерстяной колпак, на груди, под лучами солнца, играл значок проповедника.

— Ты вернулась?

— В мире ли ты, отец?

— Зачем ты пришла? — враждебно спросил он.

— Я пришла взять свое удостоверение для голосования.

— И ты думаешь, что я тебе его отдам? Ты ушла из дому, и здесь нет больше ничего твоего!

— Нет, отец... Здесь осталось мое удостоверение... Я хочу взять его.

— Послушайте все! — закричал Жозеф Коэбоги. Его рот передернулся, пряча улыбку.— Я погляжу, как ты возьмешь свое удостоверение. Оно в моей комнате. Я сейчас принесу его. А потом посмотрим.

Он вошел в свою комнату и вернулся через несколько секунд.

— Вот оно! — крикнул он, бросая удостоверение на пол и потрясая плеткой.

Тьюмбе оглянулась по сторонам: вся семья была в сборе. Взгляд ее стал жестким.

— Ну, берешь? — завопил отец. Глаза его сверкали звериной ненавистью.

Тьюмбе сделала три шага вперед, нагнулась, чтобы поднять удостоверение, и плетка хлестнула ее по спине. Тогда она изо всех сил ударила отца головой в живот. Коэбоги отлетел к стене. Взбешенный, он хотел броситься на нее. Тьюмбе увернулась, невольно дав ему подножку. Отец грохнулся на пол. Девушка с кошачьей ловкостью отскочила в сторону, схватила удостоверение и завязала его в узел на поясе. Сердце ее усиленно билось: что она наделала?

— Ты посмела поднять руку на меня, на твоего отца? Я проклинаю тебя! Будь же проклята! Да падет на тебя всеобщая ненависть! Я расскажу о том, что ты посмела сделать, всему миру! Да родятся у тебя больные, прокаженные дети! Будь проклята! Все кончено между нами! Вот где твоя благодарность!

Жозеф Коэбоги поднялся, оставив на земле колпак и плетку. Он судорожно глотнул.

— Не подходи, отец! — произнесла Тьюмбе, и в ее глазах было столько решимости, что отец отступил.

— Больше я тебе не отец! Я отрекаюсь от тебя! Ты можешь умереть! Уведи свою дочь, Ухигуэ, за мост, к проституткам!

Кадык Жозефа Коэбоги ходил вверх и вниз. Ноздри трепетали. Голос перешел на визг.

— Уходи! Не хочу больше видеть тебя!

Надменно подняв голову, Жозеф Коэбоги скрылся в своей комнате.

Тьюмбе нервно теребила удостоверение. Она тяжело дышала. Крик поднимался из души, крик гнева против себя самой, посмевшей преступить законы семьи. Она обвела взглядом присутствующих жен отца, остолбеневшую от ужаса мать.

— Мать, я не хотела...

Взгляды их встретились. Тьюмбе прочитала в глазах матери свой приговор.

— Мне нечего тебе сказать. То, что ты сделала,— невероятно! Нет, не может быть, чтобы из-за какого-то голосования ты посмела так вести себя! Причина в другом! В чем же она? Когда все это началось? Не может быть, чтобы это воскресенье так все изменило. Неужели все рушится? И безвозвратно? Как же мы, матери и отцы, не можем понять смысл грядущих дней? Ох, мне пора расставаться с жизнью.

Поведение Тьюмбе потрясло Ухигуэ. Она перебирала в памяти прошлые времена, но ничего подобного вспомнить не могла. Ударить отца! Ибо она считала, что Тьюмбе подняла руку на отца. Смысл жизни ускользал от нее. Она думала о том, как жили ее родители, ее отец, дед, прадед... События проходили одно за другим, следуя неумолимому ритму времени: рождались дети, умирали близкие, гром поразил старейшину, неурожай, бегство из родных мест, суровый или благодатный год, эпидемии, которые уносят целые деревни, падеж скота. И в этом мире все было обозначено, установлено, определено особым календарем, не похожим на тот, которым пользуются в других местах. Так испокон веков существовала семья, ее семья и другие семьи. Поведение Тьюмбе было странным, невероятным, не имеющим названия.

— Мать, я не...

— Не говори больше ничего, не добавляй ничего к моему позору. На глазах у всех ты посмела ударить отца! Ты... Уходи. Так будет лучше...

Девушка сжала челюсти и твердым шагом пошла к выходу.

XVIII

За мостом

Тангара вернулся в свою семью, туда, где он родился. Пригород с тех пор сильно изменился. Раньше, чтобы добраться туда, надо было переправиться через реку на стареньком пароме, а затем еще километра два пройти пешком. Теперь там возвышался монументальный двухъярусный мост — гордость премьер-министра. По верхнему ярусу проходило шоссе, дорожка для велосипедистов и тротуар для пешеходов, по нижнему были проложены рельсы железной дороги; каменные арки моста были отделаны под белый мрамор. Мост связывал город с деревней. От него начиналось широкое асфальтированное шоссе.

Род Кунугу жил здесь с давних времен. Он занимал квадратный участок земли на холме, возвышавшемся над рекой. Большой старый дом, стоявший прямо против ворот, выглядел солидно.

Массовое заселение района шахтерами преобразило Заречье. В период дождей от черной глины, которую месили тысячи ног, исходило зловоние. По вечерам ветер, дувший из города, от реки и из порта, уно-

сил запахи. Черные дети с серой от грязи кожей, прокаженные с кровоточащими ранами, оборванные, в лохмотьях, мужчины и женщины вязли в грязи. После постройки моста и открытия шахты район считался дурным местом. Как только спускались сумерки, Заречье кишело молодыми женщинами, которые приставали к прохожим. С полудня субботы до утра понедельника рабочие шахты пьянствовали, опустошая бутылки африканского виски и джина, пива и красного вина. Вдоль всех улиц этого квартала тянулись кабачки и пивные.

Вот где поселились Тангара, Мань Комбети и дети. На следующее утро доктор повел мальчиков в город.

— Смотри, па! — окликнул его Гезо.

Они стояли посредине моста. Нагруженные доверху пироги плыли по реке. Вдоль берега собрались прохожие и подбадривали гребцов, крича на все голоса. Вдали темнели зеленые деревья, а над металлическими крышами ярко блестело солнце. Старенький паром гудел на реке.

Тангара смотрел на свежие надписи по настилу моста: «Нет!» «Да здравствует независимость!».

— Пошли, пошли, до города еще далеко.

— Куда плывет этот пароход?

— Это баркас, Какпо. Он плывет в другой город.

— Я хотел бы плыть на нем...

Они пошли дальше. Мальчики были приодеты.

До сих пор жизнь Тангары шла спокойно, без всяких потрясений. Он работал, учился. И все. Он не видел в своем существовании ничего необычного. Гезо не доставлял ему особых хлопот. Он был безгранично уверен в себе. Свое умение, свою власть хирурга он проверял перед лицом смерти. Во время операций он был сосредоточен, заранее предвкушая радость борьбы. И когда он смотрел, как выздоровевший больной покидает больницу, его охватывало чувство гордости. Работал ли он ради больных или ради личного удовлетворения? Он и сам не мог бы сказать. Иногда он спрашивал себя: «Почему я решил заняться медициной? Какова моя цель в жизни? Деньги? Спокойствие? Или благо других людей?» Вопросы оставались без ответа. Каждый день он выполнял свою работу с тщательностью придирчивого бюрократа И вот теперь он пытался определить свое место, свою роль в жизни страны.

Мост кончился. Они оказались в районе богатых кварталов, где новые магазины открывались чуть ли не каждый день... В центре площади полицейский в белых перчатках регулировал движение. Целые стада велосипедов, телег, пешеходов, машин самых различных марок зависели от движения руки полицейского.

— Доктор! Доктор!

Тангара обернулся в ту сторону, откуда раздавался женский голос.

— Подождите, пока нельзя переходить.

— Доктор Тангара! — Шарлотта помахала рукой.

— Ох, а я гляжу во все стороны.

— Ну, все в порядке, мальчики?

— Да, мадам,— ответил Гезо.

— Значит, вы больше не работаете в больнице. Я узнала об этом по радио. Оно сообщило, что вас освободили из-за Мань Комбети.

Тангара замер на месте, продольные шрамы на лице сузились и вытянулись. «Версия министра здравоохранения несколько отличалась от этой»,— подумал он.

— Да, из-за Мань Комбети,— солгал он.— Но все устроится! А вы... Я думал, что вы уехали во Францию...

— Я решила остаться. У меня нет ни малейшего желания возвращаться к прежнему одиночеству. Мне обещают назначить пенсию... А куда вы собрались?

Шарлотта болтала, веселая, довольная, словно ребенок, перед которым вдруг открылись двери тюрьмы и яркое солнце зовет его делать все, что заблагорассудится.

— Мы идем в магазины,— объяснил Гезо и взял Шарлотту за руку.

— Прекрасно! Знаете, доктор, я пока живу в гостинице. Мне еще надо подыскать себе квартиру или коттедж. Впрочем, за гостиницу платит управление вод и лесов. Пойдемте вместе выпить стаканчик перед обедом. Что вы на это скажете? А мальчики получат пирожные.

— Пойдем, папа!

Тангара с минуту колебался. Он вспомнил свой разговор с премьер-министром, с министром здравоохранения. «Какая нелепость! Мне говорят одно, а по радио распространяют лживую версию!» Он был подавлен. Надо бы повидать товарищей из Фронта. Он сожалел, что послал тогда письмо о выходе из организации. Но гордость и самолюбие удерживали его. «Я ушел сам, и нечего мне туда возвращаться. Если я пойду сейчас к ним, они решат, что я пришел, потому что озлоблен. Я достаточно взрослый, чтобы суметь защитить себя».

— Дети, мы пойдем с мадам... Позвольте пригласить вас пообедать с нами.

— Ах, нет, доктор! Только если вы позволите, чтобы за обед платила я. Или же ваши мужские предрассудки не позволяют вам...

— Там видно будет. Не бегите так, малыши.

Они остановили такси. Дети сели рядом с шофером, а Тангара и Шарлотта — сзади. Машина тронулась.

■

Хотя Мань Комбети и ворчала, она тоже переехала в Заречье. Она следовала за доктором. На следующее утро она пересекла реку на пароме и направилась на базар. Она хотела поговорить с Битой Йеном. Несмотря на все перемены, она своих планов не изменила.

«Предки мои! Весь мир пошел кувырком! Поставить в больницу вместо доктора белую рожу! А еще рассказывают, что во главе страны стоит черный! Почему же тогда он предпочитает белого черному? Хорошо, что я дала ему пощечину! Надо было еще откусить ему нос. У него нос торчит, как дерево посреди дороги. А что тот, другой, умер, это тоже хорошо. Он умер из-за политики. Так говорят молодые. Пусть эта новая болезнь унесет их всех! И весь этот переполох из-за воскресенья. Я голосовать не буду. Ради чего голосовать? Ради того, чтобы видеть тех же белых, делать все, что им захочется? Чтобы белый мог убить меня, если ему захочется! Никогда в жизни не стану работать на белых! Ты только протяни ему палку, а потом он этой же палкой изобьет тебя. Предки мои! Нет, ни за что! А доктор? Где же мать Гезо? Ах, как я испугалась, когда увидела эту белую рожу у нас в доме! Уж не она ли мать Гезо? А может, доктор и спал с ней? Рассказывают, что белые женщины только этим и занимаются. Нет, надо поскорее повидать Биту Йена, чтобы он соединил доктора с Тьюмбе».

На рынке она подошла к торговцу, которому заказывала красного петуха. Взвесив птицу на руке, она заявила:

— Ты думаешь, он еще молод, твой петух? А он не нес яиц?

— О женщина! Что ты понимаешь в мужчинах? На, смотри! — Продавец поворачивал петуха, чтобы убедить Мань Комбети.— Смотри же! Совсем молодой! Лучшего ты не найдешь: он соединит их вместе!

— Ты за кого меня принимаешь? Он мне совсем не для того нужен!

Мань Комбети расплатилась и быстро направилась к дому Жозефа Коэбоги.

Во дворе, усевшись в кружок, группа детей хором твердила: «Отче наш, иже еси на небеси». Жозеф Коэбоги вел урок. Он читал, а дети повторяли за ним.

— В мире ли вы, люди? И ты, человек, в мире?

— В мире. А ты, женщина, с миром ли пришла сюда? Что это у тебя за петушок?

— Этот петушок,— произнесла она, поднимая его,— этот петушок нужен мне для одного поручения. Он еще совсем молод.

— Вижу, вижу!..— произнес Коэбоги.

— Дома ли Ухигуэ? — прервала его Мань Комбети, заметив, как он забеспокоился.

— Хорошо воспитанная женщина удаляется от своего дома только на очень короткое время! — ответил он. Дети хранили молчание.

— Предки мои! Так всегда говорят,— отпарировала Мань Комбети. Она любила словесные перепалки.— Так говорят. Но и в малое время можно сделать многие дела. Время не измеряется сменой солнца и дождя, временем ведает сердце. Предки мои! Она не должна быть далеко...

Поняв, что в этом споре ему не одержать победы, Коэбоги отвернулся и запел с детьми: «Да приидет царствие твое».

— Ухигуэ, сестра моя! Что с тобой? Мир ли в твоем теле? — произнесла она, входя в комнату Ухигуэ.

— Я немного нездорова, и только.

— А я ничего не знала. Я шла за тобой, вот и молодой петушок. Надо идти к Бите Йену.

— Я понимаю. Но за это время случилось большое несчастье. Тьюмбе ушла из дому.

— Предки мои! Есть от чего заболеть! Почему же она ушла? Помни,— продолжала Мань Комбети, не давая Ухигуэ открыть рта.— Помни, Бита Йен должен был начать с того, чтобы помешать ей покинуть страну. А если Тьюмбе покинула отцовский дом, значит, она была готова уехать. Значит, дело начато вовремя. Где же она?

— Она у Агемона,— произнесла мать, откашливаясь.— Отец держал ее связанной целую ночь.

— Понятно. Но еще ничего не потеряно. Бита Йен ждет нас. Ты должна пойти со мной.

— Иди одна. Я не могу уходить, может, Тьюмбе придет навестить меня.

— Понимаю. Я пойду одна. Я ее вторая мать и буду действовать только для ее блага.

— Ах, если бы это могло осуществиться и как можно скорее!

— Согласна ты отдать ее за доктора?

— Ты же как мать для нее. Как я могу отказаться от такого мужа для моей дочери?

— Но я должна предупредить тебя, что доктор больше не работает в больнице.

— Я слышала. Этот сумасшедший говорил мне

— Какой сумасшедший?

— Коэбоги,— ответила женщина.— Других сумасшедших в этом доме нет.

«Предки мои! Как только мужчина ударит жену, она уже называет его сумасшедшим. А та белая рожа, которую я ударила, может, и он говорит, что я сумасшедшая?» — подумала Мань Комбети.

— Я пойду, сестра моя. Дорога длинная. Если ты захочешь повидать меня, мы временно переехали в Заречье.

— В Заречье? В эти дурные места?

— Там живет семья доктора. Ты же знаешь род Кунугу? Это знатный род. Они оттуда.

— Ах, я забыла. Конечно же, я знаю род Кунугу.

— Я зайду к тебе, когда вернусь. Не отвечай больше сумасшедшему,— с улыбкой произнесла она.

Во дворе она остановилась около кружка детей и покачала головой. Жозеф Коэбоги не сводил глаз с красного петуха. Огненный отлив шелковистых перьев сразу напомнил ему о магических жертвоприношениях. При этой мысли кровь застыла у него в жилах: неужели Ухигуэ хочет его смерти?

XIX

Референдум

28 сентября 1958 года

Итак, ставки были сделаны. Оставалось только ждать.

Еще с вечера повсюду звучали тамтамы. В последнюю субботу сентября всю ночь в кварталах Заречья шла пьянка. Правители страны подносили щедро: красное вино, виски, джин, пиво, пальмовое вино, настоенное на стеблях перца,— все лилось рекой. Местные власти велели зарезать быков у мечетей, отслужить обедни в церквах. Женским секциям были розданы многие километры тканей с портретом де Голля, с изображением французского флага, с портретом премьер-министра. К ним были приложены крупные суммы денег. Женщины под предводительством самых знатных и почитаемых и в сопровождении лучших музыкантов отправились в богатые кварталы, где жили депутаты и министры. В европейском квартале густая толпа в красочных одеждах пела, танцевала, орала, заходя в дома к министрам и к губернатору. Их принимали и одаривали за «верность» и прозорливость. Журналисты «свободного мира» в восторге щелкали аппаратами, ослепляя всех вспышками импульсных ламп. Возбужденная, бурлящая толпа выкрикивала лозунги. Снимки блестящих от пота темных лиц со сверкающими глазами были разосланы во все европейские столицы.

С утра в воскресенье народные празднества разгорелись с новой силой. Население шло к урнам, еще не успев отоспаться после субботнего кутежа. Шли разными дорогами. Городские жители ступали по асфальту. Их избирательные участки расположились в зданиях школ, в жандармерии, в диспансерах. Царьки шествовали под опахалами. Хаджи *, в расшитых золотом одеждах, держали шелковые солнечные зонтики. Жены из знатных семей, изящные, любезные, сверкая белизной улыбок, прибывали на участки пешком или в машинах.

Жители деревень брели по зеленым сентябрьским полям, под ясным, без единого облачка, небом последнего в здешних местах месяца дождей. Они шли гуськом под бдительным присмотром толмача и стражника. Жители речных деревень шумно плыли в переполненных пирогах, и их хрупкие суденышки, готовые вот-вот перевернуться, скользили вдоль зеленого царства птиц. Крестьяне пересекали арахисовые поля, и слипшиеся во сне серебристые листочки открывались от прикосновения голых ног, безжалостно давивших капельки росы. Окруженные почетным эскортом, вооруженным длинными дротиками, по размытым горным тропинкам ехали всадники из знатных родов.

Шествие не прекращалось весь день.

Было уже поздно. Загорелась утренняя звезда. В помещении Фрон-

* Мусульмане, побывавшие в Мекке.

та собрались делегаты из различных избирательных участков. Их прогнали оттуда. Результаты голосования поступали непрерывно. Все комментировали события дня. Агемон, Нуру, Эль-Эй Этиан, Самюэль, Тьюмбе находились здесь с субботы. Они покинули помещение лишь на несколько минут, чтобы выполнить символический жест голосования. Они отмечали процент «да» и «нет». Лампы дымили. Победа сторонников «да» больно ранила их. Как велик процент «да»! Полное отчаяние готово было овладеть всеми. Они остро чувствовали свое поражение. В помещении царило мрачное молчание. Недели и месяцы борьбы, невероятных усилий, огромного напряжения воли — все пошло прахом в одну ночь. Слишком тяжело было поражение, оно не могло не заронить в душу сомнение в народе, в самих себе.

— Вся работа впустую... Ночи, дни, все жертвы, что мы принесли ради народа, — все напрасно! Оказалось достаточно одного мешка риса, нескольких пустых обещаний, наград или денег, чтобы купить народ,— нарушил молчание Эль-Эй Этиан.

Взгляды всех обратились на него... Никто не ответил. Даже те, кто проявили себя за эти месяцы настоящими руководителями и организаторами, и те молчали.

Послышалось пение петухов. Голубая заря медленно приподнимала покрывало ночи. Вошли Коффи, Сори, Маига.

— Какие новости? — спросил Агемон.

— Вот последние результаты: «да» победило всюду, кроме Гвинеи,— устало произнес Коффи.

Сори присел рядом с Тьюмбе на конец скамьи.

— Лей уехал на конгресс писателей Африки и Азии. Одно-единственное государство предпочло независимость порабощению: Гвинея! — повторил Коффи. — Среди нас только товарищ Сори гвинеец. Он свободен, и его страна независима.

В один миг все руки потянулись к Сори. Все от души поздравляли его.

— Поедем в Гвинею! Да здравствует Гвинея! Да здравствует Секу Туре! Мы ступим своими ногами на землю Свободной Африки!

— Теперь мы знаем, куда ехать,— произнес Эль-Эй Этиан.

— Агемон, на какое число назначен отъезд? Я задыхаюсь здесь.

— Не спеши...

Маига встал:

— Займите свои места, товарищи. Нет, Сори, ты иди сюда.

Все расселись. Сори знал, что они отдали борьбе лучшее, что в них есть. Они не щадили ни сил, ни труда. И вот они оказались побежденными. Незнакомое чувство овладело им — счастье, от которого кружилась голова. Он был свободен, страна его стала независимой. Он хотел передать им это свое счастье, но его сковывало ощущение неловкости от того, что только он получил эту свободу, эту независимость. Он чувствовал себя свободным! Он задыхался от счастья! Потоки новых мыслей неслись в голове.

— Все мы боролись за честь и достоинство Африки. Мы не одиноки. В организациях Фронта есть представители различных уголков Африки. Только одна страна стала свободной. И она открыла дорогу новой Африке. Наши товарищи поедут в Гвинею, и они сумеют рассказать там о нашей борьбе. Гвинея, Берег Слоновой Кости, Сенегал, Убанги, Нигер, Конго — все это куски нашей родины. Разбойничий закон, придуманный разбойниками, расчленил наш континент. Такое деление не имеет под собой никаких оснований. Они хотели бы сделать из нас, из нашей Африки, вторую Латинскую Америку.

Маига глубоко вздохнул. Черты его лица стали жестче. Он сделал шаг в сторону. Его тень, разросшаяся, огромная, закрыла карту Африки.

— Мы не разбиты, это даже не политическое поражение. Мы снова примемся за работу. Пусть марионеточное правительство и его хозяева думают, что они одержали победу. Мы говорим, что это ложь. Они лгали народу, крестьянам, рабочим. Они лгали, утверждая, что крестьяне будут освобождены от уплаты налогов, что будут подняты цены на сельскохозяйственные продукты. Они лгали, говоря, что народ будет свободен. Все это ложь! Они помогли нам, подготовили для нас почву. Два года тому назад здесь нас было всего пятеро, пятеро, которые шепотом повторяли слово «независимость». А теперь наши противники, беглецы из Бамако, из Котону, отвернулись от независимости, они вынуждены — и это мы вынудили их! — снова лгать. Они сказали, что «да» означает независимость. Они проституируют слово «независимость». Пусть так! Мы не станем заниматься грамматикой, но их «да» повернется обратной стороной, оно станет «нет». Независимость жива в душе народа, и мы добьемся ее. Надо действовать так, чтобы эта истина стала силой, которая заставит склониться продавшихся правителей и реакционеров. Эта истина пронесется шквальным ветром, и каждый глоток воздуха, каждое тело, пение птиц, солнце, звезды, луна, все на этой земле будет полно ею. Города, села, поля загремят, загудят, загрохочут: независимость... социализм...

Речь Маига приободрила всех. Глаза загорелись единым желанием, единым порывом. «Нет, нас нельзя покорить!» Сжав кулаки, Маига, казалось, даже вырос. Он закончил:

— Да здравствует народ Гвинеи! Да здравствуют мужественные алжирские бойцы! Мужественные бойцы всех стран, борющихся против своего порабощения!

Все снова заговорили, зашумели. Товарищи окружили Сори, хлопали его по плечу, забрасывали вопросами. Затем постепенно, по одному или группами, все разошлись.

В понедельник все только и говорили о референдуме: комментаторы, сплетники, радио. Сторонники «да», опьяненные успехом, наперебой расхваливали преимущества «да». Какая-то банда хулиганов выкрикивала ругательства и оскорбления перед закрытым помещением Фронта. Как по волшебству, с улиц исчезли танки, войска. Стражники вернулись в казармы.

Тьюмбе помогла Сори уложить вещи, а затем привела его к себе в домик. За эти несколько часов Сори совсем переменился. В голове его все перемешалось. То он видел путь, пройденный вместе с товарищами здесь, то вдруг все, что было вчера, позавчера, неделю или месяц назад, становилось чужим и безразличным, и он вспоминал, что было три года назад. Приятные мысли укачивали его: он вновь увидит Лабе, родную деревню, большую площадь с бавольниками, дом собраний, мастерскую дяди-кузнеца, свою семью. А может быть, его никто и не узнает сейчас? Живы ли мать, отец, старшие?.. Гордость переполняла его. Он был таким же, как и другие, но он был гвинейцем. И он ощущал это всем своим существом. Отныне графа его паспорта «Национальность — француз под попечительством» более не задевала его самолюбия. Он хранил в душе образ всей Африки. И вот Гвинея, одна, как камень, упавший с крыши, отделялась от всех.

Весь день он провел с Тьюмбе. Все было сказано. Сори говорил мало. Тьюмбе понимала сдержанность своего возлюбленного. Она понимала его мысли и прощала ему. Вопрос об отъезде был решен давно, несколько недель тому назад. Она одобряла Сори. Да, это большое счастье — чувствовать себя гражданином независимого государства. Это состояние блаженного счастья пройдет, появится сознание реальной действительности, появится чувство ответственности. Наступит новый

этап борьбы, во сто раз более трудный, в тысячу раз более прекрасный. Любовь к Тьюмбе и Африка сливались в сердце Сори воедино.

Они не замечали, как бегут часы. На дворе трещали кузнечики. Солнце метало копья лучей на зеленую лужайку с пожелтевшей травой, на нежные кроны деревьев, на желто-золотистую солому крыш, на плоские насыпи землянок; оно посылало свои лучи в дома. Солнце предвещало наступление жаркого сезона. Все сверкало до самого горизонта. Издалека, из рабочих кварталов, доносился тонкий голос, тянувший заунывную мелодию.

В домике занавеска на окне была задернута, плетеная циновка опущена на двери. Агемон, не входя, поставил у порога миску с рисом. Они поели и снова легли. Тьюмбе спрашивала себя, как бы повели себя на ее месте женщины, которые борются во всех уголках земли.

Она лежала на животе. Обнаженная до пояса, она опиралась на локти, положив подбородок в ладони. Исполосованная кожа хранила следы витого хлыста. На голове торчали жесткие косички.

— Мы — центр Африки! Где расположен центр Африки? Сердце Африки? Сори, я тебя спрашиваю.

— Сердце Африки? Да, сердце Африки... — повторял он, чтобы сказать что-нибудь. Дважды у него чуть было не сорвалось с губ: в Гвинее. Но он не хотел обидеть ее, назвав имя своей родины, своей независимой родины.

— Сердце Африки — это ты!

— О, ты говоришь неправду! Сердце Африки там, где борются за единство!.. Уезжая, не забудь зачеркнуть на карте «Французская» перед словом «Гвинея». Больше не существует «Французской Гвинеи»!

— Да, — произнес он, взглянув на карту на стене.

Он медленно взял ее голову в руки и долго, долго смотрел ей в глаза.

— Не гляди на меня так, — попросила она, опустив ресницы. — Один глаз у меня косит. Когда ты так смотришь, я смущаюсь... Я даже подумывала, не попросить ли Коффи выписать мне очки. Но потом побоялась, как бы, увидев меня в очках, люди не стали говорить, что у меня много претензий.

— Тьюмбе, а что ты будешь делать теперь, совсем одна? Все ведь едут в Гвинею, — говорил Сори, держа ее голову.

Она не поднимала глаз.

— О, я не одна.— И в голосе зазвучали веселые, озорные нотки. Она хотела отнять его руки от лица, но их прикосновение было так нежно. — Не все товарищи поедут в Гвинею, иначе это будет просто бегством. Ты знаешь, Лей очень хороший пропагандист и прекрасный журналист. Он любит рисовать, а все требуют от него, чтобы он писал. В его книжке «Шальная Африка» есть стихотворение, оно называется «Тропинка»:

Я пойду по этой тропе!
И пускай четвертуют меня,
Все равно я путь проложу —
Через гибельный жар саванн,
Над кипеньем яростных рек,
Сквозь леса, что в себе таят
Лихорадки коварной яд.
Я по этой тропе пойду,
Я пойду, устилая ее
Щебнем своих костей,
Я пойду, укрепляя ее
Цементом крови своей.
Я пойду, я пойду по тропе,
Которая к людям ведет.

К миру и дружбе ведет.
И пускай четвертуют меня,
Все равно я путь проложу,
Ибо имя мое — Народ. *

Тьюмбе перевернулась на спину и натянула на себя одеяло. Взгляд ее был устремлен вверх. Лучи солнца проникали сквозь щели в соломе и окутывали комнату водянистым светом. Тьюмбе хотелось, чтобы это мгновение никогда не кончилось. Время более не существовало для нее.

— Ты видишь, не надо сердиться, не надо гневаться... Надо строить, созидать, возрождать историю... Я не хочу больше преподавать детям историю Франции. Вот начнется учебный год, тогда посмотрим. Ох, опять я заговорила о делах. Сори, скажи, что ты будешь делать в Гвинее?

Сори был далеко. Он был недоволен собой, но не хватало силы оторваться от Тьюмбе. День тянулся нескончаемо, вечер все не наступал... Пятнадцать лет тому назад он уехал из Гвинеи. И вдруг его родина настоятельно зовет его обратно. Ему было немного совестно, совестно за ту радость, которая овладела им и которую он не мог скрывать. Совесть укоряла его, что он вложил в борьбу не все силы. А домик давил его. Ему хотелось выйти на улицу, чтобы все видели его, показать себя, заговорить с прохожими, сказать всем и каждому: «Смотрите, я гражданин Гвинейской Республики! Я более не француз, не французский подданный, не член однобокого Сообщества. Я — член всечеловеческого сообщества!» А вместо этого он сидел здесь взаперти. Все кружилось перед глазами... Что он будет делать в Гвинее? Он и сам этого не знал. Ах, только бы почувствовать под ногами свободную землю! Он заговорил:

— А почему ты не хочешь ехать, Тьюмбе? Ты найдешь там работу. Учителя будут очень нужны.

— Ах, Сори, ты ничего не понимаешь! Ничего... Ты думаешь, меня радует твой отъезд? Нет... Но я рада за тебя, рада, что ты возвращаешься к себе. Как часто мне хотелось услышать от тебя: «Тьюмбе, я решил не ехать». Но теперь все переменилось. Я рада, что ты едешь. Это твоя страна. И вполне естественно, что ты хочешь вернуться туда. Я — учительница. Я прекрасно знаю, что найду работу — работы хватит для всех, и с избытком! Мы боремся за то, чтобы начать новую жизнь. А не для того, чтобы насладиться одержанной победой. Мы хотим создавать. И работа предстоит большая. Не забывай, что наша страна еще не свободна, а я — член марксистской партии, которая первой написала на своем знамени слово «Независимость», первой произнесла его на нашей родине Африке. На мне лежит ответственность за весь район. Для тебя, для меня, для тысяч и тысяч других товарищей в Гвинее, в Габоне, в Чаде, в Дагомее, в Судане все эти страны составляют единое целое. Империалисты были бы счастливы, если бы мы покинули поле битвы. Но этого не будет!

— Я знаю...

— Дай мне кончить. Я же вижу, что ты не все понимаешь. Не сердись... И не проси меня отречься от того, что мне дорого и что заставляет тебя уехать. Я — африканка. Теперешние границы Африки — дело рук колонизаторов. Запомни это раз и навсегда!.. Отвернись, я оденусь, и мы пойдем.

— Но товарищи сказали, что сегодня вечером... — начал было Сори, немного сбитый резкостью ее слов.

— Ты со мной, а мысли твои — далеко. Ты сильный человек, ты способен выдержать многие часы трудной работы. Но ты многого не

* Перевод М. Ваксмахера.

понимаешь. Все, чему ты здесь научился, выветрилось. Мы боремся, чтобы начать новую жизнь. И там, в Гвинее, тебя тоже ждет борьба.

Она резко отодвинулась. Комната сразу потеряла свою интимность. Злая искорка загорелась в глазах Тьюмбе. Она одевалась. Сори следил за ней растерянным взглядом.

— Ты понимаешь, это все из-за...

— Из-за того, что Гвинея стала независимой,— прервала она. — Ну, чего же ты ждешь? Ты опоздаешь! Я пошла...

Взяв чайник, она подняла завесу на дверях и вздрогнула: в тени крыши у двери сидела Ухигуэ.

— Мать, — испуганно воскликнула она.

Как и всякая мать, Ухигуэ была подавлена: ее дочь... Она задыхалась и не могла произнести ни слова. Наконец она перевела дыхание:

— Так вот зачем тебе нужна свобода? Чтобы так жить?

— Мать, выслушай меня...

— Что? Ты, может, еще принесешь показать мне свою юбку? Твой отец был прав! Да, девка! Вот кто ты! Ты кончишь за мостом!

— Мать... Мать... — умоляла Тьюмбе. — Да нет же... Послушай меня...

— Нет, я схожу с ума! Вот какую тебе надо «свободу»? Блудница! Твой отец прав: ты потеряна, как воды в реке. Ах, если бы ты была козой, то у меня было бы уже стадо козлят!

Тьюмбе сделала шаг вперед. Мать отвернулась. В это время в проходе между хижинами показалась Номе. Ухигуэ схватила ее за косы и повела за собой. Опозоренная, Тьюмбе стояла, не в силах двинуться с места. По лицу ее медленно катились слезы.

■

Черная ночь. Жаркая ночь. В прозрачной темноте древние деревья расплетали свои могучие ветви. При мягком свете звезд смутно вырисовывались странные угловатые строения, какие-то гигантские формы, огромные каменные громады. Легкий туман стлал над землей свои шелковые одеяния с обтрепанной бахромой.

Шесть часов шел караван по тропинке, добираясь до места, где его ждали пироги. Человек двадцать мужчин и женщин разных профессий шли в Гвинею, ставшую землей обетованной. В последний момент к группе отъезжающих присоединились еще три человека: учитель, фельдшерица и каменщик. Все шли молча, глубоко взволнованные: надежда и сожаление владели людьми. Надежда на свободу, на творческую свободу, которая вернет им былое достоинство. Неистощимая потребность созидания, которую веками подавляли в них, потребность утвердить свою личность — вот что вело их навстречу мечте.

— Когда мы опять увидимся? — спросил Сори. С тех пор как они покинули домик, он не имел возможности поговорить с Тьюмбе.

Они шли в голове колонны.

— Если твое желание увидеться действительно так сильно, как ты говоришь, то, значит, мы увидимся. А теперь пора думать о вещах серьезных.

К Тьюмбе вернулась привычная уверенность в себе. Муки любви сделали ее еще тверже.

«Почему, почему раньше спрашивала только я? Ты думаешь, что я не похожа на других женщин? Я такая же, как и все. Мы кажемся разными, но все одинаково воспринимаем любовь. Что нас действительно отличает друг от друга, так это взгляд на будущее. Сколько раз, оставаясь одна после собраний или после уроков, я задавала себе этот вопрос! Но я — женщина, и даже если бы я хотела забыть о нем, я не

смогу. Плач младенца, детский взгляд, чей-то жест — все будет напоминать о нем».

— «Если бы ты была козой, то у меня было бы уже стадо козлят. Ты потеряна, как воды в реке»,— сказала тогда мать.

— Не думай больше об этом, — произнес Сори.

— У меня невольно вырвалась эта фраза.

— Вот мы и пришли! — объявил Коффи.

Они остановились в нескольких шагах от топкого берега. Две фигуры вышли навстречу из темноты.

— Сори здесь?

— Здесь!

— Вот возьми список людей и их профессий,— говорил Маига.— Ты назначаешься ответственным за всю группу. Продовольствия на дорогу достаточно. Никаких криков, лозунгов, никаких «Да здравствует Гвинея», пока не прибудете на место. Вы поплывете, как здесь указано. Старайтесь избегать встреч с рыбаками. Будьте внимательны к тем двум женщинам, которые едут с вами.

— Нас пятеро, — поправил чей-то женский голос.

— Тем более... По лодкам! — раздался твердый голос Тьюмбе.

Во мгле не было видно даже белков глаз. Но лица их сблизились, дыхание смешалось.

— Самые счастливые минуты в моей жизни дала мне ты. Это правда, Тьюмбе.

Тьюмбе отошла в сторону.

— Тьюмбе, ты не едешь с нами?— спросил женский голос.

— Нет, я остаюсь. Пора, Сори, борьба продолжается, — проговорила она, видя, что Сори все еще стоит рядом.

Вскоре послышался плеск весел. Неразличимые в темноте, три пироги разворачивались и выплывали на середину реки.

— Куда они едут? — спросил Дигбе, обращаясь к Тьюмбе. Дигбе пришлось повторить вопрос еще два раза.

— Они едут в Гвинею. Это свободная страна.

— А там есть белые?

— Да... Но не такие, как здесь...

— На завтра назначена встреча представителей различных организаций. Надо сделать анализ новой обстановки. Впрочем, по существу ничего не изменилось.

— Надо подумать, как укрепить Фронт,— произнес Агемон.

— Говорят, что Тангара неплохо зажил с бедной вдовой Фора. Не могу понять, почему он покинул Фронт,— говорил Маига.

Огромная усталость навалилась на плечи Тьюмбе, сердце ее разрывалось. Она шла между Коффи и Дигбе. Остальные следовали за ними.

АРМАНДО ЛОПЕС САЛИНАС

ГРАМОТА НА ИСПАНСКОЕ ГРАЖДАНСТВО

Мариано Хосе де Ларра, выдающийся испанский писатель и критик прошлого века, писал в одной из своих статей:

«В деятельности Мендисабаля * я критиковал то, что мне казалось нужным критиковать, и ни от чего не собираюсь отрекаться, какая бы партия ни была на его стороне, какой бы популярностью он ни пользовался и каковы бы ни были средства, применяемые им в оппозиционных целях. То же самое я намереваюсь сделать и в отношении ныне существующего кабинета, каковы бы ни были силы, которыми он располагает, находясь ныне у власти, ибо если и есть люди, которые боятся всяких осложнений, штрафов и тюрьмы, то я не из их числа. То же самое я намереваюсь делать по отношению ко всем новым правительствам, пока у нас не будет такого, которое сумеет покончить с гражданской войной и дать стране все, по моему мнению, необходимые учреждения; создание подобного правительства — это единственное эффективное средство избавиться от моей критики, а восхваление не входит в мои задачи: я считаю, что долг свой нужно исполнять без расчета на похвалу. Из этого вы можете заключить, что у меня в настоящее время есть чем заняться».

* Хуан Альварес Мендисабаль (1790—1853) — испанский политический деятель.

Этой цитатой (исключая, разумеется, конкретные детали — печать времени) можно определить суть той моральной позиции, которую занимают многие современные писатели Испании, отличающиеся друг от друга по политическим, идеологическим или эстетическим взглядам.

Для сегодняшней испанской литературы характерно стремление, подчас страстное стремление, овладеть действительностью, стать свидетельством нашего времени. Поиски реализма поставили сейчас перед нами не столько проблемы чисто эстетические, сколько проблему взаимоотношений писателя и общества. Литература должна стать неотъемлемой частью общественной жизни — только тогда писатель сможет разоблачить ту мнимую реальность, что навязана нам экономическими, политическими и культурными условиями, условиями, которые нам хотят представить как вечные и неприкосновенные.

Это стремление вы почувствуете и в содержании и в стиле нашей современной литературы. Оно заложено в сердцевине самых разных художественных форм. Познание жизни стало сейчас главной задачей испанской прогрессивной мысли — задачей всех тех, кто погружается в реальный мир, кто исследует общество, и исследует его не только для того, чтобы описать в литературном произведении, но и для того, чтобы перестроить его в жизни. Речь идет о том, чтобы обрести прочные связи между литературой и обществом, уяснить тенденции социальной жизни.

Нам могут возразить, что проблема поисков связи между интеллигенцией и обществом ставится не впервые. Не это ли было в свое время характерной чертой эпохи буржуазной мысли? Но так же верно, что буржуазная мысль, в свое время либеральная и революционная, уже давно вступила в кризис. До начала кризиса, в конце прошлого и в первых десятилетиях нашего века, еще можно было говорить, по крайней мере, в отношении нескольких стран, господствующих на мировой сцене, так, как сказал Стефан Цвейг во «Вчерашнем мире»:

«Если бы я искал подходящую формулу для эпохи, предшествующей первой мировой войне, эпохи, воспитавшей меня, то, пожалуй, самым точным было бы назвать ее Золотым веком уверенности». И далее Стефан Цвейг добавляет: «Никто не верил в войны, революции и потрясения. Всякий радикализм, всякое применение силы казались невозможными в век господства разума».

Совершенно очевидно, что Цвейг говорит здесь о классовой самоуверенности буржуазии, о колониальной экспансии, об открытии новых рынков, о буржуазном прогрессе, казавшемся безграничным.

Однако в Испании, как мне кажется, все было не столь ясно. Наше сегодня представляет собой, в значительной мере, вчерашний день, последствия вчерашнего дня. Испанская буржуазия не сумела достичь того «Золотого века уверенности», который для буржуазии всего мира кончился в 1917 году. Испанская буржуазия пришла к власти не благодаря собственной, независимой политике, а посредством соглашений и компромиссов с монархией, земельной аристократией и церковью. Посмотрим, что говорит Родригес Аранда * в книге, озаглавленной «Развитие идеи разума в испанской культуре»:

«Если и удалось приобщить к разделу достигнутых благ более широкие группы населения, чем в прошлом, то положение народа в целом все же не улучшилось. Положение народа не улучшалось, когда Испания владела огромной колониальной империей, а теперь народ чувствует последствия потери этой империи в большей степени, чем высшие социальные классы. Корни испанских революций прошлых веков уходят в народные массы. А теперь народу не хватает знаний, помощи и руководителей, чтобы отстаивать свои потребности и права. Обнищание Испании из-за потери колоний, война за независимость, а потом гражданские войны породили экономическое бремя, которое взвалено целиком на плечи испанского народа».

То, о чем говорит Родригес Аранда, выливалось в бесчисленные социальные волнения второй половины прошлого века, в попытки вооруженных восстаний среди крестьян и среди промышленных рабочих.

Кризис буржуазного либерализма продолжался, то обостряясь, то спадая, до времен Второй республики. Осознанием этого кризиса явились идеи, выдвинутые писателями и философами так называемого поколения 1898 года. Эти наиболее ясные умы своей эпохи понимали, куда нас вела бурбонская монархия со своей игрой в либерализм. Раньше, чем где-либо в Европе, буржуазное жизнеустройство потерпело идейное поражение в Испании. Хоакин Коста ** выразил это недвусмысленно:

«Будем ли мы вновь иметь родину, зависит от того, сделаем ли мы революцию»

В своей работе, названной «Конец последнего перемирия», Коста выступает за революционное правительство, которое провозгласит республику.

Антонио Мачадо, один из самых великих поэтов, рождавшихся в Испании, и один из самых последовательных испанских интеллигентов, выразил любовь к народу всем своим творчеством и всей своей жизнью (оборвавшейся в изгнании в 1939 году). «Нельзя быть человеком, не любя народ», — сказал он однажды.

А в своей речи перед членами социалистического союза молодежи в Валенсии, во время гражданской войны, он заявил, что победа социализма в Испании есть единственная возможность разрешить испанские проблемы.

Вот как был осмыслен кризис и пути выхода из него! В этом — суть наследия, оставленного нам интеллигентами старших поколений.

После второй мировой войны, закончившейся поражением нацизма, кризис буржуазного строя и буржуазной культуры еще более обострился. Три важнейших фактора определяют, на мой взгляд, современное положение в мире. Техника и наука в наши дни дали в руки человеку ряд новых средств в его борьбе за власть над природой. При этом социалистическая система распространилась более чем на треть земного шара. Рядом с этими факторами надо поставить распад колониальных империй и возникновение многочисленных неприсоединившихся стран, пытающихся направить экономику и политику по некапиталистическому пути. Вместе взятые, эти три фактора и обусловливают, как нам кажется, то явление, которое называют «кризисом западной цивилизации».

Поскольку мы подходим к культуре и искусству исторически, мы должны исходить из существования этих факторов в борьбе за обновление культуры.

Но вернемся к испанскому писателю, к своеобразию его задач. Мы уже говорили о поисках прочной связи литературы и общества. Укажем теперь на другую, очень важную особенность литературной ситуации в Испании.

Речь идет о становлении литературного фронта. Литературный фронт складывался на протяжении двадцати лет после окончания нашей гражданской войны. В книгах некоторых писателей идеология скрыта от глаз, в книгах других — идеологическое содержание раскрыто ясно и четко. Но между теми и другими есть общее: неприятие социальных условий, в которых живет большая часть испанского народа. Я имею в виду положение в деревне, положение промышленных рабочих, эмиграцию, классовую борьбу, полицейские репрессии и т. п. С другой стороны — и это сейчас оправданно, — писатели, вышедшие из разных социальных слоев, придерживающиеся различ-

* Испанский публицист.

** Хоакин Коста (1846—1911) — известный испанский писатель, юрист и социолог.

АРМАНДО ЛОПЕС САЛИНАС
ГРАМОТА НА ИСПАНСКОЕ ГРАЖДАНСТВО

ных политических и идеологических взглядов, как будто установили перемирие во взаимной критике.

В конце концов, все мы (по крайней мере, до сих пор) находимся в одинаковом положении. Писатель отдает себе отчет в том, что сам по себе, какова бы ни была его свобода (разумея конкретную свободу, а не абстрактную свободу художественного творчества от ответственности), он не сможет перешагнуть через ограничивающую его видение классовую позицию. Поэтому писатель понимает, что возможность подлинного творчества, значительность содержания его произведений, цель и результат его труда — все это зависит уже не только от социальной среды, в которой он развивается, не только от его природного таланта, но от общих исторических условий эпохи. Иными словами, он заранее знает, что должен сражаться с силами отчуждения.

Как же отвечают на это многочисленные испанские писатели разного социального происхождения и разных убеждений? Для них речь идет о свободе, о борьбе за свободу. Поскольку условия в Испании таковы, какие они есть, мы прежде всего должны завоевать элементарные — и давно потерянные нами — демократические свободы. Свободу мысли и свободу слова. Положение испанского писателя является, в этом смысле, исключительным. Литературная ситуация в Испании, хотя и имеются внутрилитературные идейные разногласия, определяется не ими, а наличием общего противника — насильственных методов, к которым прибегает режим, чтобы задушить движение культуры.

Борьба за свободу предстает перед нами в двух планах, тесно связанных друг с другом,— литературном и гражданском. Как писатели, мы должны бороться, прежде всего, нашими книгами. Но книга в моей стране не может полностью выполнять свою миссию. Еще до своего появления на свет книга страдает от врожденной слабости. Ведь для испанского писателя возможность познания действительности связана, урезана, ограничена предварительной официальной цензурой.

Однако социальные факты, как говорится,— вещь упрямая и настойчивая, поэтому несмотря ни на что мы считаем, что свидетельствовать о фактах — это вопрос нашей чести, нашей ответственности. Романист Хуан Гойтисоло высказал однажды (цитирую по памяти) следующий, вполне реальный, парадокс: «Реализм, изображение действительности — это единственный выход, который доступен испанскому писателю».

Только (здесь мы присоединяемся к словам Ларры, приведенным в начале нашей беседы), я повторяю, только социальная перестройка в нашей стране может привести к радикальным изменениям наших чувств и мыслей. Конечно, необходимость такой перестройки скрыто или явно отражается в сегодняшней литературе, и поэтому власти выказывают нам свое неудовольствие. Государственная власть старается представить испанское общество не противоречивым внутренне, но гармоничным. А современная реалистическая литература, наоборот, создает образ неустойчивого социального мира. Тирания цензуры стала открытой и вызывает всеобщее негодование. Она вступает в действие при появлении любого произведения, автор которого поднимается от индивидуального к коллективному, от узкопрофессионального к политическому. В Испании сейчас самым главным является не то, что думает гражданин или во что он верит,— поскольку уже с момента своего рождения он обставлен догмами,— но каким образом он ведет себя в уже установленной системе. Гражданин должен думать только то, что думают все, говорить или молчать о том, о чем приказано говорить или молчать. А если испанские писатели не принимают такого положения, то их обвиняют в искажении действительности, в политической пропаганде, как это было недавно в связи с протестами против пыток, примененных к бастующим астурийским горнякам.

Сегодня испанский писатель хорошо знает опасности, с которыми связано его творчество. Тем не менее — и в этом наша гордость — он принимает вызов. На обвинение в искажении действительности он отвечает тем, что несмотря на недостаток информации (а это серьезное затруднение) стремится показать действительность во всей ее сложности. На обвинение в политической пропаганде он отвечает тем, что принимает это обвинение и не стыдится своей причастности к политике, ибо считает себя политически ответственным. В стране, где не существуют легальные политические партии, испанский интеллигент благодаря своим выступлениям, воззваниям, подписанным сотнями имен, в защиту основных демократических свобод — свободы мысли и свободы забастовок, амнистии заключенным и политэмигрантам — выполняет и ту роль, которую в странах буржуазной демократии выполняет правительственная оппозиция. В этом повинны не интеллигенты, но обстоятельства. Когда изменятся обстоятельства, возможно, изменится и политическая роль интеллигенции.

В Испании уже давно говорится о необходимости диалога между испанцами. Но мы думаем, что диалог, который дал бы позитивные результаты, сможет начаться только тогда, когда обе стороны будут обладать равными правами, когда все будут свободны соглашаться или противоречить. Пока же диалог поневоле превращается в монолог. На выступления и петиции, о которых мы говорили, власти отвечают либо молчанием, либо угрозами.

Цензура была введена в разгар гражданской войны, в 1938 году, и в выработке этого закона испанские писатели не принимали никакого участия. На наш взгляд, это учреждение вредит самой сути писательского труда, который заключается помимо других важных задач в том, чтобы предложить современникам верную картину их жизни. Кроме того, цензурные ограни-

чения ущемляют права личности. Интеллигенты признают, что в военное время, когда был принят закон о печати, он был объясним, хотя бы объясним. Но с тех пор прошло много лет, объективные условия в нашей стране существенно изменились, и сегодня эти ограничения, сковывающие испанскую культуру, являются политическим анахронизмом, недопустимым с юридической точки зрения.

Почему же поддерживается это противоречие между потребностью писателей в свободе слова и политическим насилием, которое совершает цензура? В прессе, в речах нам говорят, что этого требует общее благо, что таким образом общественное мнение служит общему благу. Но даже исходя из этого критерия, мы оказываемся перед вопросом: неужели же служить общему благу можно, только присоединяясь к хору восхвалений, отворачиваясь от всех проблем, стоящих сегодня перед нашей страной? Не может этого быть. Нам кажется, что в таком случае нечего вообще говорить об общественном мнении, ибо литература превращается в чуждое ответственности фантазирование. На самом деле большая часть испанских писателей думает именно об общественном мнении, об общем благе и служит этому благу, когда критикует действия правительства и господствующего класса. Конечно, критикуя, можно ошибаться, но ведь никто, включая самих цензоров, не парит в небесах, превыше добра и зла.

Правда, нам часто говорят, что во времена нашего Золотого века тоже существовала цензура инквизиции и что это не помешало расцвету самой значительной эпохи в истории испанской культуры. Да, возможно, это так, но почему-то никто не вспоминает о возможностях, отнятых у испанской литературы того времени. Мы знаем эту литературу по тому, что нам рассказывают романисты той эпохи, но мы не знаем того, что они не смогли нам рассказать. Говоря это, я не склоняюсь к литературному релятивизму. Вполне вероятно и то, что исследование действительности литературой Золотого века, по многим другим внелитературным причинам, не достигло бы большей глубины и охвата.

Но и без всех приведенных выше соображений ясно, что нельзя механически сопоставлять две эпохи: нашу и Золотой век. Позорно оправдывать сегодняшнюю несправедливость, ссылаясь на такую же несправедливость в прошлом.

Продолжим разговор о цензуре. Писателю нынешняя политика в области печати представляется своего рода (простите за сравнение) оружием литературной жандармерии. При помощи этого оружия пытаются защитить взгляды, учреждения и интересы, не пользующиеся поддержкой ни большинства испанского народа, ни испанских писателей. Гражданские свободы попраны. Цензура в ее сегодняшних формах отличается произволом и непоследовательностью — в ее деятельности не существует никаких установлений и нормативов, и все предоставлено прихоти чиновников из Управления библиографической ориентации (под этим эвфемистическим названием скрывается цензура). В целом цензура стремится спрятать от народа мнения, расходящиеся с официальной точкой зрения, и препятствует объективному изображению испанской жизни не только в документальных, но и в художественных произведениях.

Много раз говорили и повторяли, что вмешательство цензуры стало бедствием для культуры. Это самая большая наша проблема. Попробуйте задать себе вопрос: может ли испанский писатель и вообще испанский интеллигент найти свободную дорогу к таким формам мысли и творчества, которые не снабжены визой стражей веры? Я говорю «веры» не в узко-религиозном смысле. В Испании после гражданской войны снова появились «охотники за ведьмами», светские и церковные инквизиторы, которые, подобно тому, как была очищена библиотека Дон Кихота, осудили на костер книги Гегеля, Унамуно, Сартра, Маркса, Бароха, Ортега-и-Гассета, Стендаля, Золя, Лорки, Неруды, Альберти, Павлова, Брехта и др. Перечислить все имена здесь невозможно, тем более что многие еще продолжают жариться в этом аду, предназначенном для «еретиков», аду черных списков.

Все это зловеще отразилось на состоянии испанской культуры. Кроме прямых запрещений книг испанских классиков или современных писателей существуют еще — хотя и несколько смягченные сейчас, когда молодой писатель или студент может поехать в Париж, чтобы купить книги и посмотреть кинофильмы,— существуют препятствия на пути к познанию и осмыслению движения мысли за рубежом. Что мы знаем, например, об эволюции мысли Сартра? Разве мы представляем себе реальные возможности создания в Испании театра брехтовского типа? Читаем ли мы романы Шолохова или Жоржи Амаду?

Что касается культурного багажа, то каждый молодой испанский писатель, учился он в университете или нет,— самоучка. И не по своей вине. Студент университета проходит через руки представителей самых реакционных течений мысли. Если он, хорошо ли, худо ли, сумел перешагнуть через их наставления — в этом его собственная заслуга. С теми, кто не учится в университете, во многом происходит то же самое.

Кроме того, поскольку не существует точных установок, что можно и чего нельзя писать, писатель чувствует себя втянутым в странную и неопределенную игру. Он должен гадать, обрывая лепестки маргаритки,— будет или не будет его детище запрещено цензурой? Это сказывается не только на том, что он пишет, но — и это особенно тяжело — на его общем восприятии действительности. Разве он может, к примеру, рассказать об ощущении отчужденности у

АРМАНДО ЛОПЕС САЛИНАС
ГРАМОТА НА ИСПАНСКОЕ ГРАЖДАНСТВО

человека, который вдруг увидел, как разрушается социальный организм, воспитавший его идеологию? Разве писатель может выступить против атомной бомбы или американских баз в Испании? Конечно, сам писатель, подобно своим персонажам, подвергается отчуждению в такой обстановке, и это ослабляет его произведения. Свобода совести подорвана в самой основе. Страх перед решением цензуры, которое ставит под угрозу труд многих месяцев, ставит под угрозу материальное существование писателя — запрещенный роман не будет оплачен,— рождает и в сознании писателя запреты. Он пытается их обойти, прибегнув к эклектизму или маскируя мысли посредством сложной и затемненной техники повествования.

Итак, мы бегло проанализировали некоторые последствия существования цензуры. В последнее время в Испании много говорят о «либерализации» в прессе. Заявляют, что скоро будет издан статус печати. Но пока что продолжаются запрещения. Мы снова и снова требуем отмены цензуры, требуем свободы слова.

Перейдем теперь к характеристике современной испанской литературы. Большая часть испанских писателей поглощена поисками пути к реальному миру. Ранее мы выделяли основные факторы — развитие науки и техники, освобождение колониальных стран, решающая роль социалистических стран,— вызвавшие так называемый кризис западной цивилизации. Эти факторы не могут не влиять и на сознание испанского писателя. Все мы люди своего времени и — пусть в особых условиях слаборазвитой страны с архаичной политической и социальной структурой — ставим те же самые вопросы, что и представители других национальных культур нашей переходной эпохи. Много раз уже говорилось о том, что буржуазное руководство культурой исчерпало себя. Художники и писатели так или иначе восстают против этого руководства. Зачинщики таких восстаний обычно называют себя авангардом. Но в большинстве случаев они утверждают лишь иллюзию свободы. Они порывают, собственно, не с буржуазной точкой зрения, а с определенной группой, господствующей в идеологической жизни общества. Конечно, имеются заметные различия между литературой английских «сердитых молодых людей», испанских или итальянских реалистов, французских «вещистов» и т. п. Эти различия связаны с конкретными условиями, определяющими судьбы национальных культур. Таким образом, элементы авангардизма, бесплодного декаданса, популизма, реализма сочетаются в неодинаковых пропорциях, в зависимости от различного уровня осознания действительности.

И в Испании есть инсургенты и бунтари. Их мятеж проявляется в поисках языка и сюжетов, не уводящих прочь от реального мира, а приближающих к нему, схватывающих его существенные черты. Конечно, цель этих поисков заключена в новой концепции мира, а не в очередных литературных нормативах. Речь идет не столько о борьбе за отдельных писателей или за отдельные произведения — хотя они служат опорой в этой борьбе,— сколько за новую культуру, охватывающую все достижения человеческой мысли. Ясно, что это не означает распространения какой-нибудь единой литературной техники: дело в расширении самих возможностей культуры.

Требование *реализма*, звучащее сегодня и в романе, и в театре, и в кино, и в поэзии,— вот что особенно интересно в современной Испании, в отличие от недавнего прошлого. Это требование порождено насущными вопросами социальной и политической жизни.

Обстоятельства обязывают писателей в политике и культуре давать отпор тому классу, из которого вышло большинство интеллигентов. В Испании существует литература, которая прежде всего заботится о разоблачительном пафосе, а не об эстетическом совершенстве. Стремление занять правильную позицию в отношении к социальному конфликту, охватившему нашу страну, особенно заметно у писателей, оторвавшихся от буржуазных корней и в своем сознании шагнувших за пределы буржуазной мысли и буржуазной практики. И, разумеется, это связано с историей нашей страны.

Тысяча девятьсот семнадцатый год, революционные забастовки, баррикады на улицах Мадрида, демонстрации... Никогда дотоле с такой определенностью не проявлялась в Испании историческая логика, отрицающая буржуазное развитие. Это должно было отразиться и на культуре. С этого момента либеральная мысль будет пытаться порвать с наиболее антинародными течениями, отделиться от них. До апреля 1931 года эти попытки будут терпеть поражение, возбуждая у деятелей культуры своего рода нигилизм, весьма распространенный не только в Испании, но и во всей Европе,— этакий культурный иррационализм, который причиняет нам столько вреда поныне. Другие литературные направления — которые представлены именами Арконады, Сендеры, Карранке де Риоса, Диаса Фернандеса и др.— были подавлены господствующим интеллектуализмом.

Вспомним об участии интеллигентов того времени в политических и социальных битвах. В первые дни февраля 1931 года родилась знаменитая Ассоциация помощи республике, основателями которой были Ортега-и-Гассет, Грегорио Мараньон и Рамон Перес де Айала. Первый манифест этой Ассоциации был выпущен в день пятьдесят восьмой годовщины провозглашения Первой республики. В нем говорилось:

«Когда история народов мирно течет в обыденности и повседневной жизни, кажется нормальным, что каждый гражданин занят своим трудом и отдается своему призванию. Но когда наступает время глубокого кризиса, когда рушится повседневность и решаются судьбы нации — каждый обязан отбросить профессиональную замк-

нутость и отдать себя без остатка служению общественной необходимости».

И далее в манифесте говорится: «Мы обращаемся к учителям и профессорам, писателям и художникам, врачам, инженерам, техникам, адвокатам и нотариусам. Особенно мы нуждаемся в поддержке молодежи».

Если восстановление республики в 1931 году могло означать, что в стране имеются условия для социальных преобразований (аграрной реформы, индустриализации, развития образования, сокращения армии и т. п.), то вооруженное восстание астурийских горняков в 1934 году принесло новое поражение буржуазным иллюзиям. Реакцией на это явилось зарождение фашизма. Февральские выборы 1936 года показали, что после шести лет политических и социальных боев в стране растут новые силы, для которых буржуазная республика уже не является искомым выходом.

Потом началась война. Все знают, что такое испанская гражданская война. Три года боев, интервенция немецких и итальянских войск на стороне Бургосской хунты и участие интернациональных бригад на стороне правительства республики. Первая схватка демократии с фашизмом. Надо сказать, что мы — те, кто не участвовал в войне и судит о ней больше по ее последствиям, чем по точным свидетельствам,— мы тоже проиграли ту войну.

Эухенио де Нора, поэт и критик нового поколения, пишет в работе «Современный испанский роман»:

«В первые послевоенные годы — а отчасти и до сих пор — наиболее заметным последствием войны стало рассеяние, разобщение. Прежде всего разобщение географическое, практическое, вызванное добровольным или принудительным изгнанием многих известных писателей. Менее заметным, но в конечном счете более опасным оказалось разобщение моральное и идеологическое — дезориентация и разброд, вызвавшие необходимость для всех, и внутри страны и за ее пределами, радикально пересмотреть позиции и критерии».

Какой была литература первых послевоенных лет? Разумеется, война решающим образом отпечаталась на ней. Существовало направление, апологетическое по отношению к режиму, порывающее со всем, что казалось левым или хотя бы либеральным. Можно говорить о намерении, сознательном или неосознанном, насадить фашистскую литературу, литературу насилия. С другой стороны, проявлялось прагматическое отношение к событиям. Большинство католических интеллигентов игнорировало все «преходящее». Это были годы так называемых «ангелических поэтов», времена «голода по божественному» — в то время как никто не замечал голода испанского народа. Я не хочу обвинять всех интеллигентов того времени — социальная, политическая и культурная атмосфера была тогда невыносимо удушливой. Кроме того, Германия одерживала военные победы.

Все-таки появление двух романов — «Семья Паскуаля Дуарте» Камило Хосе Селы и «Ничто» Кармен Лафорет — было симптомом того, что «подгнило что-то в Датском королевстве». Эти два произведения противоречили оптимистическому образу «нового порядка» в Испанской империи. «Новый порядок» скрывал в себе нищету большей части страны

После окончания мировой войны и поражения нацизма, казалось, наступила передышка. Некоторые силы, особенно угнетавшие испанцев, исчезли навсегда. Репрессии стали иными по своим формам. В первый раз режим изменил тактику.

Используя новую ситуацию и провал апологетической фашистской литературы, снова воспрянуло реалистическое направление. Сыграло роль и то, что в Италии и Франции (а Франция традиционно оказывает большое влияние на наших интеллигентов) сложилась литература, отказавшаяся от старых схем и объявлявшая себя, пользуясь выражением Сартра, «завербованной». Литература этого типа, а также итальянский неореализм не прошли для нас бесследно, несмотря на изоляцию Испании. Не знаю, было ли глубоким это влияние, поскольку эти книги у нас продавались и продаются лишь подпольно. То, что нам удавалось достать, могло дать только общее представление о значительности новых литературных течений в Европе.

Появились писатели, сформировавшиеся уже в тех новых условиях, о которых мы говорили выше. Это люди, не участвовавшие лично в гражданской войне. Они пытаются подойти к национальной жизни без предвзятости. Речь идет не о бунте поколений внутри той же самой культуры, не о борьбе литературных школ, но о противостоянии в самом общем историческом плане (хотя это происходило — а отчасти и ныне происходит — в рамках буржуазного сознания). Если роман и поэзия более не принимают социальную реальность, то они нуждаются в изменении выразительных средств, по крайней мере, в изменении тематики. Иначе они не смогут дать ответ на социальные, политические и культурные проблемы, обнажившиеся в послевоенные годы в Испании и во всем мире Тема все та же, что и у поколения 1898 года,— Испания, боевая Испания рабочих и крестьян, уже вступившая в первые социальные схватки, первые стачки.

Это движение оформилось примерно к 1950 году и с тех пор развивается непрерывно, все усиливаясь. Те, кто был заинтересован в подавлении этого реалистического движения, обвиняли его в образной бедности, в социологической документальности, в памфлетности.

Я хочу защитить испанский роман последних лет (если он вообще в этом нуждается). Ведь поколения, предшествующие

АРМАНДО ЛОПЕС САЛИНАС

ГРАМОТА НА ИСПАНСКОЕ ГРАЖДАНСТВО

нашему, воспитывались на каких-то уже сложившихся идеалах. У них были твердые и неизменные идеи. И в те времена писатели могли радостно и беззаботно пускаться в эстетические приключения.

С нами было по-другому. Нам не достался в наследство благополучный мир буржуазных иллюзий. Очень хорошо сказал об этом поэт и романист Хесус Лопес Пачеко: «Когда я был ребенком, пушечные залпы разбили мои игрушки».

Была война, а мы в ней не участвовали, мы в ней ничего не решали. Мы оказались просто свидетелями. Немыми свидетелями, в чьем сознании запечатлены образы войны. Мы узнали о голоде, о бомбежках, о концлагерях, о тюрьмах. На наших глазах погиб миллион человек. Потом наступил мир. Мир, который был продолжением войны. Снова тюрьмы, концлагери, расстрелы, голод, и когда мы зализывали наши раны, началась мировая война. Потом она окончилась; миру были открыты не удивительные для испанцев зверства нацистов. И даже сегодня, через двадцать пять лет после окончания гражданской войны, в моей стране преследуют людей за их политические взгляды и общественную деятельность. И по-прежнему скитаются по всему свету тысячи испанцев, политических изгнанников.

Что же может делать сегодня испанский писатель? Просто выдумывать? Беззаботно отдаться своему искусству? Габриэль Селайя, один из учителей поэтической молодежи, сказал:

«Я написал бы совершенный сонет, если бы не было позорным писать его в наше время».

Писателю нужно сказать о себе и о других столь многое, что чистое воображение для него сейчас только помеха. Он открывает, что реальное сильнее воображаемого. Подлинная жизнь человека сегодня, рядом с нами, богаче, чем все абстракции. Поэтому, когда он пишет, он рассказывает о человеке в конкретных обстоятельствах — об испанце в сегодняшней Испании. Возможно, что в современной испанской литературе нет характеров, нет исследования характеров, а есть только конкретные ситуации. Но что же мы можем сделать? Ведь новые сдвиги в литературе — не развлечение для писателя, а поиски смысла жизни. Он погружен в эти поиски с головой, у него нет рецепта на каждый случай, на свой страх и риск он докапывается до причин многих явлений. Убеждения, унаследованные им, привели его к кризису мысли, а решения, предлагавшиеся старыми либеральничающими учителями,— всего лишь замена одной олигархии, упустившей власть, другой олигархией.

И в этом кризисе утопает действительность целой страны, полная больших и малых противоречий, еще никем не объясненная, противостоящая тому образу ее, что рисовали прежние мастера. Действительность показала писателям, какова она на самом деле — суровая, полная агрессивных сил и кошмаров, которые мы легко можем развеять.

Отныне «завербованность» стала для писателя грамотой на его испанское гражданство, своего рода крещением интеллектуальной честностью. Испанские писатели, испанские интеллигенты знают, что их судьба связана с судьбой народа. Поэтому в меру своих сил они поддерживают народ в его борьбе.

Этой ответственностью не только перед своей внутренней правдой, но перед правдой народа испанский интеллигент как бы зажег свечу. Старая китайская пословица гласит, что лучше зажечь свечу, чем жаловаться в темноте.

Критика

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

О НЕКОТОРЫХ ИСПАНСКИХ ПИСАТЕЛЯХ

Прочитав роман или стихи испанского писателя, советский читатель может заинтересоваться, где живет автор — на родине или в изгнании. Прошло четверть века с тех дней, когда в итоге почти трехлетней гражданской войны большой и добрый народ оказался под пятой маленького и злого каудильо. Сколько событий произошло с тех пор! Мировая война, начатая теми самыми людьми, которые помогли каудильо вскарабкаться на престол, оборвала сорок миллионов человеческих жизней, разрушила сотни городов, искалечила судьбу двух поколений. Гитлер отравился в бункере, Муссолини повесили. А испанский курилка жив. Иностранные туристы летом заполняют Испанию, они восхищаются Альгамброй и пальмовым лесом Эльче, сокровищами Прадо и танцами с кастаньетами, боем быков и дешевизной — песета обесценена, и мелкий служащий «Лионского кредита», перевалив Пиренеи, чувствует себя богачом. Американцы покупают по дешевке древние романские церкви и увозят их к себе. Американские генералы, английские дельцы, французские министры жмут руку каудильо, и старый карлик удовлетворенно улыбается, конечно, он предпочитал хорошее рукопожатие Гитлера, но у мертвых нет рук. Каудильо не спорит, он договаривается с живыми. Не только деньги не пахнут, не пахнут и руки.

Конечно, иностранцы видят не только Алькасар, оливковые рощи, красоту различных Кармен, они видят и нищету, голодных детей, сурово сжатые губы крестьянки, которая несет на голове большой кувшин с водой, тюремные стены. Трещит звонкая хота, кричат «оле» андалузские танцовщицы, звонят колокола, гудят машины, и вдруг отчетливо проступают тишина острога, молчание кладбища.

Четверть века. Все на свете изменилось. Но часы Испании поставлены не по гринвичскому времени, эти часы по указке каудильо стоят. В 1931 году я повидал самый обездоленный уголок Испании — Лас-Урдес. Я писал тогда: «Крестьяне ютятся в темных вонючих норах, едят горсть бобов, иногда хлеб. Учитель говорит: «Среди моих учеников вряд ли найдется один, который хотя бы раз в жизни поел досыта...» Тридцать лет спустя я прочитал очерк двух испанских писателей Армандо Лопеса Салинаса и Антонио Ферреса «Пешком по Урдесу». Вот несколько фраз: «В этой деревне пятилетние дети не умеют ходить, жалко на них смотреть, они ползают на четвереньках... Домики напоминают свиные хлева... Бедная беззубая женщина дает грудь младенцу; груди плоские, свисающие, как сушеные баклажаны, кажется, в них нет молока. У ребенка на голове язвы, мухи кружатся, облепляют его лицо... Высота комнаты семьдесят сантиметров, нельзя выпрямиться... В Лас-Урдесе не пекут хлеба, нет ни мельницы, ни печей. Хлеб — это роскошь в Лас-Урдесе...» Где-то далеко люди покупают холодильники, сидят у телевизоров. Воздушные корабли проникли в космос. А в нищем районе Эстремадуры люди живут в норах и мечтают о ломте хлеба.

Четверть века пышных молебнов и военных парадов, страха и нищеты, официальных речей о «величии Испании» и унизительных сделок с американцами. Писатель Хуан Гойтисоло рассказывал: «Мне было двадцать лет, и я чувствовал себя чужим в своей стране. Все твердили, что Испания — лучшая страна в мире, и потому мне казалось, что нет страны хуже». Четверть века

без свободы, которую удушили железным ошейником, а испанский народ не забывал замечательных слов Рыцаря Печального Образа: «Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот, которые небо изливает на людей, с нею не могут сравниться никакие сокровища: ни те, что таятся в недрах земли, ни те, что скрыты на дне морском... И напротив того, неволя есть величайшее из всех несчастий, какие только могут случиться с человеком». Чашу несчастья Испания выпила до дна.

Иностранному туристу может показаться, что Испания в летаргии. Что он видит? Горничных в гостиницах, музейные залы, увеселительные кабачки, гробы Эскориала, светскую чернь на барселонской Диагонали или на мадридском Корсо, длиннолицых аскетических проповедников, разодетых богородиц, которых проносят в дни традиционных процессий, марширующих солдат и где-то на городских окраинах нищий насупившийся люд. А Испания борется: то и дело вспыхивают забастовки, студенты устраивают демонстрации, интеллигенция подписывает протестующие обращения — от президента академии до никому неведомого учителя. У каудильо неспокойная старость. Он то старается показать себя почти либералом, ведет переговоры с умеренными монархистами, говорит о своем великодушии, то показывает, что есть у него и гвардейцы, умеющие стрелять без промаху, и послушные судьи, и маститые тюремщики, и палачи, готовые быстро гарротой удушить непокорных.

Читатели различных стран вдруг удивились: появились переводы с испанского — новые имена, хорошие романы, новеллы, стихи. Неожиданное воскресение испанской литературы некоторые критики называли «чудом».

В конце января 1939 года самый большой поэт Испании за последние сто лет Антонио Мачадо шагал по дороге к французской границе. Я видел этот страшный исход: шли солдаты разбитой армии, тащили пушки и пулеметы, шли профессора со связками книг, крестьяне гнали отары овец, плакали голодные дети, уносившие грошовые игрушки. Казалось, Испания уходит из Испании.

Незадолго до развязки Мачадо мне сказал: «Вот и конец — не сегодня-завтра они захватят Барселону. Для стратегов, политиков, историков все будет ясно: войну мы проиграли. А по-человечески, не знаю... Может быть, выиграли».

Поэт Мачадо вскоре умер в пограничном французском городке. Еще до него в Саламанке умер поэт и эссеист Мигель де Унамуно, бросив в лицо франкистам слова презрения: «Вы можете победить, убедить вы не можете». Потом в изгнании умерли другие поэты: Серрано Плаха, Прадос, Сернуда.

Поэт Мигель Эрнандес пытался перейти португальскую границу. Его задержали и выдали Франко. Эрнандесу тогда было двадцать девять лет. Судьба его необычайна. Два года он проучился в деревенской школе, а потом пас овец. Пристрастившись к книгам, он начал писать стихи. Когда вышла первая книга его стихов, старшие поэты были поражены мастерством вчерашнего пастушка. Я встретил его в Мадриде, он тогда не думал о стихах — был солдатом Пятого полка. Он женился, ребенок умер от голода, должен был родиться второй. Его приговорили к расстрелу, и пять месяцев он провел в камере смертников. Потом каудильо показал себя милосердным — заменил казнь тридцатью годами заключения. Эрнандес выполнил только одну десятую и в возрасте тридцати двух лет умер в тюрьме Оканья от туберкулеза. Жена с грудным ребенком голодала, и Эрнандес писал стихи, в которых отчаяние становилось силой. Его «открыли» десять лет спустя, теперь его стихами зачитываются и в Испании и в других странах. «Мертвые остаются молодыми» — «пастух из Ориуэлы» (так его звали товарищи) молодой говорит с молодыми о любви, об оливах, о гневе народа и о своей милой Хосефине.

Поэт Рафаэль Альберти много лет прожил в Буэнос-Айресе, и его дом был пядью испанской земли — он писал об Испании, думал об Испании, она заполняла его сны. Там я его видел — живого и отсутствующего,— он шел по улице мадридского предместья. (Теперь он и Мария-Тереса Леон в Риме, значит, и там клочок Испании, маленький и трепетный, как человеческое сердце.) Хорхе Гильен живет в Америке. Леон Фелипе и Макс Ауб — в Мексике, Петере — в Женеве. Все люди тяжело переживают изгнание, но, кажется, испанцы болеют ностальгией больше всех. Они выделяются и в Нью-Йорке, и в Париже, и в Москве. Они работают, служат, разговаривают с товарищами, научились пить водку или виски, но их можно сразу отличить — другой голос, другие жесты, другие глаза, и где бы на чужбине ни встретились три или четыре испанца, будь то в московской столовой или в драгсторе Детройта, сразу начинается громкая, оживленная и надтреснутая тоской беседа, как говорят испанцы, тертулья. Хуан Гойтисоло, один из самых крупных молодых прозаиков, писал: «Мы, испанцы, трудно переносим жизнь без Испании...» Хосе Бергамин не вытерпел изгнания, вернулся на родину, но несколько лет спустя был отдан приказ об его аресте, и Бергамину пришлось снова пересечь океан.

О чем думал Мачадо, говоря, что проигранная война за свободу выиграна? Может быть, о детях? Выросло новое поколение. Сегодняшние забастовщики тогда еще кричали в люльках. Да и те писатели, которые теперь поражают читателей различных стран, были в годы гражданской войны детьми. Когда выступил Франко и фашисты начали захватывать за областью область, Эухенио де Норе было тринадцать лет, Х. Фернандесу Сантосу — десять, Р. С. Ферлосио и Хосе Эспинасу — девять, Хосе А. Гойтисоло и Альфонсо Гроссо — восемь, Хайме Биедме — семь, Хуану Гойтисоло — пять.

Убили Гарсиа Лорку. В тюрьме погиб молодой Эрнандес. Умер Антонио Мачадо,

Ушли в изгнание лучшие поэты. Но народ выжил, выжила и его литература. У Франко не нашлось своих талантливых поэтов, как не было их ни у Гитлера, ни у Муссолини. Каудильо войдет в историю, как самый лицемерный злодей. Он говорил о «примирении всех испанцев» — и заселял тюрьмы. Он воздвиг огромный крест в честь «всех погибших» — и ставили его, падая от истощения, пленные республиканцы. У него были рифмоплеты, бездарные одописцы, фабриканты пошлых романов, где люди, любящие свободу, изображаются простачками, сбитыми с толку демагогами, а Франко показан добрым, мудрым, спокойным вождем, настоящим каудильо. (В одном из таких романов — «Миллион мертвых» Хосе Хиронельи — Франко сообщают, что гражданская война кончена: «Каудильо не дрогнул.— Хорошо, спасибо,— ответил он и вернулся к прерванной работе».) Между каудильо и народом нет моста, а те испанские писатели, которые ушли из Испании, и те, которые пишут в Испании честные, искренние книги, связаны между собой. В феврале 1959 года в Коллюре, где похоронен Антонио Мачадо, встретились люди, приехавшие из Испании и покинувшие ее; президент академии Рамон Менендес Пидаль прислал послание, прославлявшее Мачадо, а политические заключенные прислали в ларце, изготовленном ими в барселонской тюрьме, горсть испанской земли на могилу «доброго Антонио»; поэты Хосе А. Гойтисоло, Блас де Отеро встретились с изгнанником Хосе Петерой.

Пусть читатель не гадает, где живет автор понравившегося ему произведения — на родине или в изгнании, где издана та или иная книга — в Мадриде, в Барселоне или в Париже, в Мехико, в Буэнос-Айресе. Это дело случая, биографии, судьбы, но не различия в отношении к Испании, к народу, к его великой трагедии.

В антологиях, в литературных журналах, выходящих в Мадриде или в Барселоне, печатаются многие стихи врагов фашизма, убитых или ушедших в изгнание, не только Антонио Мачадо, относимого всеми к классикам, или Гарсиа Лорки, по словам фашистских историков, убитого случайно, но и Эрнандеса, Альберти, Хорхе Гильена, Сернуды.

Конечно, большинство молодых писателей живут в Испании. Но и здесь не все гладко. Один из самых талантливых прозаиков Хуан Гойтисоло последние годы живет в Париже. Молодой каталонский поэт Иоахим Марко был арестован, через некоторое время освобожден и уехал в Ливерпуль, где работал как профессор. Эухенио де Нора читал лекции в университете Берна.

На вопрос, где издана такая-то книга, тоже нелегко ответить. Старая русская поговорка «цензура — дура» вполне применима к испанской цензуре. В Испании большинство литературных премий присуждается до опубликования произведения, и десяток книг, удостоенных премии, не смог выйти в Испании — запретила цензура. Два романа, сборник рассказов, очерки Хуана Гойтисоло напечатаны в Париже или в Латинской Америке. Есть книги Бласа де Отеро, которые известны испанцам в аргентинском или в мексиканском издании, другие вышли в самой Испании, как, например, «Прошу мира и слова», хотя в этой книге не меньше, чем в других сборниках, стихов, направленных против фашистского строя. Каталонская писательница М. Аурелия Кампани получила премию за свой роман, который цензура запретила. Романы Антонио Ферреса запрещены цензурой и вышли за границей. Альфонсо Гроссо написал восемь романов, в Испании опубликованы только два. Премированный роман Армандо Лопеса Салинаса «Год за годом» цензура зарезала. Луис Гойтисоло просидел четыре месяца в тюрьме за политическую неблагонадежность, но его романы печатались в Испании. Как говорят испанские писатели, многое зависит от того, в чьи руки попадет рукопись: иногда запрещенный роман снова сдают в цензуру под новым заглавием и цензор его разрешает.

Читатель может удивиться: что ж это за порядки — запрещенные цензурой книги печатаются в Париже или в Буэнос-Айресе, а их авторов не арестовывают. Испания шестидесятых годов не похожа на Испанию сороковых годов: волны забастовок, отчаянное экономическое положение, появление на сцене нового поколения интеллигенции, знающего гражданскую войну и массовый террор только по рассказам старших, перемены в международной обстановке заставляют каудильо глядеть на многое сквозь пальцы. Режим франкистской Испании последних десяти лет напоминает скорее Россию Николая I, чем Германию Гитлера. Франко находит поддержку только среди кадров армии, фанатичного духовенства и крупной (главным образом паразитариой) буржуазии. Он вынужден разрешать выезд за границу сотен тысяч рабочих, которые не могут прокормить свои семьи, и эти эмигранты поневоле рассказывают соотечественникам о высоком жизненном уровне, о большой свободе в нефашистских странах.

Нет ни одного одаренного писателя, которому был бы по душе франкистский режим. Некоторые говорят об этом только своим друзьям, но большинство не боится повторять то же публично. Год назад мексиканский журнал «Куадернос американос» устроил анкету среди наиболее известных испанских прозаиков нового поколения. Пункт второй гласил: «Каковы, по-вашему, условия, позволяющие писателю осуществить в нашем обществе взятую на себя миссию?». Наиболее «старый» из молодых пятидесятилетний Камило Хосе Села, бывший участник войны на стороне франкистов, ответил: «Свобода, которой мы обладаем или которой мы можем добиться, и правдивость». Хосе Кабальеро Бональд говорит: «Необходимость свободы и честно-

---

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ
О НЕКОТОРЫХ ИСПАНСКИХ ПИСАТЕЛЯХ

сти не требует доказательств». Луис Ромеро: «Свобода слова». Аурелия Кампани: «Главное условие — свобода». Альфонсо Гроссо: «Свобода, а ее у меня с каждым днем все меньше — мои книги зависят от цензуры». Сусана Марч: «Прежде всего абсолютная свобода высказывания». Антонио Феррес: «Я думаю, что для меня, как и для всех, необходима свобода высказывания. Но меня трудно причислить к оптимистам». Рикардо де ля Регера: «Прежде всего свобода». Армандо Л. Салинас: «Главная и наиболее срочная задача — демократизация нашей структуры». Луис Гойтисоло: «Свобода слова». Один из лучших молодых прозаиков Хесус Фернандес Сантос в литературном интервью с французским испанистом сказал, что, может быть, страшнее цензуры самоцензура, когда писатель пишет только то, что может быть напечатано. У Поля Элюара есть стихотворение о том, как на всем, что он видит, он пишет одно имя — «Свобода», это стихи периода фашистской оккупации и Сопротивления. Именно так переживают молодые писатели Испании свое полумолчание.

Молодым свойственно отворачиваться от предшествующего поколения и почитать не отцов, а дедов или прадедов. Разрывы, мнимые или действительные, особенно чувствительны в эпохи, отмеченные трагическими событиями. Молодые писатели признают поэзию Мачадо, романы Пио Барохи. Они говорят, что многому научились у американских писателей — у Хемингуэя, Фолкнера, у итальянцев — у Моравиа, Павезе, Витторини. Хуан Гойтисоло в одной статье объяснял, почему советская литература ему понятнее и ближе французской «новой волны». Все молодые отмежевываются от отцов и дедов, которых упрекают за «расчеловечение искусства» (так называлась книга эссеиста Ортега-и-Гассета). Критик Лейва писал: «В поэзии нет ничего сверхъестественного. Написать поэму это то же, что сделать стол...» Так рассуждали наши «лефовцы» сорок лет назад. Однако проза и поэзия сегодняшней Испании куда интереснее различных схем. Я не осуждал и не осуждаю молодых, когда они восстают против своих предшественников, которым многим обязаны. Очевидно, таковы нравы истории. Кеведо высмеивал манерность Гонгоры, видимо не замечая, что он пишет на языке, обогащенном тем, кого он высмеивал. Нашим шестидесятникам стихи Пушкина казались устаревшими, а молодые футуристы отвергали не только Пушкина, но и Блока. Время ставит все на свое место.

Мне кажется, что художественные произведения молодых писателей Испании куда более заслуживают внимания, чем их критические суждения о прошлой литературе. В короткое время Хуан Гойтисоло, Р. С. Ферлосио, Х. Ф. Сантос, А. Гроссо и ряд других авторов возродили испанский роман. Это тем более удивительно, что писатели созревают теперь медленнее, чем в прошлом веке, что роман требует куда больше душевного опыта, чем поэзия, и что старшему из названных мною авторов еще нет сорока лет.

Новый испанский роман авторы и критики называют «реалистическим», «социальным», «объективным». Ярлычки всегда условны — то они настолько широки, что применимы почти ко всем и ко всему, то слишком узки, и тогда художественное произведение кажется взрослым человеком, на которого с трудом напялили детскую матроску.

Испанская литература, испанское искусство всегда отличались реализмом жестоким и поэтичным; таковы и «Дон Кихот», и скульптура Вальядолида, и «кошмары» Гойи, и строфы Хорхе Манрике, и стихи Мачадо. Первый испанский поэт в начале XIII века Гонсало де Берсео, которому Мачадо посвятил стихотворение «Мои поэты», писал, как все его современники, о чудесах, но те чудеса, которые у французов выглядели изложением догматов церкви, в стихах де Берсео — изображения действительности: богоматерь становится повитухой, чтобы помочь монахине, нарушившей обет целомудрия. Святая Тереса, желая показать реальность бога, писала, что он — в печном горшке. Когда Гойя изображал ужасы войны, они казались его современникам порождением мрачной фантазии, сто лет спустя они стали реальностью. До атомной бомбы «Гернику» Пикассо критики объясняли «разложением формы», а молодые писатели Испании принимают этот холст за раскрытие действительности. (Чтобы немного развеселить читателя, расскажу забавную историю. Блас де Отеро, думая о злодеяниях фашистов и о картине Пикассо, озаглавил свое стихотворение «Гер Ни Ка», очевидно рассчитывая, что цензура-дура может стать сверхдурой.)

Молодые писатели Испании многому научились и у старых авторов «плутовского романа» и у некоторых иностранных писателей нашего времени, но их главным учителем была окружающая их действительность. Хуан Гойтисоло писал: «В обществе, где человеческие отношения глубоко неестественны, реализм — это необходимость... Для нас, испанских писателей, есть только один вид бегства — бегство в действительность». Книги молодых писателей показывают, что они не только хорошо знают жизнь, но видят и невидимую сторону Луны — душевный мир своих героев. Некоторые из них создали жанр, дотоле в Испании почти неизвестный,— художественный очерк. Они не декламируют о своей любви к Испании, не делают из остатков феодализма или из некоторых черт национального характера драгоценного своеобразия, не верят в «миссию Испании», но они любят свой народ, видят скуку одних, голод других, самодурство правителей и свирепость духовенства, которое стремится спасти догмы, подточенные временем. Они пишут, потому что не могут не писать, и чувство ответственности писателя для них не формула гражданской присяги, а голос совести. Их реализм — не бытовизм, не подражание своим или чужим класси-

кам, не защита правильных идей с помощью схематических героев, снабженных именем, костюмом и социальным положением; персонажи романов — чудесный сплав людей, с которыми писатель встречался, и своего собственного мира; это живые люди с их пороками, несчастьями и душевными просветами. Романы — не графика, а живопись. Никто не сможет упрекнуть Гойтисоло, Ферлосио, Сантоса, Гроссо, Матуте, что они пренебрегают законами искусства или — прибегая к образу Хосе Ортега-и-Гассета — что они «разыскусствуют» сложный облик человека.

У большинства испанцев резко обрисованы черты лица, не менее четко проступают и черты индивидуального характера. Писатели начала века на этом основывали идеи индивидуализма. Молодые писатели — не защитники индивидуализма, но они не хотят, чтобы картина общества заслоняла индивидуальные черты людей. Хосе Бергамин, выступая в 1937 году на конгрессе писателей в Мадриде, когда речи сопровождались разрывами фашистских снарядов, говорил: «Слово не только сырье, над которым мы работаем, это наша связь с миром. Это — утверждение нашего одиночества и вместе с тем отрицание нашей отъединенности». Понятые по-настоящему, эти слова относятся и к испанскому характеру, и к книгам лучших писателей современной Испании.

Испанский реализм включает некоторую склонность к сатире, более человечной, чем Свифт, и более эмоциональной, чем Вольтер. Один из моих любимых поэтов — Хуан Руис, обычно известный под служебным титулом протоиерея из Ита. Его «Книга о доброй любви» написана в первой половине XIV века, то есть за сто лет до «Большого завещания» Франсуа Вийона. Хуан Руис описывает и нравы общества, и себя, и свою запретную любовь к монахине, с которой его познакомила старая сводня; его ирония жестока и поэтична, он сложен, свободен от догм и часто, издеваясь над цензурой-дурой, которая не вчера родилась, говорит, что показывает свои грехи для того, чтобы прославить добродетель. Сатира в романах молодых писателей Испании жестока, но всегда связана с некоторым сопереживанием автора, который не представляет читателю коллекцию интересных насекомых, как то делает порой в своих новеллах Альберто Моравиа, а состоит в заговоре со всеми своими персонажами.

Я невольно вступаю в спор с авторами романов: они меня убеждают своими произведениями, но не своими теоретическими формулами, относящимися к лаборатории творчества. Молодые испанцы часто говорят о превосходстве «объективного романа». Этот эпитет они понимают чрезвычайно своеобразно. Один писатель сказал, что цензура способствует развитию «объективного романа», лишая автора возможности вмешиваться в повествование, причем он говорил о хорошем деле нехорошей цензуры. Гойтисоло, говоря о романе Ферлосио, так определяет художественное кредо нового поколения: «Вместо того, чтобы навязывать свое присутствие, как это делалось почти во всех романах, публиковавшихся до сих пор, посредством неуместных комментариев, которые только лишают роман правдоподобия, он решил спрятаться. Скрываясь за своими персонажами, он позволяет им жить по их усмотрению... Словно кукловод, двигает он невидимыми нитями, никогда не появляясь на сцене». Гойтисоло, следовательно, называет «объективным романом» современную манеру повествования, которую полюбили американские писатели между двумя войнами. Хемингуэй отнюдь не «объективен» в своем романе, посвященном гражданской войне в Испании, но режиссер не выбегает на сцену, не рассказывает о людях — он их показывает. Так редко поступали авторы прошлого века, и, читая испанские романы, появившиеся за последние десять лет, я увидел, еще не зная про разговоры об «объективности», что молодые писатели Испании пишут по-современному, многому научились у Хемингуэя и Фолкнера, не считают обязательным описывать внешность героя или восстанавливать подробно его прошлое, зато придают большое значение диалогу — герой, выходя на сцену, сразу раскрывает себя. Это может показаться «объективностью» только самым тупым цензорам каудильо.

Ферлосио вовсе не дергает за ниточки и не предписывает своим героям то или иное движение, как это делает актер в театре марионеток. В романе «Харама» Ферлосио показывает молодых мадридцев, приехавших в воскресенье на речку Хараму. Они пробуют развлечься, пьют, купаются. Одна девушка тонет. Приезжает следователь с цветком в петлице — он тоже пытался где-то развлечься. Это живые люди. Каждый писатель знает, что герои, обрастая плотью, сопротивляются автору, этим объясняется, что если писатель составил предварительно план развития сюжета, то почти всегда план меняется: герои не марионетки, и герои дергают ниточки авторского плана.

В искусстве нет почерка, которым должны писать все, нет законов арифметики. Гоголь описывал много фантастических происшествий: и существование отрезанного носа, и похождения мертвого Акакия Акакиевича, и покупку «мертвых душ» — однако произведения Гоголя нам кажутся более реалистичными, чем многие книги авторов, твердящих о своем стопроцентном реализме. Стендаль никогда не описывал внешность своих героев, а это не помешало тому, что читатели видят Жюльена Сореля. У Толстого автор вмешивается в повествование, и это не ослабляет правдоподобности романа. Главное, что сделали молодые испанские писатели,— они вернули словам ценность. Один из героев романа Гойтисоло «Прибой», бывший боец-республиканец Хинер, говорит: «Раньше слова были как

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ
О НЕКОТОРЫХ ИСПАНСКИХ ПИСАТЕЛЯХ

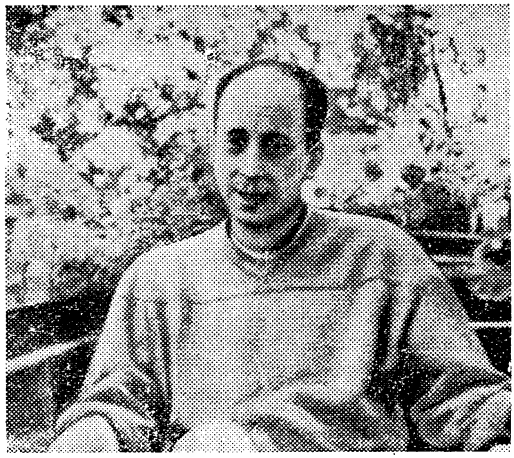
монеты — настоящие и фальшивые. Теперь же в ходу только фальшивые монеты. Слова «хлеб», «справедливость», «человек» потеряли свое истинное значение. Они стали пустым звуком, орудием лжи. Все равно что сказать «да» или «нет». Это сказано точно и по-испански; в книгах молодых авторов я нахожу народ, который я страстно полюбил.

Напомню: этот народ создал «Дон Кихота» — книгу, которая помогала многим поколениям многих стран. Большую книгу, великий образ люди всегда понимают по-разному. Говорили, что это пародия на рыцарские романы. Наивные суждения любителей этикеток и порядка. Никто нигде теперь не читает рыцарских романов, а доспехи рыцарей лежат в самых пустых комнатах музеев. Только один рыцарь выжил и продолжает свой путь по горам и долинам мира. А Санчо не противовес Дон Кихота, они неразлучны: один — поэт, другой — народ. Нет двух женщин — вымышленной Дульсинеи и вульгарной Альдонсы, есть мечта жизни и жизнь мечты.

Несмотря на годы позора, презрения к человеку, лжи, нищеты, Испания жива. Дон Кихота и Санчо Пансу нельзя принизить. Я это знал прежде. Эпопея стачек, мужество молодых, письма Гримау, фильм «Смерть велосипедиста», произведения молодых прозаиков и поэтов сегодняшней Испании напомнили мне об этом. Перед копьем Дон Кихота ложь бессильна, а народ, сердце человека, искусство воистину бессмертны.

Рисунок ПИКАССО из серии «Быки и тореро», 1959 г.

ДОКУМЕНТЫ



Хулиан Гримау.

ХУЛИАН ГРИМАУ ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ

Я познакомился с Хулианом Гримау в Гаване, после окончания гражданской войны в Испании. Как живой, встает он перед моими глазами: высокий, стройный, шаг стремительный, тело слегка наклонено вперед, в зубах неизменная сигарета, в руке носовой платок, который он часто прикладывает к высокому лбу, осушая обильно выступающий пот; глаза живые, в них светятся ласка и ирония.

Основной «пищей» в то время ему служил кофе, продававшийся «за грош» в уличных ларьках. Среди кубинцев как-то еще более заметны были стремительность и подвижность Хулиана.

Позднее, уже в иных широтах и в более зрелом возрасте, он работал в том же напряженном ритме, по-прежнему забывая о себе. Мы помним Хулиана всегда в движении, ему всегда было жаль «терять» время на еду и на лечение гриппа или простуды, которые он постоянно подхватывал в своих бесконечных хождениях под дождем с одной встречи на другую. Заботливый по отношению к друзьям, он был невнимателен к себе и всегда оставлял «на потом» отдых или лечение. Трудно было понять, откуда бралось столько энергии и жизненной силы у этого худощавого человека с хрупким здоровьем. Как Хулиан торопился жить! За свои пятьдесят лет он прожил жизнь более активную, более насыщенную превратностями и событиями, чем взятые вместе жизни иных людей.

Когда задумываешься над человеческими качествами Хулиана Гримау и пытаешься вспомнить, что же было в них исключительного, в конце концов понимаешь, что он был очень похож на других товарищей, обладая достоинствами, свойственными многим рядовым коммунистам, хотя некоторые из этих достоинств были в нем заметнее. Одно из качеств Хулиана — его слитность с партией. Он был рядовым партии. На первый взгляд может показаться, что говорить так — значит принижать его, что, когда речь идет о человеке, которому его революционный героизм принес бессмертие, надо выделять его как личность исключительную. Но ведь именно типичные для многих качества нашего товарища свидетельствуют о том, как много вынесла, осуществила и преодолела наша партия на протяжении долгих и трудных лет борьбы. Я не сомневаюсь, что сам Хулиан счел бы высшей похвалой для себя признание соответствия его личных качеств коллек-

тивным качествам партии, ибо Хулиану в высшей мере было свойственно чувство гордости, здоровой гордости за свою партию. Точно так же сегодня каждый коммунист испытывает чувство гордости за Хулиана и хочет быть возможно более похожим на него.

Когда думаешь о Хулиане, прежде всего вспоминаешь его необыкновенную работоспособность, его великодушие, его невнимание к себе, беззаветное служение делу борьбы, простоту, и скромность, и полнейшее отсутствие рисовки, хвастовства и самодовольства. Ему было свойственно еще одно качество, которым также отличаются многие наши товарищи: в каком бы уголке планеты ему ни приходилось работать, и в первые годы после войны в Испании и в более поздний период, всегда казалось, будто он и не уезжал из Испании, будто он все еще в Мадриде. Он думал, говорил и вел себя всегда так, как будто не был эмигрантом. И действительно, он нисколько не походил на эмигранта. Его думы, его сердце были с Испанией.

Поэтому, когда он вернулся на родину для ведения подпольной работы, ему не надо было вновь привыкать к окружающей среде. Вдалеке от Испании, он жил в ее атмосфере, в атмосфере борьбы и страданий нашего народа под гнетом франкизма, в теснейшем контакте с испанской действительностью. Где бы ни находился Хулиан Гримау, он всегда чувствовал за своей спиной Пиренеи. Я сомневаюсь, чтобы наши противники — и не только они, но и люди, которых мы не считаем таковыми,— были способны представить себе, как глубоко в сердце хранит Испанию рядовой коммунист, насколько глубоки в нем национальные корни, слитность с родиной и сознание того, что его жизнь — это служение Испании и ее народу.

Я вспоминаю отношение Хулиана к трудным задачам, к новым, впервые возникавшим проблемам. К сожалению, поскольку наша партия вынуждена работать в подполье, я не могу привести конкретных примеров. У партии, работающей в подобных условиях, трудностей хватает, они возникают постоянно, усложняя выполнение даже тех задач, которые в иной обстановке решаются очень просто. Каждый день ставит новые проблемы, и трудность их разрешения может вызвать уныние, чувство безнадежности. Как и каждый из нас, Хулиан знал товарищей, которые реагировали подобным образом, особенно после долгих лет борьбы. О таких товарищах мы обычно говорили, что они мыслят, как консерваторы.

Хулиан был их полной противоположностью. Он не преувеличивал трудностей и умел правильно определять их; самый образ его мыслей был революционным. Каждый раз, когда возникала какая-нибудь трудность, его ум сразу же начинал искать способ ее преодоления: гора трудностей теряла свою неприступность, он умел находить тропинки для восхождения на нее. При постановке любой задачи, какой бы трудной она ни была, у Хулиана всегда был готов ответ: «Можно считать, что все в порядке». И все бывало в порядке через час, через несколько дней или недель, в зависимости от сложности задачи. Ибо Хулиан был к тому же и великолепным организатором. Подобное сочетание организаторских талантов со способностью в такой мере вникать в суть дела не часто встречается в одном человеке. Это было одно из многих достоинств, которыми отличался Хулиан. Как никто, он умел вдохнуть жизнь в любое начинание и осуществить его. Ему помогали в этом смелость, умение подбирать и расставлять людей, упорство и последовательность в работе, неутомимая воля. Он доводил до конца любое дело и не знал отдыха до его завершения.

Хулиан умел руководить, не навязывая своей воли; он привлекал к себе товарищей простыми и ясными рассуждениями и особенно своим примером; отличаясь чрезвычайно высоким чувством долга и собранностью, он прививал эти качества тем, кто работал вместе с ним.

Для него не было задач больших и малых: с одинаковым самозабвением он отдавался большой и ответственной работе руководителя и мог по ночам, беспрестанно дымя сигаретой, часами просиживать за машинкой, перепечатывая статьи рабочих-корреспондентов для радиостанции «Свободная Испания». Как говорят в народе, он не боялся «уронить себя», занимаясь самыми скромными делами, и держался с неизменным чувством собственного достоинства. Я никогда не видел, чтобы он заискивал перед кем-либо или боялся высказать свое мнение вышестоящему товарищу; ему было чуждо все, унижающее человеческое достоинство.

Хулиан Гримау с Долорес Ибаррури и группой делегатов VI конгресса Коммунистической партии Испании.

Хулиану в высшей степени было свойственно чувство самоотверженности в служении Родине, в служении нашему делу. Он был человеком с большим сердцем, чрезвычайно мягким и необыкновенно чувствительным, хотя какое-то целомудрие и застенчивость сдерживали его экспансивность. Хулиан любил детей и обладал всеми качествами образцового отца и мужа, но, несмотря на это, он долгие годы не женился, считая, что в той обстановке, в какой боролась наша партия, люди борьбы, как бы ни любили они свои семьи, невольно обрекают их на жертвы, которые далеко не просто переносить. Он никому не хотел причинять страданий. Сколько раз в минуты отдыха мы спорили с ним по этим вопросам! Познакомившись с Анхелой и полюбив ее, он еще некоторое время пребывал в нерешительности. Но в Анхеле он нашел подругу, полную понимания, способную противостоять трудностям и страданиям, которая с присущими ей твердостью и героизмом встретила самое страшное испытание в своей жизни — его пытки и казнь. Хорошо зная Хулиана, я уверен, что в свои последние минуты, с чистой совестью перед партией и народом, он думал лишь о том, что не смог дать большего счастья Анхеле и дочерям своим, Лоле и Кармен.

Хулиан умер так же, как жил. Пышные фразы будут звучать банально, они здесь ни к чему. Как и всегда, он не думал о себе; как и всегда, его благородство и любовь к людям не изменили ему за месяцы жестоких пыток и определили его поведение перед инквизиторами и палачами, выступавшими в роли судей. В последние минуты в камере смертников он все чаще заставлял дрожать Эймара. Перед ним робел и офицер, командовавший взводом убийц. Каждый из тех, кто повинен в пытках Хулиана Гримау и в его расстреле, знает, что является соучастником или виновником преступления, задуманного Франко.

Среди нас нет незабвенного Хулиана Гримау, мы потеряли много товарищей, павших, как и он, в трудной и длительной борьбе, но мы не отступили, мы продолжаем бороться. Нам помогают и нас поддерживают последователи Хулиана Гримау и многих, многих героев-коммунистов, народных героев, павших в пути; нам помогает молодое

поколение, поднявшее факел борьбы и штурмующее будущее, за которое боролся Хулиан, за которое борется наша партия.

К этому будущему идем мы, коммунисты, идут шахтеры Астурии, металлурги Бискайи, крестьяне Андалузии и Эстремадуры, идет весь народ Испании. К этому будущему мужественно идут лучшие представители испанской интеллигенции.

Нам, товарищам и друзьям Хулиана, трудно представить себе, трудно свыкнуться с мыслью, что его нет среди нас. Бывают мгновения, когда мы ловим себя на мысли, что вот, однажды, как всегда стремительно, войдет Хулиан и скажет: «Можно считать, что все в порядке».

В тот день, когда Испания станет свободной, безутешные в своей скорби Анхела, Лолита и Кармен будут с гордостью думать: в первом ряду среди тех, кто завоевал эту свободу, стоит Хулиан Гримау.

Сантьяго Каррильо

ПИСЬМА ИЗ ПОДПОЛЬЯ

Проведенная агитация и большая помощь радиостанции «Свободная Испания», сообщившей о размахе забастовки и о необходимости выступить в поддержку астурийских шахтеров, создали в Мадриде прекрасную обстановку для борьбы. Момент, благоприятный для призыва к всеобщей забастовке. Правда, мы идем против часовой стрелки, но этого требует ситуация, а также наш долг (...) Мы должны собраться с силами и выполнить наш священный долг. Дни проходят в напряженной работе, но трудности постепенно остаются позади, и заметно растет и развивается основное: боевой дух масс. О симпатиях, в основном мадридцев, к борьбе астурийских шахтеров и баскских металлургов можно было бы исписать страницы, но сейчас у меня нет для этого времени. Повсюду люди выражают свой энтузиазм; старые товарищи начинают приходить в себя. Усилия этих лет не пропали даром! — можно услышать от некоторых.

Распад режима приобретает все более острый характер. Последний удар был достаточно силен, люди видят это и делают выводы.

Пишу понемногу, урывками, подготовка к всеобщей забастовке, назначенной на пятницу, поглощает все время, и нам его не хватает (...)

Мы полны энергии, энтузиазма и понимания, насколько важен переживаемый момент.

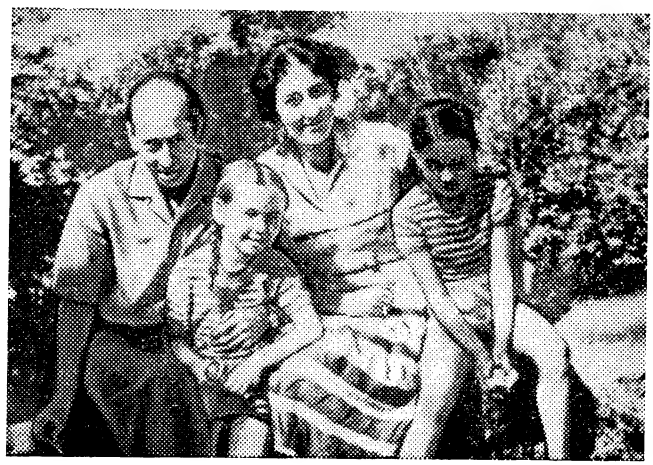
■

Я рад, что мой отдых откладывается до более удобного момента. Это вполне совпадает с моими намерениями, подчиненными необходимости не ослаблять наши силы в момент, настолько серьезный для мира во всем мире* и для нашей родины.

■

Мои дорогие! По-прежнему чувствую себя хорошо. Мне кажется, что я поправился, правда, немножко, что же касается моего загара — слегка посмуглел, солнце печет немилосердно в эти дни. Но это заметно только по лицу, ибо другие места я ему не подставляю. Мы, мужчины, в отличие от вас, женщин, не слишком лю-

Хулиан Гримау со своей семьей.



* Имеется в виду карибский кризис.

бим декольтироваться за неимением стольких прелестей, как у вас, хотя и не чужды желания сбросить с себя побольше одежды.

Любящий вас.

■

В эти дни серьезно обострились отношения с Марокко из-за того инцидента в Сахаре. Люди волнуются, поскольку туда направили солдат. Они не хотят ни больших, ни малых войн. И они правы: им достаточно приходится воевать за хлеб насущный, чтобы еще влезать в авантюры, стоящие жизней и совершенно им ненужные.

Сегодня, кажется, стало спокойнее, и правительства обменялись пленными. Речь идет о техниках, которые искали нефть. Раньше они искали золото, а сейчас они ищут нефть, которую называют (не без известного смысла для магнатов) черным золотом. Но, черное или золотое, оно всегда лишь золото.

■

Дорогая Анхелита, очень рад письмам. Мне спокойнее, когда получаю весточки от вас. Они развеивают мою тревогу.

Если ты чувствуешь себя плохо, не оставляй этого так и сходи к врачу. Дома у тебя, конечно, все блещет чистотой, в этом я не сомневаюсь, но домашние дела утомительны и могут подождать. Оставь все, ведь у тебя, я уверен, уже все в порядке. Серьезно, сделай, как я прошу, ведь с этим шутки плохи.

Надеюсь, что девочки ведут себя умницами, странно, что ты ничего мне об этом не пишешь. Очевидно, именно по этой причине. Меня беспокоит, что Кармен плохо ест, не оставляй этого так, потом может быть хуже. Давай ей соки, побольше фруктов и легкой пищи, одним словом, все, что угодно, лишь бы она питалась как должно, тем более что занятия утомляют. Своди ее к врачу (если ты еще этого не сделала).

Чувствую себя хорошо, хотя и очень много работы. Но дела идут, а это главное. Обстановка — ужасная. Борьба за амнистию приводит их в ярость. Ежедневно говорят о нас в прессе, по радио и телевидению. Парижская конференция лишила их сна. Рабочие склоняются к борьбе за повышение зарплаты. Напряженные отношения с Марокко беспокоят людей, и довольно сильно. Это и естественно, ибо туда уже направляют войска.

Вспоминаю вас часто. Вы это знаете. Но пока не думаю, что мы сможем увидеться раньше, чем через несколько месяцев. Разве только что-либо непредвиденное, но на это мало надежды.

Здесь еще много надо сделать. И главное — суметь сделать.

Мы еще поквитаемся с ними за эти годы разлуки.

Я купил две пластинки «Вечеринка у Палома и Хигантес» и «Упрямцы» и переправлю их тебе с оказией. Обе пластинки — хота в духе сарсуэлы *, особенно хороша музыка.

Береги себя. Целую и обнимаю. Любящий тебя.

■

Мои дорогие! Пишу вам в радостный для всех день. Великая победа Советского Союза и звездного Колумба, то есть Юрия Гагарина, наполнила мадридцев радостью и ликованием. Завоевание космоса первой в мире социалистической страной оценено во всем его величии и значении.

В эти дни тысячи семей слушают радио Москвы, читают прессу и следят за всеми подробностями великого завоевания человека, которое открывает путь к покорению космоса и к миру во всем мире. Оба эти вопроса тесно связаны между собой, ибо славы этой добился великий и прогрессивный народ, опора мира. Это потрясающе. Нет сомневающихся в том, что СССР идет далеко впереди США.

Чувствую себя хорошо. Работы много. Надеюсь, что у вас все хорошо. Думаю, что вы уже смогли прослушать пластинки. Напишите, понравились ли они вам.

Вас целует и обнимает беспредельно любящий вас.

14. IV. 61.

■

Мои дорогие! Чувствую себя хорошо и надеюсь, что у вас тоже все в порядке. Скоро должен получить ваше письмо. Когда этот день приближается — лучше сказать, когда я считаю, что он приближается,— радуюсь, что наконец-то у меня будет весточка от вас.

У нас все очень обеспокоены событиями на Кубе **. Снова льется кровь в этой братской стране, которая пользуется такой симпатией у нашего народа. Все наде-

---

* Хота — танцевальная мелодия; сарсуэла — народная музыкальная комедия

** Речь идет об агрессии империалистических сил в районе Плайя-Хирон.

Испанские эмигранты в Париже выступают в защиту Хулиана Гримау.

ются, что фашистские агрессоры и американские наемники будут разбиты и уничтожены. Будем же верить, что так это и случится и что никому не удастся отнять счастье у этого героического народа, завоевавшего его в борьбе против батистовской деспотической тирании и коррупции.

Звери-янки продолжают причинять зло не только в странах Латинской Америки, но и повсюду, где им удается приложить свою грязную лапу. У здешних заправил и прессы, добровольных подручных любой тирании, нацистов, фашистов или янки, слюнки текут в надежде, что зазвонят колокола их победы. Полагаю, что они заблуждаются. Кубинцы не одиноки. Их страна невелика, это правда, и по соседству с ней — северный гигант, но теперь этого недостаточно, чтобы чаша весов перевесила в их пользу. Рядом с малыми странами стоят страны большие и малые, объединенные солидарностью с теми, кто подвергается агрессии. И Куба, в данном случае, может рассчитывать на могущественную, величайшую в мире силу...

Эти типы надеются вернуть старые времена, когда кубинцы были всего лишь объектом эксплуатации со стороны крупных капиталистов; им хотелось бы, чтобы земля, отданная кубинской революцией крестьянам, была возвращена бывшим богачам; чтобы фабрики и сахарные заводы снова стали собственностью магнатов; чтобы народ лишился школ и университетов, которые дала ему революция.

Я уверен, что империалисты — янки и их приспешники — не добьются своего. Надо хорошо помочь кубинцам, и как говорит пословица, сегодня я за тебя, а завтра ты за меня. Позиция советского правительства заслуживает одобрения. Ее твердость и ясность не оставляют места для сомнений. Мобилизовавшись, народы сумеют заставить отступить и агрессоров-янки.

На сегодня все. Крепко целую и обнимаю.

Любящий вас.
19. IV. 61.

■

Дорогая Анхелита! Рад твоему письму.

Не успели события на Кубе завершиться победой революции, как появились эти «ультра» в Алжире, и там сложилась такая же ситуация. В тревожное время мы живем. Надо надеяться, что с фашистами, поднявшими мятеж в Алжире, будет покончено, и очень скоро. Сейчас я слушал радио, складывается впечатление, что ситуация в Африке не так уж благоприятна для этих негодяев, как говорилось в первых сообщениях.

Во всяком случае самое главное — это позиция народа и правительства Франции. Здесь поднялась паника в связи с возможной высадкой десанта во Франции, угрозой, нависшей над Парижем, и якобы созревшей во Франции обстановкой для появления фашистских «ультра». Я верю во французский народ и знаю, что он справится со всем этим. Но надо бы, чтобы произошло это поскорее и без больших потерь. Самое главное — сплоченность и мобилизация масс для помощи правительству в подавлении мятежа. Французское правительство, зная планы мятежников, не должно было допускать, чтобы дело зашло так далеко. Это — последствия его действий, а также того, как оно пришло к власти. Кто посеет гром — пожнет бурю, говорит пословица, но сейчас не время вытаскивать все это на свет. Важно действовать без церемоний, до полной ликвидации мятежа и установления справедливого мира в Алжире, как того хотят алжирские патриоты, мира, который гарантировал бы им свободу и независимость.

Продолжение войны обойдется во много человеческих жизней, вызовет расходы на действия бесплодные и бесчеловечные и создаст почву для появления всякого рода авантюристов. Колониальные войны, да еще в нашу эпоху, могут иметь только такие последствия.

Я уже писал тебе о реакции мадридцев на завоевание космоса. Затем на передний план выдвинулись кубинские события. Их счастливый исход преисполнил людей радостью и верой в Советский Союз, в Фиделя Кастро и еще больше дискредитировал агрессивный империализм янки и франкистскую диктатуру. Прекрасный результат!

Чувствую себя хорошо и много работаю в эти дни. Намереваюсь хорошо отпраздновать Первое мая, великий праздник трудящихся.

Хотя я и надеюсь на тебя, но, прости, вынужден настоятельно напомнить тебе о враче. Ты должна периодически к нему обращаться; хорошее самочувствие заставляет забывать о том, как это необходимо. Хотя девочки и чувствуют себя хорошо, как ты пишешь, также неплохо было бы и им побывать у врача. Если они устают от занятий, пусть пропишет им что-нибудь тонизирующее.

Мадрид, 25. IV. 61.

[redacted]

Мои дорогие!

У нас было замечательное 1-ое Мая с листовками, плакатами, воззваниями и праздничной встречей на даче за городом. Мы еще до сих пор под радостным впечатлением этого праздника. Плакаты были «Да здравствует 1-ое Мая!», «Куба — да, янки — нет!», «Амнистии!» и т. д. Листовки принимались очень хорошо, и люди аплодировали храбрости тех, кто их разбрасывал. Это был замечательный день, он отражает обстановку в стране и обещает еще лучшие дни. Но были и аресты. Это неизбежно, когда люди борются.

Чувствую себя хорошо. Сегодня, кажется, жара спала. Вчера и позавчера было невыносимо жарко. Уже появились анонсы о приближающемся празднике св. Исидро. Будет вербена *, быки и попойки. Но это не для меня. Я ведь человек спокойный и уравновешенный.

Крепко целую и обнимаю. Любящий вас.

Мадрид, 11. V. 61.

[redacted]

Дорогая Анхелита! Получил ваши письма. Чудесных результатов вы добились. Сейчас вам надо немножко отдохнуть от занятий, и мне кажется, что действительно было бы неплохо уже сейчас отправить девочек за город. Трудно будет тебе. Дом опустеет, будешь чувствовать себя одинокой и скучать по девочкам, особенно в первые дни. Поэтому я также не против, чтобы немножко отложить их отъезд, но, с другой стороны, для них лучше как можно больше использовать каникулы для отдыха. У нас последние дни прошли прекрасно. Прошедшая неделя была знаменательной. Рабочие Городского транспортного предприятия провели впечатляющую демонстрацию. Повод — гибель одного водителя автобуса во время катастрофы. Демонстрация (организованная) длилась три часа, и в ней приняли участие несколько тысяч человек. Люди до самого кладбища несли гроб на плечах. Было очень много цветов. Движение на улицах были вынуждены перекрыть. Не действовало несколько автобусных линий. Поистине это был знаменательный день борьбы. Среди рабочих «Пегасо» (одного из самых крупных предприятий) тоже начались волнения; от фабрики до Мадрида они ходят пешком, отказываясь использовать транспорт предприятия в знак протеста против обсчитывания при выплате надбавки за многосемейность. С самого начала это движение охватило от 80 до 90 процентов рабочих и служащих. Боевое настроение заметно повсюду. Намечается прогресс и в самой борьбе, и в ее организации. Одним словом, дело идет вперед. Поэтому я доволен не без основания, да и люди реагируют очень хорошо. Работы у нас много, но зато есть и результаты.

Так что, как видишь, причин быть недовольным нет.

Завтра, без спешки, напишу тебе еще. Целую и обнимаю и — в добрый час.

Мадрид, 25. VI. 61.

---

* Народное гулянье.

■

Дела у нас идут хорошо.

В субботу рабочие «Пегасо» по-прежнему отправились с работы пешком, с мирной демонстрацией. Рабочие «Стандарта» добились семичасового рабочего дня на летний период, чем они обязаны своему боевому духу и твердости.

500 рабочих соседнего предприятия провели демонстрацию протеста против нехватки воды.

Есть и другие интересные новости. Начальник вооруженной полиции проглядел превосходную демонстрацию рабочих Городского транспортного предприятия и за это был смещен.

Хорошее начало для лета и для жары!

Работы много, но я держусь молодцом, ибо со здоровьем у меня все в порядке. Меня вдохновляет обстановка. Пока все.

Мадрид, 3. VII. 61.

■

Моя работа продвигается медленно. Сказывается так называемый январский спад. Не хватает денег. Правда, этот «спад» длится вечно. Трудно поэтому идти быстро, на неровной дороге всегда возникают трудности, но если их не преодолевать по мере возникновения, они наслоятся, и тогда нужно много упорства, терпения и усилий, чтобы с ними справиться. Но такова наша жизнь: не устаешь плести и расплетать *. И не остается иного выхода, как быть оптимистом и бороться с трудностями. По сути дела так во всем. «Шить, напевая», как советует народная мудрость, совсем не простая вещь, тем более в моей работе. В действительности получается, что проводишь жизнь в «шитье», а для песен времени не остается...

Но поскольку воля превыше трудностей, мы выйдем победителями, несмотря на препятствия и т. д. и т. п...

Я допускаю, что иногда можно прийти в уныние, но такова жизнь. С кем этого не бывает? И дело совсем не в том, унывать или не унывать. То, что мы делаем,— это необходимость, отвечающая глубокому убеждению, а посему (сколько бы это уныние ни продолжалось) важно одно — всегда находиться на своем посту, в качестве офицера или рядового солдата. А при таком убеждении и уныние преходяще. В противном случае оно берет верх над самым главным...

Мадрид, 12. II. 62.

■

Мои дорогие!

Знаю, что у вас все хорошо. У меня тоже. Я много занимался, в надежде получить хорошие оценки, а получил посредственные. Не думаю, чтобы здесь была моя вина. Трудности в отдельных случаях бывают серьезными, и дело оборачивается не так, как хотелось бы. Но затраченный труд не пропадет даром ни в коем случае. Удобрение способствует урожаю; и если земля пока что не оправдывает ожиданий, она все же становится плодороднее для богатых урожаев в будущем. Я считаю, что урожаи взаимозависимы. Поэтому результаты каждого из них надо рассматривать в определенной перспективе. Иной подход был бы односторонним и привел бы к ошибочным выводам. Сейчас имеется больше оснований, чем раньше, для надежды на хороший урожай в ближайшее время **.

Как видишь, я остаюсь оптимистом, и трудности меня не останавливают.

Мадрид, 4.VI.62.

■

Дела, в общем, идут хорошо. Сегодня радио передавало о встрече в Мюнхене, в которой участвовали Льопис, Хиль Роблес, Ридруэхо, Мадарьяга, Хименес Фернандес и др.***. Видно, она не принесла им пользы. Я считаю, что обстановка сложилась как никогда благоприятная, и дело может пойти очень быстро. Плод созрел. Астурийские шахтеры и баскские металлурги нанесли режиму очень серьезный удар. Диктатуре не удается от него оправиться. Политический кризис глубок, и признаки его налицо. В подобной обстановке события могут развиться быстро. Главное, чтобы рабочий класс продолжал борьбу, нанося удар за ударом. Это сделало бы невозможным любой низкопробный маневр с их стороны, а также ускорило бы падение диктатуры.

Я рад, что ты здорова и чувствуешь себя хорошо. Девочки, наверное, очень повзрослели и ведут себя хорошо. Правда, ты ничего мне об этом не пишешь, но я думаю, что это так, они ведь у нас хорошие и ласковые, ну а прилежание их выше всяких похвал. Когда их увижу, я лучше, чем ты, смогу заметить в них перемены.

---

* Намек на аресты коммунистов.

** Здесь Гримау говорит об усилиях, которые приложили мадридские коммунисты, чтобы забастовка в Астурии охватила также Мадрид.

*** Речь идет о встрече руководящих деятелей испанских буржуазных группировок, высказывавшихся против Франко.

Помню их такими, какими они были, когда я уезжал, а с тех пор прошло уже несколько месяцев.

Постараюсь в будущем писать тебе почаще. Прости, что сейчас этого не делаю. Целую и обнимаю. Любящий тебя

Хулиан.

Мадрид, 8.VI.62.

■

Мои дела идут хорошо. Обстановка накаляется, и в этих условиях не следует упускать удобного момента.

Знаю, вас не радует мое решение*, но знаю также, что вы сможете понять и простить меня. Я очень хочу увидеть и обнять вас, но задержка моя необходима. Таково мое убеждение, хотя сердцем я желал бы иного.

Напишите мне обо всем и не забудьте написать, как у мамы со здоровьем, как идут ваши занятия и какие у вас есть самые интересные новости. Меня это порадует и ободрит в разлуке с вами.

Думаю (повторяю это еще раз), что вы поймете причины, вынуждающие меня отложить нашу встречу. Но все же напишите, как вы это восприняли.

До скорой встречи в следующем письме.

Целую вас и обнимаю. Любящий вас

Хулиан.

Мадрид, 6.VII.62

■

Думаю, что ты в курсе дела, как идут забастовки в Астурии. Поистине замечательны боевой дух, высокая сознательность и организованность астурийских шахтеров. Они заслуженно вызывают восхищение и уважение испанского и международного пролетариата.

Посмотрим, чем мы сможем им здесь помочь. За нами дело не станет. Прилагаем максимум усилий. Конец диктатуры близок. Удары, подобные этим, крепки и чувствительны. Теперь месяцы решают больше, чем раньше годы. Как видишь, есть весомые причины, чтобы быть оптимистом.

Когда борьба принимает подобный характер, разве можно ее остановить? Думаю, что нет силы, способной сделать это.

Чувствую себя хорошо. От хороших вестей поправляешься. Шахтеры борются, у вас все хорошо, и у меня много работы. Чего я могу еще желать? Чем мне быть недовольным?

Не принимай близко к сердцу непослушание девочек. Оно естественно в детях.

Кажется мне, что для Лолиты будущий год будет труднее, чем прошлые. И в этом нет ничего удивительного. Полагаю, что ей не придется поступать в лицей. Пусть учит испанский язык, чтобы поступить здесь в институт.

Как видишь, я по-прежнему остаюсь оптимистом.

Через несколько дней ты уже будешь дома, так что я начну посылать тебе письма по почте.

В холостяцкой жизни нет ничего приятного. Но моя жизнь скорее похожа на монашескую, чем на холостяцкую, веду себя как те монахи, из добропорядочных...

На сегодня все. Крепко целую и обнимаю. Любящий тебя.

Мадрид, 26.VIII.62.

■

Дорогие Лолита и Карменсита!

Несколько дней тому назад я написал вам письмо, где поздравил Лолиту с десятым днем рождения. Поздравляю ее еще раз, на тот случай, если до вас не дошло мое предыдущее письмо.

В будущем году будем вместе праздновать ваши дни рождения. Марсель** и в самом деле не так уж далеко, а тем более сейчас, когда советские товарищи разгуливают по космосу, как Святой Петр у себя дома.

Но дело не в расстоянии. Есть иные причины и прежде всего работа, которая не оставляет мне времени даже для короткой встречи с вами.

Но скоро все наладится, вот увидите. И тогда нам не нужно будет так долго находиться в разлуке. Разлука никого не радует и меньше всего меня, я ведь более одинок, у вас хоть мама есть.

На сегодня все. Пишите мне по возможности.

Целую и обнимаю. Любящий вас папа.

9.IX.62.

■

Дорогая Анхелита! Получил два твоих письма. Вижу, что ты осталась недовольна тем, что я отложил отпуск. Мне это тоже не нравится. Приходится подчиняться обстоятельствам. Ты же видишь, какая сложилась ситуация. Она крайне опасна, хотя Совет-

* Гримау имеет в виду свое решение отложить отпуск, поскольку партийная работа в Мадриде требует его присутствия.

** Девочки считали, что отец находился в Марселе.

ский Союз прилагает все усилия, чтобы не допустить еще большей катастрофы. Испании также угрожает большая опасность. Американские базы и политика диктатуры ставят нашу родину в положение воюющей страны в случае агрессии янки против Кубы. Сейчас многие поняли, для чего эти базы и что они означают для испанцев: смерть в случае открытой империалистической агрессии. Что делать в подобной ситуации? Уехать сейчас, когда каждый человек на счету, просто невозможно. Знаю, что ты меня понимаешь, ибо тебе это так же близко, как и мне. Строя планы, надо всегда предвидеть подобные неожиданности. Когда я думал приехать к вам, обстановка складывалась иначе.

В эти дни пришлось поработать побольше, но чувствую себя хорошо, так как стараюсь находить время для отдыха и меньше работаю ночами. Во всяком случае ты понимаешь, что при таком положении дел возникает много срочных и неотложных вопросов, и нам приходится их решать.

Люди настроены против американцев и здешнего правительства в пользу Советского Союза и Кубы.

Меня радуют отметки девочек. Очень хочется вас увидеть; если положение стабилизируется, думаю, что это случится совсем скоро.

Мне кажется, тебе следует купить пальто. Ты давно уже должна была это сделать — у вас прохладнее сейчас, чем у нас,— здесь еще много солнца, и оно еще пригревает. Мнение товарищей относительно отсрочки моего отпуска полностью совпадает с моими намерениями в данный момент. Как и всегда, я полон желания увидеться с вами, но при подобной ситуации я не пошел бы на это, даже если бы товарищи решили иначе. Это несвоевременно по той простой причине, что здесь нужен каждый человек. Отсутствие кого-либо ослабило бы работу в столь ответственный момент.

У меня не хватает времени, чтобы написать письма родственникам. Сделаю это, когда станет полегче с работой. Напиши им ты, а я уж напишу потом. Как-нибудь извинюсь перед ними.

Привет твоей маме.

Целую и обнимаю. Любящий тебя.

Мадрид, 28.X.62.

ПОСЛЕДНИЕ ПИСЬМА ХУЛИАНА ГРИМАУ, НАПИСАННЫЕ НА СВОБОДЕ ЗА ДВА ДНЯ ДО АРЕСТА

Дорогая Анхелита!

Мне кажется, что, хотя серьезность и опасность положения не уменьшились, международная обстановка сейчас немного лучше, ослабла напряженность, и это — благодаря спокойствию и выдержке СССР.

Если международное положение прояснится еще хотя бы немного, не думаю, чтобы возникли какие-нибудь препятствия для моей поездки к вам на несколько дней (как мы договорились). Здесь положение тоже меняется, и сейчас мое отсутствие не было бы так заметно, как несколько месяцев назад. Это хорошо, так как теперь я могу уехать, не боясь, что пострадает работа. Я могу теперь уехать спокойно, с уверенностью, что дела будут идти хорошо.

Осталось только, чтобы международный климат несколько стабилизировался, и мне кажется, что это может вскоре произойти, хотя реальная угроза войны не исчезнет до тех пор, пока не будет ограничена гонка вооружений и пока не будет запрещено ядерное оружие. Разумеется, в любом случае я буду ждать, когда друзья назначат мне день. В последнем письме они писали мне о задержке всего лишь на несколько недель. Так что не унывай. Я скоро приеду. Правда, нам мало придется побыть вместе, но эти немногие дни будут радостными для всех нас. Согласна?

Надеюсь, что к этому времени ты будешь иметь выходное пальто, в равной мере элегантное и теплое.

Думаю, что в следующем письме уже смогу сказать тебе что-либо более конкретное о моем приезде. Говорят, что с третьего захода все удается. Так что на этот раз все будет в порядке.

Напиши мне, как вы себя чувствуете, что делаете и как живете.

Я так ни разу и не был в кино и уже успел забыть, что это такое. Как-нибудь выберусь.

Целую и обнимаю. Любящий тебя.

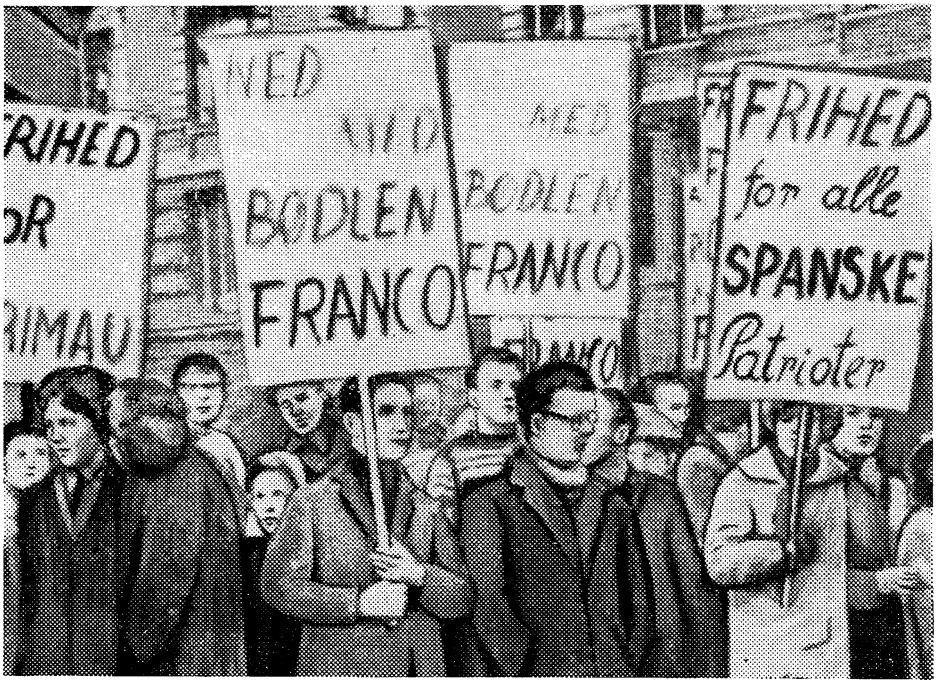
Мадрид, 5.XI.62.

■

Дорогие Лолита и Карменсита!

Недавно написал вам письмо, и по всему выходит, что вы уже должны были его получить. На будущей неделе жду от вас письма.

Чувствую себя хорошо. Работы у меня становится меньше, хотя еще хватает. Если ничего не случится, очень возможно, что мне удастся провести вместе с вами



Копенгаген. Демонстрация протеста против расправы с Гримау.

хотя бы несколько дней. Будем надеяться, что на этот раз дела не обернутся так, как в прошлый раз, и что наконец-то я приеду к вам «в гости». Я очень этого хочу, и, если до сих пор не смог сделать, вы знаете, что на то были причины.

Как у вас дела? Напишите мне в следующем письме. Знаю, что у вас все хорошо, но мне всегда приятно лишний раз в этом убедиться.

Скоро придет Дед Мороз. Как поживает ваша копилка? На что вы думаете истратить ее содержимое? Представляю себе, сколько в ней должно быть бумажек, а они хоть и не звенят, но зато стоят больше. Во всяком случае, если копилка еще не полна, постараемся ее к тому времени наполнить. Договорились?

На сегодня все. Крепко целую вас и обнимаю.

Любящий вас папа.

■

Дорогие мои девочки, Лолита и Карменсита!

Получил ваши письма и рисунки. Они мне очень понравились.

Чувствую себя лучше. Не беспокойтесь обо мне. У меня все хорошо. Занимайтесь как следует и слушайтесь маму.

Крепко вас целую и обнимаю.

Любящий вас папа.

ПИСЬМА ИЗ ТЮРЬМЫ

Одежды и еды у меня достаточно. Более того, я считаю, что семья помогает мне излишне много, ибо мне известны ее денежные затруднения. Я прошу умерить щедрость, но мои просьбы остаются без внимания. На будущее, если у меня будут затруднения с одеждой, я напишу об этом.

Много думаю о тебе и о девочках, а также и обо всей семье и жалею, что не могу вам помочь. Передай всем родственникам *, что я крепко их обнимаю.

---

* Под «семьей» и «родственниками» подразумевается партия.

На будущей неделе буду меньше писать о себе. Предупреждаю тебя заранее, чтобы ты не беспокоилась.

Крепко целую и обнимаю.

Любящий тебя Х.

7 февраля 1963 года

Дорогие девочки! Получил ваше письмо. Я заметил по нему, что мама рассказала вам о моем теперешнем положении. Не унывайте. Сейчас я чувствую себя лучше и вскоре намереваюсь выздороветь совсем. Вашей единственной заботой должны быть, как и раньше, хорошая учеба, игры и по-прежнему послушание и любовь к маме.

И вспоминайте обо мне, вы ведь знаете, как крепко я вас люблю.

Из писем мамы я знаю о вашем самочувствии. Кушайте побольше.

Одобряю намерения Лолиты стать бакалавром и начать с классики. Дерзай, желаю тебе успеха.

Очень часто вас вспоминаю. Целую.

Любящий вас папа.

Мадрид, 20 апреля 1963 г.

Дорогие Анхелита, Лолита и Карменсита!

Получил вашу телеграмму. Я рад, я глубоко тронут вашей заботой и нежностью ко мне.

Хулиан Гримау.
Портрет работы Ренато Гуттузо.

Очень люблю вас, часто вспоминаю о вас и обо всей семье. Верьте мне, всегда и везде мои думы — о вас.

Крепко, крепко вас целую и обнимаю.

С бесконечной любовью к вам Хулиан

ИЗ ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА ГРИМАУ НА СУДЕ

...Я уже заявил вам, что являлся коммунистом, являюсь коммунистом и умру коммунистом. Глубоко убежден, что моя идеология — это именно та идеология, которая больше всего необходима моей Родине. Считаю, что моя партия является единственной партией, преданной интересам народа...

Пусть моя смерть будет последним преступлением франкизма. По сути дела я — всего лишь еще один солдат, павший в борьбе против франкизма. Но моя кровь прольется не зря. Без сомнения, она приблизит изоляцию режима и ускорит его падение. Я прошу лишь об одном: храните единство, будьте твердыми, продолжайте борьбу, где бы вы ни находились. Отбрасывайте в сторону все, что вас может разъединить, и ставьте на первое место то, что всех объединяет: борьбу за окончательную ликвидацию франкизма.

Перевод с испанского Е. КЕДРОВОЙ

АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

МАДРИД

Пули цокали поверх наших голов о залитую луной стену, вдоль которой мы шли. Они наполняли ночь своими слепыми траекториями, тремя секундами своей свободы — мгновенно родившись, мгновенно умирали. Одни цокали о камень, другие, летевшие совсем высоко, хлестко стегали по звездам, и только те, что рикошетили, странно, по-пчелиному жужжали на месте, какой-то миг грозные, готовые вот-вот ужалить, но в тот же миг пропадали.

Насыпь слева теперь шла на убыль, и мой спутник спросил меня:

— Мы можем, конечно, пойти траншеей, но в такой темноте по дороге удобнее, верно?

Скосив глаз, я угадал его усмешку. Раз мне хотелось увидеть войну, он решил дать мне почувствовать ее. Отлетевшие рикошетом пули, стрекотавшие, как садящиеся кузнечики, разумеется, вызывали во мне уважение. Я убеждал себя, что их музыка предназначена мне. Собственное тело мне представлялось магнитом, как если бы пулями было приказано искать мое тело. Но я оправдывал и товарища: «Он хочет лишь попугать меня, ему ведь тоже дорога жизнь. И раз он предлагает идти по дороге, несмотря на этот заколдованный дождь, значит, уверен, что ничего не случится. Ему лучше знать».

— По дороге, конечно... ведь чудная погода!

По мне, разумеется, было бы лучше пойти траншеей, но вслух не стоит говорить об этом. Я знал эту уловку. Я и сам когда-то любил проделывать этот фокус — еще в Кап-Джуби, когда опасная зона начиналась в двадцати метрах от форта. И если до меня там добирался какой-нибудь слишком ретивый инспектор, к тому же мало знакомый с пустыней, я вел его прямо в пески, не переставая рассказывать о мелких злоключениях в аэропорту. Я ждал робкого замечания, которое заранее застраховывало меня от всех возможных взысканий.

— Гм... уже поздно... может, вернемся?

Тут визитер мой оказывался накрепко прикован ко мне, и я становился хозяином положения. Расстояние было слишком велико, чтобы он рискнул возвращаться в одиночку. И я заставлял его, как раба на цепи, битый час таскаться за собой резвым шагом под самым пустячным предлогом. Когда же он начинал скулить от усталости, я мягко советовал ему посидеть и подождать, пока я не захвачу его на обратном пути. Он делал вид, что колеблется, поглядывая искоса на мрачные пески, потом говорил молодецким голосом: «Нет, пожалуй, я пойду лучше с вами...» Тогда я удовлетворенно кивал головой и, продолжая быстро шагать все дальше от спасительного жилища, рассказывал ему о безжалостности марокканских племен.

Этой ночью я был тем инспектором, которого водят за собой на цепи.

Однако нам все же пришлось, не дойдя до конца, нырнуть в эту щель в земле. События обернулись угрожающе, и этот риск внезапно показался нам ребячеством — не потому, что нас смахнула с дороги пулеметная очередь или нащупал прожектор, нет, просто над нами пронесся порыв ветра, что-то забулькало в небе.

— Это на Мадрид,— сказал лейтенант.

Перед Карабанчелем ход сообщения взбирался на гребень холма. Со стороны Мадрида бруствер немного осыпался, и в выемке перед нами предстал город, белый, удивительно белый под луной. Два километра, не больше, отделяли нас от этих белых высоких зданий с возвышавшимся нам всем небоскребом телефонной станции. Мадрид спит, или нет, скорее притворяется спящим. Ни огонька, ни звука. Похоронный грохот, доносящийся к нам через каждые две минуты, тонет в мертвой тишине. Он не вызывает в городе ни смятения, ни переполоха. И каждый раз он погружается в тишину, будто камень, брошенный в воду.

И вдруг на месте Мадрида передо мной всплывает лицо Белое лицо с закрытыми глазами. Неподвижное каменное лицо богоматери, на которое один за другим обрушиваются удары. Вот опять над головой у нас это бормотание, словно воздух вырывается из откупоренной бутылки... Одна секунда, две секунды, три... Я невольно отшатываюсь, мне кажется, это мне сейчас достанется удар, и — бам! — будто разом обрушился город!

Но Мадрид выплывает вновь. Ничто не рухнуло, ничто не дрогнуло, ничто не изменилось в каменном его лице — оно осталось незамутненным.

— На Мадрид...

Он повторяет это машинально, мой спутник. Он учит меня распознавать его, это дрожащее бормотание меж звезд, учит различать их, следы этих хищных акул, устремившихся за своей добычей.

— Нет, это наша батарея... отвечает... А это они, только стреляют в другую сторону... А это... это на Мадрид.

Запоздалый разрыв тянется целую вечность. Сколько событий умещается в этой паузе. Давление в котле поднимается, поднимается... Ну, взрывайся же, наконец, проклятый котел! Да, конечно, кого-то ждет смерть, но всем остальным это несет избавление! Восемьсот тысяч жителей, исключая десяток жертв, вновь получат отсрочку. Ведь все время до взрыва, пока шло бормотание, в смертельной опасности были восемьсот тысяч.

Каждый летящий снаряд грозит всему городу. Я чувствую, как сжимается он, собирается, сплачивается. Я вижу их, мужчин, женщин, детей — весь этот израненный народ, который тщится закрыть полой своей каменной одежды недвижная богоматерь. Я слышу опять и опять этот скребущий по сердцу мерзостный звук, свист скользящей торпеды.

А спутник рядом отзывается эхом, считая удары:

— На Мадрид... шестнадцатый.

Я вылезаю из траншеи и вглядываюсь в город, распластавшись на бруствере.

Новое видение сменяет прежнее. Мадрид со своими трубами, башенками, круглыми окнами похож на корабль в открытом море. Мадрид, белый корабль на черных волнах ночи. Город живет дольше людей: Мадрид плывет, набитый эмигрантами, плывет, переправляя их с одного берега жизни на другой. Целое поколение уместилось на нем. И город плывет сквозь века. Мужчины, женщины, дети заполнили его от погребов до мансард. Они ждут, свыкшиеся уже или дрожащие от страха, запертые на своем каменном корабле. А те бьют торпедами в этот полный детей и женщин корабль. Они хотят потопить Мадрид, как топят судно.

И мне плевать сейчас на то, какие правила существуют при игре в войну. И на оправдания, и на мотивы. Я слушаю. Я уже научился отличать его, этот сухой кашель батарей, изрыгающих смерть на Мадрид. Я научился читать среди звезд их бормочущий след: он проходит где-то возле созвездия Стрельца. Я научился отсчитывать медленно пять секунд. И тогда я прислушиваюсь. Я не знаю, какое сейчас упало сраженное молнией дерево, какой рухнул собор, чей несчастный ребенок перестал дышать.

Сегодня днем в городе я видел бомбардировку. На Гран Виа грянул гром, поразив одну жизнь, одну-единственную человеческую жизнь. Прохожие стряхнули с себя штукатурку, некоторые побежали, летучий дымок рассеялся, только жених, чудом оставшийся без единой царапины, склонился над своей novia, чью руку с золотым кольцом он сжимал еще секунду назад, а сейчас обращенной в кровавую губку, в месиво мяса и белья. Он опустился на колени и, все еще не понимая, тихонько покачивал головой, словно говоря: «Как все это странно!» Он не мог узнать свое сокровище, разъятое на куски. Отчаяние до ужаса медленно вонзало ему в душу свой стальной клинок. Секунду еще, потрясенный внезапным этим исчезновением, он озирался вокруг, словно ожидал, что от нее мог остаться хоть воздушный силуэт.

Но перед ним лежала лишь ее искромсанная плоть. Растаяла как дым хрупкая золотая оправа, заключавшая всю человеческую ценность! И пока в горле у него набухал странный и страшный крик, он все отчетливей сознавал, что любил вовсе не эти губы, а их припухлость, их улыбку. Не эти глаза, а их взгляд. Не эту грудь, а легкое ее колыхание. Он все отчетливей сознавал, в чем кроется вечная тоска любви. Разве не желал он поймать неуловимое? Ибо мало держать в объятиях только тело, нужно суметь удержать еще и бесплотную душу, одетую в солнечный луч...

И мне плевать сейчас на то, какие правила действуют при игре в войну, плевать на закон преследования инакомыслящих. Кто начал первым? На каждый ответ найдется всегда еще один ответ, а первое убийство скрыто во тьме веков. Больше чем когда-либо не доверяюсь я сейчас логике. Если учитель в классе докажет мне, что огонь не горячий и им нельзя обжечься, я протяну руку к камину и пойму без всякой логики, что в его рассуждениях что-то не так.

Не удалось мне обнаружить и военный эффект подобной бомбежки. Я видел матерей со вспоротыми животами, видел обезображенных детей, видел старую торговку, которая вытирала тряпкой ошметки мозга, брызнувшего на ее сокровища, разложенные на тележке; видел консьержку, споласкивающую тротуар из ведра.— тогда я не понимал еще, какую роль играют в войне эти случаи нарушения инструкций по содержанию мостовых.

Психическое воздействие? Но подобный обстрел ведет к совершенно обратной цели! Что-то еще тесней сжимается

в Мадриде после каждого выстрела. Безучастность и колебание уступают место решимости. Убитый ребенок весит достаточно на чаше весов, когда это ваш ребенок. И орудийный обстрел, я понял, не разгоняет людей по углам: он их сплачивает. Ужас заставляет сжимать кулаки, ужас еще теснее смыкает людей. Мы карабкаемся с лейтенантом на бруствер. Мы видим Мадрид — корабль или лицо богоматери,— молча принимающий удар за ударом. Но так уж устроены люди: испытания постепенно выковывают все лучшее, что у них есть в душе.

Вот почему вдохновляется мой спутник: он думает о решимости, крепнущей там. Вот он прижимает к бокам кулаки и тяжело, гневно дышит. Он не жалеет больше оставшихся в городе детей и женщин...

— Шестидесятый...

Удар отзывается звоном на наковальне: гигантский молот выковывает Мадрид.

■

Мы двинулись дальше, к передовым траншеям Карабанчеля. Фронт оживает подковой вокруг нас: слышна отдаленная перестрелка, нескончаемая и несвязная, похожая на шорох и скрежет перекатываемой морем гальки. Временами, как рудничный газ от искры, фронт занимается в мгновение огнем на двадцать километров в длину, потом все замирает, все замолкает, все заползает обратно. И тогда наступает такая глубокая тишина, что в ней будто утопает война.

Вот уже отложена в сторону ненависть. Полминуты такого затишья — и меняется лицо мира. Не надо больше отвечать ударом на удар, не надо ждать нападения, ниоткуда не надо ждать провокаций. Какой волнующий случай покончить навек со стрельбой! Пусть отныне вся тяжесть войны падает на того, кто выстрелит первым! Чтобы спасти мир на земле, достаточно лишь прислушаться к этой тишине. Вот она, ласковая, словно пастух. Вот ты, желанная, мы внемлем тебе...

Но где-то, прежде чем мы сумели осознать где, до времени треснул выстрел. Где-то вырвалось еще из-под теплого пепла жаркое пламя.

Рядом взрывается что-то — мина или снаряд. Облако пыли заволакивает нас. Я подскочил на месте, но лейтенант, не глянув даже на взрыв, по-прежнему шел впереди степенной своей крестьянской походкой. Привычка, презрение к смерти, покорность судьбе? Я пойму постепенно, что человек на войне замыкается в собственной храбрости, как черепаха в своем панцире. Нужно отключить свое воображение. Нужно отбросить, словно происходящее в другом мире, все, что происходит в десяти метрах от тебя. А я поворачиваюсь на каждую вспышку и силюсь различить что-нибудь в каждом взрыве.

На передовой пустынный до этого мир вновь наполняется людьми. Время от времени затяжкой вспыхнет сигарета или мигнет карманный фонарик. Мы крадемся сейчас на ощупь через домишки Карабанчеля, где пролегли траншеи. Ходы сообщений ныряют в подвалы. Там и спят и бодрствуют, оттуда же стреляют сквозь отдушины. Там, внизу, мы смешиваемся с экипажем этой странной подводной лодки. Я соприкасаюсь с незнакомым мне миром, поглощенным пучиной войны. Время от времени мой провожатый тихонько отстраняет рукой безмолвную тень и подталкивает меня на место наблюдателя. Наклоняюсь вперед. Амбразура заткнута тряпкой. Я вынимаю ее и выглядываю наружу. Ничего не видно, кроме стены и странного света луны, доходящего сюда как бы сквозь толщу воды. Когда я тихонько втыкаю тряпку на место, я будто стираю струйку лунного серебра.

Разносится весть: перед рассветом мы должны атаковать. Нам нужно отбить штук тридцать домов в Карабанчеле. Тридцать цементных крепостей среди ста тысяч. Нам нужно будет, поскольку нет артиллерии, пробить гранатами в стенах бреши и занять по очереди все эти развороченные казематы. Мне вспомнилось, как ловят в омутах рыбу — шаря железным крючком по дну. Мне становится не по себе; я смотрю на этих людей, которые сейчас широко глотнут чистый воздух и нырнут в глубокую ночь, чтобы, если удастся дойти до стены напротив, пасть под скалой в объятия смерти.

А сколько из них утонет в этой лунной реке, едва оттолкнувшись от берега, так и не сделав своих пятнадцати шагов?

Однако ничто не изменилось в их лицах. Они молча ждали начала работы. То были добровольцы, отказавшиеся от всего — от личных надежд и личной свободы, чтобы пойти с остальными. И вот сейчас получен приказ об атаке. Людей черпают из людских запасов, как зерно из закромов. И горстями бросают на пашню.

Страх начался с легкого возбуждения. Участилась бессмысленная стрельба. Мы боялись, что противник, узнав об атаке, решится вдруг бог знает на какой отчаянный шаг. Его судорожно нащупывали в темноте.

Мы слышим сейчас со дна своего трюма, как трещит наш корабль. Мы чувствуем, как он медленно распадается по кускам. В щели хлынула луна. Мы силимся заткнуть брешь, остановить это неощутимое вторжение. Луны, ночи, моря. Шквалами шторма до основания сотрясает наш корабль. Пули снаружи летят так густо, что мы не можем высунуть носа и чувствуем себя запертыми в клетку. Мины сыплются дождем, заставляя

вздрагивать, как при нападении из-за угла, когда к сердцу вам приставляют нож. Кто-то бормочет: «Бьюсь об заклад, они начнут первыми».

Каждый разрыв прокатывается волной по всему телу. Люди вздрагивают, но не трогаются с места. Мне хотелось бы получше понять, что их удерживает здесь. Завтра я спрошу об этом своего соседа сержанта, если он вернется живым из атаки. Я спрошу его: «Сержант, за что ты идешь умирать?»

Они сидят по местам, только вздрагивают при очередном шквале. До человека добираются постепенно, как до дерева. Оно еще держится прямо, но топор входит все глубже и глубже. И вот я чувствую в ночи, как все ветви его начинают дрожать.

А теперь уже наши пулеметы выпускают ручейки вспышек. Винтовки захлебываются от злости. Каждый выстрел — плод самостоятельного решения. Вдоль траншей не смолкает треск. Я смотрю, как раскачивается из стороны в сторону ближний ко мне пулемет. Он водит косой в тридцати сантиметрах над пашней. Все замерло в тридцати сантиметрах над пашней. И все-таки там что-то движется. Мы взъярились теперь против призрака, который никак не сгинет!

Внезапно все вокруг словно взлетает на воздух. Мысли ускоряют свой бег. Я думаю. Я думаю то же, что остальные. Я не хочу, не хочу... Не хочу чувствовать, как на плечи наваливается сверху тело убийцы. Не хочу слышать в двух шагах от себя звериный крик. Не хочу, чтобы меня подобрали сегодня и бросили в большой каменный мавзолей. Эх! Почему у меня нет винтовки! Осторожно! Я бью наугад вперед. Осторожно! Тому, кто подойдет, не поздоровится! Я прижимаюсь плечом к пулеметчику и, словно саблей, вместе с ним тычу вокруг струей огня — берегись! Я не хочу убивать людей, но ночь, но война, но страх, но бледный призрак, который не в кошмаре, а наяву делает шаг к нам...

Э, значит, вот что такое паника!

Сейчас мы сидим у капитана. Сержант докладывает о случившемся. Это была ложная тревога, но противник, кажется, осведомлен. Атака не отменяется?

Капитан пожимает плечами. Он ведь тоже лишь выполняет приказ. И он пододвигает нам два стакана коньяку.

— Ты пойдешь со мной первым,— говорит он сержанту.— Пей и ложись спать.

Сержант пошел спать. Мне дали место за столом, где сидят человек двенадцать, решивших не ложиться. Лампа в этой наглухо законопаченной комнате, откуда не проникает ни лучика света, такая резкая, что я, не переставая, моргаю. Я пью сладковатый, чуточку теплый коньяк: у него грустный привкус рассвета. Я плохо соображаю, где я. Пью и закрываю глаза. Передо мной плывут сине-зеленые дома Карабанчеля.

Справа рассказывают смешной анекдот — я слушаю лишь с пятого на десятое. Слева сражаются в шахматы. Где я?

Вваливается полупьяный человек: он тихонько покачивается на волне в этом уже нереальном мире. Он скребет свою всклокоченную бороду и выкатывает на нас свои добрые глаза. Взгляд его пробегает по столу, останавливается на коньяке, идет дальше, вновь возвращается к коньяку и умоляюще обращается к капитану. Капитан посмеивается. Человек, преисполнившись надежды, тоже смеется. Легкий смешок пробегает по зрителям. Капитан тихонько отодвигает бутылку. Взгляд человека выражает отчаяние, и начинается ребячья игра, похожая на беззвучную пантомиму, которая здесь, сквозь пласты сигаретного дыма и ночную усталость, в преддверии скорой атаки, кажется наваждением. Я с удивлением замечаю, что ожиданию приходит конец — по ночной щетине на щеках и по тому, что снаружи волны с удвоенной силой обрушиваются на наш ковчег.

Скоро, очень скоро эти люди очистятся от пота и алкоголя, от грязи, налипшей на них за время ожидания,— растворят их в царской водке ночной атаки. И я чувствую, что они готовы к этому очищению. Но они все еще продолжают этот беззвучный танец пьяницы и бутылки. Они тянут сколько можно эту партию в шахматы. Они стараются продлить хоть на несколько минут свою жизнь. Но над всеми здесь властвует старенький будильник. Его завели, и он должен подать сигнал. Однако из всех я один украдкой поглядываю на него. Как они ухитряются не слышать его грохот!

И все же рано или поздно механизм сработает. Тогда эти люди вскочат с мест и потянутся. Почему-то всегда, когда люди хотят остаться в живых, они потягиваются. И эти тоже потянутся и застегнут пояса. Капитан прицепит револьвер. Пьяница протрезвеет. И они неторопливо пойдут этим коридором, навстречу бледному прямоугольнику — небу и скажут что-нибудь очень простое, вроде «хорошая нынче луна» или «теплынь на улице». И нырнут к звездам.

■

Но едва прозвенел телефон и отменили атаку, в которой все, почти все должны были пасть под цементной стеной, едва они почувствовали себя в безопасности и поняли, что могут еще целый день топать тяжелыми своими башмаками по этой доброй старой планете, едва их оставили в покое, как они тут же начали жаловаться и скулить.

Тысяча жалоб и обид. «Что они, нас за баб принимают?», «Мы на войне или как?» Тысяча едких словечек по адресу штаба, который отменил этот бросок и которому, бранятся они наверное по сердцу, что обстреливают Мадрид и скармливают пушкам детей,— иначе их не за-

ставляли бы сидеть сложа руки, когда они только-только собрались сбросить с горы эти чертовы батареи и закинуть их в два раза дальше, чем нужно, чтобы они не могли больше лить невинную кровь.

Однако я помню, что этой горстке людей предстояло взять приступом тридцать цементных крепостей с минометами и пулеметами, для того, чтобы в случае чуда продвинуться самое большее метров на восемьдесят — а это спасло бы из мадридской детворы лишь тех, кто по привычке собрался вместо уроков в самом конце города, на последних восьмидесяти метрах.

Мне показалось также, да и сами мои спутники признавали это, что вряд ли бы кто-нибудь из них всплыл на поверхность после погружения в лунную реку; им бы сидеть сейчас и радоваться, что они могут вот так бушевать, отяжелев от новых стаканов коньяку, который они теперь пьют, чтобы утешиться, но сейчас уже с беззаботностью и наслаждением, и который после того, как прозвонил телефон, до странности изменил свой вкус.

Я не вижу в их злости ни малейшего фанфаронства или бравады, ибо знаю, что они были готовы этой ночью без всякой позы умереть.

Светает. Я ополаскиваю лицо ледяной водой из фонтана, и вот в сорока метрах от противника, в убежище под тоннелем, развороченном ночными снарядами, но все же не рухнувшем до утра, дымит в чашках кофе. Здесь, умывшись, соберутся оставшиеся в живых, чтобы вновь причаститься жизни и поделить меж собой белый хлеб, сигареты и улыбки. Вот они садятся по одному за стол — капитан, сержант Р., лейтенант, поудобнее кладут локти на стол и смотрят на эти сокровища, которыми они мудро пренебрегли перед опасностью и которые сейчас вновь обрели свою ценность. Кругом раздается «Салюд, амиго» и как всегда при этом — хлопок по плечу.

И я с наслаждением подставляю лицо ледяному ветру и солнцу, что греет даже сквозь холод. Я с наслаждением пью этот горный воздух, и мне кажется, что я счастлив. Я с наслаждением гляжу на этих веселых людей, которые, засучив рукава, набираются сил за столом и, покончив с едой, готовятся вновь лепить этот мир по-своему.

Где-то лопается перезрелый стручок. Временами глупая пуля цокнет о камень. Это бродит в округе смерть, но сейчас она не у дел, сейчас она добродушно настроена. Ее час еще не настал. Сейчас мы под тоннелем празднуем жизнь. Капитан делит хлеб, а я, в другое время отметив бы его торопливость, впервые открываю для себя, сколь торжественна может быть минута наделения пищей. Я видел, как разгружали грузовики с продуктами для голодных детей, — это было волнующее зрелище, но я не представлял, сколь величественна может быть такая обыденная вещь, как еда. Отряд выбрался целиком из глубины мрака, и теперь капитан разламывает хлеб, белый испанский хлеб, весь напоенный пшеницей, и каждый из товарищей протягивает руку и получает душистый ломоть с кулак величиной и ценой в человеческую жизнь.

Для этого все они поднялись с мрачного дна. И я смотрю на лица этих людей, начинающих свою новую жизнь. Я с особым вниманием смотрю на сержанта Р., того, кто должен был выйти первым и пошел выспаться перед атакой. Я видел, как он просыпался, — то было как утро приговоренного к казни. Сержант Р. знал, что первым бросится на пулеметное гнездо и протанцует в лунном луче этот танец пятнадцати шагов к смерти.

Траншеи Карабанчеля змеились у самых домиков рабочих, так что сержант Р. мог спать в нескольких шагах от противника на железной кровати, одетый. Когда мы зажгли свечу, укрепив ее в горлышке бутылки, и выхватили из тьмы эту мрачную кровать, похожую на смертный одр, мы увидали вначале лишь пару башмаков. Огромные башмаки, подбитые гвоздями, подковками, башмаки железнодорожника или водопроводчика, башмаки, на которых держится вся нищета мира, ибо с такими башмаками на ногах нельзя беззаботно шагать по жизни, а можно лишь подступать к ней как докер, для которого жизнь — стоящий под разгрузкой корабль. Даже на ногах человек носил орудия своего труда, все его тело было увешано инструментами. Подсумки, револьвер, портупеи, пояс. На нем уже были седло и хомут — полная сбруя тягловой лошади. В Марокко кое-где можно встретить в глубине погребов слепых лошадей, приводящих в движение жернова. А здесь в дрожащем красноватом свете свечи мы тоже будили слепую лошадь, чтобы она начала вращать свой жернов.

— Эй! Сержант!

Он тяжко, как море, вздохнул и повернулся всем корпусом к нам, показывая помятое заспанное лицо. Глаза его были закрыты, а губы с дрожащим пузырьком воздуха полуоткрыты, как у утопленника.

Мы вновь потянули его наверх из морской глуби, и лицо его всплыло на поверхность в отблеске пламени свечи. На этот раз мы накрепко приковали спящего: ему уже не удастся уйти. Веки его наморщились, губы шевельнулись, он провел рукой по лбу, последним усилием пытаясь вернуться в счастливый сон из нашего мира, начиненного взрывчаткой, усталостью и холодом ночи, но уже было поздно. Что-то властно требовало его к себе. Так в воскресенье звонок будит в коллеже провинившегося ученика. Он успел уже позабыть про парту, про чер-

---

АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
МАДРИД

ную доску, про то, что его наказали. Ему снился этот воскресный день, и он радовался вместе со всеми предстоящей прогулке и смеху... Он пытается протянуть сколько можно свое куцее счастье, он пытается вновь нырнуть в волны сна, где и он имеет право на счастье, но звонок все звонит и неумолимо возвращает его в мир человеческой несправедливости

Подобно наказанному ученику, сержант заново вживался в свое измятое усталостью, ненужное ему тело, которому предстоит сегодня познать, кроме холода пробуждения, еще тянущую боль в суставах, затем груз амуниции, затем этот тяжелый бег навстречу собственной смерти и липкую кровь, в которую погружаешь обе руки, пытаясь приподняться с дороги, густую, вязкую, как сироп, свертывающуюся кровь.

И вот он вытягивает по очереди руки и ноги, сгибает локоть, распрямляет ногу, согнутую только что, когда он пытался в последний раз нырнуть в сон, и высвобождает тело, запутавшееся в ремнях, с револьвером, подсумками, тремя гранатами, пристегнутыми к поясу,— все, на чем он спал. Наконец он медленно-медленно открывает глаза, садится на край и смотрит на нас.

— Что... пора уже?

И он протянул руку к винтовке.

— Нет, отменили атаку.

Сержант Р., я свидетельствую, что мы подарили тебе жизнь. Только и всего. Спасли тебя у подножия электрического стула. И бог знает, сколько написано уже об этой великой минуте — помиловании у подножия электрического стула. А ведь мы тоже принесли тебе помилование в последнюю секунду, и в сознании твоем граница между жизнью и смертью почти уже стерлась.

И прости мне мое любопытство: я взглянул на тебя. Мне не забыть твоего лица. Твоего волнующего и некрасивого лица со слишком большим шишковатым носом, пухлыми щеками и интеллигентскими круглыми очками. Как люди ведут себя, когда им приносят в дар жизнь? Сейчас я скажу тебе. Они остаются сидеть на постели, вытаскивают из кармана кисет и медленно качают головой, глядя себе под ноги. Потом говорят:

— Так-то лучше.

Потом опять качают головой и добавляют:

— Пришли они нам в подмогу две-три бригады, был бы смысл атаковать и ты увидел бы, как все радовались...

Сержант, сержант... что ты делаешь с ней, с возвращенной тебе жизнью?

Ты макаешь сейчас в кофе свой хлеб, мирный сержант, и свертываешь сигареты, и ты похож сейчас на школьника, с которого сняли наконец наказание. Но, как и твои товарищи, ты готов вновь сделать будущей ночью десяток шагов и упасть на колени. И в голове у меня беспокойно ворочается вопрос, который я хочу задать со вчерашнего дня: «Сержант, за что ты идешь умирать?» Но его невозможно задать так, я знаю: это покоробит тебя, хоть ты и не считаешь себя застенчивым. Как бы ответил ты? Громкими словами? Но они бы тебе показались фальшивыми, да они и в самом деле фальшивы. Какие слова смог бы найти ты, застенчивый? Но я все-таки твердо решил узнать у тебя об этом; я постараюсь облегчить тебе задачу. Я буду ставить незначащие вопросы, будто спрашиваю просто так, пустяки...

— Кстати, скажи мне, почему ты пошел на войну?

Кстати, сержант, если я правильно понял тебя, ты и сам толком не знал почему. Ты работал бухгалтером в Барселоне, не интересовался политикой и подсчитывал столбцы цифр. Мятеж и борьба с ним не волновали тебя. Но один из твоих друзей пошел в армию, потом другой, и ты почувствовал в себе странную метаморфозу: тебе показалось вдруг, что ты занимаешься пустяками. Твои радости, заботы, мечты — все это было как бы в другом веке. Там никогда ничего не случалось. Затем пришло сообщение, что один из друзей погиб под Малагой. Это не был твой близкий друг, за которого тебе хотелось бы мстить, но все же весть эта обрушилась на вас, на серое ваше существование, как ветер обрушивается на море. В то утро товарищ взглянул на тебя и спросил:

— Пошли?

— Пошли.

И вы «пошли».

Ты даже не удивился этому властному зову, увлекшему тебя за собой. Ты принимаешь истину, которую не можешь выразить словами, но в очевидность которой ты веришь. И пока я слушаю простой твой рассказ, в голову мне приходит одна мысль, о которой поначалу я решил умолчать.

Я увидел картину.

Когда начинается перелет, то в местах, где проходят дикие утки или гуси, можно наблюдать удивительное явление. Домашние утки и гуси, притянутые, словно магнитом, к этому летящему треугольнику, неуклюже пытаются взлететь за ним и, взмахнув крыльями, падают наземь. Древний зов гарпуном цепляет в них полузабытые инстинкты. И вот домашние утки превращаются на минуту в перелетных птиц. В этих крохотных головках, где плескались лишь жалкие воспоминания о лужах, червяках и курятниках, разворачиваются вдруг контуры континентов, очертания морей и просыпается тяга к безбрежным просторам. И утка начинает вперевалку бегать вдоль изгороди, объятая внезапной, неведомо откуда взявшейся страстью и великой любовью — к чему, она так и не узнает до конца дней своих.

Так и человек, захваченный неведомым зовом, вдруг постигает, сколь ме-

лочным и тщеславным был его бухгалтерский труд и все мелкие домашние радости. Но он не может найти слова для этой всемогущей истины.

Пытаясь объяснить эти порывы, нам говорят, что мы хотим бежать от самих себя, или твердят о любви к риску, будто бы и это желание, и эта любовь сами не нуждаются в расшифровке. Вспоминают также и о чувстве долга, но не объясняют, как случилось, что голос этого чувства заглушает в человеке все остальное. Что понял ты, сержант, когда ощутил беспокойство в тиши своего существования?

Он знаком каждому, этот схвативший тебя за душу зов, как его ни назови — жертвой, поэзией, страстью к приключениям; голос всегда один и тот же. Но домашний уют заглушил в нас ту часть души, что способна откликнуться на призыв. Мы едва-едва вздрагиваем, взмахиваем крылом и зарываемся носом в свой птичий двор. Мы ведь благоразумны. Мы боимся остаться без своей жалкой сиюминутной добычи, гоняясь за неведомой тенью. Но ты, сержант, вдруг увидел всю убогость мелочных забот, мелочных радостей и мелочных горестей. Среди них не остается места для жизни. И ты откликнулся на великий зов, не поняв еще, что он такое. Настал твой час, ты должен был встрепенуться и расправить во всю ширь свои крылья.

Домашняя утка и не подозревает, что ее крохотный мозг способен вместить в себя океаны, континенты и небеса, но она все равно бьет крыльями, отворачивается от зерен, отворачивается от червяков и хочет лишь одного — стать дикой уткой.

Когда подходит срок угрям возвращаться в Саргассово море, их не сдержать никакими силами. Им безразличен тогда комфорт и спокойствие теплых речных вод. Они пробивают себе путь через вспаханные поля, продираются сквозь изгороди, ранятся на камнях. Они ищут реку, впадающую в безбрежность.

Так и ты, наверное, пошел, влекомый инстинктом. Пошел на неведомый тебе свадебный пир, на который нельзя не пойти: «Пошли?» — «Пошли». И ты пошел. Ты пошел на фронт, не зная еще, что это значит. Ты вышел на дорогу так же естественно и неизбежно, как прокладывают себе в полях путь к морю поблескивающие серебристые создания или как движется по небу черный треугольник.

Чего искал ты? Этой ночью ты был почти у цели. Что же нового открыл ты в себе? Товарищи твои жаловались на рассвете, что их обошли. Что же такого открыли они в себе перед атакой, чего им стало жалко до слез?

Как важно мне знать, испытывали ли они ночью страх? Как важно мне знать, хотелось ли им, чтобы отменили атаку? И не было ли у них желания вдруг бросить все и сбежать? Потому что они не сбежали. Потому что они готовы ночью начать все сначала. Иногда перелетные птицы поднимаются над океаном и летят против ветра. И океан вдруг оказывается слишком широк для их крыльев, и они не знают, удастся ли им долететь до того берега. Но в крохотных головках живет воспоминание о солнце и теплом песке, и это поддерживает их силы.

Какие видения вершат сейчас твоей судьбой, сержант, раз ты готов положить за них голову в завтрашней атаке? Отдать свою жизнь — единственное твое богатство? Ведь нужно долго прожить, чтобы стать человеком. Медленно плетутся узы дружбы и нежности. Медленно растет человек. Медленно создает он творения рук своих. И если ему случится умереть слишком рано, его словно обходят пищей: нужно ведь долго пожить, чтобы насытиться.

Но в ночном ожидании последней атаки, очистившей тебя от всех мелочей, ты вдруг открыл в себе таинственного незнакомца. Ты почувствовал, сколь велик он, и тебе уже не забыть его. А ведь это был ты сам. Ты ощущаешь вдруг душевную полноту, ощущаешь вдруг, что будущее тебе уже не столь важно, что ты уже обладаешь какими-то ценностями. Ты расправил крылья и оторвался от преходящих земных благ, ты готов умереть за людей, а значит, приобщился к всечеловеческому. Ты ощущаешь, как бьет в лицо ветер. Он освободился от своей оболочки, спавший в тебе властелин: Человек. Ты теперь сродни композитору, физику, двигающему вперед знания, всем, кто прокладывает нам дорогу к освобождению. Теперь ты можешь рисковать своей жизнью. Что теряешь ты? Если бы ты был счастлив у себя в Барселоне, ты бы не покинул ее. А сейчас ты поднялся до таких высот, где любовь ко всему меряется единой мерой. Если ты страдал, если был одинок, если не имел пристанища, эта любовь сейчас приемлет тебя.

Перевод с французского
М. БЕЛЕНЬКОГО

МАРИЯ ТЕРЕСА ЛЕОН

МИЛЫЙ ЛИК РОДИНЫ

Мария Тереса Леон в годы вооруженной борьбы испанского народа против фашизма.

Я знаю, что слова мои — лишь ветер мечты и скорби над обломками воспоминаний. Что ж еще?.. Вот уже двадцать пять лет, как воспоминания стали для изгнанников испанской земли смыслом жизни, вот уже двадцать пять лет, как душа наша устремлена к далекой любви, к далекому свету, к милому лику старой Испании, которая ждет нас. Едва лишь стану перебирать в памяти минувшие мои годы, как тотчас же увижу себя на морском берегу: я сижу у моря, и одна за другой бегут к моим ногам волны воспоминаний — то ли о родине, то ли о детстве, сама не знаю... И не знаю, все ли осталось там, позади, или, быть может, унесла я что-либо с собою, и увижу ли вновь то, что осталось, но знаю твердо: вся моя надежда — там. Сколько сломанных жизней осталось позади! Сколько людей, уносимых с родной земли ураганом катастрофы, оборачивалось, чтоб бросить последний взгляд на милый лик Испании!

Говорят, что жизнь — это ткань, которая рвется и заживает, как человеческая кожа. Но мы, изгнанники земли испанской, помним нехитрую историю об одном галисийце, что отправился странствовать по свету. Долго скитался он и вот, уже в старости, устав от скитаний, вспомнил волнистые склоны родных гор и каменные кресты вдоль дорог, море и знакомые рыбацкие сети, шумные сборища паломников и гулкий посвист волынки, рассыпчатый перезвон одиноких часовен и бледную дрожь дождя над амбарами; и захотелось ему умереть в родном краю и лечь в родную землю у зеленого выгона, где пасутся стада. Так и плыл он на своей лодке, мечтая с миром окончить дни свои на родине, но прежде, чем достиг он предела своих мечтаний, сердце, этот сосуд, вмещающий все мечтания и все пределы, победило его в неравном поединке и гордо остановилось. Чьи-то сострадательные руки окутали мертвое тело простынею и бросили в атлантические волны — таков закон моря. С тех пор так и плывет наш галисиец по воле волн, не зная, к какому берегу пристать, и воспоминания его рвутся то к одной, то к другой родине, то к одной, то к другой любви...

Так, верно, случилось и с нами, со всеми почти изгнанниками испанской земли... И наши сердца разрываются между двумя потоками воспоминаний, двумя потоками жизни, двумя потоками благодарного чувства — между двумя родинами. Мы, изгнанники, разбрелись по белу свету не в поисках живой воды, богатства или фортуны; мы ушли, чтобы спасти от разрушения нечто высшее, чтоб одно высокое слово нашей речи, которое в сегодняшней Испании строго-настрого запрещается произносить вслух, вечно звучало, живое, чистое, чуждое оковам. За это слово уже сражалась, восстав, испанская Америка, за это слово уже погибло столько испанцев. А сколько еще страдает за него? Каждый слог этого слова управлял и управляет столькими трудными и героическими эпохами истории Испании! Это слово — Свобода.

Вспыхнув в ушах людей, это слово превратилось на долгие годы XIX века в идеал и призвание для лучших сынов Испании, идущих навстречу этому идеалу сквозь гонения, тюрьмы, ссылки и расстрелы. Ибо в Испании всякая жизнь, отданная борьбе за свободу, была заранее обречена: отдать себя на служение свободе значило быть непонятым и погибнуть в изгнании. У каждого либерала XIX века — приверженца свободы — всегда было под рукой оружие, чтобы в любую минуту сняться с места и уйти, унося с собою свободу, которую надо укрывать и спасать от врагов. И, верно, это стало у нас традицией, ибо не то же ли самое делали мы, когда, отстреливаясь от фашизма, уносили на своих плечах из Испании это священное слово, за которое мы отдавали жизнь под кипящекрасным и желто-лиловым знаменем, становившимся порою единокрасным, как кровь, и под чистую старинную музыку гимна Риэго *, сливавшуюся с «Интернационалом», под звуки которого совершались подвиги и предавались земле тела погибших товарищей в годы нашей гражданской войны.

...Изгнанники земли и жизни испанской направили мы свои шаги к другим, более гостеприимным землям. Когда кончилась наша война, целый народ, со всей своей многоликой и животрепещущей действительностью, открыто высказал свое мнение о происходящем и не захотел уступить. Такое единодушие должно было, казалось, вызвать восхищение целого света. Но случилось иное: Франция открыла для испанских патриотов не границы, а концентрационные лагеря... Уже много времени утекло с тех пор, и мы уже способны говорить спокойнее о многих вещах, но разрешите мне и сегодня вспомнить о том, что в концентрационном лагере Освенцим, где нацисты уничтожили столько людей разных стран, томилось и знамя испанской республики, а в списках имен замученных стояли и Пересы, Мартинесы, Хименесы из Испании.

С течением времени бледнеет память о мертвых. Но и агония, через которую прошло столько тысяч испанцев, оставшихся в живых, тоже иногда забывается под тем предлогом, что протекло уже много времени... Мы обязаны не допустить такой потери памяти. Я говорю невольно и о себе, ибо и меня коснулась эта агония, на какую обречены изгнанники моей родной земли,— агония, о которой когда-нибудь расскажут или сложат песни. Постоянное усилие не забыть лица родины, которое иногда внезапно пропадает из памяти, так что приходится бороться, чтобы оно возродилось и незыблемо стояло перед нашим внутренним взором до конца наших дней; страх отпустить его; страстное стремление вечно искать теплоту лона родной земли, давшего нам жизнь; жить, чтоб увидеть родину, умирая от желания ее увидеть...— это все и есть изгнание.

За эти двадцать пять лет случилось так много разного: мы привыкли к чуждым климатам, мы работали, у нас появились новые друзья, у нас родились дети, даже внуки; кое-кто разбогател в чужих краях, иные забыли свою Испанию, которая ждет их .. Большинство же, хоть никогда с тех пор не ступало на испанскую землю, сохранило в душе своей ее аромат и готово умереть за этот аромат далекой родины — единственную святыню, которую там, в Испании, не смогли у нас отнять.

Какова же она, Испания?

«Испания густа посевами, богата рыбою, изобильна молоком и всем тем, что возможно из оного приготовить, славна оленями и прочею дичью, пестра стадами, резва дорогими конями, знаменита крепкими мулами, ограждена высокими замками, сладостна винами, щедра хлебом, одарена металлами, свинцом, оловом, ртутью, железом и прочими ископаемыми, а также серебром, золотом, драгоценными камнями, морскою солью и соляными источниками земли, пышна шелковой пряжею и тем, что возможно из оной сотворить, сладка медом и сахаром, освещена воском и чистым маслом благовонна, цветуща шафраном. И, однако, королевство сие, столь благородное и богатое, столь могущественное, столь преисполненное чести, было повержено в прах и разрушено распрею земли сии населявших, кои обратили свои мечи друг против друга, словно враг их попутал, и так загубили они все».

В таких словах описывал Испанию король Альфонсо Мудрый, царствовавший в течение ряда трудных лет XIII века,— этот король-поэт, автор знаменитых «Песен в честь богоматери», вместе с другими трубадурами положивший начало испанской лирической поэзии. Какая печальная напрашивается аналогия! Словно это скорбные стоны нашей крови!

Милый лик Испании, такой теперь далекий, туманный и смутный, как полустершийся пейзаж на почтовой открытке, как потерянное письмо, как географическая карта без четких очертаний! Украденная география души — реки, исчезающие из глаз в бурной игривости вод, пресноводные пути больших кораблей и легкие ручьи, где обитают нимфы, всплывая порой на поверхность, чтоб омыть волосы в чистых струях, и встречая взгляд Гарсиласо де ла Вега *, задумчиво наблюдающий за ними. По всей земле

* Революционный гимн, созданный во время испанской революции 1820—1823 гг. в честь выдающегося патриота Рафаэля де Риэго, являлся государственным гимном Испанской Республики.

* Гарсиласс де ла Вега — знаменитый испанский лирический поэт XVI века.

Испании текут они, реки с певучими именами: Кабриэль, Синка, Силь, Турия, Хениль, Гвадалавьяр... Одни бегут по глубоким морщинам известняковых пород, другие буравят тяжелые камни, как Хукар, а третьи щедро разливаются по оросительным каналам на равнинах Валенсии или Гранады. География Испании — это география красоты. Эбро, Тахо, Дуэро, Гвадиана, Гвадалквивир... — их воды «текут в пучину морей», слагая, вместе с Хорхе Манрике, песнь о жизни и смерти, или уходят, как мы, рядом с доном Антонио Мачадо, сказавшим про нас:

Свой скорбный очаг покидая навеки,
К морю текут, как кастильские реки.

Милый лик Испании, святыня наших душ, единственный в мире очаг, где жаждут найти приют наши судьбы! Наш по праву родной дом! Да будут благословенны те, кто прочтет эти беспорядочные строки, начертанные рукою печали! В трудном странствии наших судеб, о котором когда-нибудь расскажет история, бывало всякое: разочарованные и счастливые, себялюбцы и щедрые душой, хитростные и добрые. Мы несли на своих плечах добродетели и пороки, мечты и воспоминания. Мы были — народ. Некоторые из тех, кто дошел до новой пристани, потерялись, забыв о своем обещании не пятнать своей судьбы; другие предпочли заняться словесной фрондой за столиками кафе, окунуться в дешевый героизм звонких слов вместо пламенного героизма действия; но третьи не упали духом, не ослабели душой и неотрывно следят день за днем за сменой на лике Испании света и тени, ставшей причиной нашего изгнания. Иногда мы, изгнанники, собираемся вместе, чтобы нас услышали молодые, родившиеся в чужих краях, и те, кто остался там, на родине, ибо каждый испанец — это все испанцы вместе, и каждая капля его крови — это наша кровь, и каждый крик его боли — это наше страдание.

Я помню тебя с раннего детства, милый лик Испании, страны, где я родилась. И я знаю, что ни одной стране в мире не привелось видеть того, что видели глаза моей родины. Наследная наша земля! Нет, никто не может отнять тебя у нас! Ведь мы связаны с тобою и нашим языком, и нашими победами и поражениями, и нашими воспоминаниями, и нашими надеждами...

Когда мы требовали амнистии политическим заключенным, когда мы требовали возвращения в Испанию изгнанников, мы не просили ни пощады, ни отпущения грехов, ни забвения прошлого — мы хотели родины, открытой для всех ее детей, полноправной и свободной. Наша история старалась, как правило, найти объяснение и оправдание той отчаянной нищете, в какую были ввергнуты наследники трудолюбивой семьи древнеиспанских племен, населявших когда-то Иберийский полуостров, и заставить нас примириться с тем упадком, какой выпал нам на долю. Поколение 1898 года * в литературе дало нам несколько почетных для нас исключений из этого правила; писатели, составившие эти исключения, были первыми испанцами, не давшими соблазнить себя сказкой о «Великой испанской истории», и благодаря им лик Испании впервые предстал перед нами во всей своей трагической реальности.

«Какая идиллия! Вот оно, испанское болото со стоячей водой, рассадник перемежающейся лихорадки, погрузившей в сонную расхлябанность души нашей молодежи. На его берегах раздается лишь хор старых лягух, греющих на солнце холодные спины, да всплески головастиков, мельтешащих в трясине, ожидая, в поисках пищи, пока у них отрастут лапы и отпадут хвосты. Какой прелестный и мелодический хор!.. При малейшем шорохе все это лягушечье племя кидается в болото, полагая, что там надежнее. А что же лучше, чем свое родное национальное болото со старыми лягухами и головастиками, рассаженными по рангам согласно строгой иерархии в зависимости от длины хвоста?» Так писал и думал Мигель де Унамуно: «Время от времени отражается на спокойной поверхности болота свободный полет какой-нибудь птицы, разрезающей воздух со звонкой песней во славу свободы, простора и света, но стоит им прыгнуть в воду — и возмутивший их спокойствие образ помутится и раздраженно-нестройное кваканье погасит трепещущее эхо, слетающее с высот».

Лучшие люди поколения 1898 года были первыми, кто действительно прошел родную землю вдоль и поперек, ибо раньше мы предоставляли это иностранным путешественникам — Дюма, Готье, де Амичису, Мериме и другим, а они и выдумали ту «Испанию бубен» для туристов, которая сегодня снова вытащена на свет божий во имя наполнения звонкой монетой франкистских сундуков.

Поколение Унамуно, Валье Инклана, Бласко Ибаньеса, Пио Барохи и других развернуло литературную карту Испании и провозгласило социальные и политические истины, способствующие пробуждению гражданственной мысли, которая привела к установлению Республики. И снова в воздухе прозвенело слово «свобода», объединив испанскую интеллигенцию в общем порыве в дни пробуждения к жизни испанского пролетариата.

Испанская Республика получила в наследство страну, где были несправедливо разделены не только земли и богатства, но и образование, где было чудовищно мало школ для народа и господствовала почти поголовная неграмотность. Республика положила первой своей задачей устранить господ-

* Группа испанских писателей, выступивших в 1898 г. против официального искусства, стоявшего на службе феодально-буржуазной монархии.

ство генералов и провести хотя бы незначительную аграрную реформу. С какой осторожностью приступала она к этой аграрной реформе, являвшейся для Испании жизненной необходимостью, реформе, которая могла бы вывести Испанию на новую историческую дорогу! Она не дала в руки тем, кому хотела помочь своей реформой, оружия для защиты их прав, как это сделал позднее Фидель Кастро на Кубе, и это оружие, это право на борьбу испанский народ получил слишком поздно, когда мятеж уже вспыхнул и началась война.

Вот уже двадцать пять лет, как милый лик Испании плачет над страданиями сынов испанской земли, которые влачат тяжкое существование, лишенные всех прав гражданина.

Диктатор одержим абстрактной идеей своего могущества, он ни к чему не прислушивается, ни с кем не совещается, он глух к окружающей жизни и, верно, только тогда бывает счастлив, когда перестает не замечать испанцев и начинает их ненавидеть. Разрушить установленный режим государства, расстрелять его законы, проституировать правосудие, заткнуть рот прессе, преградить путь сношениям с другими цивилизованными странами, возвести на престол восхищение нацистским режимом, задушить в жестокой войне справедливый социальный порыв целого народа — таковы методы, какими садист-тиран, погруженный в бездну преступной злобы, без устали терзал мою беззащитную родину. Что произошло далее? А то, что его извращенная жажда власти сколотила клику, которая меняла приемы по ходу политической игры, сперва восторженно преклоняя колена перед нацистами, а потом, не менее восторженно, перед американским империализмом. Эта банда порочных тупиц и лицемерных глупцов хотела организовать жизнь целой нации по своему образу и подобию. В основу управления государством она положила не волю народа, творца своих прав, не обычаи и нужды страны, а самоуправство и садизм. Но, не спрашиваясь у Франко и его клики, семя гражданского мужества прорастает, и в один прекрасный день Франко пожнет плоды своей политики и увидит, что власть его превратилась в пепел. Это только и осталось сегодня в руках у Франко — пепел.

Да, душа народа зреет в непогоду. И как бы ни старались те, кто посещает в наши дни Испанию, убедить всех, что политика, мол, там дело прошлое и что страх — такой надежный пес, что никто и рта раскрыть не смеет, в действительности дело обстоит совсем иначе. Правда, многие пытались заполнить ту пустоту, которая образовалась в испанской жизни после конца гражданской войны, футболом, боем быков и заботой о том, как бы выжить. Внутри Испании воцарилось по отношению почти ко всему мертвое безразличие. У нас в Испании мы избрали отрешенность, говорили, не

Для тех, кто правит Испанией.

отдавая себе отчета, что такого рода отрешенность — это самая трагическая форма одиночества, навязанного целому народу. Испания, которая некогда была одним из самых передовых европейских государств, сегодня стала антиисторичной. Силой событий ввергнутая в нищету, Испания допускает, чтобы ею командовали иностранные державы, рассовывая по ее земле свои военные базы, разрушающие миф о «голубой империи», во имя которого было убито столько испанцев. Модные автомобили иностранных марок бегут по автострадам иностранных компаний к территориям, проданным иностранцам и охраняемым иностранными солдатами, проверяющими документы у «местных», захлопывая у них перед носом тяжелые ворота,— это называется «закрытыми зонами», «гибралтарами» или черт знает как еще, и за этими воротами живут люди, говорящие на чужом языке, которым надлежит подобострастно поддакивать: «Oh, yes!»

Можно ли простить то, что сделали с Испанией? Мне вспоминаются стихи певца средневековья, галисийца Нуньо Фернандеса Торнеоля:

Вы обрубили ветви, где они гнезда свивали,
Вы обрубили ветви, где они отдыхали...

Да, это сделали с нами, с многими тысячами людей. Можно ли простить?

Вы иссушили реки, где жажду они утоляли,
Вы иссушили реки, где крылья они
омывали...

О нас говорят, что мы народ многострадальный и стойкий.

Родина за колючей проволокой,
Тебя не сломить им, родина! —

восклицает поэт Блас де Отеро, и вся новая поэзия Испании изливается в жалобах, исходящих из сердца, сдавленного палаческой рукой франкистского режима. И мне представляется, что это преступление франкизма еще более тяжкое, чем навязанная нам когда-то война, ибо, придя к власти, франкизм поставил себе задачей парализовать целый народ, убив в нем стремления и мечты, задавив в нем волю к жизни, лишив его живых желаний... Только на электрическом стуле или под ружейным залпом мог бы ответить франкизм за это покушение на бескровное убийство целого народа.

Я сказала, что испанский народ — многострадальный и сильный, но это не значит, что он единодушен и во всем совершенен. Нашу нацию формировали под гром исторических поражений. Историки времен монархии называли эти наши поражения «славными», и счастье быть испанцем мешало, таким образом, видеть контрасты света и тени в истории Испании. Перед нашими глазами никогда не стояла правда в своем подлинном виде.

Каждый народ нуждается в двух осязаемых правдах: хлебе и работе. Нам вместо этого дали самолюбивые мечты. Каждый народ нуждается еще в двух подлинных ценностях: культуре и надежде. А нам вместо этого дали невежество и нищету. Мир, социальная справедливость, благосостояние трудовых масс, подъем их культуры — таковы идеалы почти всех цивилизованных народов. Но эти идеалы все еще не взращены на почве Испании. Души бедных испанцев сотканы не из мечтаний и снов, а из бессонницы с ее кошмарами. Говорят, что символ Испании — бык, преследуемый тореадором и в слепом гневе кидающийся

Уличная сценка.

на противника, ничего не видя перед собой. Но не всегда противника встречают с закрытыми глазами. И здесь я хочу сказать несколько слов об испанской женщине.

Сразу оговорюсь: речь пойдет о женщине из народа, подруге тех, кто перенес гонения и муки изгнания, утешительнице любимого человека в его бедах и неудачах, мученице, принявшей свой крест не во имя религиозной веры, а во имя своей правды и закалившей свой дух в несчастии. Вспомните, как гибли на ее глазах самые драгоценные из ее созданий — дети. Вспомните женщин времен нашей гражданской войны, о которых мы почти никогда не говорим, потому что образы их так глубоко вошли нам в сердце, что каждое прикосновение к ним вызывает великую боль. Мы видели их в дыму взрывов, под грохот варварских бомбардировок наших городов, мы помним, как шли они сквозь все испытания с гордо поднятой головой в ореоле страданий. Иногда, возвращаясь с фронта, сыновья брали их за руку и садились рядом с ними, и тогда боевая форма солдата Республики сливалась с поношенным платьем матери, а сильная рука защитника родины ложилась на плечи той, кто дала ему жизнь, и сжимала их нежнее, чем плечи невесты. Матери и сыновья Испании, ее самая большая сила, большая, чем все ее установления и законы!

Столько горечи...

Испанская женщина верит не сразу, но поверив — героически верит до конца. Верит и идет вслед за своей верой и за своей любовью. Вслед за своей любовью покидала она родину, из-за своей любви просиживала она дни и ночи, как нищенка, у запертых ворот концлагерей, относя последние жалкие крохи, какие могла добыть, в тюрьму, где мужья, сыновья, братья, возлюбленные томились в заключении за свои высокие идеалы, которые она, быть может, и не умела понять. Как многим мы обязаны ей! И когда солнце встанет наконец над нашей родиной, мы с великой благодарностью вспомним о тысячах наших женщин — о брошенных в тюрьмы, о преследуемых, об униженных, о печальных. За эти муки, за жалкую корзинку с провизией на холодном утреннем ветру, за руки, огрубевшие и потрескавшиеся от работы, за одинокие ночи без любимого мы преклоняем голову перед вашим геройством, женщины Испании. Ведь тысячи и тысячи испанских женщин в самом расцвете своей молодости потеряли право на счастье, и каждая их судьба новой слезой ложится на далекий милый лик Испании. Скажите мне, разве это — не еще одно преступление франкизма?!

Что бы там ни говорили те, кто утверждает, что, мол, в Мадриде уже не умирают в сражениях, что мы в плену старых представлений, что наша мысль парализована, что на расстоянии все представляется нам слишком уж в мрачном свете,— Испания устала **не быть.** Если бы это было не так, то откуда взялись бы в Испании обличительная литература, искусство, бросающее вызов

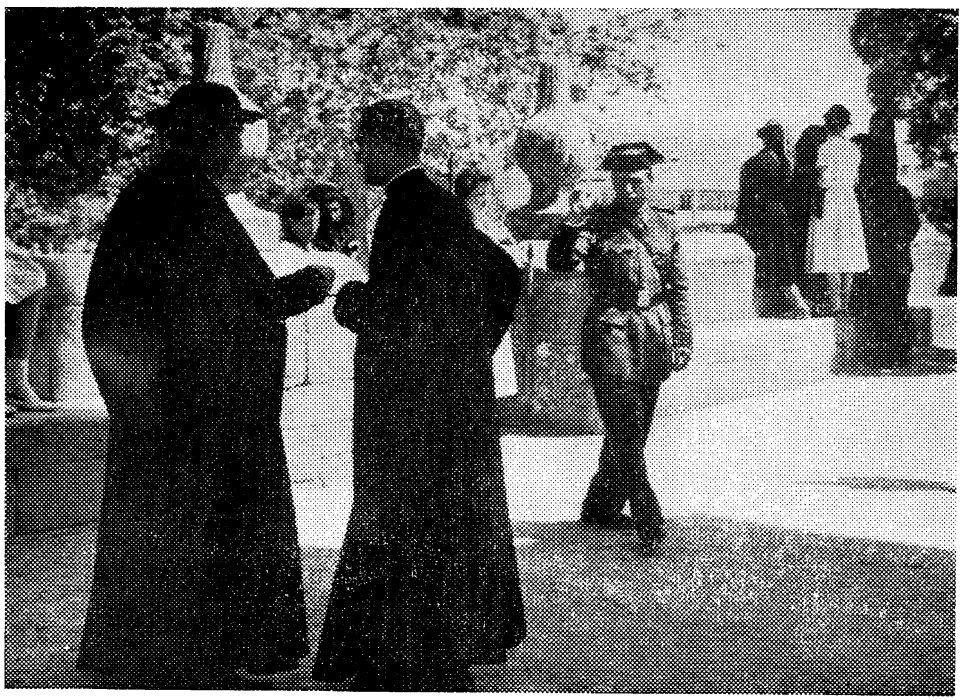
МАРИЯ ТЕРЕСА ЛЕОН
МИЛЫЙ ЛИК РОДИНЫ

окружающей действительности? И как объяснить университетские волнения, «нонконформизм»? Да, Испания хочет существовать как полноправное европейское государство, и она имеет на это право. Когда нам, изгнанникам, случается слышать рассказы кого-нибудь из молодых испанцев, приехавших из Испании, нас поражает сходство их молодости с нашей. Разве перед ними стоят не те же проблемы, что стояли перед нами? В университете — волнения, власть — в руках генералов, деревня умирает с голоду, труд рабочих плохо оплачивается, у детей нет школ, господствуют отсталость и гнет религии, хозяйничает иностранный капитал... — да, по-прежнему нет воздуха, нет справедливости, нет хлеба, нет свободы. Испания, когда же ты снова возьмешь в свои руки руль своей истории? Этого не случится, покуда тебя будут продавать оптом и в розницу интересам иностранных держав для того только, чтобы покупать военное снаряжение. Покуда отказ изображать твою действительность в розовом свете считается преступлением и немедленно берется на заметку грозной цензурой, сжимающей и разжимающей по произволу свой кулак. Покуда миллионам твоих граждан мешают узнать правду о том, что делается в мире, и покуда по прекрасной твоей земле, мать-Испания, стелются жалкие устаревшие идеи, увядшие, как прошлогодние листья, которые давно пора смести.

Милый лик Испании, далекой матери нашей! Уж двадцать пять лет, как мы не видим тебя, но все стоишь ты у нас перед глазами. Ибо мы — старые солдаты одной из самых романтических битв в истории, борцы за самый светлый идеал человека, против самых черных сил, посягающих на этот идеал — против фашизма. Мы давно расстались с нашей родиной, и постепенно в ушах наших смолкают древние говоры нашей земли, и в уголках памяти гаснет андалузский пришепет, галисийская певучесть, каталонская отрывистость... И твой далекий образ, Мадрид, сердце Испании, уже стирается и бледнеет в наших сердцах... Помните, как все это было? Повержены мирные знамена наших очагов, радость покинула наши дома, Мадрид остался один, окруженный врагами, Мадрид, столица славы, истерзанный, израненный Мадрид, в то время как на восточном, северном и южном фронтах идет битва за то, чтобы спасти нас и тем самым спасти Европу...

Мадрид, ты был твердыней нашей борьбы. Умрем мы, пережившие эти возвышенные минуты, умрут наши дети, и лишь строки учебников будут напоминать людям обо всем этом вдохновенном героизме... Но если делам смертных суждено быть увековеченными, то и в дыхании весны, и в порывах ветра вечно будет звучать эхо твоего героического подвига, Мадрид... Это было зрелище мужественное и народное. Мы шли на бой, как на праздник, как на свидание с вечностью. Пусть никогда не

Без слов...



умрет в памяти сынов и дочерей Испании эта высокая жертва героического города, пусть никогда не смолкнут в их сердце стоны обрушивающихся домов, раскалывающихся площадей, разорванных балконов, опрокинутых очагов, разбитых вдребезги окон. Пусть никогда не померкнут перед их взором изуродованные деревья мадридских бульваров, скрученные провода, маленькие невзрачные трамваи, храбро бегущие вперед сквозь гром снарядов. Пусть вечно живет в памяти пространства и времени твой образ, Мадрид, а мы, бравшие штурмом казармы Монтанья, мы, отстоявшие твои рубежи 7 ноября 1936 года, мы позаботимся о том, чтоб никто не забыл твоего имени, героический Мадрид, не забыл о подвиге твоего народа. Ибо твой подвиг — это подвиг народа, ибо в Испании все, что не народ,— это темное мракобесие франкизма.

Испанская легенда рассказывает: когда жертва думает о своем убийце, ее раны открываются.

О, вы обрубили ветви, где они гнезда свивали,
Вы обрубили ветви, где они отдыхали...

Но ваши жертвы живы — для того, чтобы быть живым свидетельством ваших преступлений, чтобы рассказать правду о том, что было, чтобы ждать, не склонив головы, и встретить то, что будет. И мы ждем. И мы слушаем.

Все, кто может, слушайте: созрела
правда в каждом из моих стихов...
Я пою с открытыми глазами
обо всем, что вижу. Не о небе,
не об ангелах с их музыкой небесной.
Нет, я человек, и расскажу я
все, что видел на земле суровой,
расскажу и голосом, и криком,
и рыданьем. Разве это трудно?
Все вокруг: и каждый город мертвых —
Бадахóс, Герника, Сарагоса,
и дорог испанских бесконечность,
и могилы вдоль дорог, могилы,
темные застенки тюрем, стоны
матерей, бездонно одиноких,
все, что есть оплеванная злобой
родина моя, повелевает:
не сдавайся.

Это говорит с нами молодое поколение. Это голоса тех, кто не хочет покориться и жить втихомолку и кричит нам:

Знайте это вы, кто за свободу
отдавали жизни, принимали смерти.

И мы, издалека, слышим их голоса. Среди этих голосов есть безымянные и есть широко известные: Блас де Отеро, Габриэль Селайя, Кабальеро Бональд, Эухенио де Нора, Викториано Кремер, Агустин Гойтисоло, Анхела Фигерас, Хайме Хиль де Биедма... Голоса испанского Сопротивления. Почему не употребить это слово? Голоса тех, кто не хочет молчать.

И мы уже слышим не отдельные голоса, а единый мощный голос из множества голосов, голос большой правды. Они крепко связаны с Испанией. Сколько раз поминают они ее! Это новое явление. Никогда еще не проявлялось больше нежности к родине, чем теперь, когда она так больна, так ото всего оторвана, так лишена уваженья, когда она подчинена чужим интересам, когда у нее нет весны для новых своих детей, когда, на виду у всех, ее сыновья уходят в другие земли, чтоб заработать кусок хлеба.

Убийцы времени, родина вами
не создана...

Нет, она не создана, напротив, она распадается на мелкие куски; ускользают рабочие руки, вспахивавшие ее землю, пропадают в тумане умирающие селения, сохнут заброшенные посевы, пустеют покинутые поля. Рядом с холодным оживлением и равнодушными восторгами туризма стонет своя, родная беда, нарастает гневный крик «несогласного поколения» испанского общества.

Да, в Испании родились поколения протеста — противники пассивного согласия с существующим укладом, поколения вызова, поколения, которые проснулись и смотрят на жизнь открытыми глазами. Цензура, запрещения, аресты. Пусть... Они все равно уверены, что их голос услышат. Ибо рассвет близится, в этом нет сомнения. Современная испанская поэзия, вобравшая в себя весь мятежный дух молодых поколений, поэзия, открыто говорящая страстным языком правды, стала реальностью.

Встань и шагай, Испания,
к мирной и новой жизни,
Испания, встань и шагай.

Такой хотят они ее видеть: гордой и сильной. У испанской поэзии три голоса: голос, доносящийся из изгнания, голос, звучащий внутри страны, и закованный в цепи голос, прорывающийся из тюрем. Единое дерево жизни, сплетающее в непрерывности своего роста три песенные ветви. И так же, как единый голос поющих птиц выражает собою все голоса леса, единый голос испанской поэзии выражает собою все голоса испанского народа. После двадцатипятилетнего отсутствия мы чувствуем, что эти три голоса, которые в конце концов сольются в один, единый, призывают нас к великой задаче — продолжить Историю Испании. Это решительный призыв, исходящий от тех, кто не желает более жить взаймы и на втором плане.

Я кладу на Испанию руку и свято
клянусь
не поминать ее имени тщетно.
И если когда-нибудь я отрекусь
от народа ее,
отрубите мне руку за это.

Под этой клятвой, подобной торжественным клятвам средневековья, могли бы подписаться миллионы людей, ожидающих в Испании новой жизни. От имени этих людей, во имя памяти о них, обжигающей сердце, и написан этот очерк.

Перевод с испанского
ИННЫ ТЫНЯНОВОЙ

ВЫЗОВ, БРОШЕННЫЙ ИЗ-ЗА РЕШЕТКИ

(РИСУНКИ АГУСТИНА ИБАРРОЛЫ)

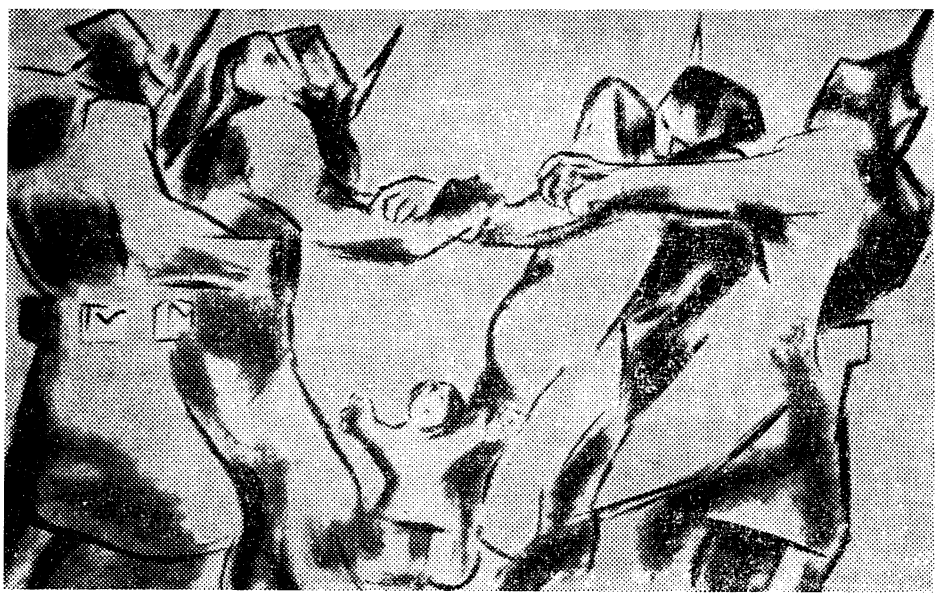
В этом году в Лондоне состоялись две выставки. На одной было представлено большое количество полотен Гойи, присланных из разных стран. На другой экспонировалось 40 рисунков, выполненных в центральной тюрьме Бургоса и словно проникнутых духом Гойи.

Имя художника — Агустин Ибаррола. Он был арестован летом 1962 года. Его пытали в течение 24 дней в застенках охранки города Бильбао, а затем военный трибунал приговорил его к девяти годам тюремного заключения. На суде Ибаррола, защищая свое искусство, дал меткое и яркое определение реализму:

— Реализм — это отражение жизни и чаяний народов. Если говорить о реализме басков, то для него характерно изображение основной массы народа — трудящихся. Именно реализм является отличительной чертой шедевров испанской живописи, и Гойя тому пример.

А когда защитник спросил его, что он хочет выразить

Без всякой жалости.



своими произведениями, Ибаррола, не колеблясь, сказал:

— Когда я рисую, я как бы хочу слиться с моим народом, хочу кистью отобразить его протест.

Так и поступает этот замечательный художник-коммунист, несомненно лучший из современных испанских мастеров настенной живописи. Он действительно слился со своим народом и отобразил средствами искусства его протест против репрессий и тюрем франкистской диктатуры.

Ибаррола пишет кисточкой черной тушью или просто черным карандашом на белой папиросной бумаге. Очевидно, его работы были тайно написаны в камере, затем свернуты в трубочку, сложены до минимальных размеров и таким образом вынесены из тюрьмы Бургоса. Несмотря на ограничения, диктуемые существовавшими условиями, художник Ибаррола не согласился довольствоваться листочками книжного формата.

На выставке экспонировался триптих, состоящий из прямоугольных листов, каждый из которых размером с большой плакат. Все три рисунка сделаны черной тушью на тонкой бумаге, но они рисовались по частям, на четвертушках бумаги и в таком виде выносились из тюрьмы. Подклеенные одна к другой, четвертушки совпадают с удивительной точностью, составляя одно целое. Это — шедевр, особенно если учесть, что художник не мог видеть своей картины в целом, а только держал ее в своем воображении и что условия работы над ней были чрезвычайно сложными. Триптих по своей композиции напоминает первые работы художника в области стенной росписи. Находясь на военной службе (с тех пор минуло 15 лет), он расписал стены нового собора в Арансасу. Ибаррола изобразил жизнь простых басков, крестьян и рабочих,— жизнь своего народа. 60 квадратных метров уже было расписано, когда по приказу властей творение художника уничтожили. Последний триптих Ибарролы показывает, как ярко представляет себе художник рабочих в мире эксплуатации. На этот мир зритель смотрит из камеры, сквозь решетки. Но то, что находится по другую сторону решеток — тоже не свобода, а царство угнетения.

Политические заключенные.

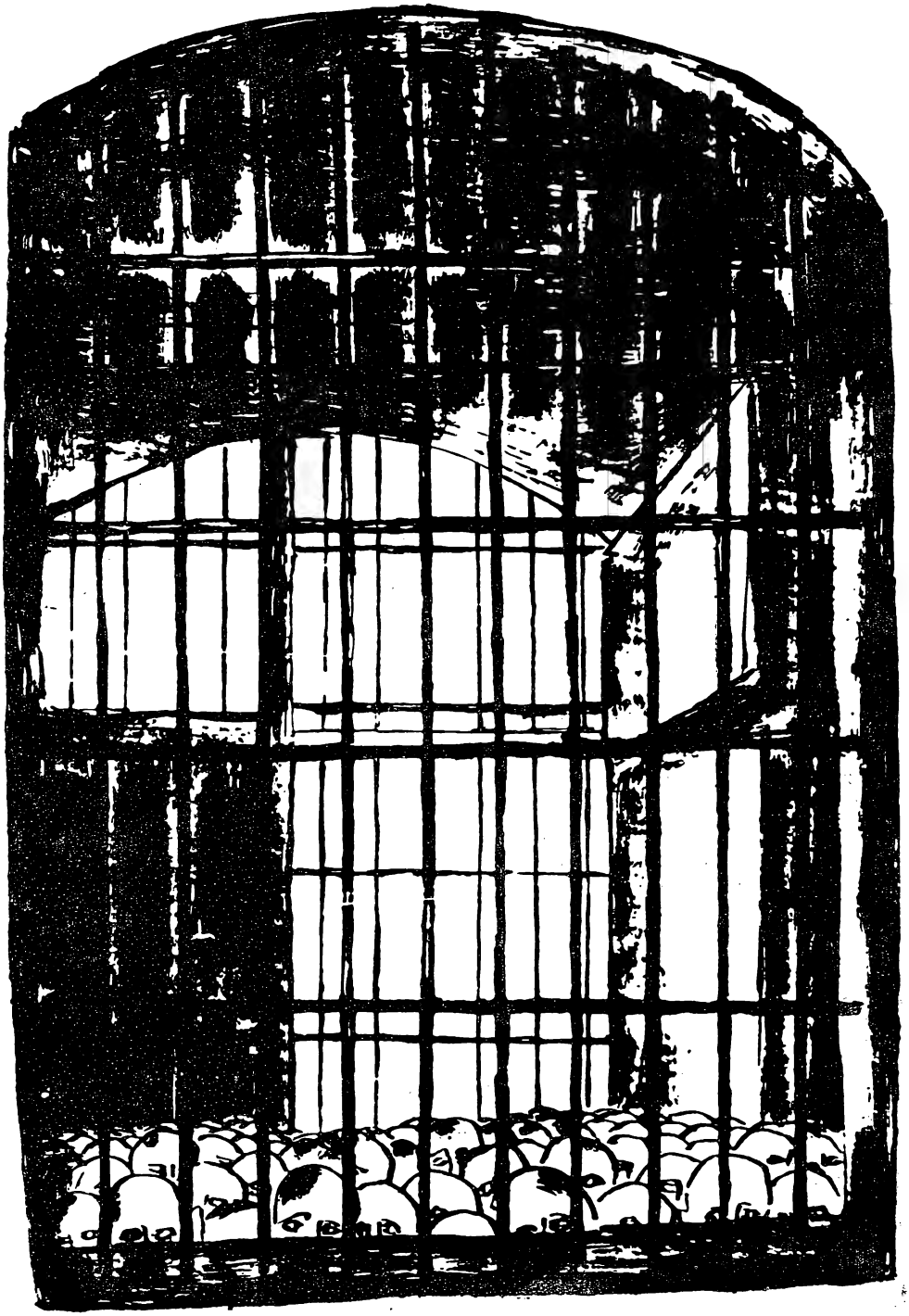
Когда, несмотря на тысячи препятствий, работы Ибарролы были вынесены из тюрьмы и художника спросили, согласен ли он выставить их в Лондоне — ведь это могло послужить поводом для новых издевательств со стороны тюремщиков,— он просто ответил:

— Если это привлечет внимание всего мира к произволу, господствующему в Испании, никакая опасность не страшна!

И он пошел на этот риск, бросив вызов диктатуре!

Фон многих его рисунков — тюремные решетки. Сквозь них брызжет яркий свет — свет желанной свободы. Впечатляющая сила изображения настолько велика, что зрителю кажется, будто сам он находится за решеткой. Жестокие, суровые, волнующие картины, пронизанные духом борьбы.

Под одной из них подпись, сделанная самим художником: «Пять лет заключения в одиночной камере». Сырые стены темной, похожей на склеп камеры, где нет даже скамьи. Политзаключенный стоит, скрестив руки, но не в знак смирения, а в суровой решимости продолжать сопротивление.



Ожидание.

У тюрьмы.

Другую работу можно было бы назвать: «Во время раздачи». Камеры открыты, из них выглядывают заключенные с мисками в руках. Они смотрят ввалившимися глазами, и взгляд их словно говорит: «Мы не дрогнем! Нас не сломить!» Эти люди не покорились; их объединила железная решимость бороться до конца.

Агустин Ибаррола рисует в тюрьме эпизоды стачек шахтеров Астурии и Леона, забастовок металлистов Каталонии и его родной Басконии. На рисунке изображены трое рабочих. Они неудержимо шагают вперед, всем своим видом выражая протест, силу и единство. Художник снабдил картину текстом: «Свобода профсоюзам, классовые профсоюзы, право на забастовку, мир, твердая и прогрессивная заработная плата».

Эти лозунги явились движущей силой крупных забастовок 1962 и 1963 годов. Они и сейчас гремят по всей Испании, призывая ко всеобщей политической стачке.

Рисунки художника, полные внутреннего драматизма, никого не оставляют равнодушным. Когда смотришь на них, невольно вспоминаешь Гойю: с великим художником Ибарролу роднит бунтарский дух, определяющий их стиль.

Если бы гениальный автор ослепительных «Капричос» и потрясающих по силе «Бедствий войны» жил в наши дни, как бичевал бы он террор и коррупцию франкистского режима!

Испания Ибарролы — это в какой-то степени та Испания, которую рисовал Гойя. Но только «в какой-то степени». Ибо сегодня есть силы, могущие покончить с этим кошмаром, разрушить железные решетки большой тюрьмы какой является современная Испания.

Э. К.

Один работает,
а стервятники ждут.

ЖОРЖ САДУЛЬ

ПЕРЕД ОБЪЕКТИВОМ — ИСПАНИЯ

Когда на фестивале в Канне в 1952 году был показан испанский фильм «Добро пожаловать, мистер Маршалл», для всех это явилось полной неожиданностью. До тех пор продукция испанской кинематографии совсем не привлекала к себе внимания мировой кинокритики.

И в этом не было ничего удивительного. Развитие испанского кино существенно задержалось в силу определенных исторических причин. В «немой период», при короле Альфонсо XIII и диктатуре Примо де Риверы, экраны страны наводняли иностранные — главным образом французские и американские — фильмы. Среди первых работ пионеров испанской кинематографии достойны упоминания лишь картины Флориана Рея (лучший его фильм «Проклятая деревня» был показан в Париже Хуаном Пикерасом, историком и критиком, жившим одно время во Франции и издававшим там свой журнал «Нуэстро синема», в котором сотрудничали, в числе других, Сергей Эйзенштейн, Бела Балаш, Рене Клер).

Затхлая атмосфера феодальной Испании не давала возможности развернуться молодым, влюбленным в искусство и кино талантам. Лучший среди них, Луис Буньюэль, эмигрировал в 1925 году в Париж, но его фильмы, созданные до 1960 года во Франции и Мексике, так же глубоко национальны по своему духу, как и романы Сервантеса и картины Гойи.

Что касается Хуана Пикераса, то в июле 1936 года франкисты буквально сволокли его с больничной койки и расстреляли почти одновременно с его другом — поэтом Федерико Гарсиа Лоркой. Во время гражданской войны Буньюэль возглавлял департамент кино республиканского правительства, но все, чего ему удалось добиться в тяжелых условиях войны,— это лишь организовать съемки нескольких короткометражек и оказать помощь ряду иностранных кинематографистов, в том числе Йорису Ивенсу, работавшему близ Мадрида над фильмом «Испанская земля», дикторский текст к которому написал и прочитал Эрнест Хемингуэй.

После окончания гражданской войны и во время второй мировой войны Мадрид выпускал ежегодно до тридцати полнометражных лент, посредственных до убожества. Наиболее дорогостоящей среди них была картина «Раса» (1941,) сценарий которого написан самим генералом Франко. Поставлен этот фильм двоюродным братом диктатора — «придворным» режиссером Саэнсом де Эредиа, который ныне готовит новый фильм — «Жизнь генерала Франко (1939—1964)».

После войны производство фильмов в Испании подскочило до пяти десятков картин в год, но никакими переменами в качестве этот скачок не ознаменовался. Многие из них носили служебно-пропагандистский «антикрасный» характер, другие демонстрировали реакционнейшие идеи либо представляли собой мрачные мелодрамы или пошлые светские комедии. Во франкистском кино всячески насаждалась «испанщина», облекавшая трагические стороны жизни страны в одежды туристского «фольклора» с неизменными тореро, мантильями, кастаньетами и карнавальными Кармен.

То было время, когда на экране процветал Ладислао Вайда, ранее поставивший множество картин в Париже, Лондоне и Берлине и после 1943 года обосновавшийся в Мадриде. Он выпустил и там много псевдоиспанских фильмов, наибольшую из-

вестность среди которых снискал себе фильм «Марселино, хлеб и вино». Сей способный на все человек ныне покинул Испанию и трудится в Мюнхене. Его «испанские» фильмы не более примечательны, чем другие, сделанные в тот период (1940—1952) Рафаэлем Хилем, Эдгаром Невилье, Антонио Романом, Хуаном де Ордунья, Сесаром Ардавином, Марселем Муроти. Среди них с трудом можно выделить лишь фильм «Борозды» Ньевеса Конде, хотя и защищающего франкистскую идею о «возвращении к земле», но в ряде сцен показавшего трагическую нищету мадридского пролетариата, безработицу, нищих бездомных детей.

■

Так чем же все-таки заинтересовал требовательную публику Канна фильм «Добро пожаловать, мистер Маршалл», сценарий которого был написан двумя молодыми кинематографистами, выпускниками Мадридской киношколы — Берлангой и Бардемом и поставленный первым из них?

Весьма бдительным, но туповатым франкистским цензорам эта картина, повествовавшая о крестьянах кастильской деревни — о том, как они вообразили, будто на них распространится благодать плана Маршалла, и как развеялись их иллюзии,— видимо, показалась невинной и поверхностной комедией.

Но сатира Берланги целила еще дальше, чем позволяли комические обстоятельства истории о том, как облагодетельствовал франкистскую Испанию план Маршалла. Его истинной целью было противопоставить бутафорской «испанщине» трагическую испанскую действительность; перед зрителем предстал художественно точный портрет типичной испанской деревни с ее бедняками и местной знатью — разорившимся грандом, священником, «кулаком». Это они навязывают своим односельчанам маскарад с переодеваниями, кастаньетами и мантильями, чтобы «радостно и оптимистически» встретить мистера Маршалла.

Из двух авторов этого фильма первым заявил о себе во весь голос Бардем. Славу ему принесли такие картины, как «Комедианты» (1954), «Смерть велосипедиста» (1955), «Главная улица» (1956) и «Месть» (1957). В «Комедиантах» описывалась жизнь бродячих актеров, которую Бардем хорошо знал,— бродячими актерами были его родители. Он показал, как безысходно кочуют они по городам и весям франкистской Испании — глухим, слепым, словно замурованным в своей печали и отчаянии.

Действие «Смерти велосипедиста» протекает в буржуазной среде. Советские зрители знакомы с этой картиной, мне хочется лишь подчеркнуть наличие в ней конфликта между разными поколениями, раскрытого в фильме через судьбу различных персонажей: банальное «детективное» происшествие послужило Бардему своего рода «проявителем» — не только химическим, но и

Кадр из фильма «Пласидо» режиссера Х. Берланги

Кадр из фильма «Палач» режиссера Х. Берланги

социальным,— герои фильма оказываются перед лицом ответственности по отношению к людям и ко времени.

«Главная улица» — также известная советским зрителям — снова явилась глубокой критикой испанского общества времен франкистского режима. Атмосфера погрязшего в скуке, предрассудках небольшого провинциального городка с его Главной улицей, с его культом социальной кастовости, с его феодальными нравами напоминает царскую Россию времен Чехова.

И здесь случай — основа сюжета — помогает обнажить, разоблачить бесчеловечность, жестокость общества, лицемерно присягающего в верности нетленным моральным установлениям.

Однако самым смелым фильмом Бардема следует считать «Месть» — историю рождения классовой солидарности батраков, кочующих по богатым землям Ламанчи, подобно их легендарному предку Дон Кихоту. С художественной точки зрения этот фильм менее удачен, и он не имел успеха в прокате. Бардем испытал на себе все последствия провала, и можно в известной мере полагать, что он в чем-то поступился своими прежними творческими позициями ради публичного признания, поставив фильмы «Сонаты», «В пять часов пополудни» и «Невинные». Я не видел этих картин, но я знаком с еще одним его фильмом — «Никогда ничего не происходит». События здесь развиваются в провинциальном городке, как и в «Главной улице», но фильм не удался, несмотря на то, что франко-испанское совместное производство обеспечило ему настоящий коммерческий успех. Сейчас Бардем заканчивает фильм «Органчики», действие которого развертывается на модном пляже; в картине снимается профранкистский художник Сальвадор Дали.

Творческий путь Хуана Берланги складывался за последние десять лет совсем в ином направлении, чем у его друга Бардема. Он был трудным. После успеха «Добро пожаловать, мистер Маршалл» режиссер выпустил комедии «Жених на виду» и «Калабуиг» — неглубокое повествование о злоключениях американского атомщика, тайно проживающего в небольшом рыбачьем поселке Испании.

Когда Берланга задумал перейти от комедии к прямой сатире в «Чудесах — каждый четверг», франкистская цензура запретила фильм, разрешив его выход лишь спустя четыре года и с таким множеством купюр и искажений, что режиссер отказался признать картину своей.

Можно было опасаться тогда, что Берланга вообще бросит кино. Но он блестяще опрокинул эти опасения, поставив «Пла́сидо». Так зовут бедняка, единственным достоянием которого является трехколесный велосипед, его рабочий инструмент. Пласидо не сделал последнего взноса, и велосипед грозят отобрать. Ситуация напоминает «Похитителей велосипедов», хотя фильм Берланги многое отличает от работы Де Сика — одного из шедевров итальянского неореализма.

Пласидо живет в небольшом испанском городке. Буржуа организуют здесь крупную благотворительную манифестацию под девизом «Каждому — свой бедняк». На один вечер каждый состоятельный житель приглашает к себе за стол одного бедняка. Тема фильма близка «Мертвым душам» Гоголя: переходя из дома в дом, честный Пласидо встречает повсюду лишь хищников, лицемеров, эгоистов. Таковы представители опустившегося и разложившегося правящего класса. Художнику удалось создать сатирическое произведение беспощадной обличительной силы.

Сам Берланга следующим образом определил идею фильма: «Благотворительность — не что иное, как ложь. Ибо едва замыслишь получить у тех, кто претендует на амплуа благотворителя, большее, чем простой жест, а именно — реальное участие, тотчас сталкиваешься с их скаредностью и эгоизмом. Эта моя позиция в фильме привела к затруднениям с цензурой. Однако несмотря на некоторые уступки, я сумел все же высказать в нем свою главную мысль».

Последняя работа режиссера — фильм «Палач» — была показана на Международном кинофестивале в Венеции в 1963 году, где получила премию Федерации международной кинопрессы (ФИПРЕССКИ). Его сюжет отличается еще большей смелостью, чем «Пласидо». Старый палач (его играет Хосе Исберт) выдает дочь замуж за слу-

жащего похоронного бюро (артист Нино Манфреди) и хочет сделать его своим преемником. Вначале молодой человек соглашается. Его посылают для «дебюта» на Балеарские острова. Совершив там казнь, он клянется оставить ремесло палача. Но тесть его знает — достаточно сделать первый шаг.

В современной Испании, как и в средние века и при Гойе, Франко предает людей казни через удушение, с помощью железного ошейника — гарроты. Старый палач носит свой инструмент в потертом саквояже, и всякий раз, когда он ставит его, раздается зловещий лязг.

Наиболее остро сатира Берланги, создавшего правдивое, социально острое произведение, проявилась в сценах, когда молодого ученика палача, вызванного с праздника на первую казнь, ведут в тюрьму под эскортом двух сторожей. Он всеми силами стремится избежать страшной процедуры, но его буквально насильно тащат в камеру, где должно состояться удушение.

Фильм этот появился на экранах Венеции через несколько дней после казни двух антифранкистов. Полиция этого итальянского города запретила показ снимков жертв гарроты. Легко представить себе в этой связи эффект «Палача» на фестивале, каким протестом прозвучал он! Бдительность свою испанские цензоры проявили, хотя и с запозданием. Они разрешили выпуск фильма на экран лишь после сокращений на треть (полчаса экранного времени) и безжалостно вырезали всякий намек на гарроту.

Сценарии «Пласидо» и «Палача» были написаны Берлангой совместно с Рафаэлем Асконой, являющимся также сопостановщиком двух фильмов — «Квартира» и «Коляска», снятых в Испании итальянцем Марко Феррери.

В фильме «Квартира», желая захватить жилье, молодой человек убивает старуху. В «Коляске» старик, ради того чтобы заполучить инвалидную коляску, отравляет свою семью, состоящую из богатых и эгоистичных мелких буржуа.

Общая черта «Палача», «Квартиры» и «Коляски», которой все три фильма, видимо, обязаны перу Асконы,— их «похоронный юмор». Самые зловещие ситуации поставлены на службу «комедии убийств».

Было бы ошибкой мрачный колорит фильмов Феррери и Берланги связывать с «пессимизмом». Он нужен художникам как средство углубления их сатиры, как способ заострения социальной критики. Комический и трагический «макабр» принадлежит к великим традициям испанского искусства и характерен в первую очередь для Гойи, а также и для Веласкеса, Вальдеса Леаля, Сурбаррана и других.

Другой стороной творчества Берланги является так называемая «плутовская» стихия его фильмов, также связывающая их с традицией испанской литературы XVI—XVII веков, к которой примыкают в известной степени «Дон Кихот» Сервантеса и во всяком случае его «Назидательные новеллы». Пласидо имеет дело с жуликами новой формации, то есть богачами и буржуа, отличными от своих предшественников — бродяг, живших три века назад.

Многие критики справедливо усматривают родственные черты в творчестве Берланги и Луиса Буньюэля, несомненно оказавшего на первого известное влияние. Эмигрировавший в Мексику выдающийся испанский режиссер вернулся на родину в 1960 году для постановки там «Виридианы». Этот поступок был поначалу неправильно истолкован некоторыми испанскими республиканцами, говорившими мне тогда: «Среди нас были три великих деятеля культуры — Луис Буньюэль, Пабло Пикассо и Пабло Касальс. Теперь, увы, Буньюэль согласился вернуться в Мадрид, чтобы снять там фильм».

Эти республиканцы переменили свое мнение после того, как «Виридиана» получила «Большую премию» 1961 года на фестивале в Канне, торжественно врученную руководителю испанского кино, смещенному франкистскими властями после того, как их представители поняли, что фильм Буньюэля — тоже весьма «плутовской» по своему характеру — представлял собой резкую критику религиозного лицемерия феодального общества, отсталости, в которую низверг Испанию режим Франко. «Виридиана» не только была запрещена цензурой Мадрида; последняя запретила всякое упоминание о присуждении фильму премии в Канне и вообще любые сообщения в печати об этой картине и ее преданном анафеме режиссере.

■

Как и Буньюэль, Берланга и Бардем принадлежат к старшему поколению испанской режиссуры. После 1960 года в Испании появилась своя «новая волна» и были созданы небезынтересные и обещающие картины.

Эти молодые испанские кинематографисты (моложе 30 лет) в той или иной сте-

Кадр из фильма «Виридиана» режиссера Л. Буньюэля

пени вдохновлены идеями рабочего движения, которое, несмотря на террор, периодически потрясает Испанию. Независимо от того, какие отливы пережило это движение за последние десять лет, работы Бардема и Берланги, несомненно, отмечены влиянием массовых выступлений.

Фильмы испанской «новой волны» испытали на себе, если говорить об их форме, некоторое влияние французской «новой волны» с присущими той многими недостатками. Но если к ним приглядеться поближе, можно почувствовать мотивы, хотя и достаточно приглушенные, протеста и возмущения.

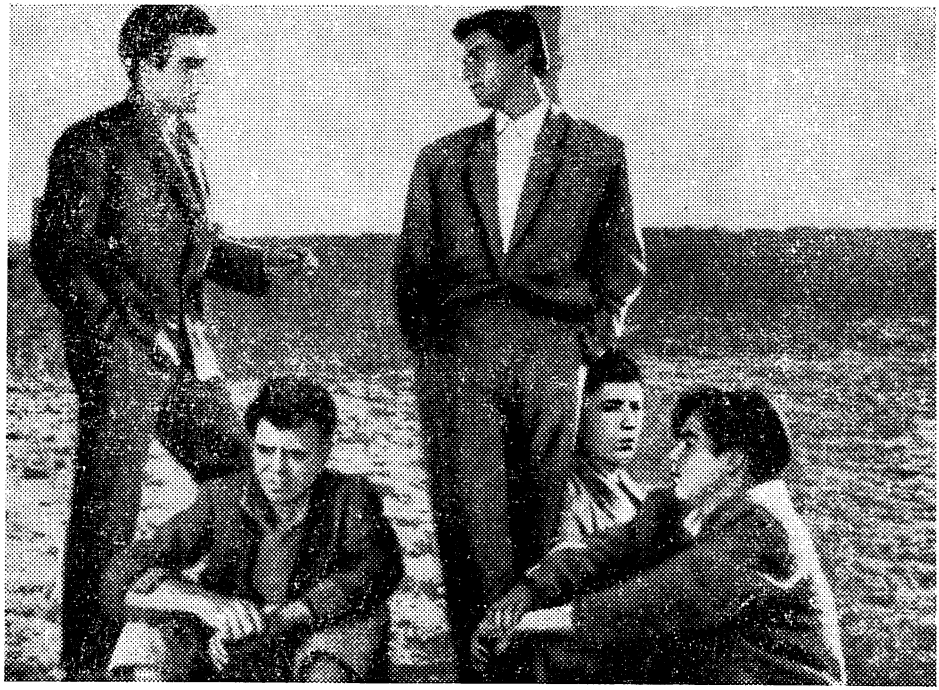
Необходимость маскировать истинные идеи подобных произведений диктуется суровостью репрессий. Вот только один пример. Когда франкистские власти казнили Хулиана Гримау, сообщение об этом, освященном законом, убийстве было опубликовано одновременно с рецензиями на демонстрировавшийся в Мадриде фильм Орсона Уэллеса «Процесс» (по Кафке).

Критик крупнейшей испанской католической газеты, историк кино, выдававший себя за либерала на фестивалях, написал тогда статью, смысл которой сводился к следующему: «Процесс» Кафки непонятен, зато процесс Гримау ясен, и тот приговорен по заслугам». Эта статья возмутила одного молодого критика, выразившего гнев в частном письме, адресованном им его старшему коллеге. Последний передал это письмо в полицию, и молодого человека арестовали. Вот уже два года он томится в тюрьме в ожидании строгого приговора... Этот арест повлек за собой закрытие журнала по вопросам кино, в котором сотрудничали молодой критик и многие другие испанские киноработники.

Против них применяется и другой вид репрессий — экономического характера. Испанское кино выпускает сегодня до сотни фильмов в год, причем большую часть составляют совместные постановки с иностранными фирмами (главным образом американскими; в Испании рабочая сила дешевле, чем, скажем, в США). Правительственные субсидии предоставляются национальным фильмам, обладающим «художественными достоинствами». Такое понятие при Франко, как в свое время при Гитлере, скрывает чисто политический смысл, ибо «высокохудожественные» фильмы призваны служить интересам франкистского режима или во всяком случае не подрывать его. Молодому киноработнику, заподозренному в том, что он «плохой слуга» режима, отказывают в субсидии. Он не найдет продюсера, чтобы поставить новый фильм.

Так случилось, например, с одним из первых режиссеров испанской «новой волны» Карлосом Саурой, дебютировавшим в 1959 году фильмом «Бродяги» — суровой и реалистической картиной о жизни молодых мадридских безработных. Лишь пять лет спустя он сумел сделать новый фильм «Плач по бандиту», где в одной из ролей снялся его друг Буньюэль.

Кадр из фильма «Плач по бандиту» режиссера К. Сауры



Кадр из фильма «Бродяги» режиссера К. Сауры

Кстати, цензура вырезала все сцены, в которых участвует Буньюэль, как и ряд других эпизодов этого исторического фильма, отмеченного глубоким современным звучанием.

Надежды испанского кино связываются сегодня с именами Регейро, Губерна, Аранды, Пакасо, Хаиме Камино, Камуса, Хулио Диаманте, но только не Грау, чей фильм «Непосредственный» (показанный на последнем фестивале в Карловых-Варах) открывается, правда, неплохими кадрами — карикатурой на богатых туристов, но затем явно деградирует до уровня скандального боевика.

Хулио Диаманте дебютировал фильмом «Когда наступил мир» — ярким и довольно острым по описанию испанской жизни в период первой мировой войны, а затем снял «Время любви», премированный в 1964 году на одном из фестивалей. Пакасо неплохо экранизировал роман Мигеля де Унамуно «Тетя Туля». Хаиме Камино показал адюльтерную драму в буржуазной среде — что в Испании является большой смелостью — в фильме под многозначительным названием «Счастливые шестидесятые годы» (намек на американский фильм «Бурные двадцатые годы», известный в Советском Союзе под названием «Судьба солдата в Америке».— *Ред.*), в котором сильно критическое начало и превосходны кадры природы и пейзажа.

Я еще не знаю ни фильма Губерна и Аранды «Блестящее будущее», ни «Шутников» и «Юнги Санчеса» Камуса, о которых мне говорили много хорошего, но был приятно удивлен уже первой работой Регейро «Чистая любовь» — рассказом об одном печальном дне каникул в Толедо двух молодых мадридских студентов. На канве этого сентиментального сюжета автор сумел воссоздать острую и сильную картину современной Испании. Достаточно назвать только одну сцену в поезде, где мы видим и сторожа, и священника, рабочих и крестьян, представителей разных слоев народа, свободно рассуждающих о своих заботах и подчас о... гражданской войне.

От нового поколения испанского кино, следующего за Берлангой и Бардемом, можно ожидать многого. Но как мы уже отмечали выше, большой талант последнего сильно пострадал в последние годы в результате оказанного на него нажима. Следует опасаться, как бы это новое поколение не стало завтра «потерянным поколением», если только движение масс не заставит франкистскую реакцию отпустить натянутые поводья. Для расцвета киноискусства Испании, где не ощущается нехватки в талантливых людях, необходима свобода творчества, а она невозможна в условиях фашистского режима.

г. Париж

СРЕДИ КНИГ

С ИСПАНИЕЙ В СЕРДЦЕ

Недавно в Москве появились новые стихи современных испанских поэтов. Быть может, для Инны Тыняновой, Федора Кельина и Овадия Савича работа над ними была повседневностью — ведь они на протяжении многих лет дышат воздухом испанской литературы и их сердца, как точные приборы, записывают ее грозовые разряды. Но для молодых поэтов, прикосновение к новой испанской поэзии стало открытием, одним из тех событий, которые оставляют след в биографии.

Я видел, с каким волнением взяли молодые поэты Роберт Рождественский, Юна Мориц, Давид Маркиш в руки новые стихи из Испании. Чего греха таить, порою переводы делаются ремесленно — помогает умение, практика, подгоняют назначенные редакцией сроки. На этот раз все происходило на каком-то особом пронзительном уровне: молодые советские парни и девушки как бы продолжили судьбу того хлопца-мечтателя, что еще в 1926 году пошел освобождать «Гранадскую волость» в замечательном стихотворении Светлова. Они через годы, но как ровесники, беседовали с Гарсиа Лоркой, рядом с отцами шли по колючим холмам сквозь огонь той далекой войны, что хотя и началась за три года до второй мировой, но по существу оказалась ее началом.

Как это хорошо, что у советского читателя в последние годы появилось несколько книг современной испанской поэзии! Я говорю о сборнике Рафаэля Альберти, о книжке Бласа де Отеро, о сборнике «Современная испанская поэзия».

Как это хорошо, что наши толстые журналы находят (мы знаем, не так это просто сейчас) новые произведения испанской поэзии и публикуют их на своих страницах.

Отгороженная от нас расстояниями и штыками, суровая жизнь испанского народа раскрывается в этих стихах, приближается, прикасается к тем сердцам, в которых всегда есть место для чужой боли, всегда есть место для Испании.

Современная испанская поэзия. Составители В. Арана и А. Мансо. Предисловие Ф. Кельина. Редактор М. Зенкевич. Москва, Издательство иностранной литературы, 1963. 203 стр.

Придушенная, но не убитая свобода Испании бьется, как пульс, в стихах ее поэтов. После печального исхода через Пиренеи многие славные певцы Испании вынуждены были найти убежище в других странах, по преимуществу в тех, где испанский язык так же звучит, как и на их родине. Четверть века прошло, но изгнанники остались поэтами Испании, прибавив к своей трудной славе лишь то, что они стали поэтами мира.

В этой связи прежде всего надо сказать о Рафаэле Альберти. Еще в 1934 году был

Блас де Отеро. Стихи. Перевод с испанского. Предисловие О. Савича. Редактор М. Зенкевич. Москва, Издательство иностранной литературы, 1962. 82 стр.

он с астурийскими горняками, был певцом той схватки, что предвещала события 1936 года и окрасила кровью их знамя.

Стихи об Аиде Лафуэнте рассказали миру о подвиге девушки, и я не преувеличу, если буду утверждать, что созданный Альберти образ астурийской партизанки участвовал в формировании души многих героев, и в том числе нашей Зои Космодемьянской. Я думаю, что где-то в сознании Раймонды Дьен промелькнул этот образ, когда она преградила путь военному эшелону. И сегодня воскресает этот образ, когда молодые кубинки становятся на охрану своего огненного острова.

Враги революции и революционной поэзии на всех этапах истории пытались развенчать образ поэта, отдавшего свое перо и сердце борьбе за свободу. Ему отказывают в нежности, в тонкости, его изображают грубым агитатором и поденщиком. Я не собираюсь заниматься опровержением и спорить с недругами о том, каким должен быть образ поэта-борца. Живым доказательством подлинной и вечной поэтичности этого образа могут быть многие, и в ряду первых — Рафаэль Альберти. Он соединил в своем творчестве песню жаворонка и гром орудий. И это не смесь, а нерасторжимый сплав.

Пусть меня замкнет в себе
сердце моего народа.
Потому что, видишь, одинок
я без моего народа.
(Впрочем, сам я не́ жил дня
без моего народа.)

(«Баллада, сложенная человеком, который думает об Альмотамиде, поэте и короле, умершем в изгнании». Перевод О. Савича.)

Книга Рафаэля Альберти свидетельствует: ни испытания, ни отрыв от родины, ни возраст не приглушили голос поэта. Если говорить о мастерстве, о глубине, о страсти, то их накал все ярче год от года. Вероятно, так же, как этот голос, развивался бы голос Гарсиа Лорки, исполнился бы мужества и надежды голос Антонио Мачадо.

Альберти живет циклами стихов: соприкасаясь ассоциативно, накапливаются стихи-вариации, песни, как бы вытекающие одна из другой. Каждая книга поэта — цельный организм, складывающийся в сознании читателей в поэму, в произведение большой формы. Таковы и «Приметы дня», и «Возвращение живого прошлого», и «Весна народов», и, конечно, «Куплеты Хуана Пекаря», таковы и более ранние книги Рафаэля Альберти.

Целеустремленность, близкая одержимости, диктует такую форму. Да и форма ли это? Она не выбрана, не подобрана, а вызвана к жизни содержанием стихов, обстоятельствами деятельности самого поэта. Но это не значит, что отдельные стихи поэта проигрывают, теряют в своем самостоятельном значении. Я понимаю, что это сравнение не слишком подходит к поэзии Альберти, но стихи у него, как жемчуга в ожерелье. А впрочем, почему не подходит? Жемчужинам революционной поэзии нет цены.

И еще об одном мне хочется думать, склоняясь над книгой Рафаэля Альберти: какая ясная сложность в его стихах. Они настоены на народных песнях, но в то же время очень современны и певучи.

Возлагая к памятнику Адама Мицкевича красную гвоздику, Альберти восклицает:

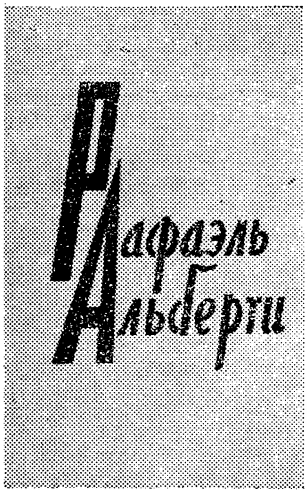
Быть может, долго ждать еще придется,
но знай, поэт, я, как и ты, надеюсь,
что родина моя весны дождется.

(«Испанская гвоздика, привезенная Адаму Мицкевичу». Перевод А. Шадрина.)

В сборнике «Современная испанская поэзия» много стихов, написанных в Испании нашего времени, и авторы их живут в суровых условиях этой страны. Иные из них в годы великой борьбы, когда весь мир повторял названия Университетский городок, Эбро, Гвадалахара, были еще детьми. Они выросли в стране, где властвует фашистская диктатура, жизнь и поэзия привели их на позиции бойцов.

Некоторым читателям может показаться, что стихи этих молодых поэтов до неопределенности туманны и усложнены. Да, они усложнены, но больше обстоятельствами и условиями, чем литературной модой.

Было бы наивно думать, что прямой разговор и призыв может найти место на страницах барселонских и мадридских газет и журналов. Вулканическая деятельность не всегда отчетливо слышна на поверхности. Но есть сейсмические приборы, безошибочно определяющие эти глубинные силы. И самый совершенный прибор — человеческое сердце.



Рафаэль Альберти. Стихи. Перевод с испанского. Составление и вступительная статья Р. Зерновой. Редакция Э. Линецкой. Примечания Г. Шмакова. Москва — Ленинград, Издательство художественной литературы, 1963. 349 стр.

И когда Рафаэль Моралес вновь обращается к традиционному образу быка, олицетворяющего Испанию в сказаниях и легендах, мы понимаем, о чем он говорит:

Испания, земля моя!.. Э-гей!..
Я слышу скал обрывистых мычание —
Багрового быка земли моей.

Мой край, обитель моего дыхания!
Ты яростна, как бык. Так свирепей,
Вздымая сьерры против бурь, Испания!
(«Бык гор». Перевод Д. Маркиша.)

И когда Хосе Мария Мильярес говорит с другом о сломанном клинке, торчащем в теле, о суровом горе Астурии и костре, рано вспыхнувшем, мы понимаем, что тревожит его душу.

Хесус Лопес Пачеко совсем недавно ходил по Университетскому городку, но не с пулеметными лентами, а со студенческим портфелем в руках. Ему сейчас тридцать четыре, он ровесник тех, кого у нас называют молодыми поэтами. Меня потрясло его стихотворение о школьной карте. Все в этом стихотворении просто, и по-бытовому описана чернильная клякса на разрисованном меридианами и странами полотне. И вдруг:

На карту родины глядите чаще
и не прощайте, дети, страшной кляксы,
которую какой-то нерадивый
посмел поставить на ее просторах,
так щедро напоенных древним плачем.
(«Клякса». Перевод М. Самаева.)

Вот, оказывается, о чем речь в этом почти детском стихотворении!

Несколько лет тому назад авиационные дороги привели меня в Барселону. Лишь считанные часы как транзитный пассажир пробыл я в этом городе. Со щемящим сердцем стоял я на ступенях аэродрома и смотрел на летное поле, с которого когда-то взлетали в небо «чато» — «курносые», если перевести на русский язык, самолеты и совсем юные добровольцы Иваны, назвавшие себя Хуанами, вступали в первый бой своего поколения с фашизмом.

Тянулось время, и я решил поискать в пестром книжном киоске сборники стихов. Надо сказать, что продавец даже удивился — стихи? Книги стихов выходят в Испании мизерными тиражами — экземпляров пятьсот — и стоят очень дорого. Непопулярность поэзии «обеспечивается» сочинениями унылых декадентов. Но есть живая, борющаяся поэзия. Ее бойцам еще труднее выйти с книгой, чем косноязычным модернистам. Но стихи живут — те стихи, которые говорят о жизни народа, выражают его боль и его чаяния.

Жаль, что каждый из поэтов в сборнике представлен лишь немногими стихами, и хорошо, что одно из новых имен стало теперь близким и знакомым советскому читателю по отдельной книге. Я говорю о сборнике Бласа де Отеро, моего ровесника и товарища.

«Возвысьте свой голос, голубые холмы моей родины»,— призывает поэзия Отеро, скорбная и страстная, обнаженная и скрытая.

Вот кредо поэта:

Я пишу
по необходимости,
чтобы помочь
(хоть немного)
исчезновению
льющейся крови
и несправедливости
в мире
(включая
нынешнюю Испанию).
(«Почему, зачем». Перевод О. Савича.)

Блас де Отеро сознательно и упрямо продолжает линию Эрнандеса и Мачадо, Лорки и Альберти, хотя по внешним признакам его стихи ближе к литературным школам последних лет. А в высоком смысле слова стихи Отеро традиционны, как традиционно испанское свободолюбие, как традиционно служение поэзии народу.

У меня сохранились пожелтевшие от времени брошюры — их присылал мне товарищ Карлос, комиссар одного из республиканских батальонов в далеком 1936 году. Там были стихи — солдатские, фронтовые, похожие на те, что через несколько лет пришлось писать нам.

Я поставил новые книги современных поэтов Испании рядом с теми брошюрами на полку, громоздящуюся над моим письменным столом. Пусть они стоят в одной шеренге, как бойцы.

ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ

СРЕДИ ГЕРОЕВ ГОЙТИСОЛО

Хуан Гойтисоло. Ловкость рук. Прибой. Цирк. Остров. Перевод с испанского. Послесловие Л. Осповата. Москва, Издательство «Прогресс», 1964. 620 стр.

С героями Хуана Гойтисоло я встретился дважды. На страницах его книг они потрясли меня какой-то особой психологической окраской. Это люди разных характеров и возрастов. Но их жизнь и поступки отмечены одной общей печатью — трагизмом судьбы, которую обрушил на испанский народ франкистский режим.

Сострадание вызывают морально искалеченные молодые люди — Августин и Метралья со своими друзьями-сверстниками («Ловкость рук», «Прибой»). Ненависть будят депутат Гуарнер и дон Хулио — эти прихлебатели фалангистов («Ловкость рук», «Цирк»). Презрения заслуживают прожигатели жизни в курортном городке Торремолинос («Остров»). Но каким восхищением проникаешься к Хинеру — старому борцу за республику, чью волю не сломили ни тюремные застенки, ни тяжелая повседневная жизнь «на свободе» («Прибой»).

...И вот я встретился с героями Хуана Гойтисоло в жизни. Это произошло летом нынешнего года, вскоре после того, как четыре романа испанского писателя вышли в русском переводе в одной книге.

Душным и влажным июньским днем я спускался по Рамбла-де-лас-Флорес — бульвару Цветов — от центральной барселонской площади Каталунья к порту. Шумная многолюдная улица, по обе стороны которой тянутся торговые предприятия, казалось, жила какой-то беспечной и бесцельной жизнью. Самым тихим и безлюдным местом оказалась «Либрерия Помпеи» — так назывался книжный магазин, что попался на пути.

— Хуан Гойтисоло? — жена хозяина, стоявшая за прилавком, силилась что-то припомнить.— Ах, да, когда-то были его книги. Теперь нет.

— Раскупили?

Она молчит, а я смотрю на плотно заставленные книгами полки. Многие суперобложки пожелтели от времени и пыли. Где-то между ними под потолком — выцветший портрет каудильо. С хищным взглядом, но тоже запыленный.

Нет, Гойтисоло она не читала. Столько дел в этой трудной жизни... Спрашиваю, какая книга в этом году самая популярная. Она протягивает традиционного на Западе формата детектив «Дом со странностями» Агаты Кристи. Мы беседуем уже минут тридцать, а в «либрерию» не заглянуло ни души. Название «Помпеи» казалось символичным. Представление о людской беспечности постепенно сменяется убеждением в душевной опустошенности тех, кто в нервозном темпе дефилирует по Рамбла-де-лас-Флорес...

— Хуан Гойтисоло жил здесь, в Барселоне,— говорит на прощание хозяйка,— потом он, кажется, уехал в Париж.

С приближением вечера воздух становится еще более душным и липким. Дикие крики разрывают его над «Пласа де торос», где происходит очередная коррида. Зрители как завороженные следят за каждой деталью боя человека с быком. И потом долго до полуночи на площадях Каталунья и Эспанья будут стоять группы подростков и горячо обсуждать эти детали. Разве это не убежище, где они пытаются найти забвение от лицемерия, фальши, цинизма и бесчеловечности, которые разъедают франкистский режим? Почему же «коррида», а не «либрерия»? Да потому, что, растлевая молодое поколение, диктатура пытается привить ему аполитичность, заглушить в нем классовое самосознание.

Вот он, Метралья, стоит среди спорящих и больше всех кричит. Нет, в отличие от другого, гойтисоловского, он не вор, он грамотнее, ему удалось устроиться учеником шофера на автомобильном заводе.

— Политика, сеньор, меня не интересует,— бросает он, когда наконец удается нам поговорить.— Послушайте, что мне часто рассказывал отец,—продолжает Метралья,— повезли однажды скрюченного больного человека в горы к целебному источнику. Он мечтал вылечиться. Но коляска сорвалась и полетела в пропасть. А он кричит: «Боже, пусть я останусь таким скрюченным, но не лишай меня жизни»... Конечно, сеньор, где-то есть лучшая жизнь. Уехать бы куда-нибудь во Францию...

Мы захватили еще двух юношей и поехали на гору Монтжуи. Отсюда вся Барселона как на ладони. Но было уже темно, и значительная часть города лежала во мраке, едва прорезаемом тусклыми желтыми фонарями. И где-то совсем в кромешной мгле «десять тысяч (а может, куда больше) мужчин, и женщин, и детей в предместьях Барселоны существуют, словно личинки». А внизу, в порту, стояли залитые огнями иностранные океанские суда. Разговора о политике не было. Кто-то вслух мечтал уехать на одном из этих кораблей. «И никогда в жизни ноги нашей не будет в этой Испании, черт бы ее побрал».

И все-таки это не опустошенность души. Ведь в нее прочно запали семена ненависти к фалангистской клике или, по крайней мере, несогласия с окружающей действительностью. Кое-кто из юношей, как и дети Хинера, не хотят слушать о битве, которую вели их отцы за республику. Но им навсегда останется чужд и господствующий сейчас режим. Они все больше осознают, что он

делает их «скрюченными». А это ведь первый шаг к борьбе за перемены в жизни.

Чем пристальнее всматриваешься в сегодняшнюю жизнь испанского народа, тем больше убеждаешься, что борьба эта уже идет. Именно она, ее идеи начинают составлять главное для внутреннего пусть еще мирка, а не мира большинства испанцев.

Коммерческие центры Барселоны или Мадрида соперничают по своей фешенебельности с парижскими Елисейскими полями Здесь даже «парковка» автомобилей становится проблемой, и в столице под одной из главных площадей заканчивается строительство подземного трехъярусного гаража. Но попав на рабочие окраины и особенно в сельские районы, видишь, до какой остроты довел режим Франко контраст между роскошью буржуазно-помещичьего меньшинства и бедностью трудового люда. Там, где царствует нищета, рождается не только ненависть к Франко, но и сознание необходимости свергнуть его режим, чтобы покончить с чудовищной социальной несправедливостью.

Резкую критику франкистского режима я услышал однажды и там, где, казалось, меньше всего можно было ее ожидать. Это случилось в холле отеля для избранных гостей под Барселоной, куда мы заехали с двумя предпринимателями после прогулки по курортным окрестностям каталонской столицы. Это местечко напоминало несколько тот самый «остров», чьих обитателей в ядовитой сатирической форме высмеивает Хуан Гойтисоло. Крупные политики и дельцы приезжают сюда в поисках «сладкой жизни». Здесь же наслаждаются нежным дыханием Средиземного моря богатые туристы из США, Франции и ФРГ. Туристский сезон еще не начался, но угар бесшабашности и нервозного веселья уже чувствовался вовсю. Подагрические и распутные доны хулио, нравственно одичавшие романы и григорио самозабвенно развлекались, прожигая жизнь.

И вдруг в разговоре, который неожиданно принял серьезный оборот, раздались резкие голоса.

— Испания не может больше оставаться в изоляции, в которой она оказалась по своей вине,— говорил один из моих спутников.— Но разве она выйдет из нее, если в политике все останется по-прежнему?

Прожженные приверженцы фаланги, перестав улыбаться, стали наперебой расписывать заслуги каудильо, состоящие, по их словам, прежде всего в том, что он обеспечил «внутренний мир» в стране на протяжении четверти века. Кстати, пышные плакаты и транспаранты на сей счет попадались чуть ли не на каждом шагу — официально отмечалось 25-летие франкистского режима. А обстановка «внутреннего мира» была похожа на обстановку перед грозой.

Формы борьбы найти не просто. Свою ненависть к уродливому, разъедаемому коррупцией обществу Агустин и его друзья пытаются разрядить в террористических действиях. Но это происходит в начале пятидесятых годов, когда опустившуюся над Испанией долгую ночь впервые осветили вспышки антифашистской массовой борьбы. Испания 1964 года — это уже непрекращающиеся классовые бои, которые ведут шахтеры Астурии, металлисты Мадрида, рабочие Бильбао. Это все более решительное выступление против франкистской диктатуры даже тех кругов, которые еще вчера ее поддерживали — монархических и клерикальных. Подводные течения все больше размывают устои франкистского режима, и свое спасение он начинает искать в некоторой либерализации, а вернее, модернизации по типу западнобуржуазной демократии тех областей политической и общественной жизни, где до сих пор господствуют еще средневековая инквизиция и оголтелый фашизм.

Как-то один из журналистов сказал: «Хочешь взглянуть на барометр сдвигов в мышлении нашей элиты, поедем к «Чикоте». В годы гражданской войны здесь, в баре «Чикоте» на Виа Гранде, в центре Мадрида, любил писать Эрнест Хемингуэй. Затем его место заняли писатели и журналисты, вставшие на сторону франкистских мятежников. За какими столиками они тянули виски, вряд ли кто будет помнить, а где работал Хемингуэй — один столик при входе и другой в глубине зала,— здесь скажет любой. Показывал мне их Педро Чикоте, хозяин бара, известный сейчас больше как владелец уникальной коллекции, состоящей из двадцати тысяч различных бутылок с вином и расположенной в погребке бара. Сидеть за одним из этих столиков пришлось с 70-летним писателем, который старательно разъяснял мне, что для нового поколения испанцев будут привлекательными идеи коммунизма.

У студентов были каникулы. Среди невысоких современных зданий мадридского университета (старый в районе Саламанки был разрушен во время гражданской войны) царила тишина. Более оживленно выглядел университет в Барселоне. Расположенный на одной из центральных улиц, он и в это время не казался безлюдным. Там мы и встретились случайно с группой студентов, разодетых в средневековые капо (плащи) и короткие пышные штаны. Двое из них держали наперевес гитары. Ребята шли на вечеринку. Кто они — может, беспечные друзья Агустино, собравшиеся поискать забвения в фантасмагории «чумного дня»? «Нескольких наших друзей недавно бросили в тюрьму»,— говорит один из них. Студенты распространяли листовки, призывающие к борьбе против Франко. Разве они не переросли в своем политическом сознании тех студентов, о которых рассказывает Гойтисоло?

Навстречу нам шли «зелено-черные, как жуки, жандармы». Это «гуардиа сивиль» — «гражданская гвардия», готовая в любую минуту покарать тех, кто замахнется на режим Франко. Черные клеенчатые фуражки с тупыми затыльниками придавали им еще более тупой вид.

Владелец маленького бара возле Плаза Майор в Мадриде налил нам черпаком из

большой глиняной посудины красного вина. Мы с удовольствием выпили по стакану. Потом человек, с которым я пришел, попросил у хозяина «бота» — небольшой мех для вина. Поднял его на вытянутой руке, запрокинул голову, и тоненькая темно-бордовая струйка полилась в рот. Он пил не глотая.

— Вот так пьют настоящие испанцы,— сказал он. Потом добавил: — А у меня в жизни было десять лет, за которые я не выпил ни капли нашего вина...

Мне хотелось бы назвать имя этого человека. Сам он говорил:

— Будешь писать, имя можешь не скрывать, плевал я на них.

Но я все же назову его условно — Хинер. Он многим похож на гойтисоловского Хинера, только посильнее его духом и волей, да и сын этого Хинера продолжает дело отца. Когда мы впервые с ним встретились и он узнал, что я из Москвы, он обнял меня, горячо вздохнул: «Товарищ»,— и вытер сверкнувшие на глазах слезы.

Десять лет, которые Хинер вспомнил в баре,— это десять лет тюрьмы, куда он был брошен, как активный борец за республику. Он сражался с фалангистами, защищая Мадрид. «Жизнь моя не была бесцельной, несмотря на видимые неудачи, в ней был смысл». Этот смысл Хинер видит сейчас в том, чтобы активно бороться за правое дело освобождения трудящихся своей родины.

К нашему столику подсаживались люди, судя по всему — рабочие, они обменивались крепкими рукопожатиями. Их немногословные обращения друг к другу говорили о товарищеском взаимопонимании.

— Наши усилия,— как бы повторяли они слова гойтисоловского Хинера,— не пропали даром. Мы можем и должны начать все сначала.

...По Рамбла-де-лас-Флорес и Виа Гранде крутятся водовороты людей. Нет, не беспечна и не бесцельна их жизнь.

Л. КАМЫНИН

Camilo José Cela. Las compañías convenientes y otros fingimientos y cegueras. Barcelona, Ediciones Destino, 1963.

НОВЫЕ КНИГИ КАМИЛО ХОСЕ СЕЛЫ

Без творчества Камило Хосе Селы нельзя представить себе испанскую литературу последних 20 лет. Дело, конечно, не в том, что и в статьях, и на суперобложках книг Селу давно называют «первым прозаиком» и «лучшим писателем» современной Испании. Такой успех мог бы выпасть на долю официозного литератора. Однако Селу никак нельзя назвать официозным; он пишет очень много, во многих жанрах (очерки, путевые заметки, рассказы, романы), и нигде не встретишь у него того слащавого и трескучего оптимизма, который характерен для франкистской литературы. Его можно было бы назвать юмористом — но только на первый взгляд; юмор его горек, мир его книг — страшен и нелеп. Молодые и мятежные писатели последнего десятилетия — братья Гойтисоло, например, или Матуте — конечно пишут о зле и прямее и резче. У Селы (который называет себя не пессимистом, а «удивленным») горечь упреков направлена не против строя, а против времени. И как раз в последних двух сборниках («Приличные знакомства и другие выдумки и наваждения» и «Притон отверженных, или Мешанина брехни и бахвальства») тема «дурного времени» звучит особенно отчетливо. Признаки этого «дурного времени» различны — от страшных до просто нелепых, но все они говорят об одном и том же: гибнет личность. Чтобы писать об этом во франкистской Испании, надо иметь большое мужество.

В очерке «Учись быть мужчиной. Подробности письмом» Села сравнивает юность своего поколения с юностью нынешнего. Его друзья «готовились к великим подвигам»; теперь они прозябают. «Их судьба трагична и прекрасна, как судьба бедной книжной героини. Кроме того, она поучительна, хотя это трудно объяснить, а увидеть сейчас — почти невозможно». Их сменили другие — «практичные и одинаковые». «Они уже не читают великолепных, дурацких книг и не толкуют пылко о том, чего не знают». «Нынешние молодые люди, на которых не нарадуются родители, затронуты, поражены, испорчены грехом подобострастия и соглашательства».

Конечно, все это более или менее традиционно и даже расплывчато, но ведь

юность Селы и его друзей пришлась на времена республиканцев, а юность «нынешних» — на времена франкизма.

Селу всегда легко узнать по интонации — комически-обстоятельной, иногда почти пародийной; и по нелепым диалогам, составленным из штампов; и по особому приему — назойливому повторению в начале каждой фразы имен, чаще всего — длинных, двойных и составных фамилий. Обычно Села достигает комического эффекта, излагая обстоятельно и спокойно самые невероятные факты, один другого нелепее и страшней. В одном рассказе пьяный муж забыл жену в снегу; во втором — гости случайно закололи невесту; в третьем — рухнул дом, пока хозяин был в кабачке, и т. д. и т. п. Не говоря уж о том, что все эти ужасы сами по себе на редкость нелепы, есть и нелепости не страшные — глупые стихи, бессмысленные речи, никому не понятные учреждения. Обо всем этом Села рассказывает серьезно, и персонажи ведут себя серьезно.

Однако, как ни характерно все это именно для Селы, не надо забывать, что «юмор ужасов» традиционен в Испании. Хуан Гойтисоло в «Землях Нихара» рассказывает о своем попутчике, спокойно и даже не без шутливости излагавшем историю о свинье-людоедке, и в связи с этим замечает, что такой юмор — «специальность» испанцев. «Черный юмор» можно найти у многих писателей, и, что еще важнее, он бытует в народном творчестве, но, может быть, ни у кого нет такого нагромождения нелепых ужасов, как у Селы. Многие рассказы Селы напоминают кукольный театр — например, история о муже, выбросившем жену в окно.

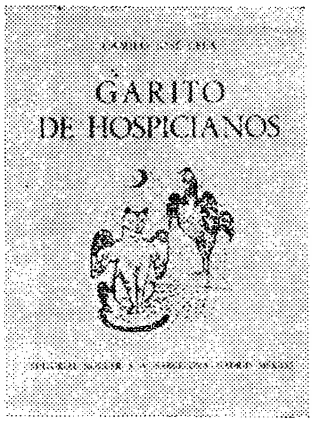
В новых сборниках больше очерков, чем рассказов, а очерки у Селы всегда проще и серьезнее. Вероятно, поэтому центр тяжести здесь немного переместился. В этих книгах чаще и отчетливей, чем прежде, звучит тема «дурного времени». Символ нового и дурного — «грубый знак наших грубых времен» — близнецы, абсолютно похожие друг на друга, каждого из которых спрашивают: «Это вы или ваш брат?» (см. рассказ под этим названием). И все же мир Селы не только страшен и не совсем безотраден. В нем есть — точнее, в него вкраплены — одинокие чудаки.

Кто же эти чудаки? Среди них нет богатых. Во-первых, это целый паноптикум жалких старых дев, реже вдов, но всегда — одиноких женщин: Мария Дурочка; донья Гильермина, по прозвищу Ингрид Бергман; вечная невеста Фиорелья, 87-летняя мадемуазель Одетт, мечтающая прыгнуть с парашютом, и многие другие. Их занятия нелепы, они «ничего не добились», по суждению «здравомыслящих», их жизнь не удалась. Они живут не так, как все. Им неведомы ни стандарт, ни страсть к наживе; так, Мария Дурочка расписывает от руки конверты, каждый по-иному, и дарит их, если у покупательницы нет денег. Даже те, кто пытается, как Гильермина и Аделина, вписаться в этот мир, затеять «дело», еле сводят концы с концами.

Есть и портреты стариков, тоже весьма нелепых. Как правило, эти старики хранят верность «доброму старому времени». Так, дон Нарсисо («Сюртук дона Нарсисо») считает, что раньше все было лучше, красивей, и лелеет свой допотопный сюртук, напоминающий ему о прелестях прежней эпохи. Села, конечно, посмеивается и над доном Нарсисо и, тем самым, над собственными сетованиями. И все же он «испытывает безграничную нежность... ко всем сумасбродкам и ко всем старухам, в чьих сердцах укрылся великий вздор мира» («Мадемуазель Одетт, парашютистка»).

Кроме престарелых чудаков и чудачек, так сказать обломков былой галантности, былого бескорыстия или былой чувствительности, Села живописует и других чудаков, которых можно было бы назвать «осколками былого геройства». Все они, как правило, нелепы, и подвиги их бесплодны. Вот — юноша, отправившийся в рыбачьей лодке из Шотландии во Францию; вот — крестьянин, убивший ястреба голыми руками; вот — супруги Карлин, вышедшие в открытое море. Чаще всего их подвиг — именно плавание, бессмысленное, романтическое и мальчишеское. А некоторые из них отличились (именно отличились, выделились из стандарта) только физической силой или выносливостью. Один убил ястреба, другой — крокодила, третий не заметил, как у него оторвали ухо, а потом сунул это ухо в карман. Несколько раз Села возвращается к теме Тарзана; всякий раз — с должной иронией и все же — не без серьезности. Печальнее всего рассказ о девочке, которую насильно вернули к цивилизации; особенно печален, хоть и смешон, конец, где Села пророчит ей примирение с мещанством («Трагедия Берты Хертог, девочки-дикарки»). Конечно, Села прекрасно понимает, что «тарзанство» или редкая нечувствительность к боли — никак не «положительный идеал». И старые девы не идеал, и даже добрые чудаки. Но в том мире, который он так ненавидит (конечно же не только удивляется — именно ненавидит), и это — вызов, и это — мятеж, уж хотя бы потому, что каждый из таких героев — хоть какая-то личность. Он сравнивает своих неудачливых мореплавателей с Колумбом, своих туповатых силачей с Прометеем, Сидом и с партизанами антинаполеоновских войн — да, такие они в наш дурной век, как бы говорит он. Они мятежники в стандартизированном мире, но почвы для подвигов нет, и мятеж их — чудачество. «От скуки можно стать героем, а можно стать и безумцем» («Супруги Карлин»). Все лучше — даже пираты и воровки, — чем непонятный, бесчеловечный, стандартизированный мир («Стаканчик в таверне «Ямайка» или «Облава на вороватых служанок»).

А чище и лучше их всех — такие чудаки, как Франсиско, укротитель пчел, или Фернандо Лопес, воспитатель воробьев. Они тоже особенные, «безумные», но доброта престарелых дев соединяется в них со спокойной простотой «силачей». Примеча-



Camilo José Cela. Garito de hospicianos o Guirigay de imposturas y bambollas. Barcelona—Madrid—México, Editorial Noguera, 1963.

тельно, что признак чистоты — любовь и послушание животных (точнее — птиц и пчел); животные, вообще природа всегда символизируют у Селы чистоту и простоту, хотя, конечно, он и сам подшучивает над романтизмом тарзаньей жизни. Но таких портретов очень мало — их не может быть много в печальном мире Камило Хосе Селы.

В очерках о деревне (я говорю о прежних — в этих книгах их очень мало) больше тепла, чем в рассказах о городе; повествования о бедных кварталах несравненно мягче, чем повествования о богатых. И все же жизнь мелких горожан он отнюдь не идеализирует и, переходя от общих описаний к микропроисшествиям их жизни, не жалеет отталкивающих деталей. Кроме того, при ближайшем рассмотрении, то есть в рассказах, и эта среда распадается на тупых мещан и «безумцев». Однако здесь чудаков много больше; и, читая совсем не умильные рассказы о том, как донья Лаурита брилась, а Мария Дурочка не мылась из принципа, видишь ясно: *этих* Села жалеет, *эти* — не враги. Он ничем не может помочь им и не пытается даже — он их просто описывает, так скрупулезно и талантливо, что они становятся ярче и заметней, чем в жизни. В этом Села похож на Диккенса (который, по собственным словам Селы, стоит для него на втором месте после Достоевского); но в нем нет ни капли романтического духа надежды, от которого самые страшные сцены у Диккенса преисполнены оптимизма. Села не только не знает, что же делать,— он считает, что в наше время сам Дон Кихот. «если бы он поднял голову из могилы», «быстро сунул бы ее обратно, устыдившись» («Ястреб из Крусдель-Майо»). Так и Села — стыдится, иронизирует, недоумевает. «Мы не знаем почти ничего,— пишет он,— о том, что творится вокруг. Может быть, нас назовут пессимистами; вряд ли — скорей уж можно назвать нас удивленными. Мы удивляемся тому, что творится, и тому, как все творится». И дальше: «Когда человек в густом тумане теряет дорогу, что ж ему делать, как не слушаться биения собственного сердца, единственного компаса?» («Перекресток»). Конечно, Селу можно укорять и за горечь, и за безысходность, и за ту самую «хорошую мину при плохой игре», которую он сам называет единственно возможной в его время для порядочного человека. Но не надо забывать, что Камило Хосе Села всегда высмеивал соглашательство, ловил повсюду, где видел, проблески человечности, жалел униженных, и было время, когда он—один из немногих в испанской литературе — оставался живым.

Н. ТРАУБЕРГ

СПУСТЯ ТРИ ВЕКА

Матео Алеман. Гусман де Альфараче. Роман в 2-х частях. Перевод с испанского Е. Лысенко и Н. Поляк. Предисловие и комментарии Л. Пинского. Редакция перевода А. Смирнова. Перевод стихов Ю. Корнеева. Москва, Гослитиздат, 1963. ч. I — 479 стр., ч. II — 567 стр.

Это очень старая книга. Она написана несколькими годами раньше «Дон Кихота», и в течение ста лет слава Алемана спорила со славой Сервантеса. Потом вкусы изменились. Роман показался тяжелым, перегруженным отступлениями. Лесаж обработал текст, и его переделка затмила оригинал (русский перевод — «Гузман д'Алфараш. Истинная гишпанская повесть господина Лесажа». М., 1804 — переиздавался 8 раз). Но и Лесаж в конце концов не избежал забвения.

Теперь, через триста пятьдесят лет после смерти Алемана, роман его впервые переведен на русский язык. Что же мы приобрели? Заполнение бреши в академической образованности? Или живую книгу для живого чтения? С некоторым недоверием раскрываешь первый том — и сразу поддаешься обаянию языка перевода. Е. Лысенко и Н. Поляк создали органическую стилевую структуру, яркую, блещущую поговорками,

нигде не переступив пределов, за которыми началась бы русификация и модернизация текста.

Бесконечные отступления Алемана от предмета не утомляют, и до нас доходит лиризм романа, неповторимый голос автора, его сказ, в котором причудливо переплетаются сарказм, гнев, смирение. Если освободить роман от присутствия рассказчика или стереть краски рассказа, останется банальная история мошенника. Сюжеты всех плутовских романов похожи друг на друга. По каким-то обстоятельствам мальчик с детства остается на улице. Ни уз, ни опеки семьи, ни морали, ни веры. Полная свобода. Будущему плуту хочется быть вольной птицей и плевать на все остальное. В поисках хлеба насущного он начинает изворачиваться и постепенно обходит все круги общества, то подымаясь, то падая. В конце концов испытания заставляют его смириться и стать добропорядочным законопослушным обывателем, подающим (согласно максиме Ларошфуко) «хорошие советы, чтоб вознаградить себя за неспособность показывать дурные примеры».

Своеобразие мира, созданного Алеманом,— в том, как он рассказывает, и это едва ли не важнее того, что рассказывается. С точки зрения бытового правдоподобия невозможно оправдать эти крутые переходы от беззаботно описанных плутней к яростным филиппикам против неправды, царящей на земле. Иллюзия рассказа от первого лица нарушается. За Гусманом проступает сам Алеман, за испанским пикаро XVII века — его возвышенный и яростно бессильный двойник.

Душа романа — в незримой, но явно ощутимой связи двух сознаний и двух судеб: героя и автора. Речь идет не о тождестве их, как в автобиографиях плутов («Эстебаниль Гонсалес», 1646 и «Жизнь Торреса Вильяруэля», 1743). Но плут и его обличитель неотделимы друг от друга. В чудовищно разросшемся царстве деспотического закона естественное становится плутовством; и от этого плутовство становится естественным, непреодолимым. Униженную человеческую природу неудержимо тянет к плутовству (в самом широком смысле этого слова); и недаром в Испании XVII века плут, предпочитавший умирать с голоду, но не работать, стал «героем нашего времени».

Возникает сознание, глубоко постигшее порочность носителей власти и богатства, понявшее невозможность обращаться с ними без плутовства — и в то же время не способное представить себе никакой другой общественной системы, кроме деспотизма, с теми или иными «усовершенствованиями». Это сознание в себе самом несет свою пытку. Поэтому так потрясают последние сцены, когда все плутни кончились и Гусман, на этот раз ни в чем не повинный, под градом плетей постигает добродетель верноподданного: терпение и рабскую преданность своим палачам.

Это подлинная трагикомедия верноподданного сознания, неудержимо смеющегося над самим собой и в то же время твердо уверенного в истинности принципов монархии и церкви.

Вступительная статья Л. Пинского, предпосланная роману,— разностороннее исследование, которое не только введет читателя в понимание Алемана, но и раскроет панораму испанской культуры XVII века в целом.

Г. ПОМЕРАНЦ

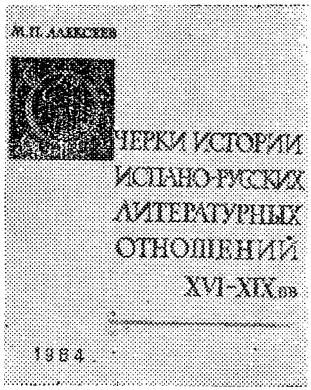
ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ

В этой превосходной книге ее автор, известный ленинградский ученый М. П. Алексеев собрал свои более чем тридцатилетние труды по изучению истории испано-русских отношений, начиная с их зарождения в XVI веке и кончая восьмидесятыми годами прошлого столетия.

Кроме фундаментальных «Этюдов из истории испано-русских литературных отношений», впервые увидевших свет в 1940 году в сборнике «Культура Испании» (Москва—Ленинград, издание Академии наук), этюдов, вскоре сделавшихся, благодаря их переводу на испанский язык, достоянием испанского литературоведения, мы находим здесь две очень ценные, но менее известные статьи: первая из них посвящена знаменитым «Письмам об Испании» В. П. Боткина и той роли — положительной и отрицательной,— которую сыграла их широкая популярность у русских поэтов; вторая представляет собой богатый материалом этюд «Русский язык и литература в мадридском Атенее в 60-е годы XIX века», свидетельствующий о стремлении ученого еще более раздвинуть рамки темы. Это стремление можно только всячески приветствовать, так как оно говорит о переходе к новому и очень важному этапу в изучении истории испано-русских литературных связей. К каким результатам может привести параллельное исследование, показывает факт из практики пишущего эти строки.

Во время моего пребывания в Мадриде в июле 1937 года большой поэт современной Испании, мой друг Рафаэль Альберти рассказал мне, что во дворце Лирии после конфискации его народно-республиканским правительством было обнаружено, среди множества других ценнейших документов эпохи, письмо М. Ю. Лермонтова. По словам Альберти, наш великий поэт пытался установить степень своего родства с герцогами Лерма. Известно, что в семействе поэта бытовало предание о том, что Лермонтовы вели свой род от мифического герцога Лермы, который во время борьбы с маврами вынужден был бежать из Испании в Шотландию.

О существовании документа я тогда же поставил в известность советских литературоведов в очередном своем «Письме из



М. П. Алексеев. Очерки истории испано-русских литературных отношений XVI—XIX вв. Ленинград, издание Ленинградского государственного университета, 1964. 216 стр.

Испании», опубликованном в «Литературной газете» в августе 1937 года. В этом письме, озаглавленном «Хасинто Бенавенте учится русскому языку», я говорил о письме Лермонтова в общей связи с моими наблюдениями над теми горячими симпатиями, которые вызвало в революционной Испании тех дней все русское и советское. Альберти обещал показать мне письмо, и я надеялся, что мне удастся выпросить у него оригинал для передачи его в нашу Академию наук или, по крайней мере, снять с него копию.

Однако надежде моей не суждено было оправдаться. В грозной обстановке осажденного и постоянно обстреливаемого врагом Мадрида не было ни времени, ни возможности заниматься архивными изысканиями, в чем я мог убедиться, посетив вместе с Альберти развалины дворца Лирии. Архив был спасен, но добраться до него было невозможно, так как дворец находился в зоне обстрела фашистских батарей, да и мне самому вскоре пришлось покинуть Мадрид и переехать в Валенсию, где я был занят подготовкой к изданию материалов Второго Всемирного конгресса писателей-антифашистов в защиту культуры и против войны. С болью в сердце я должен был временно отказаться от попыток познакомиться с мадридским письмом Лермонтова. Но я не утратил надежды и в последующие годы неоднократно возвращался к этому вопросу.

Во время своего последнего приезда в Москву, в 1964 году, Альберти и его жена Мария Тереса Леон рассказали, что, по их сведениям, архив дворца Лирии уцелел и что письмо Лермонтова, вероятно, тоже уцелело, и посоветовали обратиться в испанскую Академию наук.

Теперь представим себе, какое важное место занял бы мадридский документ в той части или, точнее, отделе книги М. П. Алексеева, где он дает очень интересный анализ юношеского увлечения Лермонтова испанской темой. Может быть, мадридское письмо и все, что связано с ним, пролило бы новый свет на вопрос, почему испанская тема сравнительно недолго занимала воображение поэта. Действительно, если на письмо последовал отрицательный ответ или ответа не последовало вовсе, то это не могло не отразиться на испанофильских настроениях гениального юноши, возможно искренне думавшего, что в его жилах течет и испанская кровь. А сколько попутных вопросов (вроде того, каким образом, через кого направил свое письмо Лермонтов) возбудила бы мадридская находка.

Я нарочно остановился столь подробно на этом эпизоде, так как он, по моему мнению, служит прекрасным примером важности и плодотворности параллельного исследования, к которому призывает в своей статье «Русский язык и литература в мадридском Атенее» советский ученый. Труд М. П. Алексеева преследует двоякую цель: дать молодым исследователям по возможности полный свод всего собранного по данной теме старшим поколением, одним из самых блестящих представителей которого является автор рассматриваемой нами книги, и познакомить нашу исследовательскую молодежь, а также всех интересующихся вопросами истории русской и зарубежных литератур с правильными методами подбора материалов, освоения их и всестороннего критического анализа.

Обоим этим требованиям прекрасная книга Алексеева вполне отвечает — о полноте и богатстве материала может дать представление даже простой перечень содержания составляющих ее статей. Здесь и история усвоения русской литературой творчества крупнейших испанских писателей, здесь и история русских путешествий в Испанию, переводы памятников испанского народного творчества и анализ их особенностей. Кроме того, в книге прослеживается история русской темы в испанской литературе и переводов классических произведений русской литературы на испанский язык.

Статьи, составляющие этот научный труд, в свое время были напечатаны автором в ряде изданий. Теперь они предстают в дополненном и заново переработанном виде. Таким образом, новая книга М. П. Алексеева, которому советское литературоведение уже обязано ценными работами по истории западноевропейской литературы, является до известной степени итоговой в работе ученого.

Ф. КЕЛЬИН

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРИЯ

ЧЕСТВОВАНИЕ ХУДОЖНИКА-КОММУНИСТА

«Я бы лучше поздравил тебя, дорогой товарищ, с 30-летием, чем с 75-летием. Я познакомился с тобой, когда тебе было тридцать. Уже тогда ты был крупным художником. В 1934 году ты вступил в коммунистическую партию. ...Твое творчество — это синтез изящества и фантазии, непоколебимости, радости, сознания ответственности за то, что ты создаешь. Твои пейзажи красочны, твои графические работы всегда свежи, как юность, и вместе с тем зрелы, они проникнуты здравым смыслом и гуманизмом»,— так писал Эрнст Фишер в газете «Фольксштимме» по случаю юбилея известного австрийского графика, художника-коммуниста, профессора Акселя Лескошека (о нем см. «Иностранную литературу» № 6, 1964).

В поздравительном адресе ЦК Коммунистической партии Австрии отмечается, что в годы фашистской оккупации Аксель Лескошек принимал активное участие в нелегальной партийной работе, что в годы эмиграции художник поддерживал тесную связь с рабочим классом, что и поныне он свое дарование отдает борьбе за мир и социализм.

В связи с юбилеем художника в Вене была открыта выставка его работ за последние двадцать лет.

Аксель Лескошек.
(Газета «Фольксштимме»)

АНГЛИЯ

ГОВОРИТ ДЖОН Б. ПРИСТЛИ

Джон Б. Пристли, которому недавно исполнилось 70 лет, дал интервью английским газетам. Пристли, в частности, заявил, что его очень беспокоит «авангардизм» в театре. «Мне кажется,— сказал писатель, — что авангардизм во всем мире приносит куда больше вреда, чем пользы. Основное зло заключается в том, что для большинства авторов-авангардистов характерен пессимизм, они ненавидят жизнь. К тому же им не очень-то удается дать зрителям хорошее зрелище. А раз так, зрители не пойдут в театр. Я уверен, что Шекспир, Мольер и Чехов согласились бы со мной!» Пристли осудил стремление многих молодых авторов писать не для театра, а для кино только по тем соображениям, что там лучше платят.

Отвечая на вопрос, чем объясняется его необыкновенная работоспособность (к юбилею вышел новый роман писателя — «Человек и время»), Пристли сказал: «Вероятно, это происходит потому, что у меня на столе всегда лежит начатая рукопись романа, пьесы или очерка, которая просто умоляет меня поработать над ней!»

ФИЛЬМ, ДЛЯЩИЙСЯ ВОСЕМЬ МИНУТ...

В фильме «Человек, окруженный молчанием» нет актеров. Их заменяют рисунки испанского художника-патриота, узника Бургосской тюрьмы в Испании Агустина Ибарроллы.

В этом фильме, снятом студией «Халас энд Бэчлор филмз», в качестве сопроводительного текста использованы стихи поэта Маркоса Аны, который сам долгое время был узником Бургосской тюрьмы.

Рецензент газеты «Дейли уоркер» Эдди Вудс пишет, что этот фильм, длящийся восемь минут, заключает в себе могучий протест против фашистской тирании Франко. Доходы от демонстрации «Человека, окруженного молчанием» поступают в фонд Комитета за амнистию испанских политзаключенных.

БОЛГАРИЯ

Известностью и признанием пользуются в Болгарии произведения художника Илии Петрова. Здесь воспроизводится фреска работы Илии Петрова для Партийного дома в городе Габрово

(Еженедельник «Литературен фронт»)

ДИМИТРОВСКИЕ ПРЕМИИ 1964 ГОДА

Постановлением Совета Министров Народной Республики Болгарии за исключительные достижения в области литературы и искусства за период 1962—1964 гг. Димитровские премии и звание «Лауреат Димитровской премии» присуждены писателям Димитру Методиеву за сборник стихов «О времени и о себе» и Емилияну Станеву за роман «Иван Кондарев», а также народному художнику Борису Ангелушеву за графические произведения и книжные иллюстрации.

«НАРОДНА КУЛТУРА» — ЮБИЛЯР

Общественность страны отметила 20-летие издательства «Народна култура». За истекшие двадцать лет болгарский читатель получил от «Народной культуры» сотни переводов произведений русской классики и современной советской литературы, литератур социалистических стран, а также произведений писателей Запада, Азии и Африки.

Своей деятельностью издательство внесло неоценимый вклад в дело укрепления и развития болгаро-советской дружбы.

БРАЗИЛИЯ

СМЕРТЬ СЕСИЛИИ МЕЙРЕЛИС

По сообщениям, поступившим из Рио-де-Жанейро, скончалась выдающаяся бразильская поэтесса Сесилиа Мейрелис, которую критика Бразилии и Португалии называет крупнейшей поэтессой португальского языка. В журнале «Иностранная литература» (№ 10 за 1963 год) опубликовано ее стихотворение «В деревне. Осенью».

ВЕНГРИЯ

ГИМН ЧЕЛОВЕКУ

Шандор Вечеши принадлежит к той группе молодых художников, которые начали свой творческий путь уже в новой, социалистической Венгрии и сумели «весомо, зримо» заявить о себе в изобразительном искусстве, — так писал искусствовед Кальман Болгар по случаю выставки работ художника в Будапеште.

Автопортрет Шандора Вечеши.

Вечеши — художник-реалист, талантливый и самобытный; с юношеских лет он был в гуще народа — работал садовником, грузчиком, электромонтером. Он всегда любил трудовой люд, и потому его творчество, по словам Болгара, «настоящий гимн разуму, рукам, воле и душе человека». Широко известны в Венгрии такие его полотна, как «Беседа», «Крестьянская комната», «Спящая женщина», «Праздник». Тема этих картин — жизнь задунайских крестьян. Крестьянская тематика превалирует в творчестве Вечеши, но им написано много произведений, посвященных и рабочим: «Заводы, поезда», «Грузят уголь», «Юноша рабочий» и другие.

«Я вышел из народа,— говорит о себе художник,— и хочу творить для народа... Я стремлюсь наиболее полно и правдиво изображать человека».

Картины Вечеши выставлялись в Париже и Венеции, Варшаве и Берлине, Праге и Вене, Москве и Ленинграде.

ГДР

ПАМЯТИ ВИЛЛИ БРЕДЕЛЯ

В связи с кончиной известного писателя Вилли Бределя еженедельник «Зоннтаг» и центральные газеты ГДР посвятили свои номера жизни и творчеству писателя. Александр Абуш подчеркнул, что произведения Бределя сыграли огромную роль в развитии не-

мецкой социалистической литературы.

«Вилли Бредель — несгибаемый борец за мир и социализм, выдающийся национальный писатель,— отметил Курт Хагер.— Во всем его творчестве отражена огромная сила идей марксизма-ленинизма и программы нашей партии».

Анна Зегерс поделилась воспоминаниями о своих встречах с Бределем, «таким ясным, таким честным и мужественным... Его будут любить и ценить и за его жизнь, и за его творчество».

На траурной церемонии певец Эрнст Буш спел любимые песни Бределя и среди них — испанскую песню «На реке Хараме», которую они оба слышали в интернациональном батальоне имени Линкольна. Тогда, в Испании, по просьбе Бределя Буш перевел эту песню на немецкий язык, и теперь, спустя двадцать пять лет, впервые публично ее исполнил.

Газета «Берлинер цейтунг» привела слова одного из старейших писателей ГДР Ганса Марквицы: «Ты, так же как наш незабываемый Эрих Вайнерт, был солдатом революции, выполнял свой долг».

КНИГИ МОЛОДЫХ О МОЛОДЕЖИ

Пресса ГДР в последнее время чаще и чаще сообщает о появлении новых произведений молодых писателей. Герои многих из них — современная немецкая молодежь.

Автор известных повестей «Прибытие в будни», «Сестра и братья» и других — Бригитта Рейман сообщила корреспонденту газеты «Нейес Дейчланд» о своем первом романе, над которым она сейчас работает. Герои Рейман — смелые мечтатели, энтузиасты, не боящиеся жизненных испытаний. Роман пока не имеет названия.

В молодежном литературном журнале «Форум» напечатана новая повесть Эдуарда Клаудиуса «Зимняя сказка на острове Рюген», в которой рассказывается о городских студентах, попавших на практику в сельскую местность.

Картина Карла Эриха Мюллера «Монтер» — одна из лучших работ, отмеченных на берлинской выставке произведений изобразительного искусства «Наш современник» по случаю 15-летия ГДР.

(Газета «Нейес Дейчланд»)

«Мораль бандитов» — так назвал свой первый роман Хорст Бастиан, бывший каменщик из Потсдама, начавший свою литературную деятельность как автор небольших рассказов и сценариев для радио и кино. В интервью корреспонденту газеты «Юнге вельт» Хорст Бастиан сказал, что это роман о борьбе за ту часть современной немецкой молодежи, которая по тем или иным причинам попала под влияние фашистских элементов в Западной Европе. Роман «Мораль бандитов» публикуется в газете «Юнге вельт» и выходит в берлинском издательстве «Киндербух-ферлаг».

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН

«БОЙКОТ БРЕХТА НЕ МОЖЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ»

В большом зале западноберлинского радиоцентра была проведена дискуссия на тему «Бертольт Брехт на Западе».

Велико было удивление жителей Западного Берлина, когда они узнали, что такие крупнейшие знатоки творчества Бертольта Брехта, как первый постановщик брехтовских пьес Эрвин Пискатор, режиссеры Гарри Буквиц и Эрих Энгель, попросту не были приглашены участвовать в дискуссии. Зато, как сообщает корреспондент демократической газеты «Националь-цейтунг», почетные места в зале занимали известные «глашатаи антикоммунизма» — западногерманский литератор Зальтер и австрийский публицист Торберг. В их выступлениях сквозила неприкрытая ненависть к Бертольту Брехту, к ГДР.

Однако, пишет корреспондент, находившиеся в зале театральные деятели Западной Германии Аугуст Эверддинг и Зистиг, полемизируя с Зальтером и Торбергом, назвали Брехта «величайшим драматургом нашего столетия». Они показали, что ни Зальтер, ни Торберг не знают творчества Брехта. Даже председатель драматического общества Западного Берлина Фридрих Шульце, руководивший дискуссией, был вынужден признать, что выступления Зальтера и Торберга не выдерживали критики.

«Бойкот Бертольта Брехта на Западе Германии,— подчеркивает корреспондент «Националь-цейтунг», — не может продолжаться. Об этом свидетельствует последняя дискуссия в западноберлинском радиоцентре».

ФРГ

ПИСЬМА ГЕНРИХА МАННА

Западногерманский журналист Карл Лемке, автор объемистой монографии о Генрихе Манне, и известный публицист и издатель Клаус Пинкус в свое время, начиная с тридцатых годов, вели переписку с Генрихом Манном. Ныне эти письма изданы гамбургским издательством «Классен-ферлаг».

По отзывам печати, опубликованные письма Генриха Манна помогают читателю лучше понять личность писателя, его взаимоотношения

с современниками — Мейринком, Ведекиндом, Рода-Рода и Эрихом Мюзамом.

Письма, написанные после 1947 года, свидетельствуют об отрицательном отношении Генриха Манна к начавшейся тогда «холодной войне». Из писем явствует, что в последние годы жизни Генрих Манн особенно тревожился за судьбу Германии; он предвидел, что развитие Западной Германии пойдет по пути милитаризации и разжигания реваншистских страстей.

ГРЕЦИЯ

Дон Кихот в Греции? Как он туда попал? Оказывается, франкистский режим встал ему поперек горла. И, отказавшись от почетного места в мадридском музее, Дон Кихот отправился в новые странствия, на поиски подлинной демократии. Эти поиски привели его в Грецию. Однако и здесь, на родине классической демократии, ему пришлось столкнуться с нищетой, безработицей, забастовками, демонстрациями и полицейскими заслонами... О приключениях и злоключениях Дон Кихота афинские зрители узнали из новой комедии — сатиры Ментиса Бостадзоглу «Дон Кихот», которая с большим успехом идет на сцене Народного экспериментального театра. На снимке — сцена из спектакля.

(Газета «Авги»)

ДАНИЯ

Иллюстрация Херлуфа Бидструпа к книге В. Хейнесена.

«БОРОТЬСЯ ПРОТИВ ЗЛА И УГНЕТЕНИЯ

Действие романа «Добрая надежда» фарерского писателя Вильяма Хейнесена, известного советским читателям по сборнику рассказов «Волшебный свет», развертывается в XVII веке на Фарерских островах. Главный герой нового произведения — священник Педер Бёрресен, приехавший из Дании и поселившийся в Торсхавне.

Бёрресен видит, как тяжело живется его прихожанам. Невероятные притеснения и нищету терпят жители Торсхавна. И Бёрресен решительно встает на сторону народа в борьбе против притеснителей. Обо всем этом рассказывается в письмах, которые священник посылает своему другу в Норвегию.

Скандинавская общественность считает появление нового романа Вильяма Хейнесена крупным литературным событием. «Добрая надежда» — исторический роман, — отмечает писатель Пер Шальдемосе на страницах газеты «Ланд ог фольк»,— но то, чему учит эта книга, что звучит в каждой ее строке, актуально и для наших дней: оптимистическая вера в способности человека изменить мир, благородный призыв к честным людям всегда и непоколебимо бороться против зла и угнетения».

ИНДИЯ

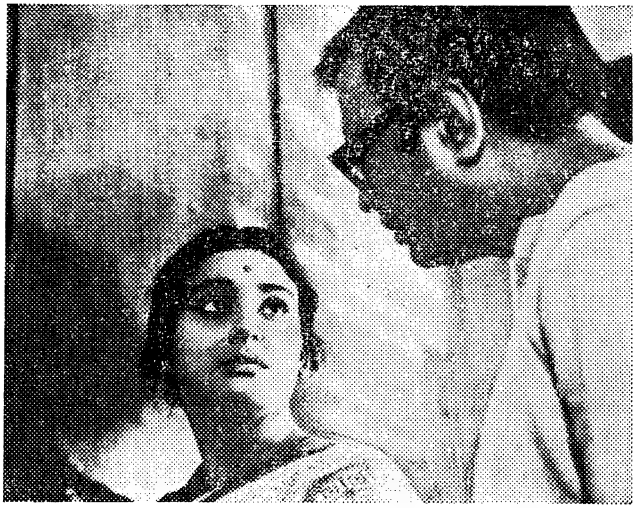
«РАМАЯНА» ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

«Приятно прочесть по-настоящему хорошее изложение великого национального эпоса «Рамаяна», — пишет обозреватель газеты «Таймс оф Индиа» по поводу выхода в издательстве «Эйша паблишинг хауз» книги Матхурамы Бхутхалингамы «История Рамы», предназначенной для юношества. Написанная простым и ясным языком, книга увлекает юного читателя в таинственный мир легенд.

«БОЛЬШОЙ ГОРОД» НЕ СХОДИТ С ЭКРАНОВ

Неизменным успехом у индийских зрителей пользуется фильм «Большой город» одного из ведущих режиссеров Индии Сатьяджита Рая. Более полугода — случай почти беспрецедентный — фильм не сходит с экранов. «Большой город» — проблемный, как его называют критики, фильм, кинорассказ о взаимоотношениях в семье, о борьбе нового, прогрессивного с косностью, с отживающими предрассудками в индийском обществе. Тонкий и многогранный художник, Сатьяджит Рай выступает в своем произведении как режиссер, автор сценария и композитор.

...Постоянные материальные трудности в семье наводят жену на мысль идти работать. И хотя ее решение противоречит привычным канонам и вызывает бурный протест членов семьи, молодая женщина непреклонна в своем решении. Таков основной конфликт фильма. О фильме обозреватели пишут, что он «волнует правдой жизни, актуален, высоко художествен, хотя, может быть, и не предлагает прямо каких-либо определенных выводов». По словам рецензента газеты «Бхарат джоти», игра актеров «необычайно выразительна и, вместе с тем, сдержанна». Отмечают талантливое исполнение молодой актрисой Мадхви Мукерджи роли жены и Анилом Чаттерджи —



Кадр из фильма «Большой город».

роли мужа; они создали образы скромных, трудолюбивых и честных людей. «В фильме много глубоких мыслей, теплоты и юмора... Здесь все звучит как-то очень по-индийски», — продолжает рецензент «Бхарат джоти».

ИРЛАНДИЯ

МЫСЛИ ШОНА О'КЕЙСИ

В связи с кончиной выдающегося ирландского писателя-коммуниста Шона О'Кейси английская газета «Дейли уоркер» опубликовала некоторые его высказывания.

26 марта 1949 года: «В ад, ко всем чертям войну!.. Мы отрицаем всесильность атомной бомбы; мы подтверждаем всесильность братства людей во всем мире».

Март 1960 года (в связи с посылкой денежного чека в фонд помощи «Дейли уоркер»): «Как коммунист, я всегда говорю: никогда не сдавайтесь, держитесь. Дружеский и горячий привет всему составу редакции «Дейли уоркер», а также всем тем, кто участвует в стачках, доказывающих, что жив рабочий класс».

30 марта 1964 года (в день, когда Шону О'Кейси исполнилось восемьдесят четыре года): «Я не сомневаюсь, что у нас в Великобритании тоже будет социализм. Все меняется в этом мире, в нашей стране — тоже. Сейчас не так-то просто полиции разогнать резиновыми дубинками рабочую демонстрацию. Теперь они не могут безнаказанно поступать с безработными так, как в тридцатые годы.

Подумайте, сколько сейчас стран уже стали социалистическими или находятся на пути к социализму. Я уверен, что и мы вскоре последуем за ними. Это должно произойти... Теперь я в большей степени коммунист, чем когда-либо прежде».

ИСПАНИЯ

«ЛИБЕРАЛИЗМ» ФРАГИ ИРИБАРНЕ

Занимая пост министра информации во франкистском правительстве, Фрага Ирибарне очень много говорил о «либерализации», даже сообщил о подготовке нового закона о печати. С тех пор прошло почти два года — и в кортесы направлен проект этого закона, а в правительственном вестнике «Диарио офисиаль» опубликован «статут журналистов», разработанный министерством информации. Бесконечен перечень обязательных правил для журналистов во франкистской Испании: верность «принципам движения» (фаланги), верность «основным законам государства», «постоянный учет требований национальной безопасности и общественного порядка» и т. д. и т. п. Прочный намордник хотел бы натянуть на испанскую прессу Фрага Ирибарне.

За словами последовали дела. Недавно к шести месяцам тюрьмы и штрафу был приговорен бывший фалангист, автор фалангистского гимна «Лицом к солнцу» поэт Дионисио Ридруэхо. Ему инкриминировали ведение «нелегальной пропаганды». Власти преследуют валенсийского писателя Фустера, вся «вина» которого заключается в том, что в прошлом году он подписал обращение, призывавшее молодежь Валенсии выйти на демонстрацию. С тех пор Фустеру не дают работать в газетах, его книги под запретом.

Что же касается проекта нового закона о печати, то в нем нет даже самого слабого намека на какую-либо либерализацию. Вместо официальной цензуры печати устанавливается целый ряд «исключений», нарушение которых квалифицируется как «угроза гражданскому миру». В случае подобных нарушений газету присуждают к штрафу в размере от 100 тысяч до 1 миллиона песет. Она может быть также запрещена на срок до полугода. Кстати, таким санкциям уже неоднократно подвергалась «Гасета рураль», в которой публиковались критические материалы о положении в сельском хозяйстве Испании. Такая же участь постигала и журнал так называемых «левых» фалангистов «Эс аси». Издателю заявили в полиции, что если он и впредь будет публиковать в журнале статьи без предварительного разрешения властей, то к нему «будут применены строгие меры». Власти неоднократно конфисковали и отдельные номера журнала «Куадернос пара эль диалого», которым руководит бывший министр

Франко и бывший посол Испании в Ватикане Руис Хименес. Отдельные критические статьи этого журнала были также расценены властями как «угроза гражданскому миру».

Раньше директора всех газет и журналов Испании назначались министерством информации. Теперь они будут «избираться» газетными трестами, но опять-таки с обязательного разрешения ведомства Фраги Ирибарне. И, видимо, для тех, кто еще ожидает «либерализации», и чтобы на этот счет у них больше не было никаких иллюзий, в проекте нового закона о печати прямо говорится: директора обязаны посылать в министерство информации десять экземпляров газеты за своей подписью за час до распространения, «если только они не предпочтут добровольную консультацию». Речь, таким образом, идет о получении разрешения властей на публикацию того или иного материала. Словом, «либерализации», о которой так красочно говорил Фрага Ирибарне, не последовало.

МУЖЕСТВО КАРЛОСА АЛЬВАРЕСА КРУСА

«Трибунал общественного порядка» приговорил известного поэта Карлоса Альвареса Круса к трем годам тюремного заключения и к уплате штрафа в размере 50 тысяч песет. Причиной ареста Карлоса Альвареса Круса в июле прошлого года послужило письмо протеста, разосланное поэтом в редакции мадридских газет, вскоре после убийства Хулиана Гримау. Кроме того, поэт был в числе известных испанских деятелей культуры, подписавших письмо министру информации Испании Фраге Ирибарне. В этом письме деятели культуры настаивали на расследовании обстоятельств зверского убийства полицией молодого поэта Мануэля Морено Барранко (см. сообщения в «Иностранной литературе» №№ 9 и 12, 1964).

Полиция пыталась шантажировать Карлоса Альвареса Круса, предложив ему купить свободу ценой отказа от своих прежних убеждений. Поэт отверг это предложение.

В течение всего предварительного заключения Карлоса Альвареса Круса в тюрьме, где без всякого суда поэта держали почти 15 месяцев, испанская и мировая общественность требовали его освобождения, в различных формах выражая свою солидарность с узником. Так, в начале нынешнего года молодые датские поэты присудили ему премию за стихи, которые были переведены и изданы в Дании (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 4, 1964 г.). А представители испанской интеллигенции организовали в Мадриде вечер в честь поэта, на котором присутствовало около семидесяти человек.

С МОЛОТКА

Иностранная печать сообщает о продаже сокровищ национальной культуры Испании. Недавно США купили в Испании абсиду и часовню Сан-Фермин-де-Фуэнтидуэнья (провинция Сеговия). Эти шедевры романского искусства ныне выставлены в «Метрополитэн-музеум» в Нью-Йорке. Церковь Сан-Бернардо-де-Сакраменте (провинция Сеговия) перевезена в Майами. Община «Христово сердце» из Сан-Франциско приобрела церковь Санта-Мария-де-Авила. Церковь была разобрана на части и в таком виде пересекла океан, однако до сих пор никто не смог собрать эту древнюю постройку...

ИТАЛИЯ

«СВОБОДНАЯ ИСПАНИЯ»

В итальянском городе Римини, на побережье Адриатического моря, открылась художественная выставка «Свободная Испания», привлекшая широкое внимание итальянской печати. На выставке представлены также те художники, для чьих работ не оказалось места в павильоне франкистской Испании на международной выставке-биеннале в Венеции.

Организовали выставку муниципалитеты пяти итальянских городов — Римини, Реджо-Эмилии, Феррары, Флоренции и Венеции. После Римини выставка будет переведена поочередно в остальные перечисленные города и закроется в Венеции в апреле будущего года. Инициаторы этого интереснейшего смотра современного испанского искусства — прогрессивные итальянские художники, мэры-коммунисты Римини, Реджо-Эмилии и Феррары, известный левый католический деятель мэр Флоренции Джорджо Ла Пира, а также видный антифашист, бывший премьер-министр Италии Ферруччо Парри, на-

Рисунок Хулио Гонсалеса «Кричащая голова», экспонируемый на выставке «Свободная Испания».
(Журнал «Вие нуове»)

писавший предисловие к каталогу выставки.

Хотя выставка носит полуофициальный характер (на ее открытии выступал итальянский министр социал-демократ Прети) и в некоторых речах и статьях делаются попытки представить ее как далекое от политики, чисто художественное мероприятие или даже как проявление известной терпимости франкистского режима в отношении «свободы творчества», всем ясны истинный дух и направление выставки. Об этом свидетельствуют не только содержание экспонированных работ, обличающих царящие в стране угнетение и отсталость, фашистские насилия, франкистский милитаризм и колониализм, но и само название выставки и имена многих ее участников.

Среди испанских мастеров, представленных на выставке, видное место занимает Пабло Пикассо — впервые после 1937 года, когда на международной выставке в Париже им была выставлена в павильоне республиканской Испании знаменитая картина «Герника». Во всех других выставках испанского искусства Пикассо отказывался участвовать или его не приглашали. Его творчеству последних лет (в частности, антивоенным рисункам и керамике) в Римини посвящен специальный зал.

Антифашистский и демократический характер придают выставке и работы двух умерших в изгнании крупнейших художников-антифранкистов — Хулио Гонсалеса и Оскара Доминикеса, а также томящегося во франкистском застенке Агустина Ибарролы и эмигрировавшего во Францию Хосе Гарсиа Ортеги.

Немалое гражданское мужество потребовалось от участников выставки — художников, работающих в Испании,— Альвареса, Каногара, Пачеко, Хименеса и других. Организация выставки «Свободная Испания» и участие в ней многих художников — несомненно, значительная победа, одержанная прогрессивными силами Испании и их итальянскими друзьями.

Итальянские прогрессивные художественные критики, в частности Антонелло Тромбадори в журнале «Вие нуове» и Франко Сольми в газете «Унита», анализируя творчество отдельных художников и художественных групп, подчеркивают революционный, демократический и антифашистский дух современной испанской живописи.

КУБА

ЮБИЛЕЙ АЛЕХО КАРПЕНТЬЕРА

Крупнейшему кубинскому писателю Алехо Карпентьеру в декабре исполняется шестьдесят лет. С именем автора известной советским читателям исторической повести «Царство земное» неразрывно связана история кубинской прозы последних десятилетий. Примечательно и то, что более сорока лет назад Алехо Карпентьер вступил в ряды борцов против реакционной диктатуры, против империализма.

Брошенный в тюрьму в 1927 году за политическую деятельность, Алехо Карпентьер в тюремной камере начал писать свой первый роман «Экуэ Ямба-О», принесший автору литературную славу.

Недавно опубликованный на Кубе новый исторический роман Алехо Карпентьера «Век просвещения», как сообщает латиноамериканская печать, ныне одновременно переводится в двенадцати странах мира.

Годы, протекшие между появлением обоих романов, были годами напряженной литературной работы, активной политической борьбы.

В беседе с кубинским писателем Сесаром Леанте, опубликованной в журнале «Куба», Алехо Карпентьер, в частности, вспоминал о своей поездке в республиканскую Испанию в составе делегации Кубы вместе с Хуаном Маринельо, Николасом Гильеном и Феликсом Пита Родригесом для участия в конгрессе писателей в защиту культуры от фашизма. Напомнив, что он был в Мадриде еще в 1933 году, когда там издавался его роман «Экуэ Ямба-О», Алехо Карпентьер рассказывал:

«В 1937 году я вернулся в Испанию, правда, при обстоятельствах, весьма отличных от прежних. Страна горела в огне гражданской войны. На улицах Мадрида шли бои... В Валенсии у нас было боевое крещение в ту же самую ночь, как только мы туда прибыли: фашистская авиация бомбила город, от разрывов бомб здание нашей гостиницы сотрясалось. Лишь мой товарищ по комнате преспокойно спал на койке, не обращая никакого внимания на бомбы. Он мне сказал: «Ничего не случится»,— и завернулся в одеяло. Это был генерал Лукач—писатель Мате Залка... У стен Мадрида стояли фашистские марокканские войска, бои развертывались в Университетском городке, все поля, окружавшие столицу, были изрыты окопами. Каждый день — по меньшей мере трижды — авиация Франко бомбила город. В таких условиях происходил наш конгресс, являвшийся призывом в защиту

Алехо Карпентьер.

Сцена из спектакля «Ночь войны в музее Прадо» Рафаэля Альберти.

(Газета «Революсьон»)

Испании, свободы, призывом на борьбу против фашизма. Деятели культуры мира, мы пытались пробудить сознание людей, предупредить о нависшей над всеми опасности...»

Вскоре после победы кубинской революции Алехо Карпентьер, живший в Мексике и Венесуэле, вернулся на родину. «В чемодане своем я привез новый роман,—говорит писатель,— это был «Век просвещения»...» Над ним писатель работал и в последующие годы.

Революционное правительство назначило Алехо Карпентьера сначала заместителем руководителя Управления по делам культуры, а затем вице-президентом Национального Совета культуры. Последние два года Карпентьер возглавляет Национальное издательство Кубы. На первом конгрессе деятелей культуры Кубы, в 1961 году, Алехо Карпентьер был избран вице-президентом союза писателей и работников искусств Кубы. Он является президентом кубинского ПЕН-клуба.

Отвечая на вопрос Сесара Леанте о своих творческих планах, Алехо Карпентьер сказал:

«В настоящее время я пишу роман под условным названием «Год 59» — и уже сделал довольно-таки много. Действие его развертывается в Гаване. Это будет первая часть трилогии, на которую меня воодушевила кубинская революция».

УСПЕХИ ПЬЕСЫ РАФАЭЛЯ АЛЬБЕРТИ

Гаванский телевизионный театр пользуется большой популярностью благодаря талантливой режиссуре, яркой игре актеров и хорошо подобранному репертуару. Театр с успехом ставит произведения Лорки и Брехта. Но самой большой удачей этого творческого коллектива явилась, по мнению театрального критика газеты «Ой», постановка пьесы известного испанского писателя Рафаэля Альберти «Ночь войны в музее Прадо». Действие ее происходит в осажденном Мадриде в 1937 году, когда республиканское правительство отдало приказ укрыть в надежном месте сокровища музея Прадо. В пьесе наряду с реальными лицами действуют персонажи произведений Гойи. Спектакль «Ночь войны в музее Прадо», мастерски поставленный режиссером Рикардо Рольданом, по словам критика, «звучит как суровый приговор фашизму, как народная песня, сложенная во славу защитников Мадрида».

ЛИВАН

«ЛУЧШИЙ ПИСАТЕЛЬ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ»

Ливанскому писателю Рене Хабаши присуждена премия имени Жана Амруша «Лучший писатель Средиземноморья». Премия присуждается фондом Жана Амруша, который был учрежден с целью увековечивания памяти этого алжирского поэта, погибшего во время национально-освободительной войны в Алжире. Впервые эту премию в прошлом году получил алжирский писатель Катеб Ясин (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 11, 1963).

ОАР

ПОВЕСТЬ ОБ ИСПАНСКИХ ТОРЕРО

Последняя повесть известного египетского писателя Юсуфа Идриса «Люди и быки» посвящена необычной для него теме. Действие повести происходит в Испании, ее герои — тореро.

Повесть вызвала значительный интерес в арабских странах. Недавно бейрутский журнал «Аль-Адиб» опубликовал на своих страницах большое письмо читателя из Каира Ибрахима Исави Саафана под названием «Гуманизм повести «Люди и быки». Саафан с похвалой отзывается о мастерстве писателя. По мнению Саафана, Юсуф Идрис сумел развеять ореол романтики, которым окружают жизнь тореро. В заключение своего письма Саафан выражает надежду, что новая книга Идриса послужит примером для других египетских писателей и тематика их произведений станет значительно шире.

ПОЛЬША

СТОЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СТЕФАНА ЖЕРОМСКОГО

Польская общественность отметила столетие со дня рождения выдающегося польского писателя Стефана Жеромского, автора таких известных романов, как «Пепел» и «Предвесеннее».

На юбилейном собрании польских писателей с воспоминаниями о Жеромском выступили Ян Парандовский, Ярослав Ивашкевич, Людвик Хероним Морстин, а также дочь писателя Мо-

ника Жеромская. Морстин говорил о большом влиянии творчества писателя на польское общество. «Никто не был так чуток к страданиям народа, как Жеромский»,— сказал он в своем выступлении. Парандовский назвал роман «Пепел» произведением, в котором «заключена наука любви к родине».

«Жеромский, — сказал Ивашкевич,— несмотря на свою широкую известность, был человеком необыкновенно скромным, вежливым, непосредственным. Он охотно беседовал с начинающими писателями. подбадривал их...»

Дочь писателя поделилась своими воспоминаниями об отце. Внимание собравшихся, как сообщает корреспондент газеты «Жице Варшавы», привлек рассказ Моники Жеромской о судьбе творческого наследия писателя. В 1944 году, когда в оккупированной Варшаве вспыхнуло восстание, в Старом Городе, который затем подвергся полному разрушению, было спрятано четыре ящика с рукописями Жеромского. Из них уцелели лишь два...

К столетию со дня рождения писателя, по сообщениям печати, в варшавском Музее Адама Мицкевича была открыта выставка, посвященная жизни и творчеству Жеромского. На родине писателя, в Наленчове (Люблинское воеводство), где находится музей Жеромского, состоялось собрание общественности, в нем приняли участие депутаты сейма, профессора и студенты, жители Наленчова, среди которых есть еще и те, кто встречался с писателем.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ ОЗГИ-МИХАЛЬСКОГО

В одном из последних номеров литературного журнала «Твурчость» опубликована рецензия Янины Прегер на поэму Юзефа Озги-Михальского «Карнавальный вальс».

Поэма сама по себе — не часто встречающийся жанр в современной польской поэзии, отмечает Прегер. А «Карнавальный вальс» заслуживает внимания еще и потому, что в ней с большим поэтическим волнением автор говорит о современниках — людях атомного века, об их праве на обыкновенную человеческую любовь. Озга-Михальский отвергает легкую, «псевдосовременную» любовь, он требует от людей подлинной глубины чувства.

«Карнавальный вальс» Озги-Михальского, — пишет Прегер,— это морально-политическая поэма о любви и политике. Произведение построено на параллелях: с одной стороны, любовь двух молодых людей, их карнавальный флирт и танец, с другой — «танец» дипломатов холодной войны, потрясающих атомной бомбой, словно воздушным шариком на карнавале. Оба мотива постоянно переплетаются в сатире поэта».

Образы Озги-Михальского, продолжает рецензент, навеяны конкретной действительностью материального мира, они пропущены сквозь призму творческого восприятия человека, который чувствителен к красотам природы, который любит жизнь на Земле.

Богаты изобразительные средства поэта — он пользуется современным, острым, лаконичным и выразительным языком.

Авторы польских мультипликационных и кукольных фильмов много внимания уделяют произведениям для детей. Здесь мы воспроизводим кадр из одного из самых интересных, по мнению обозревателя еженедельника «Экран», фильмов для маленьких зрителей — «Трубка мира». Его автор — режиссер Лидия Горницкая (творческое объединение СЕ-МА-ФОР).

(Еженедельник «Экран»)

СЕНЕГАЛ

ПРЕМИЯ — БИРАГО ДИОПУ

Известный сенегальский поэт Бираго Диоп получил недавно премию «Черная Африка, говорящая по-французски». Премия присуждена Диопу «Обществом писателей французского языка» за книгу «Сказки и легенды». «Талантливый поэт Бираго Диоп, бывший посол Сенегала в Тунисе,— пишет корреспондент еженедельника «Жён Африк»,— блестяще делает двойную карьеру — дипломата и поэта, если можно говорить о карьере, когда речь идет о поэзии».

США

ДЖЕЙМС БОЛДУИН: «ОПАСНОСТЬ ФАШИЗМА РЕАЛЬНО СУЩЕСТВУЕТ»

Американский негритянский писатель Джеймс Болдуин во время своего пребывания в Лондоне и Париже дал интервью корреспондентам газет и журналов. В беседе с корреспондентом газеты «Дейли уоркер» он сообщил, что заканчивает новую книгу — роман «Ничего личного». Основная тема книги — бесчеловечность нынешнего американского социального строя. «Существующее ныне положение негров в Америке,— сказал писатель,— чревато самыми опасными последствиями для Америки в целом». На вопрос, что он думает об опасности фашизма в США, Болдуин ответил, что такая опасность реально существует. «Нечего прикидываться, будто у нас это не может произойти»,— добавил писатель.

Джеймс Болдуин.
(Газета «Дейли уоркер»)

В интервью, опубликованном во французском еженедельнике «Леттр франсез», Болдуин рассказал, как американский зритель принял его пьесу «Блюз для мистера Чарли» (опубликована в «Иностранной литературе» № 11, 1964 г.) «Я получил множество писем от белых и от негров... По всему видно, что мою пьесу гораздо лучше поняли на Юге, чем на Севере. Многие белые южане в моих персонажах узнали себя».

Болдуин высказал свое критическое отношение к белым либералам. «Они любят признавать себя виновными перед неграми, но ничего не делают или делают слишком мало, чтобы изменить положение».

Выше всех американских писателей последних десятилетий Болдуин ставит покойного Фолкнера, который, по его мнению, являлся единственным, кто сумел описать сложные взаимоотношения на американском Юге. «В его книгах,— сказал Болдуин,— предельная правдивость сочетается с подлинным романтизмом. Он, пожалуй, единственный настоящий свидетель того, что происходит на Юге, сумевший дать верную картину. Он показал Юг с его психологией, со всеми его сложностями...»

«ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПРАВДИВАЯ КНИГА»

Юджин Бердик вместе с Уильямом Ледерером написали в свое время нашумевшую книгу «Некрасивый американец». Недавно вышел в свет сатирический роман Бердика «480» о закулисной стороне американских президентских выборов. В подзаголовке отмечается, что это «роман о политике».

...Идет президентская предвыборная кампания. У демократической партии есть кандидат, у республиканской еще нет подходящего человека. На помощь приходят электронные вычислительные машины, которым «задают» программу, включающую требования 480 категорий избирателей. Выяснив, каков желательный тип кандидата, его начинают «создавать», начинают «делать его образ» с помощью рекламы в печати, по радио, на телевидении и т. п. Политическим тузам более всего подходит в качестве кандидата в президенты пока никому не известный инженер Джон Тэтч, его-то и включают в политическую игру.

Основой для авторского замысла послужила реально существующая «Симюлмэтикс корпорейшн», которая впервые сформулировала концепцию 480 категорий избирателей и даже давала кое-какие советы президенту Кеннеди во время выборов 1960 года. В книге фигурирует другое название: «Симюлейшн энтерпрайз» (буквально: «Фальсификаторское предприятие»).

Откровенный цинизм тех, кто «делает» президентов, звучит из уст героев книги. Один из них заявляет: «Президент — это товар, который мы делаем на восемь лет. В том случае, конечно, когда ему хочется быть избранным вторично».

Роман «480» встречен американской прессой как очередной литературный боевик. На выход книги откликнулись многие газеты и журналы. Так, обозреватель еженедельника «Бук уик» писал: «Бердик раскрыл перед нами мрачную картину закулисной политической игры. Он показал технику назначения кандидата в президенты. Книга свидетельствует о том, во что превратилась наша демократия, и это должно вызвать у читателя чувство серьезной тревоги».

Корреспондент еженедельника «Нью рипаблик», отдавая дань политическому опыту автора, заявляет: «Если эту книгу прочтет кто-нибудь из наших профессиональных политиканов, у него будут сильно гореть уши».

Большинство рецензентов сходится на том, что «480» — «чрезвычайно правдивая книга».

ФРАНЦИЯ

ТОМУ, КТО ПЕЛ ПОД ПЫТКОЙ

В городе Аржантёйе воздвигнут памятник выдающемуся французскому публицисту Габриэлю Пери, члену ЦК Коммунистической партии Франции, герою Сопротивления, расстрелянному фашистскими оккупантами в 1941 году.

Символическая группа — рабочий, интеллигент и молодая крестьянка с цветами в руках устремляются вперед со своего пьедестала... На цоколе памятника в виде медальона отлит барельеф Габриэля Пери. Под ним золотыми буквами написана фраза: «Я иду сейчас готовить поющее завтра», взятая из письма-завещания Пери, написанного им перед казнью. В этом письме Пери вспоминает слова своего друга Вайяна Кутюрье: «Коммунизм — это молодость мира, и он готовит поющий завтрашний день». «Памятник Аржантёйя — символ движения вперед и борьбы народа нашей страны за это поющее завтра, за мир и счастье»,— пишет корреспондент газеты «Юманите». Монумент шестиметровой высоты, созданный скульптором Антуаном Роалем и архитектором Роландом Дюбрюллем, возвышается в самом начале улицы имени Габриэля Пери.

От города Аржантёйя коммунист Габриэль Пери был избран в палату депутатов в 1932 году. Габриэль Пери — национальный герой Франции — воспет ее лучшими поэтами. Его имя стало символом беспредельной самоотверженности коммуниста, символом борьбы за Францию, за ее лучшее будущее.

На открытии памятника с речами и воспоминаниями выступили товарищи Пери по антифашистской борьбе. Среди них мэр города Аржантёйя Виктор Дюпуа, генеральный секретарь Коммунистической партии Франции Вальдек Роше, генеральный секретарь Ассоциации Габриэля Пери Шарль Бенуа. Луи Арагон прочитал свою знаменитую «Балладу о том, кто пел под пыткой», посвященную подвигу Пери. На открытии памятника присутствовала вдова героя-коммуниста Матильда Габриэль Пери. Роше закончил свою речь призывом бороться за то, «чтобы великая надежда Габриэля Пери стала завтра прекрасной реальностью для всех народов мира».

ФАЛЬШИВКА ФРАНЦУЗСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Как известно, власти Пятой республики, искажая историческую правду, неоднократно пытались принизить роль французского народа в борьбе за свободу Франции. Теперь они пошли еще дальше. Недавно по французскому телевидению был показан фильм Поля Мейя «Дьявольская миссия», представляющий собой, как было объявлено, «новую версию событий 1944 года». Эта «новая версия» заключается в том, что в борьбе за освобождение Франции первостепенную роль сыграли якобы... гитлеровские офицеры(!).

В письме на имя президента административного совета французского радиовещания и телевидения вице-президент «Телелиберте» Видаль-Накэ протестует против демонстрации подобной фальшивки, квалифицируя ее как «оскорбление бесчисленного множества патриотов любых политических убеждений и армий союзников, ценою огромных жертв одержавших победу над «этими самыми» офицерами... Мы считаем возмутительным,— пишет далее Видаль-Накэ,— факт показа по телевидению подобного «произведения» и настаиваем на том, чтобы этот фильм никогда больше не демонстрировался».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ИСТОРИЯ ОДНОГО ИЗДАНИЯ

В 1938 году, накануне гитлеровской оккупации Чехословакии цензура запретила выпуск в свет третьего номера прогрессивного квартального журнала «У», который редактировали Бедржих Вацлавек, Петр Илемницкий, Людвик Свобода и Иржи Тауфер.

В подготовленном номере журнала «У» были собраны многие документы, представляющие несомненный интерес, опубликованы фрагменты из произведений чешской литературы начиная с 1310 года. В номере предполагалось напечатать исследования об исторических корнях единства чешского и словацкого народов.

В начале 1939 года по приказу властей готовый набор номера был рассыпан. Казалось бы, эта потеря невосполнима. Однако, как стало известно, один из немногих сделанных в то время оттисков запрещенного номера «У» с правкой Вацлавека был обнаружен известным библиофилом доктором Камилом Реслером. Второй оттиск найден в полицейских архивах с пометками цензора.

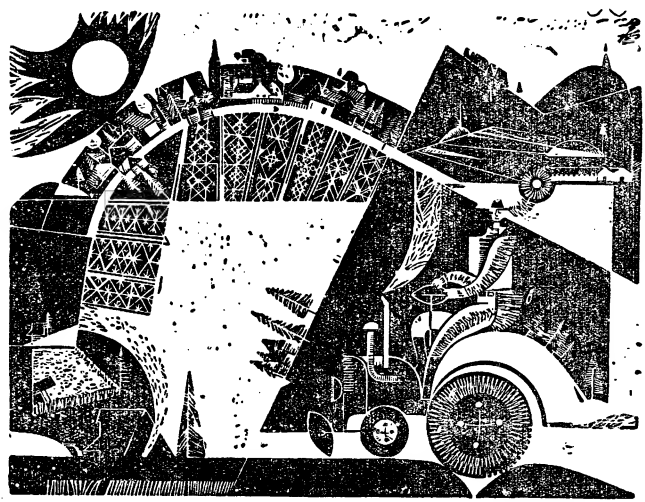
По сообщению корреспондента журнала «Хост до дому», разысканный номер журнала «У» недавно был издан в городе Остраве. При его подготовке было решено сохранить первоначальное оформление журнала. Эта публикация интересна как для профессиональных литераторов, так и для широкого круга читателей, отмечает корреспондент и напоминает, что журнал «У» в предвоенной Чехословакии был единственным органом литературы социалистического реализма.

СОВРЕМЕННАЯ ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ГРАФИКА

Собрать в одной книге историю развития искусства какого-либо народа за период более полувека — совсем не простая задача. Однако именно это уда-

Рисунок Отто Опршала «Земля».

(Еженедельник «Культурни живот»)



лось сделать искусствоведу Любошу Главачеку, который недавно выпустил книгу «Современная чехословацкая графика».

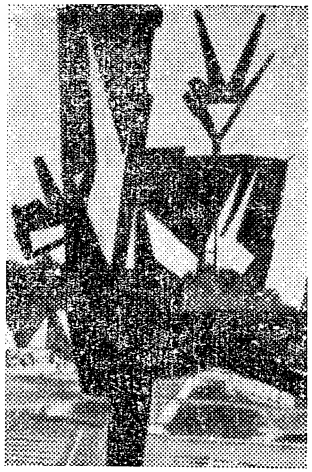
Рецензент еженедельника «Культурни творба» отмечает как большую заслугу автора то, что в его книге собрано большое количество работ самого широкого круга художников. В ней представлены произведения графиков различных школ и направлений. При этом Главачек не ограничился работами, которые в свое время выставлялись в Праге и Братиславе, но включил в свой труд произведения многих периферийных художников. Всего в книге «Современная чехословацкая графика» представлено 150 графиков.

Как сообщает печать, это уже второе издание подобного рода. Чехословацкие читатели и любители искусства в последние годы получили книгу Ярослава Пешины «Чешская современная графика». Однако, как отмечает рецензент журнала «Культурни творба», книга Главачека шире по тематическому охвату. «Любош Главачек, — пишет рецензент,— создал нужную и полезную книгу, которую еще не раз по достоинству оценит историография нашего искусства».

ШВЕЙЦАРИЯ

«ЭКСПО 64»

По установившейся традиции в Швейцарии один раз в двадцать пять лет проводится национальная выставка, отражающая жизнь страны во всех ее областях. В 1964 году подошел срок очередной выставки. Она проводилась с апреля по октябрь в Лозанне и называлась «Экспо 64».



Одно из «произведений искусств» «Экспо 64».
(Газета «Фольксштимме»)

Однако, как пишет демократическая печать, ничего национального в художественном оформлении выставки ее многочисленные посетители не увидели. На «Экспо 64» не было ни привычных горных шале, разрисованных эдельвейсами, ни рожков альпийских пастухов. Вместо этого — уродливое нагромождение модернистской символики. А одна из тем — «Вооруженная Швейцария» — и вовсе повергла граждан нейтральной страны в глубочайшее недоумение.

Несмотря на сопротивление общественности, устроители выставки, слепо следуя моде, «украсили» и павильоны, и входы, и места отдыха абстракционистскими фигурами.

«Безвкусный балаган вместо национальной выставки»,— так характеризует демократическая печать художественное оформление выставки «Экспо 64».

ЮГОСЛАВИЯ

СЕДЬМОЙ СЪЕЗД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

Состоявшийся недавно в Титограде VII съезд Союза писателей Югославии проходил под лозунгом «За подъем нашей литературы». По сообщению газеты «Политика», предметом обсуждения на съезде было: участие писателей в общественной жизни, демократизация культуры и материальное положение работников искусства.

«Мы должны показать всем,— сказал в своем выступлении Предраг Палавестра,— что нашему искусству присуща сила, с которой нельзя не считаться. Это — сила любви к истине и красоте, сила стремления сохранить завоеванную свободу. Задача писателя состоит в том, чтобы эту свободу сохранить и обогатить самыми человечными идеями нашего времени».

Председателем Союза писателей Югославии избран Меша Салимович, участник народно - освободительной борьбы, автор романа «Тишина» и нескольких сборников новелл и рассказов.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

БЛАС ДЕ ОТЕРО — BLAS DE OTERO (род. в 1916 г.) — испанский поэт. Автор нескольких сборников стихов.

Стихотворение, опубликованное в номере, взято из альманаха "Papeles de Son Armadans".

АЛЬФОНСО ГРОССО — ALFONSO GROSSO (род. в 1932 г.) — испанский писатель, автор романов «Небо по-настоящему голубое» ("Un cielo ciertamente azul", 1959), «Овраг» ("La Zanja", 1961) и др.

Роман «Страстная пятница» (в оригинале "El capirote") печатается по французскому изданию ("La procession", 1963).

РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ — RAFAEL ALBERTI (род. в 1902 г.) — испанский поэт, участник национально-революционной войны в Испании (1936—1939). В настоящее время живет в эмиграции. Автор многих сборников стихов. Стихи поэта неоднократно печатались в СССР.

АЛЬБЕРТО САНЧЕС — ALBERTO SANCHEZ (1895—1962) — испанский художник, скульптор и искусствовед.

ХЕСУС ЛОПЕС ПАЧЕКО — JESUS LOPEZ PACHECO (род. в 1930 г.) — испанский писатель и поэт, автор поэтического сборника «Пусть растет молчание» ("Dejad crecer el silencio", 1952) и др.

Стихотворение, помещенное в номере, взято из сборника стихов «Я кладу руку на Испанию» ("Pongo la mano sobre España", 1961).

ХОСЕ ЙЕРРО — JOSE HIERRO (род. в 1922 г.) — испанский поэт. Автор поэтических сборников: «Земля без нас» ("Tierra sin nosotros", 1947), «С камнями, с ветром» ("Con las piedras, con el viento", 1950), «Что я знаю о себе?» ("Cuanto sé de mi", 1957) и др.

ГЛОРИЯ ФУЭРТЕС — GLORIA FUERTES (род. в 1918 г.) — испанская поэтесса, автор книги «Поэтическая антология и стихи предместий» ("Antología poética y poemas del suburbio", 1954), сборников стихов «Леденец» ("Piruli", 1955), «Все пугает» ("Todo asusta", 1958) и др.

МАРИЯ БЕНЕЙТО — MARIA BENEYTO (род. в 1925 г.) — испанская поэтесса. Автор сборников стихов «Забытая песня» ("Canción olvidada", 1947), «Живая земля» ("Tierra viva", 1956) и др.

АНХЕЛЬ ГОНСАЛЕС — ANGEL GONZALEZ (род. в 1925 г.) — испанский поэт. Автор сборника стихов «Суровый мир» ("Aspero mundo", 1956).

Большинство стихотворений последних четырех поэтов, опубликованных в этом номере, вошли в антологию «Двадцать лет испанской поэзии» ("Veinte años de poesía española", 1960).

АЛЬФОНСО САСТРЕ — ALFONSO SASTRE (род. в 1926 г.) — испанский драматург, автор пьес: «Ему снилась смерть» ("Ha soñado la muerte", 1946), «Эскадра, плывущая к смерти» ("Escuadra hacia la muerte", 1953), романа «Мрачные ночи» ("Las nochas lúgubres", 1964) и многих других произведений.

Пьеса «Красная земля» ("Tierra roja") вышла в 1963 году.

ВИДАЛЬ ДЕ НИКОЛАС — VIDAL DE NICOLAS — испанский поэт.

Стихотворение, опубликованное в номере, прислано в рукописи.

ХУАН ГОЙТИСОЛО — JUAN GOITISOLO (род. в 1931 г.) — автор романов «Озорные игры» ("Juegos de manos", 1951), «Прибой» ("La resaca", 1958, роман опубликован в № 6 нашего журнала за 1961 г.), «Остров» ("La Isla", 1960) и др.

Публикуемый рассказ взят из книги рассказов писателя «Чтобы жить здесь» ("Para vivir aquí", 1961).

РИКАРДО ДОМЕНЕЧ — RICARDO DOMENECH — испанский писатель и критик.

Публикуемый рассказ получен в рукописи.

АРМАНДО ЛОПЕС САЛИНАС — ARMANDO LOPEZ SALINAS (род. в 1925 г.) — испанский писатель, автор романов «Шахта» ("La mina", 1958), «Год за годом» ("Año tras año", 1962) и др.

Статья воспроизводит текст публичной лекции.

АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ — ANTOINE DE SAINT-EXUPERY (1900-1944) — французский летчик и писатель. Автор книги «Южная почта» ("Courrier Sud», 1928), «Ночной полет» («Vol de nuit», 1931), «Земля людей» («Terre des hommes», 1939), «Военный летчик» («Pilote de guerre», 1942), «Письмо заложнику» («Lettre à un otage», 1943) и др. Большинство произведений писателя опубликовано на русском языке.

МАРИЯ ТЕРЕСА ЛЕОН — MARIA TERESA LEÓN — испанская писательница, участница национально-революционной войны в Испании в 1936—1939 годах. Живет в эмиграции. Автор многих книг, в том числе «Против ветра и прилива» ("Contra el viento y marea", 1941), «Чистая игра» ("Juego limpio", 1959) и др.

Публикуемое эссе написано для нашего журнала.

ЖОРЖ САДУЛЬ — GEORGES SADOUL (род. в 1904 г.) — французский историк и теоретик киноискусства, автор многочисленных работ по истории мирового и французского кино.

Статья, помещенная в этом номере, написана для нашего журнала.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» за 1964 год

Валькарсель, Густаво — У Ленина, № 11.

К 94-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, № 4.

О Ленине и революции (По воспоминаниям и письмам Линкольна Стеффенса. Публикация Эллы Уинтер), № 4.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ

Андреев, Веселин — Двое и серна. Когда рождался день (Из партизанских рассказов), № 9.

Базен, Эрве — Шапки долой (Рассказ), № 8.

Бёль, Генрих — Глазами клоуна (Роман), № 3.

Болдуин, Джеймс — Блюз для мистера Чарли (Пьеса в 3-х действиях. Послесловие Н. Курдюмова), № 11.

Вантула, Леон — Праздничный день (Рассказ), № 11.

Видженаике, Пуньяканте — Жатва. Обещание. Третья женщина (Рассказы), № 6.

Волкерс, Ян — Черный сочельник (Рассказ), № 8.

Вольф, Криста — Расколотое небо (Роман), № 1.

Гамарра, Пьер — Пиренейская рапсодия (Повесть), № 7.

Говорят узники Бургосской тюрьмы, № 12.

Гойтисоло, Хуан — Ронда (Рассказ), № 12.

Грин, Грэхем — Ценой потери (Роман), №№ 9—10.

Гроссо, Альфонсо — Страстная пятница (Роман), № 12.

Диб, Мухаммед — Беспощадная ночь (Рассказ), № 8.

Доменеч, Рикардо — Счастье привалило (Рассказ), № 12.

Ивашкевич, Ярослав — На отшибе (Глава из романа «Хвала и слава»), № 2.

Кавалец, Юлиан — К земле приписанный (Повесть), № 6.

Кафка, Франц — В исправительной колонии. Превращение и др. (Рассказы), № 1.

Кеведо, Франклин — И у нас появится румянец (Рассказ), № 8.

Кржиж, Иван — Был день воскресный (Рассказ), № 3.

Леннон, Альберт — Корни (Рассказ), № 11.

Люстиг, Арношт — Девушка со шрамом (Рассказ), № 7.

Манто, Саадат Хасан — Новый закон (Рассказ), № 5.

Маршалл, Алан — Мальчик... (Рассказ), № 11.

Мастронарди, Лючио — Предприниматель. Сигарета (Рассказы), № 4.

Махфуз, Нагиб — Вор и собаки (Повесть), № 4.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ РАССКАЗА, № 4, 8, 11.

Михал, Карел — Баллада о Чердачнике. Домовой мостильщика Гоуски. (Рассказы), № 3.

Моравиа, Альберто — Автомат. Фетиш. Трельяж (Рассказы), № 1.

Нарайан, Р. К. — Людоед в Мальгуди (Роман. Послесловие Н. Демуровой), № 2.

Нолль, Дитер — Приключения Вернера Хольта. Книга вторая. (Роман), №№ 8—10.

Олби, Эдвард — Смерть Бесси Смит (Пьеса в восьми картинах), № 6.

Патрас — Кумир города Муридпура (Рассказ), № 5.

Педемонте, Уго Э. — Будущий мужчина (Рассказ), №· 4.

Петров, Ивайло — Маленькие иллюзии (Рассказы), № 4.

Пратолини, Васко — Постоянство разума (Роман), №№ 5, 6.

Радичков, Йордан — Жаркий полдень (Новелла), № 5.

РАССКАЗЫ ИЗ ПАКИСТАНА, № 5

Састре, Альфонсо — Красная земля (Драма в пяти картинах с эпилогом), № 12.

САТИРИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ, № 3

Силлитоу, Алан — Волшебный ящик (Рассказ), № 4.

Сименон, Жорж — Бедняков не убивают (Повесть), № 8.

Ставинский, Ежи Стефан — В погоне за Адамом (Повесть. Вступительная статья Сергея Герасимова), № 4.

Стиль, Андре — Тишина (Рассказ), № 4.

Сюсаку, Эндо — Море и яд (Повесть), № 8.

Усман, Сембен — Горячий ветер (Роман), № 11, 12.

Фабиан, Золтан — Три крика (Маленький роман), № 11.

Хемингуэй, Эрнест — Ночь перед боем (Рассказ), № 2.

Хемингуэй, Эрнест — Праздник, который всегда с тобой (Страницы автобиографии Послесловие М. Мендельсона), № 7.

Чандар, Кришан — Господин Объедок (Рассказ), № 4.

СТИХИ

Азиз Малак абд аль — Это наша заря, № 3.
Альберти, Рафаэль — Баллада о том, чего никогда не было в Гранаде, № 12.
Амран, Даниэль — Вы позвали меня, тюремные окна. Семь лет войны, № 7.
Амрани, Джемаль — Национальный герой, № 7.
Аргези, Тудор — Стихам все вновь звучать... (Послесловие Овида Крохмэлничану), № 8.
Барч, Курт — Эпитафия аполитичному. Двери, № 10.
Бенейто, Мария — Ноктюрн женской тюрьмы, № 12.
Бенюк, Михай — Новые стихи, № 8.
Бланко, Андрес Элой — Рифмы гнева, № 5.
Бломберг, Эрик — Ни веры, ни счастья в жизни моей... Дом людской. Сокол, № 6.
Браун, Фолькер — Революция (Отрывки из поэмы), № 10.
Бузаэр, Хосин — Ночное сраженье. Основные цвета. Прошедшее и настоящее, № 7.
Бьедма, Хайме Хиль де — 18 апреля (во время вторжения), № 1.
Бьёрнебу, Йенс — Реквием в честь погибших на войне школьных товарищей, № 6.
Валенте, Хосе Анхель — Куба, плывущий остров, № 1.
Вальтер, Кристоф — Эрнсту Бушу, № 10.
Венберг, Карл — Прощание, № 6.
Винс, Пауль — Время мечтать, № 10.
Гендуз, Надиа — Алжир! № 7.
Гильен, Николас — Новое, № 11.
Гомбожав, Д. — Война, № 11.
Гонсалес, Анхель — Увиденное со стороны, № 12.

ДА, МОЙ АЛЖИР! (Стихи поэтов Алжира), № 7.

Депестр, Рене — Пусть солнце снова улицы зальет! № 8.
Джабали, Лейла — Моему мучителю, лейтенанту Д., № 7.
Диас Мартинес, Мануэль — Хлеб. Я здесь, № 4.
Диб, Мухаммед — Жизнь сегодня, № 7.
Добжинский, Шарль — Где ты, Испания? № 2.
Зерари, Зехор — Если бы ты. Прильнув к решетке. Казнь, № 7.
Ивамото Сюдзо — Любовь. Будущее, № 6.
Йерро, Хосе — Колыбельная для заключенного. У самого моря. Город издали, № 12.
Иноуэ, Тосио — Шелуха от семян репы, № 6.

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ЮГОСЛАВСКОЙ ПОЭЗИИ, № 10.

Исикава, Ицуко — Перед императорским дворцом, № 6.

И ХЛЕБ НАМ НУЖЕН, И НУЖНА МЕЧТА (Стихи поэтов Германской Демократической Республики. Вступительная статья Льва Гинзбурга), № 10.

Калау, Гейнц — Так вот что: хоть задача нелегка..., № 10.
Кидзима, Хадзимэ — Голубь. Хозяйка, № 6.
Креспо, Анхель — Куба, извлеченная изнутри, № 1.

К СОЛНЦУ! (Стихи монгольских поэтов), № 11.

Куба — Новые хозяева, № 10.
Кунерт, Гюнтер — Фрагменты к фрагментам писателя Франца К., № 10.
Курода Сабуро — Я стал совсем другим, № 6.
Леон, Карлос Аугусто — Лицом к жизни, № 11.
Лопес Пачеко, Хесус — Кто? Песнь о хлебе, № 12.
Лундквист, Артур — Десять и тысяча, № 6.
Мартинсон, Харри — Природа и человек. Осень. Воспоминания детства. Замерзшие слова, № 6.
Маршак, С. — Из неопубликованных переводов, № 8.
Матев, Павел — Возвращение к началу (Из поэмы), № 9.
Минатти, Иван — Кого-то ты должен любить, № 10.
Монтеро, Мануэль — Бой быков, № 12.
м' Хамсаджи, Каддур — Да, мой Алжир! № 7.
Наварро Луна, Мануэль — Песнь звезды на кубинском флаге. Труд, учеба, винтовка, № 4.
Неруда, Пабло — Стихи этого года (К 60-летию со дня рождения поэта), № 7.
Николас, Видаль де — Двор печали, № 12.
Окай, Джон — Гимн человечеству (Поэма), № 9.
Ота, Тэмпей — След самолета. Извещение о переезде, № 6.
Отеро, Блас де — Непобежденная молодость, № 12.
Павчек, Тоне — Молитва. Просьба, № 10.
Парра, Никанор — На простом языке наших дней (Вступление Маргариты Алигер), № 2.
Перес, Перес Антонио — Николасу Гильену, № 1.
Попа, Васко — Если бы глаз твоих не было. Стечак, № 10.

ПОЭТИЧЕСКИЕ ГОЛОСА ЯПОНИИ, № 6.

ПОЭТЫ ИСПАНИИ — КУБЕ, № 1.

Санжжав, Г. — Вечная весна, № 11.
Сарайлич, Изет — Новогодняя ночь на Трескавице. Потихоньку с печалью, № 10.
Селайя, Габриэль — Спасибо, кубинцы, № 1.
Селайя, Габриэль — Уведомление Мигелю Лабордета. Счастливые минуты (Вступление Видаса Силюнаса), № 12.
Скала, Иван — Весна — в атаке! № 4.

СЛОВО ТРЕХ ПОЭТОВ КУБЫ, № 4.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЭТЫ СКАНДИНАВИИ (Вступление Евг. Долматовского), № 6.

СТИХИ ИСПАНСКИХ ПОЭТОВ, № 12.

Суан Зиеу — То, во что верю... (Вступление М. Матусовского), № 9.
Томас, Дилан — «Когда октябрьский ветер...», № 10.
Транстрёмер, Томас — Поездка, № 6.
Фаиз, Фаиз Ахмад — Две любви, № 1.

Фигера Аймерич, Анхела — Отец мой был кубинцем, № 1.
Фигера Аймерич, Анхела — Романс о святом Пахаре-Поэте. Авель. Вина. Двадцать лет (Вступление Видаса Силюнаса), № 12.
Фелипе, Леон — С ума сошли поэты... Брат, с тобою твое добро... Словно ты... Пресвитеры базарного лотка. Бродяга. Расскажите мне сон... Дознание. Революция. (Вступление Анатолия Гелескула), № 12.
Форсель, Ларс — Десять солдат, № 6.
Фуэртес, Глория — Нищий с запиской. Нет мудреца. Умершему в собственной постели, № 12.
Фюман, Франц — Куда уводят сказки, № 10.
Хагеруп, Ингер — Все мне так близко, № 6.
Хаддад, Малек — Они входят в легенду, № 7.
Хамис, Файяд. — Среди людей. Корабли в порту Гаваны, № 4.
Хейнесен, Вильям — Весенняя песня больного эскимоса. Время ожидания, № 6.
Цэдэндорж, М. — Мы с тобой на легком облаке плывем... № 11.
Черкез, Владимир — Уход, № 10.
Ширчинсурэн, М. — Орол — детство мое, № 11.
Штриттматтер, Эрвин — Цивилизация. Почки, № 10.
Явуухулан, Б. — Гоби, № 11.
Ямада, Имадзи — Дождь, № 6.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Франц Мон, Гельмут Хайсенбюттель, Ойген Гомрингер, Эрнст Яндль, Герхард Рюм, № 7.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Гонсалес Мартинес, Энрике — Лирика (Вступление О. Савича), № 3.
Радноти, Миклош — Стихи (Биографические заметки Габора Толнаи), № 11.
Революционная китайская поэзия «4 мая», № 5.

ЮМОР

ПЯТЬ КОНТИНЕНТОВ СМЕЮТСЯ (Рассказы, памфлеты, стихи, карикатуры), №№ 5, 10.

КРИТИКА

Амбарцумов, Е. — Молодая Италия («Постоянство разума» Пратолини и итальянская действительность), № 6.
Анисимов, И. — Романы Грэхема Грина, № 10.
Барбу, Эуджен — Куда идет роман? № 6.
Бети, Монго — Роман и Африка, № 6.
Бехер, Иоганнес Р. — Литература и общество, № 5.
Гальперина, Е. — Жак Румэн, № 5.
Гидаш, Антал — Мой ответ, № 6.
Головин, Е. — Лирика «модерн», № 7.
ГУМАНИЗМ СБЛИЖАЕТ НАРОДЫ (На семинаре по изучению и переводу литератур стран Азии и Африки), № 9.
Гуттьерес, Хоакин — Накануне большого расцвета, № 10.
Данчев, Пенчо — Лирическая летопись двадцатилетия (О современной болгарской поэзии), № 9.
Достал, Владимир — Плоды, не успевшие созреть (О неоконченных работах Ю. Фучика), № 1.
Карельский, А. — Станции Эрнста Юнгера, № 4.
Кархуу, Э. — Писатель и судьбы народа (Романы Вяйне Линны), № 3.
Кашкин, Иван — Испания в рассказах Хемингуэя, № 2.
Керью, Ян — Мы пишем для народа, № 10.
Кин, Ц. — «Неокапитализм» без маски, № 3.
Книпович, Е. — Франц Кафка, № 1.
Колдуэлл, Эрскин — Каким будет роман грядущего, № 6.
Кох, Ганс — В борьбе за нового человека, № 10.
Лану, Арман — «Натурализм не умер, тчк. Подробности письмом», № 6.
Лопес Салинас, Армандо — Грамота на испанское гражданство, № 12.
Матушевский, Рышард — Писатель народной Польши (О творчестве Ярослава Ивашкевича), № 3.
Мюрдаль, Ян — О будущем романа, № 6.
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ РОМАНА, №№ 6, 10.
Огнев, Владимир — Свое — общее (К проблеме взаимного перевода), № 7.
Пиотровская, А. — В творческих исканиях (Заметки о польской прозе), № 7.
Рюриков, Б. — Какое знамя они хотят водрузить? (Полемические заметки), № 9.
Самарин, Р. — Пример Луначарского, № 2.
Симонян, Лидия — Люди и книги (Проза ГДР о молодом современнике), № 1.
Тертерян, И. — Испанский роман сегодня, № 8.
Топер, П. — Между черным и коричневым («Глазами клоуна» Генриха Бёля), № 3.
Фаиз, Фаиз Ахмад — Многообразие и жизненная сила (О современной литературе и театре Пакистана), № 4.
Фрид, Я. — Литература кошмаров и ребусов, № 4.
Чопич, Бранко — Несколько мыслей о литературе, № 6.
Шерфиг, Ханс — Наш друг Ханс Кирк, № 11.
Шестаков, Д. — 15 миллионов героев, № 11.
Шульц, Макс Вальтер — О некоторых творческих проблемах романа, № 6.
Эренбург, И. — О некоторых испанских писателях, № 12.

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Вольф, Криста — Почему я пишу, № 2.
Силлитоу, Алан — Что говорит писатель, № 1.

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

Аллег, Анри — Наши успехи и наши задачи, (Письмо из Алжира), № 7.
Дэлано, Луис Энрике — Споры в кафе имени Лопеса Веларде (Письмо из Сантьяго-де-Чили), № 1.
Каррера, Густаво Луис — Там, где идет битва (Письмо из Каракаса), № 10.

Линна, Вяйне — Два писателя (Письмо из Хельсинки), № 8.
Наг, Мартин — Вера в человека (Письмо из Осло), № 2.
Юркович, Марьян — Писатели и книги (Письмо из Белграда), № 5.

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Атарова, К. — Работа обретает смысл, № 11.
Баруздин, Сергей — Весело о серьезном. № 8.
Бочаров, С. — Интересное исследование, № 9.
Брагинский, И. — Новое в изучении литератур Востока (Библиографические заметки), № 6.
Вильмонт, Н. — Книга народной скорби и народного мужества, № 4.
Волжанин, В. — Книга о нашем друге, № 5.
Грузинова, А. — Новая весна, № 9.
Дангулов, Савва — Человек идет к свету, № 8.
Долматовский, Евг. — С Испанией в сердце, № 12.
Евнина, Е. — Книги Робера Мерля, № 9.
Емельянников, С. — Наш современник Хосе Марти, № 5.
Ермонский, А. — В самом центре эпохи..., № 7.
Ильинская, С. — Чего ждут мертвые? № 4.
Инбер, Вера — Дитя своего века, № 8.
Камынин, Л. — Среди героев Гойтисоло, № 12.
Кауров, Г. — Бирма сегодня, № 4.
Кельин, Ф. — Изучение литературных связей, № 12.
Копелев, Лев — Эпические романы поэта-лирика, № 4.
Кудрявцева, И., Рабинович, И. — Эпопея о лжи и правде, № 5.
Кутейщикова, В. — Два сборника кубинских рассказов, № 1.
Левонтин, Эзра — Борьба продолжается, № 11.
Лихачева, Л. — Книга о дружбе, № 10.
Макаренко, В. — Великий поэт Тамилнада, № 11.
Макиев, Валерий — Учитесь у Димитрова! № 9.
Мотта Лима, Педру — Сила — в солидарности, № 5.
Наркирьер, Ф. — Моруа-новеллист, № 11.
Орлинская, Н. — Говорят малайские писатели, № 5.
Орлинская, Н. — Новые хозяева земли, № 9.
Полянский, Н. — Книга продолжает жить, № 9.
Померанц, Г. — Спустя три века, № 12.
Пономарева, Н. — Современный болгарский рассказ, № 9.
Рубакин, Александр — «Я благословляю грядущее...», № 10.
Румянцева, И. — Когда вырастают крылья, № 9.
Соколов, В. — Так ли просто оставаться простым? № 8.
Станюкович, Ядвига — Ивашкевич рассказывает о людях Польши, № 7.
Суровцев, Юрий — Капитан Скотт принимает решение, № 1.
Тамарин, Л. — Певец революции и любви, № 11.
Тарковский, Арсений — На самой вершине пламени, № 9.
Турков, А. — Главная трудность, № 11.
Турков, А. — Навстречу Тувиму, № 7.
Фейгина, Л. — Освобождение надо охранять, № 10.
Фиш, Р. — С доверием к читателю, № 10.
Цветов, В. — Для того, чтобы дорогу построить... № 11.
Черкасский, Л. — Здравствуй, Назрул Ислам! № 7.
Шкунаева, И. — Путь в будущее, № 3.
Эйдлин, Л. — Зеркало поэзии, № 10.
Ясный, В. — Книга борьбы и надежды, № 3.

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Бочарникова, Е. — «Мудрость» господина Полдини, № 6.
Великовский, Самарий — Преподобный отец на поприще критики, № 3.
Головин, Е. — «Жить и любить людей», № 3.
Диденко, Б. — Для тех, кто молод душой и сердцем, № 9.
Злобина, М. — Он выбрал дорогу борьбы, № 5.
Злыднев, В. — Рождение национальной эпопеи, № 9.
Зонина, Л. — Когда человек осознает свою ответственность, № 1.
Ивашева, В. — Американский сон в летнюю ночь, № 4.
Ильинская, С. — Поэзия действенная и страстная, № 11.
Исбах, Александр — На линии огня, № 9.
Кожевников, Ю. — На струнах времени, № 8.
Константиновский, И. — Книга жизни, № 8.
Ларин, С. — Подвиг летописца, № 7.
Марков, Д. — В борьбе за социалистическую литературу, № 9.
Мельников, А. — Огненная купель, № 7.
Млечина, И. — Судьба поколения, № 5.
Николеску, Татьяна — Исследование о романе, № 8.
Николеску, Татьяна — Монография о Лермонтове, № 10.
Никулин, Лев — Век кибернетики и душа человека, № 4.
Опря, Александру — Новый герой Марина Преды, № 8.
Павленко, А. — Повести и рассказы Соброна Айдита, № 1.
Пальмер, Ула — «Кларте» и шведские писатели, № 9.
Романенко, А. — Книга о писателе-революционере, № 6.
Ронская, Галина — Рассказы о Хиросиме, № 5.
Рубин, Вл. — В школе жизни, № 10.
Силюнас, В. — Скучные будни «сладкой жизни», № 11.
Скороденко, В. — Добрый Тигр, № 3.
Трауберг, Н. — Новые книги Камило Хосе Селы, № 12.
Трущенко, Е. — Воспитание характера, № 7.

Тугушева, М. — Новое платье королевы, № 10.
Тульчинская, Н. — Земля уходит из-под ног... № 6.
Фридман, М. — Трагическое восхождение, № 8.
Шептунов, И. — Новые грани, № 9.
Шерлаимова, С. — Поэзия мужественной человечности, № 7.
Шполянская, Д. — Рождение нового мира, № 8.
КНИГИ РУМЫНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, № 8.

ПОЛЕМИКА

Б. Р. — О пользе споров и вреде предвзятости, № 2.
Елистратова, А. — Американский Бальзак, или Об одной литературной подделке, № 5.
Мотылева, Т. — Отнеситесь с недоверием, № 3.
Папериый, З. — Технология неправды, № 6.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы, №№ 1, 3—5, 7, 9.

ПУБЛИЦИСТИКА

Азимов, Сарвар — Дели — Ташкент — Каир — Джакарта, № 8.
Бэрчетт, Уилфред — Американцы в Южном Вьетнаме (Репортаж из партизанских районов), № 10.
Бьюкенен, Томас Дж. — Кто убил Кеннеди? (Фрагменты из книги), № 9.
Гамшик, Душан и Пражак, Иржи — Бомба для Гейдриха (Документальная повесть), №№ 2—3.
Грюнвальд, Леопольд — Второе вторжение, № 7.
Гусев, К. — Исторический талант, № 4.
Дюкло, Жак — Первый Интернационал, № 9.
ЛЮДИ МИРА, БУДЬТЕ ЗОРЧЕ ВТРОЕ! Говорят писатели — солдаты и очевидцы двух войн: **Арнольд Цвейг, Людмил Стоянов, Стефан Гейм, Артур Лундквист, Лев Никулин**, № 8.
Мадоль Жак — Девиз — человечность, № 6.
Маньян, Элизабет — Голос французской интеллигенции (Несколько коротких интервью), № 5.
Ньюберри, Майк — Йеху со снайперскими винтовками (Главы из книги), № 5—6.
Пастухов, Н. — Цветок и семя (Заметки об индийской культуре), № 6.
Познер, Владимир — Диалог двух Франций, № 2.
Сент-Экзюпери, Антуан де — Мадрид. № 12.
Шидловский, Роман — При народной власти и благодаря ей, № 7.

КНИГИ, ЗАМЫСЛЫ, ТЕМЫ

Международная анкета, №№ 1, 3.

ОЧЕРКИ

Гонсалес Бермехо, Эрнесто — Колючая проволока между двумя мирами, № 1.
Мунтяну, Франчиск — Рассказ о сержанте Ионе Бузне, № 8.
Порумбаку, Вероника — Новая жизнь на старых землях, № 8.

ДОКУМЕНТЫ

Хулиан Гримау продолжает борьбу, № 12.

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Боноски, Филлип — Ради чего идет борьба, № 1.

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

Брайант, Луиза — В первые годы... № 11.
Леон, Мария Тереса — Милый лик родины, № 12.
Вильямс, Альберт Рис — Уроки марксизма (К 40-летию со дня смерти В. И. Ленина), № 1.

НАШИ ГОСТИ

Бунин, Н. — Герой литературы новой Германии, № 4.
Васильев, П. — Эдвард Олби: о путях современного театра, № 3.
Дашкевич, Юрий — Беседуя с Николасом Гильеном, № 11.
Зорина, И. — Эрскин Колдуэлл: о сегодняшней Америке и немного о своей работе, № 3.
Кудрявцева, Т. — Идти в ногу со временем, № 8.
Кулаковская, И. — Митчел Уилсон: о науке и литературе, № 3.
Ланина, Т. — Джон Стейнбек: о себе и о молодых, № 3.
Пархомовская, С. — Встреча с болгарскими писателями, № 11.
Снова в Москве (Чарльз П. Сноу и Памела Джонсон), № 1.

НА КИНОЭКРАНАХ

Аббас, Ходжа Ахмад — Никаких уступок! № 5.
Питера, Збигнев — Поиски и перспективы польского кино, № 7.
Садуль, Жорж — Перед объективом — Испания, № 12.

КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Антокольский, П. — Жан-Ришар Блок (К 80-летию со дня рождения), № 5.
Вюльфинг, В. — Человек, нашедший счастье (К 75-летию со дня рождения Людвига Ренна), № 4.
Кельин, Федор — Мигель де Унамуно (К 100-летию со дня рождения), № 9.
КЛАССИК ВЕНГЕРСКОЙ ПОЭЗИИ (К 100-летию со дня смерти Имре Мадача. Интервью с Л. Мартыновым), № 10.
Кожевников, Ю. — Правда сердца (К 75-летию со дня смерти Михаила Эминеску), № 6.
Крымова, Н. — Наш друг Мартин Андерсен-Нексе (К 10-летию со дня смерти писателя), № 6.
Осповат, Л. — Антонио Добрый (К 25-летию со дня смерти Антонио Мачадо), № 2.
Полторацкий, Виктор — У Войнич в Нью-Йорке (К 100-летию со дня рождения Этель Лилиан Войнич), № 5.
Попова, Т. — Великий реформатор (К 100-летию со дня смерти Вука Стефановича Караджича), № 1.

Самойлов, Д.— Любивший мир поэт (К 40-летию со дня смерти Иржи Волькера), № 1.

Тынянова, Инна — «Сердце мое необъятнее мира!» (К 220-летию со дня рождения Томаса Антониу Гонзаги), № 8.

Эйдлин, Л.— Великий реалист Цао Сюэцинь (К 200-летию со дня смерти писателя), № 8.

Эренбург, Илья — Пабло Неруда (К 60-летию со дня рождения), № 7.

ПОЭТ, КОТОРЫМ ВОСХИЩАЕТСЯ ВЕСЬ МИР (К 150-летию со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко). № 3.

К 400-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИЛЬЯМА ШЕКСПИРА, № 4

Экскурсии в мир Шекспира (Неопубликованные страницы А. В. Луначарского), № 4.

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА, № 10.

Андроников, Ираклий — Лермонтовские реликвии за океаном, № 10.

Лермонтов в зарубежных изданиях, № 10.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Письма французских солдат Анри Барбюсу, № 11.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Австрийский художник Аксель Лескошек, № 6.

Гасан, Иренка — Антон Рефрежье — художник американской демократии, № 2.

Горяев, Виталий — Художник солнечного острова, № 1.

Гуттузо, Ренато — Иллюстрации к «Божественной комедии» Данте (Вступительная статья Антонелло Тромбадори), № 3.

Давид Альфаро Сикейрос читателям «Иностранной литературы», № 11.

Мержанов, М.— В гостях у Армандо Гонсалеса, № 8.

Новикова Л.— Это создано в тюремной камере, № 11.

Соколова, Наталия — У художников Югославии, № 10.

Уразова, Людмила — Ксаверий Дуниковский, № 7.

Э. К.— Вызов, брошенный из-за решетки (Рисунки Агустина Ибарролы), № 12.

ИЗ ПУТЕВОГО АЛЬБОМА

Зачиняев, В.— В народном Вьетнаме, № 5.

Кокорин, А.— В Голландии, № 9.

Памяти Б. И. Розенцвейга, № 8.

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ, №№ 1, 2, 5, 7—9.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ (Хроника), №№ 1—12.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ, №№ 1—12.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, И. М. КУЛАКОВСКАЯ** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художеств. редактор **М. М. Милославский** Технический редактор **В. Л. Шачнев**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 11382. Сдано в производство 17/X-64 г. Подписано к печати 18/XII-64 г.
Бумага 70×108 1/16—9,0 бум. л.; печ. л. 24,66+1 вкл. Зак. 2281.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394